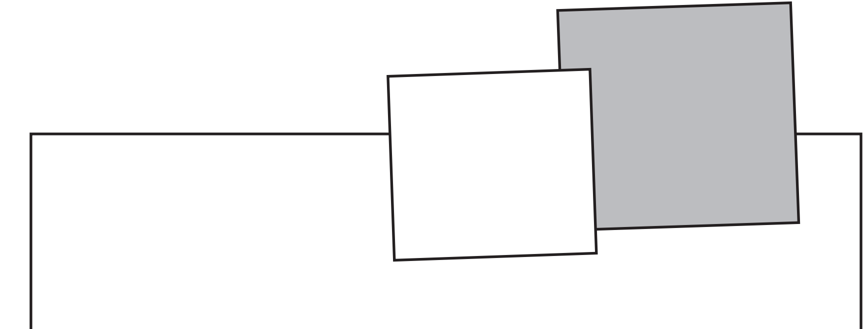
Серж Московичи



ВЕК ТОЛП

Исторический трактат по психологии масс

Москва
Академический проект
2020

УДК 159.9
ББК 88
М 81



Московичи С.

М81 Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Пер. с фр. Т.П. Емельяновой. — М.: Академический проект, 2020. — 396 с. — (Психологические технологии: Социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2786-2

Книга выдающегося современного психолога Франции, автора теории социальных представлений Сержа Московичи посвящена подробному анализу и разработке психологических теорий толпы Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда и др. Социальный феномен масс, растворение в них индивида, поведение вождя масс — основные положения психологии толп — С. Московичи умело иллюстрирует примерами взаимоотношения толпы и ее лидера: Цезаря, Робеспьера, Наполеона, Ленина, Муссолини, Сталина, Гитлера, Мао, Тито, Де Голля и др.

Для психологов, историков, социологов, работников СМИ, преподавателей и студентов соответствующих специальностей.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-8291-2786-2

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Для меня большая честь — выход в свет перевода моей работы, написанной несколько лет назад и посвященной одному из значительных явлений нашего времени. Многие люди не придают различию между индивидуальной психологией и психологией коллективной того значения, которое ему должно было бы придаваться. Некоторые отрицали самостоятельность коллективной психологии из-за того, что она не является биологической наукой. Другие пытались свести ее механизмы к механизмам индивидуальной психологии. Третьи, и их большинство, в качестве аргумента вспоминали ее политическое применение, осуществлявшееся с начала этого века, причем тоталитарными партиями. Это означает, что коллективная психология, или психология масс имеет прошлое, от которого мы не можем абстрагироваться.

Однако обратимся к настоящему. Очевидно, что одной из примечательных черт нынешней психологии является ее постулат: психические явления — это явления индивидуальные. Личность, или отдельный индивид, сохраняет статус преимущественного объекта научного изучения. Но, странное дело — индивидам, вместе взятым, образующим группу, обладающим общими представлениями и убеждениями, в таком статусе отказывают.

Между тем, это приводит нас к следующему парадоксу. Мы фактически все дальше и дальше разрабатываем психологию индивида. Но, однако, в *world* (мире — *англ.*), как хорошо говорят американцы, творится и используется на практике как раз психология масс. Я даже склонен утверждать, что мы сегодня присутствуем при *глобализации* масс, при создании массы мирового масштаба. Прежде всего это создание все расширяющихся наднациональных сообществ с гигантскими ядрами городов и рынками в миллионы человек, которых побуждают жить и потреблять однотипным образом. Затем — расцвет электронных и телевизионных сетей, которые, с одной стороны, связывают между собой людей, находящихся на огромных расстояниях друг от друга, а с другой стороны, проникают в самые недра частной жизни каждого. И бурное развитие систем мультимедиа до предела ускорит этот процесс. Наконец, политика в отношении этих огромных сообществ, успех которой зависит от систем мультимедиа, теперь еще больше, чем в прошлом, становится массовой политикой. Культ личности, хотя его так и не называют, из исключения становится правилом, а ослабление партий почти повсюду только укрепляет могущество лидеров. Положение лидеров в условиях демократии незавидно. Однако стремление к власти — явление самое распространенное в обществе и кандидатов всегда будет в избытке.

Ограничусь напоминанием о том, что темой этой книги стал переход от психологии индивидов к психологии масс. А также, и в особенности, сознательное и целенаправленное формирование масс. Оборотной стороной глобализации масс выступает ограничение существования индивида и его солидаризации с другими. Если смотреть непредвзято на этнические войны, насилие в городах, расовые предрассудки, их движущей силой нужно признать психологию масс. А точнее, ту психологию, какой она предстает перед нами сегодня. Она исторична, в книге я настаиваю на этом, поскольку история не совершается ни без нее, ни наперекор ей. Одним словом, психология масс и есть история в процессе ее совершения. Порой неосознанного, но не слепого.

Иногда меня спрашивают, внесли ли русские свой вклад в эту психологию. Без сомнения, можно назвать имя Бехтерева. По правде говоря, я мало о нем знаю. А вот «Войну и мир» вспомнить необходимо. Ее последние триста страниц представляют собой пламенную речь, утверждающую коллективную психологию, а весь роман — ее выражение. Противоположность, обнаруженная Львом Толстым между Кутузовым и Наполеоном, предвосхищает различие между лидером типа Моисея и тотемическим лидером, которое я пытаюсь показать в своей книге. Я, впрочем, уверен, что значимость явлений такого рода не ускользнула от внимания великих русских писателей и философов.

Не случайно, что о психологии масс судят так, как если бы речь шла об астрологии, несмотря на то, что самые выдающиеся мыслители и классики психологии занимались ею. Я полагаю, это от того, что она недоступна экспериментальной верификации или математическому выражению. Но можно также перевернуть это утверждение, заявив, что ее положения и не пытались верифицировать или придавать им математическое выражение именно для того, чтобы закрепить табу. Пренебрежительный смысловой оттенок, который приобрела вокабула «психология масс», обнаруживает страх перед ней и, в конечном счете, перед людьми, солидарными с обществом.

Заинтересовать этой наукой, побудить исследователей к изучению ее феноменов, снять табу, которым одни пользуются, и которое других лишает возможности понимания — вот что было целью этой книги. Я хотел бы достичь ее, но уверенности у меня нет. Это, конечно, вовсе не снижает ни важности проблем, поднимаемых этой дисциплиной, ни ценности решений, предлагаемых ею. По крайней мере до того момента, пока не появится новое поколение исследователей, которое и в научном, и в социальном смыслах будет лучше подготовлено для того, чтобы снова рисковать и предлагать новые решения. Я желал бы наступления этого как можно раньше для того, чтобы будущее демократии и человеческого общества, зависящего от нее, оказалось в более сильных и надежных руках.

Серж Московичи

ВВЕДЕНИЕ

I

Идея написать о психологии масс посетила меня, когда я осознал очевидность факта, затмевающего, хорошо это или плохо, все остальное. Дело в том, что в начале этого века можно было с уверенностью говорить о победе масс; в конце мы полностью оказываемся в плену вождей. Социальные потрясения, всколыхнувшие поочередно почти все страны мира, открыли дорогу режимам, во главе которых встали вожди из числа авторитетов. Какой-нибудь Мао, Сталин, Муссолини, Тито, Неру или Кастро, а также изрядное число их соперников осуществляли и осуществляют абсолютное господство над своим народом, и тот в свою очередь преданно им поклоняется. Теперь перейдем от наций к общественным образованиям других уровней: партиям, церквям, сектам или направлениям мысли и понаблюдаем, что же происходит в них. Тело общества пронизывает повсюду одно и то же явление, которому, похоже, ничто не противодействует.

Побеждают революции, один за другим возникают новые режимы, устои прошлого рассыпаются в прах, остается неизменным лишь стремительное возвышение вождей. Они, разумеется, всегда играли какую-то роль в истории, но никогда ранее она не была столь решающей, никогда потребность в вождях не была такой острой. Сразу возникает вопрос: совместимо ли такое стремительное восхождение с принципом равенства (основой всякого правления в цивилизованных странах), со всеобщим прогрессом военных сил и культуры, с распространением научных знаний? Неужели оно является неизбежным следствием всех тех особенностей современного общества, с которыми оно, казалось бы, несовместимо? Ведь поначалу, когда большинство захватывает власть, она временно переходит в руки меньшинства, но только до того момента, пока один человек не отнимет ее у всех остальных. Этот исключительный человек теперь воплощает собой закон. Он обладает властью направлять массы людей на героические сражения, на гигантские стройки. А они открыто приносят ему в жертву свои интересы и нужды, вплоть до собственной жизни. По приказу вождя толпа его приверженцев беспрекословно идет на преступления, потрясающие воображение, совершает бесчисленные разрушения.

Такая власть не может осуществиться, не лишив людей ответственности и свободы. Более того, она требует их искренней вовлеченности. Хотя нам не привыкать к таким парадоксальным эффектам и их накопление даже притупляет нашу впечатлительность, тем не менее они продолжают нас удивлять, а порой шокировать, заставляя думать, что мы сами становимся их причиной.

Мы полагали, даже считали аксиомой, что единоличное господство наконец изживет себя и о нем будут знать только понаслышке. Оно должно было бы стать какой-то диковиной, как культ героев

или охота на ведьм, о которых пишут в старинных книгах. Кажется, трудно сказать что-то новое на эту старую тему. Но, не внося никаких новаций, мы довели до предела совершенства то, что в иные времена с их тиранами и Цезарями начиналось в зародыше. Мы создали модель и превратили опытный образец в систему. Давайте признаем, что, пронизывая многообразие культур, обществ и групп, поддерживаемая ими, установилась однотипная система власти, в которой утверждает себя личность — власть вождей. Leader по-английски, Lider massimo, presidente или caudillo по-испански, duce по-итальянски, Fuhrer по-немецки: название вождя не так уж важно. Оно описывает всякий раз одну и ту же реальность, и каждое из этих слов точно соответствует предмету. Без сомнения, не все ли равно, жить под властью какого-нибудь Муссолини или Гитлера, Тито или Сталина, Кастро или Пиночета или же следовать за Ганди или Мао. Каждая ситуация уникальна по своей природе и отличается от других своим конкретным воплощением, как любой ребенок отличается от своих братьев и сестер. И все же в каждом случае проявляется какое-то новое качество политики, некая культурная самобытность, и эта самобытность до сих пор осталась необъясненной как по части ее интенсивности, так и размаха. Ведь, пожалуй, напрасно было искать аналогии ей в прошлом.

Такая относительная новизна является первым пунктом. А вот второй. Историки и социологи учат нас выявлять скрытые и безличные причины, действующие за фасадом событий и поведения людей. Они объясняют их власть объективными законами экономики и техники. За блеском так называемых великих людей они заставляют нас увидеть труд народа, работу промышленников и финансистов. Они предостерегают нас против мифа о герое, об этой провиденциальной личности, появления которой было бы достаточно, чтобы изменить ход истории. Однако что же происходит? Стоит нам перевести взгляд с их книг на подмостки исторической драмы, мы увидим, что этот миф продолжает с успехом разыгрываться. Он возрождается из пепла в строгом ритуале церемоний, в парадах и речах. Толпы участвуют в гигантских инсценировках на стадионах или около мавзолеев, которые оставляют далеко позади себя чествования римских или китайских императоров. Эти спектакли, как подсказывает здравый смысл, суть иллюзии, даже если в них участвует весь мир, наблюдая за происходящим на телевизионных или киноэкранах. Но так же, как и весь мир, я верю в то, что вижу. Этот захватывающий ритуал, эта грандиозная инсценировка, ставшие составной частью пашен цивилизации, как цирковые зрелища стали частью римской цивилизации, отвечают своему назначению. Они важны для ее психологии и для ее выживания. Поскольку все, что бы ни происходило на подмостках истории, имеет причину в личности, приписывается необыкновенным подвигам и качествам великого человека: триумф революций, прогресс науки, перепады производства, а также выпадение дождей и излечение больных, героизм солдат и вдох-

новение в искусстве. Социальные феномены и исторические тенденции также объясняют субъективными законами гения — таков был случай Сталина и Мао, — оплакивая при этом бедность языка и скудость превосходных степеней, не позволяющих выразить его величие.

В большинстве случаев то, что я только что привел, вещи отнюдь не исключительные, вожди наделяются чрезвычайной миссией. Они слывут долгожданными мессиями, пришедшими вести свой народ к земле обетованной. И, несмотря на предостережения некоторых светлых умов, масса видит себя в них, узнает и как бы обобщает в них себя. Она их боготворит и прославляет подобно сверхчеловекам, наделенным всемогуществом и всеведением, которые умеют служить людям, владычествуя над ними. Плененная и напуганная, масса превращает этих новоявленных Заратустр в полубогов, все суждения которых непреложны, все действия справедливы, все речи истинны. Их могущество, родившееся поначалу под давлением обстоятельств, затем для удобства видоизмененное, принимает в конце концов вид системы. Эта система работает автоматически и универсально. Таким образом, в недрах большого общества само собой формируется сообщество авторитетных (харизматических, если угодно) вождей, малое, но более энергичное и волевое. И ему не составляет никакого труда управлять миром без его ведома.

II

Из-за своего размаха этот феномен застал врасплох большинство теорий и наук об обществе. Мыслители не поверили своим глазам, когда он впервые обнаружил себя в Европе, а точнее, в Италии и в России. Одни восприняли его как болезненное расстройство человеческого разума, другие — как временное отклонение от обычного хода вещей. В нем главным образом видели необходимое средство сохранения общественного порядка в капиталистическом мире или рождения нового порядка в мире социалистическом. Это, как полагали, своего рода катализатор, поскольку диктатура слывет такой формой правления, при которой «изменение имеет больше всего возможностей произойти легко и быстро» (Платон). Конечно, нет ни диктатуры, ни диктатора, именуется ли он Мао Цзе Дуном или Пол Потом, без злоупотреблений и преступлений. При этом спешат добавить, что речь идет о недоразумениях, досадных случайностях, которые долгое время служили и будут служить делу прогресса и свободы народов.

За эту животрепещущую тему, тему власти вождей взялась однаединственная наука, которая, собственно, с самого начала и была создана специально для изучения этого предмета, — психология масс или толп. Она предвидела их взлет, когда никто еще об этом и не помышлял. Сама того не желая, она обеспечила практическим и интеллектуальным инструментарием подъем их могущества, а однажды победоносно противостояла ему. В этом могуществе и его проявлениях она увидела одну

из черт современного общества, признак новой жизни человечества. Меня удивляет, что даже теперь считают возможным игнорировать ее теоретические построения и вообще без них обходиться. Между тем, они должны быть оценены, так как именно они позволили выявить и описать то, что другие науки упустили — некую реальность, которую они продолжают не замечать, считая ее непостижимой. Мы же на протяжении всей этой книги будем убеждаться в ее значимости. Я без малейшего колебания могу утверждать, что психология масс наравне с политической экономией является одной из двух наук о человеке, идеи которых составили историю. Я имею в виду, что они совершенно конкретно указали на события нашей эпохи. По сравнению с ними социология, антропология или лингвистика остаются науками, которые история получила готовыми.

С точки зрения этой психологии экономические или технические факторы, несомненно, содействуют обретению вождями их могущества. Но есть одно магическое слово, обозначающее ту самую единственную действительную причину: это слово «толпа», или еще лучше «масса». Его часто упоминают в разговорах еще со времен Французской революции. Однако нужно было дождаться двадцатого века, чтобы уяснить его смысл и придать ему научное значение. Ведь масса — это временная совокупность равных, анонимных и схожих между собой людей, в недрах которой идеи и эмоции каждого имеют тенденцию выражаться спонтанно.

Толпа, масса — это социальное животное, сорвавшееся с цепи. Моральные запреты сметаются вместе с подчинением рассудку. Социальная иерархия ослабляет свое влияние. Стираются различия между людьми, и люди выплескивают, зачастую в жестоких действиях, свои страсти и грезы: от низменных до героических, от исступленного восторга до мученичества. Беспрестанно кишащая людская масса в состоянии бурления — вот что такое толпа. Это неукротимая и слепая сила, которая в состоянии преодолеть любые препятствия, сдвинуть горы или уничтожить творения столетий.

Разрыв социальных связей, быстрота передачи информации, беспрерывная миграция населения, ускоренный и раздражающий ритм городской жизни создают и разрушают человеческие сообщества. Будучи разрозненными, они воссоздаются в форме непостоянных и разрастающихся толп. Это явление приобретает невиданный прежде размах, из чего следует его принципиальная историческая новизна. Именно поэтому в цивилизациях, где толпы играют ведущую роль, человек утрачивает смысл существования так же, как и чувство «Я». Он ощущает себя чуждым в скоплении других людей, с которыми он вступает лишь в механические и безличные отношения. Отсюда и неуверенность, и тревога у каждого человека, чувствующего себя игрушкой враждебных и неведомых сил. Отсюда же его поиск идеала или веры, его потребность в каком-то образце, который бы ему позволил

восстановить ту целостность, которой он жаждет. Эта, по выражению Фрейда, «психологическая нищета масс» достигает всемирных масштабов. Она и составляет фон, на котором авторитетные, или харизматические, вожди, обладая призванием объединять, заново творят мощные общественные связи. Они предлагают образец и идеал, ответ на вопрос: кто делает так, чтобы жизнь стоила того, чтобы жить? Вопрос в высшей степени политический в то время, когда уже миновало унитарное видение природы, время, когда ни одна модель ни в обществе, ни в исчезающих религиях не может обеспечить приемлемого смысла простого факта существования.

Подытожим: рождение любой формы коллективной жизни всегда совпадало с появлением на свет нового человеческого типа. И напротив, закат какой-либо из этих форм всегда сопровождается исчезновением определенного типа людей. Мы существуем в эпоху массовых обществ и человека-массы. С обычными качествами, присущими всем тем, кто руководит людьми и координирует их действия, вожди должны сочетать магические свойства пророка, заставляющие восхищаться каждым их шагом и пробуждать энтузиазм. Массы можно было бы сравнить с шаткой грудой кирпича, сложенной без специальной кладки и раствора, которая, будучи лишенной цементирующего вещества, может рухнуть от порыва ветра. Давая каждому человеку ощущение личной связи, вынуждая его разделять общую идею, одно и то же мировоззрение, лидер предлагает ему своего рода эрзац общности, видимость непосредственной связи человека с человеком. Достаточно нескольких броских образов, одной или двух формул, ласкающих слух и доходящих до сердца, или напоминания о великой коллективной вере — и есть цемент, связывающий людей и поддерживающий целостность массового сооружения. Грандиозные церемонии, беспрестанные собрания, демонстрации силы или веры, проекты будущего, одобряемые всеми, и т. д. — всякое торжественное выражение объединения сил и подчинения коллективной воле творит драматическую атмосферу экзальтации.

Выделяясь на фоне людской массы, которая расточает ему всяческие хвалы и курит фимиам, вождь зачаровывает ее своим образом, обольщает словом, подавляет, опутывая страхом. В глазах такого раздробленного людского множества индивидов он является массой, ставшей человеком. Он дает ей свое имя, свое лицо и свою активную волю.

Наполеон великолепно умел производить такое впечатление на солдат французской революционной армии. А Сталину удалось воплотить для коммунистов всего мира то, что Мишле называл «согласием народа в одном человеке». И один, и другой были убеждены в безграничном благоговении множества людей, которым они взялись служить образцом. Превращение многочисленной толпы в единое существо придает вождю притягательность сколь зримую, столь и необъяснимую. Результатом этого особого сплава становится единое целое — обаятельный персонаж, который пленяет и увлекает, стоит только лидеру заговорить

или начать действовать. Воплощенное искусство достижения таких целей затрагивает прежде всего чувствительные струны сердца, затем моменты веры и, наконец, взывает к чаяниям. Возможности разума играют в этом лишь вспомогательную роль. И, если вглядеться, в наших массовых обществах такое искусство возбуждения толп *есть не что иное, как религия, вновь обретшая почву под ногами*.

III

Итак, в отношении психологии толп речь идет о выяснении причин неразрывной связи вождя с народом, превращения народа в тень вождя. Очевидно то, что их связывает, — это власть. Народ ее завоевал и удерживает. Вождь же ее домогается с той же алчностью, с какой верующий жаждет жизни после смерти. По правде говоря, борьба, которую он ведет за ее захват, начинается в лояльном духе. Он хочет упразднить несправедливости прошлого, найти пути излечения расточительной и неэффективной экономики, обеспечить обездоленным благосостояние, без которого жизнь убога, и тем самым утвердить авторитет нации. С выходом из кризисного военного или революционного периода эта программа требует переориентирования на эффективность, на управление в духе общественной пользы.

Обычно полагают, что хаос там, где царит анархия в прямом смысле этого слова: в отсутствии всякого авторитета, будь то авторитет личности или партии. Это заблуждение, и под его прикрытием руководитель, каков бы он ни был, может укреплять свою власть за счет соперников, наводя порядок в учреждениях и на производстве. Эти успехи позволяют ему сплотить массы, втянуть их в борьбу и требовать от них необходимых жертв.

Первая жертва состоит в отказе от контроля за властью и того удовлетворения, которое дает свобода, для того, чтобы его сторонники и соратники могли бы лучше управлять и были более управляемыми благодаря максимально сокращенным и ускоренным управленческим ходам. Так, прибегая к защитным ударам, и форсируется захват власти. А народ от избытка доверия допускает и узаконивает противоестественные приемы надсмотра, подозрение и гнет. И это происходит во многих сферах: начинается с принятия принципов, а заканчивается их фальсификацией. Исторические труды свидетельствуют, что все, поначалу казавшееся лишь уступкой обстоятельствам, заканчивается неизменно сдачей позиций — законодательными ассамблеями при Наполеоне, советами при Сталине.

Все эти уловки, конечно, имеют свою аранжировку в соответствии с фигурой вождя и идеями, которые вознесли его на вершину. Ведь без таких идей это мечи из картона, а власть — лишь мимолетная вспышка. Любые выборы, любые повседневные дела, работа, любовь, поиск истины, чтение газеты и т. д. становятся плебисцитом по его имени. Ведь его влияние, было ли оно получено с согласия масс или вырвано

в результате переворота, основывается на всеобщем одобрении, то есть принимает вид демократии. Не будем забывать, что даже Гитлер и Муссолини стали главами государства в результате законных выборов, которые они впоследствии превратили в государственные перевороты. Короче говоря, во всех этих случаях социальная анархия изгоняется для того, чтобы надежнее внедрить насилие и зависимость.

То, что на Востоке называется культом личности, а на Западе персонализацией власти, несмотря на их огромные различия, является всего лишь двумя крайними вариантами одного и того же. Народ каждодневно отказывается от бремени самостоятельности, подтверждая это при очередном опросе и на проводимых выборах. Завоевание лидером права действовать самостоятельно не менее каждодневно и никогда не приобретается окончательно. «Вожди толп», как их называл Ле Бон, обычно проделывают такой обмен и побуждают принять эти отношения с энтузиазмом. В этом они буквально следуют принципу политического общества, а именно — *масса царит, но не правит*.

IV

Существует какая-то мистерия масс. Правда, наша любознательность охлаждается скромными достижениями современной общественной мысли. Но зато чтение произведений классиков ее пробуждает. Сколько бы ни умалчивали ее, сколько бы ее ни искажали, или даже забывали о ней, невозможно ее совершенно проигнорировать, тем более уничтожить. Советский философ Зиновьев еще недавно писал в своем труде «Без иллюзий»: «В целом эти феномены психологии масс ускользают от историков, которые принимают их за вторичные элементы, не оставляющие никакого видимого следа. А на самом деле их роль огромна». Лучше и лаконичнее не скажешь. Психология толпы родилась, когда ее пионеры задались вопросами, которые в общем-то у всех на устах: каким образом вожди оказывают такое влияние на массы? Неужели человек-масса вылеплен из другого теста, чем человек-индивидуум? Есть ли у индивидуума потребность в вожде? Почему, наконец, именно наш век — это век толп? Успех ответов на эти вопросы был ошеломляющим настолько, что сегодня даже трудно себе представить. Влияние этой психологии широко распространилось на политику, философию и даже литературу, и ее развитие продолжалось. Разумеется, она воспользовалась уже известными фактами, идеями, ранее эксплуатировавшимися поэтами, философами и мыслителями в сфере политики. Но она их преподнесла в новом свете, сняла тайный покров с удивительных сторон человеческой натуры. В ее наблюдениях очертания массового общества вырисовывались именно такими, какими мы их знаем сегодня, в завершенном виде. Именно в тот момент, когда такое общество, быть может, уже клонится к закату.

Я не стал бы излишне распространяться о значимости изучения работ, которые Ле Бон, Тард и Фрейд, все три первопроходца этой нау-

ки, посвятили разгадке тайны. Между тем, как и другие, я не так уж много знал о них, взявшись писать эту книгу. Поначалу я их изучал как ученый-антиквар, пытаясь уточнить, воссоздать их истоки и датировать те обстоятельства, в которых каждый из авторов их создавал. Стряхивая пыль, покрывшую большую часть этих трудов, особенно принадлежащих Ле Бону и Тарду, я пытался возместить упущенное, заполнить лакуну в наших знаниях. Но по мере продвижения своей работы я понял, что шел ложным путем, следуя общепринятому мнению. Мне стало казаться, что эти работы не просто руины какого-то сооружения, плохо выдержавшего испытание временем, реликвии, которым есть смысл предпочесть самые недавние тексты, как говорится, на пике прогресса.

По правде говоря, вот уже почти столетие ограничиваются их повторением и пространным пересказом, более отточенным, менее сырым, пожалуй, даже несколько более лицемерным языком. Было, разумеется, некоторое продвижение за это время, предложены иные направления, но это сделано именно в тех рамках, которые ясно очертили данные работы. Я мог констатировать совершенно очевидную общность вопросов и ответов психологии масс, глубокую внутреннюю связь в этом смысле между работами. Это и обязывает трактовать их вместе, понимать каждую из них, имея в виду другие. Исходя из этого, я приступил к ним одновременно как путешественник, который, попав в незнакомое место, посещает дом за домом, обследует улицу за улицей, чтобы внезапно обнаружить, что он осмотрел город, построенный по некоему плану, и охватывает этот план одним взглядом.

Эта книга и есть план науки о толпах, к которому я пришел в поисках связи, существующей между отдельными частями, разработанными тем или иным автором. Прежде всего я спросил себя, какой будет его классическая архитектура и из каких научных материалов его построили. Затем я занялся тем, что называется рациональной реконструкцией каждой из теорий, чтобы выявить достижения каждого автора по проблемам, оставшихся нерешенными его предшественниками. Эти достижения позволили создать целостную систему — парадигму, используя модное слово, — которую можно принимать или нет, но сила которой в самом ее существовании.

Несомненно, для того чтобы благополучно проделать эту реконструкцию, которая всегда является своего рода изобретением, я упростил базовые принципы. Я также довел до логического конца суждения каждого автора и придал связям между этими суждениями гораздо большую силу сцепления, чем она у них была. От начала и до конца я придерживался установки исследователя, который задался целью сделать психологию масс аналитической наукой (чего еще никто не пытался сделать и что затрудняется самим характером данных!) подобно тому, как это решается в механике или экономике, науке в полной мере аналитической. Другими словами, сохранив от начала и до конца то же самое содержание, я прояснил структуру и тем самым систему

объяснений; так обрезают мясо, оставляя скелет. Я был вынужден поступать таким образом еще и потому, что труды Ле Бона, Тарда и Фрейда, посвященные психологии масс, в общем незавершенные, содержат повторы и существенные различия. Ни один из этих авторов не довел до конца свои планы, либо из-за сложности задачи, либо просто не успев. Итак, читатель должен подготовиться к тому, что найдет здесь меньше идей, чем эти авторы заложили в построение созданной ими науки и каждый в отдельности, и все вместе.

V

Теперь я подошел к последнему пункту, к которому должен был обратиться: позиция автора. Воссоздание системы психологии масс, несмотря на богатство материала, не представляется мне легкой задачей. На каждом шагу открывается, мягко говоря, не слишком лестная картина общественной жизни с ее лидерами и массами. Здесь неизбежно обнаруживаются все те черты, которые делают власть невыносимой: пренебрежение разумом, изощренная жестокость и деспотизм. В неменьшей степени приводит в уныние облик толп, жаждущих повиновения, становящихся жертвой собственных импульсивных действий и по природе своей лишенных сознания. Кроме того, эта наука оставляет в стороне от выдвигаемых ею гипотез хорошо знакомые нам экономические, исторические и технические факторы, определяющие содержание власти и объясняющие эволюцию обществ. Каковы бы ни были их политические позиции, авторы психологии толпы настаивают на примате психики в коллективной жизни. Они подвергают критике господствующие теории от Дюркгейма до Маркса, поскольку те пренебрегают аффективными и бессознательными силами. Это их ахиллесова пята, когда они пытаются перейти от мира идей к миру реальности. Более того, на старый вопрос, хорош человек или плох, они отвечают, что человек в толпе скорее плох, как если бы они это определенно знали. Надо полагать, для того чтобы избежать ловушек слишком сильных оценок и показаться здравым, наилучшее средство — последовать максиме философа Брэдли: «Когда что-то плохо, то надо хорошо представлять себе худшее». И во всяком случае не строить никаких иллюзий. Ведь приятная неожиданность заведомо лучше определенного разочарования.

Это все далеко, как вы догадываетесь, от обычного почтения к науке, вдохновленной просветительской философией, подразумевающей, что любая сегодняшняя драма завершится happy end в будущем. И даже основательно поразмыслив над фундаментальными положениями психологии толпы, я в большом затруднении — как их понять. Если точнее, во мне поднялся внутренний протест против ее взгляда на человека и общество, слишком сильно расходящегося с теми убеждениями, которых я придерживался во многих своих книгах. Мне трудно привыкнуть к ее тональности, которую можно проиллюс-

трировать названием одного из романсов Шуберта «Тише, все тише». Разумеется, я допускаю, что надо бы избегать идеализации человека и общества. Допускаю, что полезно разрушать фабрики иллюзий, если принять во внимание наш недавний исторический опыт. Однако мне кажется трудным отрицать в идеалах демократии и свободы некоторую необходимость и даже общественную силу. Именно поэтому всегда находились люди, борющиеся за их восторжествование и за изменение того положения вещей, которое в силу своей устойчивости, кажется, стало нашим роком: наверху вожаки, внизу ведомые.

Вот в этом и состоит истинная сложность: чем больше изучают психологию толп, тем более очевидным становится, что ее сила как раз в отказе от рассмотрения человека сквозь призму обычной морали, в ее настойчивом повторении, с учетом того, каковы мы на самом деле, того, что наши идеалы еще очень долго останутся недостижимыми. Можно, конечно, попенять этим первопроходцам за подобную точку зрения. Можно даже ее отвергать из-за ее консервативного характера, не оставляющего места таинственности. Но это означало бы признать их посредственностями, которые не видели дальше пределов своего социального класса и своей эпохи. Между тем важно понять, что их теории родились из размышлений по поводу либеральной демократии, поборниками которой они были, а также по поводу того, какой оборот приняли революции в нашем веке, свидетелями чему они были сами. И их размышления обращаются к вечному здравому смыслу, который всегда в ходу и у хозяев мира, и у народа. Привлекательность психологии толп как раз и обусловлена ее непротиворечием здравому смыслу, так что она, по всей видимости, затрагивает неизменные тенденции человеческих обществ.

И все-таки больше всего смущает практика, то есть возможность успешного приложения их идей. Они выглядят то элементарными, то, более того, смешными. Но при всем том они получили в событиях недавнего прошлого почти абсолютное подтверждение, что подчеркивают многие очень проницательные наблюдатели, в частности немецкий социолог Т. Адорно. Однако то, каким образом такая полуправда могла убеждать, заставлять признать себя рычагом управления массами, — это все еще удивляет.

Этот успех заставляет признать ее причиной слишком многого в нашей цивилизации, чтобы мы могли позволить себе ее игнорировать. Психология толп владеет по крайней мере одним из ключей власти вождей в нашу эпоху. А заниматься прожектерством по поводу демократии просто несерьезно, пока мы не попытаемся понять, как эта власть ее ограничивает или оттесняет. Такова программа этой книги: продвигаться возможно глубже к сердцевине науки, которая рассматривала нашу эпоху некомплиментарно, откровенно говорила о господстве одного человека над другим и раскрыла рецепты этого господства в массовом обществе. Я не разделяю такого понимания Истории, я сомневаюсь в истинности этой науки, но я принимаю сам факт ее существования.

Итак, вот мой маршрут. В первой части я представляю причины появления науки о массах и темы, которые она рассматривает. Вторая и третья части посвящены ее изобретению Ле Боном, вначале описанию толп, потом вождя и, наконец, приемам управления. Приемам, тиражируемым современной пропагандой и рекламой. В четвертой и пятой частях я показываю, как Тард распространил это описание на целую совокупность форм социальной жизни и проанализировал влияние вождей на массы. Решающим вкладом остается его неизменно актуальная теория массовой коммуникации. Продвижение на этом пути откроет неизвестную ранее грань наук о человеке во Франции. Наконец, в последних четырех частях, я, исходя из многих набросков, воссоздаю то объяснение, которое дал массовым феноменам Фрейд. Являясь синтезом и увенчивая работы его предшественников, это объяснение исходит из новой точки зрения, превращая их гипотезы в логическую систему. По правде говоря, это — единственное объяснение, которым мы располагаем в данной психологии. И мы вполне можем считать его классическим.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАУКА О МАССАХ

ГЛАВА 1

ИНДИВИД И МАССА

I

Если бы вы попросили меня назвать наиболее значительное изобретение нашего времени, я бы, не колеблясь, ответил: индивид. И по причине совершенно очевидной. С момента появления человеческого рода и до Возрождения горизонтом человека всегда было мы: его группа или его семья, с которыми его связывали жесткие обязательства. Но, начиная с того момента, когда великие путешествия, торговля и наука выделили этот независимый атом человечества, эту монаду, наделенную собственными мыслями и чувствами, обладающую правами и свободами, человек разместился в перспективе «я» или «я» сам. Его ситуация вовсе не легка. Индивид, достойный этого имени, должен вести себя согласно своему разуму, надо полагать, судить бесстрастно о людях и вещах и действовать с полным сознанием дела. Он должен принимать чужое мнение только с достаточным на то основанием, оценив его, взвесив все «за» и «против» с беспристрастностью ученого, не подчиняясь суждению авторитета или большинства людей. Итак, мы от каждого ожидаем, что он будет действовать рассудительно, руководствуясь сознанием и своими интересами, будь он один или в обществе себе подобных.

Между тем наблюдение показывает, что это вовсе не так. Любой человек в какой-то момент пассивно подчиняется решениям своих начальников, вышестоящих лиц. Он без размышления принимает мнения своих друзей, соседей или своей партии. Он принимает установки, манеру говорить и вкусы своего окружения. Даже ещё серьезнее, с того момента, как человек примыкает к группе, поглощается массой, он становится способным на крайние формы насилия или паники, энтузиазма или жестокости. Он совершает действия, которые осуждает

его совесть и которые противоречат его интересам. В этих условиях все происходит так, как если бы человек совершенно переменился и стал другим. Вот ведь загадка, с которой мы сталкиваемся постоянно, и которая не перестает нас изумлять. Английский психолог Бартлетт в одной классической работе очень точно замечает по поводу человека государства:«Великая тайна всякого поведения — это общественное поведение. Я вынужден был им заниматься всю свою жизнь, но я не претендовал бы на то, что понимаю его. У меня сложилось впечатление, что я проник насквозь в глубину человеческого существа, но, однако, ни в малейшей степени не осмелился бы утверждать ничего о том, как он поведет себя в группе»[1].

Откуда такое сомнение? Почему же невозможно предсказать поведение друга или близкого человека, когда он будет находиться на совещании специалистов, на партийном собрании, в суде присяжных или в толпе? На этот вопрос всегда отвечают следующим образом: потому, что в социальной ситуации люди ведут себя недобросовестно, не обнаруживают своих лучших качеств. Даже напротив! И речи не идет о том, чтобы добавить нечто друг другу, взаимно усовершенствоваться, нет, их достоинства имеют тенденцию убывать и приходить в упадок. В самом деле, уровень человеческой общности стремится к низшему уровню ее членов. Тем самым все могут принимать участие в совместных действиях и чувствовать себя на равной ноге. Таким образом, нет оснований говорить, что действия и мысли сводятся к «среднему», они скорее на нижней отметке. Закон множества мог бы именоваться законом посредственности: то, что является общим для всех, измеряется аршином тех, кто обладает меньшим. Короче говоря, в сообществе первые становятся последними.

Никакого труда не составило бы выстроить обширную антологию, доказывающую, что эта концепция распространяется на все народы. Так, Солон утверждал, что один отдельно взятый афинянин — это хитрая лисица, но когда афиняне собираются на народные собрания в Пниксе[1] уже имеешь дело со стадом баранов. Фридрих Великий очень высоко ценил своих генералов, когда беседовал с каждым из них по отдельности. Но при этом говорил о них, что собранные на военный совет, они составляют не более, чем кучку имбецилов. Поэт Грильпарцер утверждал: «Один в отдельности взятый человек довольно умен и понятлив; люди, собранные вместе, превращаются в дураков».

Немецкие поэты были не единственными, кто констатировал этот факт. Задолго до них римляне придумали поговорку, которая имела большой успех: Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia, что означает: «сенаторы — мужи очень достойные, римский сенат — это скверное животное». Так они определяли контраст вероятных

[1] Пникс — холм в западной части древних Афин, напротив Акрополя, служивший местом народных собраний. — *Прим. пер.*

достоинств каждого сенатора в отдельности и неблагоразумие, неосмотрительность и нравственную уязвимость, запятнавшую совместные обсуждения в собрании, от которых зависели тогда мир или война в античном обществе. Возвращаясь к этой пословице, Альберт Эйнштейн восклицает: «Сколько бед такое положение вещей причиняет человечеству! Оно является причиной войн, наводняющих землю скорбью, стонами и горечью»[2]. А итальянский философ Грамши, имевший богатый человеческий опыт и много размышлявший над природой масс, дал ей очень точную интерпретацию. Как он полагает, пословица означает: «... толпа людей, ведомых их непосредственными интересами или ставших жертвой страсти, вспыхнувшей в ответ на сиюминутные впечатления, без какой-либо критики передаваемые из уст в уста, эта толпа объединяется для того, чтобы принять вредное коллективное решение, соответствующее самым что ни на есть звериным инстинктам. Это верное и реалистическое наблюдение, если только оно относится к случайным толпам, которые собираются как „толпа во время ливня под навесом", состоящая из людей, не несущих никакой ответственности перед другими людьми или группами, либо связанных с какой-то конкретной экономической реальностью — это деградация, которая аналогична личностному упадку» [3].

Эта интерпретация подчеркивает двойной аспект одного и того же упрямого и фундаментального факта: взятый в отдельности, каждый из нас в конечном счете разумен; взятые же вместе, в толпе, во время политического митинга, даже в кругу друзей, мы все готовы на самые последние сумасбродства.

II

Всякий раз, когда люди собираются вместе, в них скоро начинает обрисовываться и просматриваться толпа. Они перемешиваются между собой, преображаются. Они приобретают некую общую сущность, которая подавляет их собственную; им внушается коллективная воля, которая заставляет умолкнуть их личную волю. Такое давление представляет собой реальную угрозу, и многие люди ощущают себя уничтоженными.

При встрече с таким материализованным, передвигающимся, кишащим общественным животным некоторые слегка отступают, прежде чем броситься туда с головой, другие испытывают настоящую фобию. Все эти реакции характеризуют влияние толпы, психологические отклики на нее, а через них и те, уже рассмотренные, эффекты, которые ей приписывают. Мопассан описал их с такой поразительной точностью, на которую способны немногие ученые: «Впрочем, — пишет он, — я ещё и по другой причине испытываю отвращение к толпам. Я не могу ни войти в театр, ни присутствовать на каком-то публичном празднестве. Я тотчас начинаю ощущать какую-то странную нестерпимую

дурноту, ужасную нервозность, как если бы я изо всех сил боролся с каким-то непреодолимым и загадочным воздействием. И я на самом деле борюсь с этой душой толпы, которая пытается проникнуть в меня. Сколько раз я говорил, что разум облагораживается и возвышается, когда мы существуем в одиночку, и что он угнетается и принижается, когда мы перемешиваемся с другими людьми. Эти связи, эти общеизвестные идеи, все, о чем говорят, что мы вынуждены слушать, слышать и отвечать, действует на способность мыслить. Приливы и отливы идей движутся из головы в голову, из дома в дом, с улицы на улицу, из города в город, от народа к народу, и устанавливается какой-то уровень, средняя величина ума для целой многочисленной массы людей. Качества разумной инициативы, свободной воли, благонравного размышления и даже понимания любого отдельного человека полностью исчезают с того момента, как индивидуум смешивается с массой людей» [4].

Несомненно, что мы здесь имеем дело с рядом предвзятых идей Мопассана, с его предубеждением против толпы и его переоценкой индивида, не всегда обоснованной. Следовало бы даже сказать, с рядом предвзятых идей его времени и его класса. Но описание связи между человеком и сообществом (или между художником и массой), которая устанавливается в трех его фразах: инстинктивный страх, тревожное ощущение непреодолимой утраты, наконец, гигантская круговерть загадочных, почти осязаемых, если не видимых воздействий, — все это кричащая правда.

А тенденция к обезличиванию умов, параличу инициативы, порабощению коллективной дутой индивидуальной души — все это следствия погружения в толпу. Это не единственные, но наиболее частые ощущения. Ужас, переживаемый Мопассаном, помогает ему определить две причины испытываемой дурноты: он полагает, что утрачивает способность владеть рассудком, собственные реакции кажутся ему чрезмерными и в эмоциональном плане доведенными до крайности. И он, таким образом, приходит к постановке тех же самых вопросов, которыми задаются ученые, размышляющие над описанным явлением. «Одно народное изречение гласит, — пишет он, — что толпа не рассуждает». Однако почему же толпа не рассуждает, в то время как каждый индивид из этой толпы, взятый в отдельности, рассуждает? Почему эта толпа стихийно совершит то, чего не совершит ни одна из ее единиц? Почему эта толпа обладает непреодолимыми импульсами, хищными желаниями, тупыми увлечениями, которых ничто не остановит и, охваченная одной и той же мыслью, мгновенно становящейся общей, невзирая на сословия, мнения, убеждения, различные нравы, набросится на человека, искалечит его, утопит беспричинно, почти что беспричинно, тогда как каждый, если бы он был один, рискуя жизнью, бросился бы спасать того, кого сейчас убивает» [5].

Эти строки, такие верные по тону и точные по мысли, не нуждаются в комментариях. Невозможно лучше сказать то, что так мастерски вы-

разил писатель. Однако Мопассан в одном пункте ошибается. Не одно только народное изречение отрицает разумность человеческих групп и сообществ. В подтверждение существования этих двух моделей, ему вторят философы, выражая расхожее мнение: «Справедливые и глубокие идеи индивидуальны, — пишет Зиновьев. — Идеи ложные и поверхностные являются, массовыми. В массе своей народ ищет ослепления и сенсации»[6].

Симона Вейль, французский философ, широко известная своим нравственным пафосом, поддерживает это мнение: «В том, что касается способности мыслить, связь обратная; индивид превосходит сообщество настолько, насколько нечто превосходит ничто, так как способность мыслить появляется только в одном, предоставленном самому себе разуме, а общности не мыслят вовсе»[7].

Эти тексты ясно демонстрируют, что вокруг основной идеи установилось полное согласие: группы и массы живут под влиянием сильных эмоций, чрезвычайных аффективных порывов. И тем более, что им изменяют разумные средства владения аффектами. Одиночный индивид, присутствующий в толпе, видит свою личность глубоко в этом смысле измененной. Он становится другим, не всегда, впрочем, это осознавая. Именно «мы» говорит через его «Я».

Я так подробно остановился на этом для того, чтобы сделать акценты на этих идеях. Дело в том, что, под предлогом их общеизвестности, зачастую проявляется тенденция скользить по поверхности. Доходит даже до их умалчивания, в то время как они являются основой целого ряда общественных отношений и актов.

III

Вот ведь какая проблема встает. Вначале есть только люди. Как же из этих социальных атомов получается коллективная совокупность? Каким образом каждый из них не только принимает, но выражает как свое собственное мнение то, которое пришло к нему извне? Ведь именно человек впитывает в себя, сам того не желая, движения и чувства, которые ему подсказываются. Он открыто учиняет разнузданные расправы, причин и целей которых даже не ведает, оставаясь в полной уверенности, что он знает о них. Он даже склонен видеть несуществующее и верит любой молве, слетающей с уст и достигающей его слуха, не удостоверившись как следует. Множество людей погрязают таким образом в социальном конформизме. За разумную истину, они принимают то, что в действительности является общим консенсусом.

Феноменом, ответственным за столь необычное превращение, становится внушение или влияние. Речь идет о своего рода воздействии на сознание: какое-то приказание или сообщение с убеждающей силой заставляют принять некую идею, эмоцию, действие, которые логически человек не имел ни малейшего разумного основания принимать. У людей появляется иллюзия, что они принимают решение сами, и

они не отдают себе отчета в том, что стали объектом воздействия или внушения. Фрейд четко обозначил специфику этого феномена: «Я хотел бы высказать мнение относительно различия между внушением и другими типами психического воздействия, такими, как отданный приказ, информирование или инструкция; так вот, в случае внушения в голове другого человека вызывается какая-то идея, не проверенная с самого начала, а принятая в точности так, как если бы она стихийно сформировалась в его голове» [8].

Соответственно, здесь ещё и загадка производимого перевертыша: каждый считает себя причиной того, чему он является лишь следствием, голосом там, где он только эхо; у каждого иллюзия, что он один обладает тем, что, по правде говоря, он делит с другими. А в конечном счете каждый раздваивается и преображается. В присутствии других он становится совсем иным, чем когда он один. У него не одно и то же поведение на людях и в частной жизни. Я хотел бы заключить этот обзор одной аналогией: внушение или влияние — это в коллективном плане то, что в индивидуальном плане является неврозом. Оба предполагают:

- уход от логического мышления, даже его избегание, и предпочтение алогичного мышления;
- раскол рационального и иррационального в человеке, его внутренней и внешней жизни.

В том и в другом случае наблюдается утрата связи с реальностью и потеря веры в себя. Соответственно, человек с готовностью подчиняется авторитету группы или вожака (который может быть терапевтом) и становится податливым к приказаниям внушающего. Он находится в состоянии войны с самим собой, войны, которая сталкивает его индивидуальное «Я» с его «Я» социальным. То, что он совершает под влиянием сообщества, находится в полном противоречии с тем, каким он умеет быть рассудительным и нравственным, когда он наедине с самим собой и подчиняется своим собственным требованиям истины. Я продолжаю аналогию. Так же, как это влияние может охватить и поглотить человека, вплоть до его растворения в такой недифференцированной массе, где он представляет собой не более, чем набор имитаций, так и невроз подтачивает сознательный слой личности до такой степени, что его слова и действия становятся не более, чем живым повторением травмирующих воспоминаний его детства.

Но совершенно очевидно, что их последствия противоположны. Первое делает индивида способным существовать в группе и надолго лишает способности жить одному. Второй мешает ему сосуществовать с другим, отталкивает его от массы и замыкает в себе самом. В итоге воздействие представляет социальное, а невроз — асоциальное начала. Этим не исчерпывается перечисление противоречий, возникающих между двумя антагонистическими тенденциями, состоящими одна в смешении с группой, другая — в защите от нее. Доведенные до крайности в современном обществе, они обострились. Единственное, с чем нам,

безусловно, нужно считаться, — с тем, что так называемые коллективные «безумия» имеют иную природу, нежели так называемые индивидуальные «безумия», и нельзя необдуманно выводить одни из других. После всего сказанного очевидно, что первые возникают вследствие избытка социабельности, когда индивиды врастают в социальное тело. Вторые же являются результатом неспособности существовать вместе с другими и находить в совместной жизни необходимые компромиссы.

Что и говорить, это сопоставление не случайно. С самого начала одни и те же люди изучали воздействие, или влияние, и гипноз. Первое связывалось с коллективной истерией, а второй — с истерией индивидуальной. Нужно все-таки признать замечательное мужество Ле Бона (Лебон Густав *Le Bon Gustave*) и Фрейда, дерзнувших придать этим феноменам научный смысл. Одного, поместившего внушение в центр психологии масс; другого, невроз — в сердцевину психологии индивида.

Никто всерьез не проверял эти гипотезы относительно влияния или внушения. В социальной жизни существует такое убеждение, что менее благородные слои психики замещают более благородные слои, жгучие инстинкты оттесняют холодный рассудок так же, как в природе более благородные энергии (гравитация, электричество) вырождаются в энергию менее благородную, то есть в тепло. Это убеждение сходно с широко распространенным мнением, что в борьбе разума со страстью всегда побеждает страсть. Именно потому, что мы общественные существа.

Тысячи лет люди сталкиваются с аналогичными идеями и пытаются объяснить, почему отдельно взятые люди логичны и предсказуемы, в то время как собранные в массу, они становятся алогичными и непредсказуемыми. Однако с того момента, как им захотелось сделать это предметом науки, необходимо стало четко проанализировать причины и следствия. Только при этом единственном условии можно продвинуться туда, где мудрость народов, их поэтов и философов прокладывает тропу. Объект этого любопытства остается неизменным. Нас он интригует так же, как интриговал их.

ГЛАВА 2
ВОССТАНИЕ МАСС

I

Для того, чтобы родилась наука, недостаточно одного только существования феномена — он известен уже тысячи лет. Недостаточно и его причудливого своеобразия, привлекающего некоторых ученых, неравнодушных к новизне. Необходимо также, пусть эпизодически или безобидно, чтобы он распространялся быстро и повсеместно, не давал бы людям спать, становясь проблемой, которую нужно решать безотлагательно. Кто занимался товарно-денежным обменом до того, как рынки заполонили мир? Кто интересовался истерией до того, как душевнобольных стали изолировать, а душевные болезни в полной мере заявили о себе? Никто или почти никто. Так и внушение или влияние властны превращать личностей в массы, но они извлекаются из глубины здравого смысла и заявляют о себе, становятся центральной темой психологии толпы лишь когда они ширятся и приобретают определенный размах. Их обнаруживает почти повсюду каждый, наблюдая, какие метаморфозы испытывают люди, окунувшиеся в массу, бурлящую на улицах, в конторах, на заводах, политических митингах и т. д. Да, к концу прошлого века внушение превратилось в явление повсеместное благодаря череде кризисов, основательно потрясших общество. И вот симптомы.

Прежде всего, это крах под упорным натиском капитала и революций старого докапиталистического режима. Дал трещины и начал разваливаться устойчивый мир семьи, соседских отношений, сел. В своем падении он увлек за собой традиционные религиозные и политические устои, а также духовные ценности. Вырванные из родных мест, из своей почвы люди, собранные в нестабильные городские конгломераты, становились массой. С переходом от традиции к модернизму на рынок выбрасывается множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных связей между собой. Этот сдвиг немецкий социолог Tönnies описал с помощью замечательной метафоры перехода от теплого — естественного и непосредственного, основанного на кровных узах сообщества соседей, от родственности убеждений — к холодному, искусственному конгломерату и принуждению, базирующемуся на согласии интересов, на выгодах, которые одни могут получить через других, и на логике науки. Эта метафора имела большой резонанс, поскольку она иллюстрирует один из важных аспектов перелома, возникшего при переходе от вчерашнего общества к сегодняшнему.

Быстрая механизация промышленности, символизирующаяся паровой машиной, и концентрация мужчин, женщин и детей, превращенных заводом в массу, отданных в повиновение машине, эксплуатируемых предпринимателями, превращают города в поля сражений: новые бедные противостоят здесь новым богатым. Эти последствия во всех странах выражаются в резком и мощном подъеме рабочего класса. Он вооружается новыми средствами борьбы, например, забастовка, и оснащается новыми, еще невиданными формами организации: профсоюзами и партиями, которые направляют этот человеческий поток, обеспечивают его кадрами и меняют расстановку сил в политической игре. В то время *«чернь»* выходит на улицу не для того, чтобы чествовать какого-нибудь святого заступника, участвовать в карнавале или устраивать жакерию: она борется со своими хозяевами, освистывает патронов, которые не занимаются их проблемами, и требует положенного. Английский историк Hobsbawn отмечает перманентный характер требований: «Чернь выступала не только в знак протеста, но с совершенно определенной целью. Она предполагала, что власти будут восприимчивыми к ее волнениям и немедленно пойдут на какие-либо уступки: толпа манифестантов представляла собой не только какое-то скопление мужчин и женщин, движимых целью ad hoc[1], но постоянную сущность, хотя и редко стабильно организованную» [9].

Этот текст четко выявляет существование толпы или черни, место ее скопления — улицу и ее действия протеста. Он особенно подчеркивает их угрожающий характер, способный одним своим присутствием заставить власти пойти на уступки. Рабочий класс все более и более загорается идеалами грядущей революции, генеральную репетицию которой инсценируют его руководители. Быть может, социализм и был новой идеей, отпочковавшейся от бессмертного мифа о справедливости. Но он, однако, будил у многих память о терроре и разрушении. А особенно во Франции, где со времен *Великой революции* революции и контрреволюции следовали одна за другой и никто не мог предвидеть конца. Разве не заявлял Огюст Конт, что главная проблема социальной реформы — это проблема консенсуса, обретенного нравственного единства? Судя по ходу вещей, это не консенсус и единство, а баррикады, кровопролитные уличные бои с равномерными промежутками времени. Они предвосхищают будущие времена и являются осязаемыми признаками втягивания новых человеческих масс в орбиту истории.

Наконец, и это ещё одна черта эпохи, в скученности больших городов выковывается новый человек. «Кишащий город, город, полный грез» для поэта; город, полный разочарований, для рабочего человека. На его необъятном рынке рождается массовая культура и массовые формы потребления. Один за другим на подмостках общества появляются коллективный служащий, коллективный интеллектуал, коллективный потребитель: стандартизированными становятся мысли и

[1] Ad hoc — в данном случае (*лат.*). — *Прим. пер.*

чувства. Все эти «*циклотроны*», эти социальные ускорители низводят индивидов до уровня все уменьшающихся частиц. Они обрекают их на существование анонимное и эфемерное. Гигантский штамповочный станок уже выполняет свою роль фабрики коммуникаций: он отливает умы в единообразные, *стандартные* формы и обеспечивает каждой человеческой единице соответствие заданной модели. Эта эволюция не противоречит Грамши, который отмечал «тенденцию к конформизму в современном обществе более обширную и глубокую, чем раньше; стандартизация образа мысли и действия, достигает национального или даже континентального размаха» [10].

Тем самым возвещается появление нового человеческого типа — человека-массы, полностью зависимого от других, обработанного этим исключительного размаха конформистским течением. Он подвергается по сути дела двум типам конформизма: один спускается сверху — от меньшинства, а второй снизу — от большинства. Между обоими идет постоянная борьба: «Сегодня речь идет о сражении между «двумя конформизмами», а именно — о сражении за гегемонию, о кризисе гражданского общества» [11].

Если довести идею Грамши до логического конца, мы придем к выводу, что в эпоху человека-массы цель конфликтов, терзающих общество, не составляет исключительно и преимущественно власть, которую берут или теряют соответственно расстановке сил. Эта цель — влияние, поскольку оно приобретается или утрачивается согласно тому, какой из двух типов конформизма возобладает над другими.

II

Образ века, предшествующего нынешнему, совершенно очевиден: это век взрыва mobile vulgus[1] бурной, необузданной и податливой. Наблюдатель со стороны видит в нем концентрацию аморфного человеческого материала, в котором растворяется каждый из индивидов, будучи жертвой некоего общественного психоза. Флобер показал своего героя Фредерика, зараженного этим коллективным опьянением, которое породила революция 1848 года: «Его захватил магнетизм восторженных толп»[12].

Именно эта экзальтация зачаровывает и волнует, когда масса на ходу принимает вид коллективного Франкенштейна. Флобер так описывает толпу, штурмующую Пале Рояль: «Эта кишащая масса, все время поднимавшаяся, как бурлящий поток морского прилива в равноденствие, с протяжным ревом, влекомая стихийными порывами»[13].

Эти сильные впечатления придают особую объективность простому образу: собранные в общественные стада, одурманенные той таинственной силой, которую источает всякая перевозбужденная группа, люди впадают в состояние внушаемости, сходное с наркотическим или гипнотическим. И пока они пребывают в этом состоянии, они

[1] Mobile vulgus — возбудимой народной массы *(лат.)*. — *Прим. пер.*

верят всему, что им скажут, и сделают все, что им прикажут сделать. Они будут подчиняться каждому призыву, каким бы бессмысленным он ни был. В любом случае реакции людей обостряются, как это видно на примере паломничества и патриотических парадов, музыкальных фестивалей и политических митингов. Флобер обнаруживает у своего героя признаки состояния, свойственного человеку-массе: «Он трепетал от нахлынувшего чувства безмерной любви и всеобъемлющего, возвышенного умиления, как если бы сердце всего человечества билось в его груди»[14].

Впрочем, вплоть до современной эпохи такие толпы появлялись спорадически и играли лишь второстепенную роль. Они, по сути дела, не представляли особой проблемы и не нуждались в специальной науке. Но с того момента, когда они становятся расхожей монетой, ситуация меняется. Если верить Ле Бону, такая возможность толп влиять на ход событий и на политику посредством голосования или же восстания является новшеством в истории. Это признак того, что общество трансформируется. В самом деле, история проявляет себя все более и более как разрушитель: подрывает религиозные верования, разрывает традиционные связи и разрушает солидарность групп. Разобщенные, люди остаются покинутыми в одиночестве со своими нуждами: в джунглях городов, в пустынях заводов, в серости контор. Эти бесчисленные атомы, эти крупицы множества собираются в зыбкую и воспламеняющуюся смесь. Они образуют нечто вроде газа, который готов взорваться в пустоте общества, лишенного своих авторитетов и ценностей — газа, взрывная сила которого возрастает с объемом и все собой подавляет. «В то время, как наши старые убеждения, — пишет Ле Бон как заинтересованный свидетель, — оказываются поколебленными и утрачиваются, прежние опоры общества рушатся одна за другой, единственной силой, которой ничто не угрожает и авторитет которой ширится постоянно, становятся выступления толп. Век, в который мы вступаем, будет поистине эрой толп» [15].

III

Всегда можно подправить этот образ. И даже необходимо это сделать, чтобы ещё больше приблизить его к реальности. С тем, что эти толпы являются симптомом какого-то нового состояния человечества, поднимающегося из низов восстания, которое угрожает общественному порядку, согласны все теории. Но согласие по поводу фактов не влечет еще за собой согласия в их объяснении. В связи с этим не удивительно, что катаклизмы истории льют воду на мельницу двух диаметрально противоположных концепций: общества классового и массового. Первая обрела теоретическую форму у Маркса и Вебера, имея общую почву в политической экономии. Согласно ей, толпы являются явными признаками нового общественного порядка, которые ясно обнаруживают раздробленные и обнищавшие массы,

обратившиеся против гнета бюрократии капитала. Сосредоточивая людей, концентрируя машины, он обобществляет производительные силы, превращает общество в гигантский рынок, где все покупается и все продается, включая труд. Тем самым он создает неизвестный до того времени класс — класс пролетариев. Можно принимать или отвергать эту концепцию, безусловно одно: она рассматривает классы как активные действующие силы истории. А среди них выделяется один класс — пролетариат, глашатай современности и главная фигура будущей революции. Массы, заполняющие города, развязывающие гражданскую войну, участвующие во всех этих мятежах, собственно и являются сырьем и внешним выражением трудящейся массы. Ей присущи разные уровни сознательности от пассивного допролетарского до активного героического и истинно пролетарского.

Стало быть, чем они обширнее, тем более ясным видением своих сил и целей обладают эти массы и тем большее они будут оказывать давление на развитие общества. Отворачиваясь от прошлого, разрывая тысячи тонких нитей, связывающих их с религией, нацией, с пристрастиями господствующих классов, они тянутся к новому миру, одушевленному наукой и техникой, тогда как старый клонится к закату. Озаренная светом истории, эта модель общества придает смысл коллективным движениям. Она также объясняет их истоки с самых первых шагов. Остальное — не более чем эпифеномены и шлаки бредовой идеологии.

Вторая концепция была представлена несколькими последовательными эскизами, сделанными с оригинала, родившегося в недрах психологии толп. Оставляя в стороне ее предшественников, таких как Тэн или Токвиль, необходимо главным образом упомянуть Ле Бона и Тарда, обозначивших ее в основных чертах. «Можно сказать, что именно эта социальная теория имеет, вероятно, сегодня наибольшее влияние в западном мире», — отмечает один социолог по поводу гипотезы массового общества.[16] В этой концепции те эпифеномены и шлаки, о которых я только что говорил, как раз и составляют существо дела. Действительно, снятые с креплений, лишенные привилегий по рождению и по званию, дезориентированные бесконечными переменами, приставшие друг к другу люди и создают невероятный простор для разрастания тех человеческих туманностей, которыми являются толпы. Разумеется, толпы существовали всегда, невидимые и неслышимые. Но в этом своеобразном ускоренном движении истории они разорвали путы. Они восстали, став видимыми и слышимыми — и даже несущими угрозу существованию индивидов и классов из-за их тенденции все перемешивать и все обезличивать. Маскарадные костюмы сняты, мы их замечаем в самом простом одеянии: «Со времен Французской революции, — пишет Канетти, — эти взрывы приобрели форму, которую мы считаем современной. Быть может, именно потому, что масса была так скоропалительно освобождена от религиозных традиций, нам сейчас гораздо проще увидеть ее освобожденной от тех смыслов и целей, которые ей некогда приписывались» [17].

Оглянитесь вокруг: на улицах или на заводах, на парламентских собраниях или в казармах, даже в местах отдыха вы увидите толпы, движущиеся или неподвижные. Некоторые люди проходят сквозь них, как через чистилище. Другие ими поглощаются, чтобы уже никогда не выйти обратно. Ничто не выразило бы сути нового общества лучше, чем определение «массовое». Оно узнаваемо по его многочисленности, по нестабильности связей между родителями и детьми, друзьями и соседями. О нем можно догадаться по тем превращениям, которые испытывает каждый человек, становясь анонимным: реализация присущих ему желаний, страстей, интересов зависит от огромного числа людей. Можно видеть его подверженность приступам общественной тревожности и тенденции уподобляться, соответствовать какой-то коллективной модели.

Согласно этой концепции, изменение состоит не в пролетаризации человека или в обобществлении экономики. Напротив, мы имеем дело с *массификацией*, то есть со смешением и стиранием социальных групп. Пролетарии или капиталисты, люди образованные или невежественные, происхождение мало что значит: одни и те же причины производят одни и те же следствия. Из разных, совершенно разнородных элементов образуется однородное человеческое тело: масса состоит из людей-массы. Это они — действующие лица истории и герои нашего времени. Не стоит искать причин такого положения вещей в концентрации средств производства и в товарообмене, как к этому стремилась теория классового общества; причина в средствах коммуникации, массовой информации, газетах, радио, т. п. и феномене влияния. Внедряясь в каждый дом, присутствуя на каждом рабочем месте, проникая в места отдыха, управляя мнениями и обезличивая их, эти средства превращают человеческие умы в массовый разум. Благодаря своего рода социальной телепатии у многих людей вызываются одни и те же мысли, одни и те же образы, которые, как радиоволны, распространяются повсюду. Так что в массе они всегда оказываются наготове. Когда это на самом деле происходит, то можно наблюдать волнующее незабываемое зрелище, как множество анонимных индивидов, никогда друг друга не видевших, не соприкасавшихся между собой, охватываются одной и той же эмоцией, реагируют как один на музыку или лозунг, стихийно слитые в единое коллективное существо.

Марсель Мосс подробно описал это превращение: «Все социальное тело одушевлено одним движением. Индивидуумов больше нет. Они становятся, так сказать, деталями одной машины, или, еще лучше, спицами одного колеса, магическое кружение которого, танцующее и поющее, было бы образом совершенным, социально примитивным, воспроизводимым, разумеется, ещё и в наши дни в упомянутых случаях, да и в других тоже. Это ритмичное, однообразное и безостановочное

движение непосредственно выражает то душевное состояние, когда сознание каждого захвачено одним чувством, одной немыслимой идеей, идеей общей цели. Все тела приходят в одинаковое движение, на всех лицах одна и та же маска, все голоса сливаются в одном крике; не говоря уже о глубине впечатления, производимого ритмом, музыкой и пением. Видеть во всех фигурах отражение своего желания, слышать из всех уст подтверждение своей убежденности, чувствовать себя захваченным без сопротивления всеобщей уверенностью. Смешавшиеся в исступлении своего танца, в лихорадке возбуждения, они составляют единое тело и единую душу. Именно в это время социальное тело действительно существует. Так как в этот момент его клетки — люди, быть может, так же мало отделены друг от друга, как клетки индивидуального организма. В похожих условиях (которые не реализуются в наших обществах даже самыми перевозбужденными толпами, но об этом говорится в другом месте) согласие может творить действительность» [18].

Поразительно, не так ли?

Пора обратиться к следствиям. Логический ход, который сделали авторы этой концепции, прост и смел. Для каждого масса — это спущенная с цепи толпа, находящаяся во власти инстинктов, без совести, без руководителя, без сдерживающих начал, такая, какой она, в глазах мудреца, проявляет себя на баррикадах. Гигантский, орущий, истеричный монстр, она наводит ужас: «Похоже, — писал Фрейд, — достаточно оказаться вместе большой массе, огромному множеству людей для того, чтобы все моральные достижения составляющих их индивидов тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые психические установки» [19].

К счастью, можно добавить, иногда случается обратное, и мы видим множество других людей, отдающих свои жизни, идущих на неслыханные жертвы за самые возвышенные этические ценности, за справедливость и свободу. Но с того момента, как массы признаны эмблемой нашей цивилизации, они перестают быть продуктом разложения старого режима. Это уже не превращенная форма общественных классов или эффектные артефакты общественной жизни, не повод к приподнятым, красочным описаниям, сделанным зачарованными или потрясенными свидетелями. Они становятся неотъемлемой принадлежностью общества. Они дают ключ как к политике, так и к современной культуре и, наконец, объясняют тревожные симптомы, терзающие нашу цивилизацию. Посредством этого интеллектуального переворота, психология толп поместила массы в сердцевину глобального видения истории нашего века. Кроме того, она составила соперничество теории классового общества, с которой до сих пор никому не удавалось ни установить связи, ни опровергнуть ее.

IV

Выше я попытался показать, как по поводу одних и тех же феноменов, которые и сейчас ещё повторяются на наших глазах, одновременно были выдвинуты два противоположных взаимоисключающих объяснения. Такая двойственность, в сущности, вещь достаточно банальная в науке. Я ее допускаю, ведь концепция массового общества отличается обычным преувеличением, чтобы не сказать упрощением. Она утверждает, что индивид — это неприступная крепость, куда другие проникают посредством внушения с тем, чтобы ее разрушить и вовлечь в это импульсивное неосмысленно действующее коллективное месиво. Идея, кажущаяся нам устаревшей и недооценивающей сложности современной истории. Однако ведь не впервые простые и с виду устаревшие идеи позволяют обнаружить неожиданные истины.

Итак, рассмотрим последствия такой двойственности объяснений. То, что для одной концепции является классовой битвой и связывается с надеждами на лучшее будущее, другая называет — по удачному выражению испанского философа Ортеги-и-Гассета — восстанием масс, которое вызывает беспокойство, возвещает эпоху следующих друг за другом кризисов. Теоретики психологии толпы считали это восстание решающим: оно отдает политическую власть в руки массы, не умеющей ею пользоваться, и вызывает страх. Этого страха достаточно, чтобы пробудить желание их познать для того, чтобы увещевать или управлять ими, а также изучать их в научном плане. В своем глазу бревна не видим, а в чужом соломинку замечаем. Так открытые противники масс принимали их всерьез и настойчиво стремились обнажить все пружины этой конструкции, чтобы успешнее с ней бороться. Сторонники же чаще всего довольствовались тем, что превозносили их, говоря о массах абстрактно и идеализированно. Они их явно недооценивали. Жестко и смело, с риском шокировать, психология толп отрицает любое их притязание и какую бы то ни было способность изменить мир или управлять государством. Им по их природе не свойственно рассуждать, им не достает способности держать себя в узде для того, чтобы выполнять работу, необходимую для выживания и культурного развития, до такой степени это рабы сиюминутных импульсов и существа, подверженные внушению со стороны первого встречного. Наше общество видело упадок личности и присутствует при апогее масс. Над ним, по сути дела, властвуют иррациональные и бессознательные силы, исходящие из его тайных глубин и вдруг обнаруживающие себя явно. Ле Бон выражает это очень четко: «Неосознанное поведение толпы, подменяющее сознательную деятельность личности, представляет собой одну из характеристик нынешнего века» [20].

Кто сейчас мог бы подписаться под таким общим и резким заявлением? Опыт учит нас быть более осмотрительными. Но это заявление имело и теперь еще имеет исторические последствия, которые никто

не властен перечеркнуть. Каждому понятен смысл этого. В противном случае он не приходил бы так часто на ум. Этот смысл таков: решимость поднять восстание масс зависит в первую очередь от их психологии. Она становится «более чем, — по словам Ницше, — дорогой, которая ведет к фундаментальным проблемам». Социология и экономика затрагивают их лишь косвенно и в определенных аспектах.

То, что задолго до всех предполагал этот немецкий философ, понемногу становится общей уверенностью. Иное дело доказать, оправдывается ли она. По мере того, как массы приобретают все большую значимость, явными становятся и негативные последствия. Великий немецкий писатель Герман Брох определяет этот пункт перелома, когда он оправдывает преимущество психологии масс, подчеркивает это в утверждении: «Новые политические истины будут основываться на истинах психологических. Человечество готовится оставить экономическую эпоху, чтобы войти в эпоху психологическую»[20].

Ведь неудивительно, что в необъятном движении познания — более изменчивом, чем погода или море — эта наука была задумана и представлялась бы как обладающая универсальными возможностями. И если выражения «психология толп», «психология масс», а не «социальная психология» или «коллективные движения» фигурируют в названиях трудов Ле Бона, Фрейда или Рейха, не усматривайте в этом ни случайности, ни оплошности. Каждое из них указывает на то, что представляется некое видение нашей цивилизации, центрированное на определенном, характеризующем ее типе объединения: на массе. Никогда ее первопроходцы не рассматривали эту науку как дополнительную к другим, более значительным наукам, к социологии или истории, например, а именно как их соперницу. Они преследовали особую цель — «разрешить загадку образования массы» (выражение Фрейда). Одна-единственная основополагающая наука может претендовать на достижение этого.

ГЛАВА 3
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА МАССЫ НАЛИЦО?

Я думаю, что недавнее политическое новшество не означает ничего, кроме политического господства масс.

Х. Ортега-и-Гассет

I

Индивид умер, да здравствует масса! Вот тот суровый факт, который открывает для себя наблюдатель современного общества. В результате упорной и ожесточенной борьбы массы, кажется, повсюду одержали поразительную и бесповоротную победу. Именно они ставят новые вопросы и вынуждают изобретать новые ответы, поскольку их сила является реальностью, с которой отныне нужно считаться.

«В течение последних тридцати лет, — утверждает немецкий философ Кассирер, — в период, разделяющий две мировые войны, мы не просто прошли через тяжелый кризис в нашей политической и социальной жизни, но он также поставил нас перед совершенно новыми теоретическими проблемами. Мы произвели эксперимент по радикальной ломке некоторых форм политической мысли. Были поставлены новые вопросы и даны новые ответы. Проблемы, незамеченные политическими мыслителями восемнадцатого и девятнадцатого веков, неожиданно вышли на первый план. Самой важной и вызывающей беспокойство чертой эволюции современного политического мышления становится, быть может, появление новой власти: власти мифического мышления» [22].

Бесспорно, в этот период, который начинается перед первой мировой войной и продолжается до сих пор, произошло слишком много событий, которые решительно перевернули политическое мышление и практику. Но то, что эти пертурбации отмечаются появлением мифического мышления, является, — и психология толп это предвидела, — превратностью нашествия масс. Она, однако, не ограничивалась констатацией фактов. Разумеется, наука должна описывать явления, искать причины, предвидеть результаты. Но она непременно должна также разрабатывать методы практической деятельности и намечать логику действий в соответствии с обстоятельствами. А зачем знать, если нельзя действовать? Зачем распознавать болезни, если мы бессильны их лечить? Раскрывая причины, мы отвечаем только на вопрос

«почему?». А предлагая практическое решение, мы отвечаем на вопрос «что делать?». Он имеет бесконечно большую значимость, чем первый, поскольку любознательность является уделом немногих, а действие — ежеминутной необходимостью.

Психология толп была создана, чтобы отвечать одновременно на оба вопроса. Прежде всего, она заявляет о своем намерении раскрыть «почему?» массового общества. «Это нужно для того, чтобы объяснить правящим классам, что делать перед лицом масс, путающих всю политическую игру — игру, из которой они уже не выйдут в обозримом будущем. Короче говоря, она стремится разгадать загадку формирования масс, чтобы подойти к разгадыванию гораздо более тревожащей загадки — как ими управлять. «Знание психологии толп, — пишет Ле Бон в манифесте новой науки, — для государственного деятеля определяет собой не возможность управления ими — сегодня это стало сложно — а, по крайней мере, средство не идти у них на поводу» [23].

II

Итак, психология толп становится самым главным предметом новой политики. Ее первопроходцы и когорта их последователей были убеждены, что нашли здесь ариаднину нить лабиринта отношений власти, в котором, не зная его достаточно, блуждают и руководимые, и руководители. С самого начала авторы борются со старой политической точкой зрения, основывающейся на заинтересованности и рассудке, или расчете. То есть точкой зрения на человека, которая принимает во внимание поведение промышленника, рабочего, отца семейства и др. исключительно сквозь призму их объективных гражданских интересов. Нацеленный на осознание того, что он может заработать или потерять, человек действует исключительно в соответствии с этими интересами и заглушает свои чувства и верования. Психология толп не считает, что человек в целом ведет себя так, чтобы получить максимальную личную выгоду и устанавливает социальный контакт с другим наподобие рыночной сделки между покупателем и продавцом, когда он вступает в партию или голосует за какого-то кандидата. Эта иллюзия рождается из-за того, что классическая политика стремится сравнять ров, который разделяет общество и природу, применяя к той и другой одни и те же способы мышления, одни и те же практические подходы. Конечно, по мере того, как наука и техника день за днем одерживают беспрецедентные победы, наглядно доказывая силу своей логики, их принимают за модель в каждой сфере жизни. Следуя научным путем, мы властны, как нам кажется, добиться в политике прогресса, аналогичного прогрессу в экономике, стать хозяевами и обладателями общества, как мы ими стали по отношению к природе. Рано или поздно мы пришли бы к созданию отношений между руководителями и подчиненными, коллективных отношений между людьми, очищенных от страстей, любви и ненависти, идентичных отношениям с предметами. Одним

словом, согласно формуле Сен-Симона, который подводит итог этой эволюции, от управления людьми перешли бы к управлению вещами.

Эта классическая точка зрения нам хорошо знакома. Стержнем ее являются общность интересов, рациональность политического действия и его прогресс, параллельный прогрессу знаний и общества. Отсюда вытекает и его практика. С совершенно научной сдержанностью она разделяет логику и верования, фактические суждения и чувства для того, чтобы принимать решения и заставлять следовать им. Она обращается к разуму, к смыслу вещей, помогающему людям уяснять проблемы и делать выбор среди возможных решений. Она полагает, что легче всего мобилизовать людей, приведя их к осознанию своих классовых, национальных и других интересов, а также смысла ситуации. А тем самым и целей, которых они могут достичь сообща.

Психология толп обвиняет эту классическую точку зрения в недооценке роли толп и тех последствий, которые влечет за собой их существование. С одной стороны, люди, сформировавшиеся в рамках классической школы, не учитывают силы страстей и верований. Они полагаются исключительно на интеллект, чтобы убеждать, на расчет, чтобы победить трудности. Неистовая сила коллективных чувств приводит их в замешательство, разнузданность поведения людей, собравшихся вместе, их удивляет, а преувеличенность речей и поступков вызывает у них отвращение как недостаток вкуса. Их понимание допускает только уловки, компромиссы между людьми из хорошего общества. Характер? Они не принимают его в расчет или высмеивают. За неимением мужества множество государственных деятелей выглядят сомневающимися и смущенными, нерешительными или болтливыми и не выполняют своих задач. Они рассуждают беспринципно и неубедительно. Они совещаются, не принимая решений, и действуют только наполовину, остальное отдавая на волю случая. Упрек, который делают теоретики психологии толп, аналогичен тому, что Троцкий адресовал социал-демократу Каутскому: когда осознается относительность вещей, то не находится смелости применить силу, ни, добавим, силы противостоять массам. Из этого следует, что демократы открывают путь тирану, требуют Цезаря как освободителя, подготавливают притеснение как свободу. Вот такой парадокс: свобода взывает к тирании. Разум — это приговор политике, а политика — могила разума.

В целом, этим руководителям изменяет инстинкт, который только и помогает понять массы, заставляет сердце биться в унисон их чаяниям, слышать мощный голос толпы вместо нашептывания советчиков и льстецов. У них никогда нет нужного слова или нужного жеста в необходимых случаях. Им недостает воли к власти, даже если есть амбиции. Поддающиеся сомнениям, которые подтачивают их, сбитые с толку событиями, которые их изумляют, они вначале встают в тупик, а затем выбиваются из колеи. Вывод кажется вполне определенным: без инстинктивного ощущения массы нет великого политического лидера.

С другой стороны, классическая политика игнорирует элементарные сведения о психологии масс. Растворившиеся в массе индивиды утрачивают свои личные интересы, чтобы подчиниться общим желаниям, точнее тем, которые как общие преподносят им вожди. Работающие или безработные, пленники городской нервозности, подверженные провоцирующим влияниям городского существования, они не располагают ничем, даже временем размышлять. Они находятся в постоянной зависимости от других во всем, что связано с жилищем, с питанием, с занятостью или с идеями. С этого времени их интересы утрачивают свою значимость и побудительную силу, переставая тормозить желания, которые все больше обостряют положение.

«Род человеческий не может выдержать большой доли реализма», — писал великий английский поэт Т.С. Элиот. Толпы выдерживают его ещё меньше, и это второе следствие. Однажды собранные вместе и перемешанные, люди утрачивают всякую критичность. Их совесть отступает перед силой иллюзий, как плотина сносится разбушевавшимися водами. Поставленные перед невозможностью отличить реальное от воображаемого, то, что они видят на самом деле, от кажущегося, они теряют способность принимать правильное решение, самое здравое из предлагаемых им суждений.

Итак, люди, составляющие толпу, ведомы беспредельным воображением, возбуждены сильными эмоциями, не имеющими отношения к ясной цели. Они обладают удивительной предрасположенностью верить тому, что им говорят. Единственный язык, который они понимают, — это язык, минующий разум и обращенный к чувству. Эти элементарные рассуждения показывают, что всякая политика, основывающаяся на интересах и разуме человека, особенно в массовом обществе, смотрит на факты сквозь розовые очки абстрактных экономических и социологических теорий, искажая эти факты. И она не видит человека в полном объеме, она слепа к его эмоциям и памяти, к его желаниям и мифам. Свои собственные иллюзии она принимает за реальность. Созданная и управляемая научными моделями, такая ясная, логическая власть годится для кучки философов, ученых и государственных деятелей. Но для масс она остается совершенно чуждой. Конечно, можно воображать массы иными, чем они есть на самом деле, можно надеяться, что их значение ослабнет, как это было в прошлом. Тогда, быть может, они были бы готовы к выбору и поддержанию совершенно разумной власти. Но эта утопия предписывает им качества, совершенно противоположные их собственным, то есть качества индивида. Пытаться управлять большинством людей, используя чуждые и непостижимые для них средства, — путь невозможный и заранее обреченный на неудачу. Бессмысленно было бы пытаться их перевоспитывать, сделать их иными, чем они есть, стремиться изменить их психологию или свести ее к психологии индивидов, составляющих толпу. Не изменить законов природы, разных для отдельно взятого атома с обычным уровнем

энергии и скопления атомов, где этот уровень доводится до высоких энергий. С одной оговоркой, однако: вначале нужно познать законы человеческих скоплений. И обращаться не к их понятливости, а к их чувствам любви или ненависти, мстительности или виновности. Вместо того, чтобы будить их интеллект, лучше стоит разбудить их память. Поскольку в настоящем они распознают меньше очертаний будущего, чем следов прошлого. Они воспринимают не то, что изменяется, а то, что повторяется. Любой, кто намеревается управлять людьми, должен был бы проникнуться идеей, что психология масс отворачивается от психологии индивидов. Последние, взятые по отдельности, добиваются успеха на пути анализа или опытным путем исследуя реальность. Первые пользуются не менее эффективным средством — сердцем, страстно влюбленным в идеал человека, который его воплощает: «Логика, которая их направляет, — мог написать Марсель Пруст по поводу наций, — совершенно внутренняя, постоянно изменяемая страстью, как логика людей, столкнувшихся в любовной или семейной ссоре, ссоре сына с отцом, кухарки с хозяйкой, жены с мужем» [25].

В цивилизованном обществе, утверждает психология толп, массы возрождают иррациональность, которую считали исчезающей, этот рудимент примитивного общества, полного отсталости и культов богов. Вместо того, чтобы уменьшаться в процессе развития цивилизации, ее роль возрастает и укрепляется. Вытесненная из экономики наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на власти и становится ее стержнем. Это явление нарастает: чем меньше времени люди посвящают заботам об общественном благе, тем меньше у них возможностей противостоять коллективному прессингу. Разум каждого отступает перед страстями всех. Он оказывается бессильным господствовать над ними, поскольку эпидемию невозможно остановить по своей воле.

Я повторяю и настаиваю на этом. Классическая политика основана на разуме и интересах. Она обрекает себя на бессилие, поскольку подходит к массе извне, как к простой сумме индивидов. Это происходит не из-за недостатка изобретательности или волевого начала, не из-за неспособности составляющих массу людей из бедных слоев осознать свои интересы и действовать разумно. Напротив, все желали бы установления такого государства, такой демократии, о которой рассуждали теоретики и государственные деятели. Иначе не замысливали бы такого порядка, не стремились бы к его установлению. А если не удается добиться успеха и все приходит к своей противоположности, это потому, что толпа затягивает в себя, в свой коллективный водоворот. И тогда дело принимает другой оборот вопреки предусмотренному, вопреки психологическим законам. Человек-индивид и человек-масса — это две разные вещи, как достояние в один франк и в миллион. Эту разницу я подытожил бы одной фразой: индивида убеждают, массе внушают.

Ведь демократические идеалы, придуманные меньшинством и для меньшинства, какими бы абсолютными достоинствами они ни обла-

дали, препятствуют, кроме исключительных случаев, формированию стабильного политического режима. Из-за необходимости соответствовать чаяниям большинства, звучать в унисон человеческой природе, эти идеалы рассыпаются в прах. Погоня за ними порождает лишь глубокое разочарование. А нужен режим, основанный на разделяемых верованиях. Режим, исходящий из подчиненности масс одному человеку, как отец рассчитывает на послушание своих детей. Когда такой режим установится, тогда и будут решены проблемы большого города. Подытожим вкратце суть сказанного. Толпы ниспровергают основы демократии, заложенные либеральной буржуазией и восстановленные социал-демократами. Они стремились к управлению посредством элиты, выбранной на основе всеобщего избирательного права. Их политика, определяемая экономическими и техническими реалиями, и отказывающаяся видеть реалии психологические, обрекает их на перманентную слабость, так как эти последние меняют все дело. Они, можно сказать, обманываются в обществе, в нации и, в конечном счете, в эпохе. Но именно такая революционная или контрреволюционная эпоха увлекает массы. А поэтому она требует новой политики.

III

Когда массы налицо, задача политики их организовать. Привести их в движение могут две вещи: страсть и верования, следовательно, нужно принимать в расчет и то, и другое.

Всякий раз, когда люди собираются вместе, их охватывают одни и те же эмоции. Они объединяются в какой-то высшей убежденности. Они идентифицируют себя с персоной, которая избавляет их от одиночества, и поклоняются ей. Таков вкратце процесс, превращающий сообщество индивидов в коллективного индивида. Их интересы — это не более, чем перчатки страсти. Снимите перчатки — руки остаются, отсеките руки — и перчатки становятся бесполезными. Их разум — это не более, чем пена сильных и неизменных убеждений. Это объясняет характер политических действий. Грамши сказал об этом гораздо лучше, чем я мог бы это сделать: «Политика является непрерывным действием и дает рождение непрерывно действующим организациям, в чем она совершенно идентична экономике. Но она также и отличается от нее, и поэтому можно говорить отдельно об экономике и политике, и можно говорить о „политической страсти“ как о непосредственном побуждении к действию, которое рождается на „неизменной и органической“ почве экономической жизни, но превосходит ее, в накаленной атмосфере запуская в ход чувства и стремления, исходя из которых один и тот же расчет индивидуальной человеческой жизни подчиняется законам, совершенно отличным от законов индивидуальной бухгалтерии» [26].

Тем самым в политической жизни действительно имеется явная асимметрия, сильно препятствующая нахождению точки равновесия и

стабильности. Когда люди действуют в материальном мире, чтобы производить и выживать, их техническая и экономическая деятельность подчиняется закону, основанному на разуме. И с течением времени можно наблюдать растущую рациональность и методов, и знаний. Чтобы добиться успеха, важно подчинять средства цели исследования, постоянно соотноситься с результатами эксперимента. Такую возможность обнаруживают и основанные на логических принципах машины, именно поэтому их использование постоянно ширится.

Отношения же между людьми, напротив, отмечены фактором иррациональности. Отрешиться от нее невозможно, особенно, если стремиться мобилизовать массы во имя позитивных или негативных идеалов. Рейх, и не он один, показал губительные последствия такой недооценки и то, в какой степени она способствовала победе нацизма в Германии: «Благодаря работам Маркса, Энгельса, Ленина было гораздо лучше известно об экономических условиях прогрессивного развития, чем о регрессивных силах. Совершенно игнорировался иррационализм масс. Именно поэтому либеральная эволюция, на которую многие так надеялись, застопорилась и пошла вспять к авторитарному разложению» [27].

В самом деле, социальная машина омассовления людей всегда делает их более иррациональными и не дает возможности ими управлять посредством разума, будь намерения тех, кто держит рычаги управления даже самыми благородными. Эта асимметрия в политике имеет три аспекта:

• Прежде всего, пропасть, разделяющая две сферы человеческой жизни. Рациональное мышление и практика замыкаются на управлении вещами и богатствами. Они изобретают все более многочисленные эффективные и автоматизированные орудия и инструменты. Руководство людьми, в том числе и политическая власть, наоборот, отторгают это мышление и эту практику. В этой сфере общество создает только лишь верования и влиятельные идеи. Одни, прекрасные, проповедуют справедливость и эмансипацию. Другие, жестокие, пропагандируют месть и угнетение. Они служат для того, чтобы обезличить людей и мобилизовать их. Для этой цели их отливают в определенную форму догматической религии, заготовленную заранее. Такова цена того, что идея может стать своеобразным катализатором для масс, и марксизму пришлось ее заплатить.

• Второй аспект — это простая иррационализация масс в чистом виде. Она проявляет себя в разгерметизации эмоциональных сил, которые в подземелье ожидают случая вырваться с вулканической силой. Эти силы, вовсе не побежденные, выжидают благоприятного момента, чтобы снова вернуть себе господство. Она наступает, когда люди, раздраженные каким-то кризисом, собираются вместе. Тогда совесть индивидов теряет свою действенную силу и не может больше сдерживать их импульсов. Эти неосознанные эмоции — настоящие кроты в

историческом пространстве, они используют его, чтобы оккупировать незанятую сферу. То, что поднимается на поверхность не ново, оно существовало, не обнаруживая себя, в спрессованном виде; это подспудные силы, более или менее сконцентрированные и подавленные, сформированные и готовые к вступлению в действие. Массы увлекаются их потоком, подстегиваемые паникой или энтузиазмом, по мановению волшебной палочки вожака, который становится во главе их. А завороженный наблюдатель может воскликнуть вместе с Шекспиром: «Это бич времени, когда безумные ведут слепых». Как точно, не правда ли? Когда задумываешься о Гитлере, о Пол Поте и tutti quanti, этих одержимых, которые управляют незрячими массами силой страха и надежды. Впрочем, эти экстремальные случаи заставляют нас ощутить — так же, как болезни дают знания о состоянии здоровья — то, что происходит в обычных ситуациях: власть осуществляется через иррациональное.

• И вот третий, и последний аспект. Во многих областях (в технике, экономике, демографии и т. п.) наблюдаемый прогресс идет от меньшего к большему: улучшаются методы работы, возрастают скорости, множатся обмены, возрастают популяции и так далее. В политике же прогресса нет; здесь его не более, чем в искусстве или морали. История учит, что, по всей видимости, власть одними и теми же приемами, в одних и тех же условиях проявляется и повторяется из поколения в поколение. Господство большинства над меньшинством беспрестанно возобновляется и повторяется бесконечно.

«Пример, — пишет Фрейд, — придающий этим отношениям неизменную значимость врожденного и неискоренимого неравенства людей, — это их тенденция разделяться на две категории: лидеров и ведомых. Последние составляют громадное большинство, они испытывают потребность в авторитете, который принимал бы за них решения и которому бы они подчинялись безгранично» [28].

Напрасно было бы говорить о восхождении к обществу без богов и хозяев, так как лидеры среди нас поминутно возрождаются. Именно такое отсутствие прогрессивного движения и объясняет автономию политики и противопоставляет ее всему остальному. Эволюционные процессы в истории ее почти не затрагивают. Во всех обществах, даже наиболее развитых, в том, что касается власти, прошлое господствует над настоящим, мертвая традиция опутывает живую современность. И если желают на нее воздействовать, нужно влиять на людей, обращаясь к самым древним слоям их психики. Можно одной фразой подытожить этот контраст: экономика и техника следуют законам истории, политика должна следовать законам человеческой природы.

Современное общество, отмеченное столькими несоответствиями материального и духовного порядка, заостряет каждый из этих трех аспектов. Все, что можно сделать, — это приспособить имеющиеся в распоряжении инструменты и познания к неизменным свойствам внешней и внутренней жизни людей. Важнейшим всегда остается то, что

политика — рациональная форма использования иррациональной сущности масс. Это подтверждает их психология. Любые методы, которые предлагаются в качестве пропагандистских, любые приемы внушающего воздействия вождя на толпу руководствуются этим. Они играют на чувствах людей, чтобы превратить их в коллективный и обезличенный материал. И мы знаем, как великолепно они этого достигают.

IV

Высвобождение иррациональных сил толкает к тому, что вождь становится решением проблемы существования масс. Некоторые верят в совершенно иное решение. Они предлагают создавать политические партии, идейные движения или учреждения, способные контролировать массы. Но все же любая партия, любое движение или учреждение рано или поздно обзаведутся каким-нибудь лидером, живым или умершим. Итак, второе решение и не расходится с первым, и не исключает его. Все они обладают цезарианским элементом, который входит в состав власти, как водород входит в состав материи: это ее универсальный компонент. Понять его истоки и раскрыть, в чем он состоит — вот один из самых трудных разделов науки. Каждая выдвигает объяснение, основанное на изучаемых ею фактах. Начиная с Тарда, психология масс развивает свое. Источником и прототипом всякого рода авторитета является отец. Его влияние в незапамятные времена возникло вместе с семьей. Оно сохраняется и ширится в современных массах людей, вырванных из их семей. История политических режимов по сути представляет лишь медленные изменения власти отцовского типа. С первых попыток раскрыть механизмы этой истории, существующие под видом бюрократии, партии, государства и т. п. обнаруживались лишь определенные разновидности примитивной власти главы семьи, образцового и идеального.

Когда массы стали возникать то там, то тут, это объяснение вызвало возмущение, так как не допускалось, чтобы вождь разрешил проблемы масс так же, как отец разрешает проблемы семьи. Но что мы видим каждый вечер на телевизионных экранах? Там ликующие толпы мусульман устраивают овации имаму Хомейни, возвратившемуся из изгнания, здесь толпы христиан, спешащие на встречу с папой Иоанном-Павлом II, который прибыл на паломническом самолете, чтобы принести им свое благословение; а в другом месте светские массы в энтузиазме столпились вокруг одного из своих шефов, чтобы петь ему дифирамбы. Средства массовой информации делают нас участниками и современниками всего этого омассовления планеты, всех этих восторгов и экстатических коленопреклонений. Идолопоклонство перестало быть экзотикой и какой-то неожиданностью в развитии событий. Народ с неимоверной скоростью переносится от восторженного свободолюбия к жесткому подчинению. Его аморфная структура превращается в структуру, сосредоточенную вокруг одного человека. Тех, кто со-

противляется или хотя бы отдает себе отчет в происходящем, мало. Надо полагать, что массы находят удовольствие в каком-то бессознательном побуждении гнуть спину. Тард утверждает это без колебаний: «Много говорилось — и это было выигрышной темой для ораторских выпадов, — что нет ничего более упоительного, чем чувствовать себя свободным, освобожденным от всякого подчинения другому, от всяких обязательств перед другим. И, разумеется, я далек от отрицания этого столь благородного чувства, но я его считаю бесконечно менее распространенным, чем декларируемым. По правде говоря, для большинства людей неизъяснимая прелесть связана именно с подчинением, доверчивостью, чуть ли не влюбленной услужливостью по отношению к обожаемому властелину. После падения Империи таковыми были защитники галло-романских городов, сейчас — спасители наших демократических и революционных обществ, ставшие предметом восторженного идолопоклонства, страстного преклонения» [29].

Отчего же такая тесная связь с вождем? Оттого, что он просто и наглядно предлагает толпам ответы на их вопросы, он дает имя их анонимности. Не рассудочно, не по расчету, а гораздо глубже, интуитивно, они хватаются за него, как за абсолютную истину, дар нового мира, обещание новой жизни. Сказав «да» вождю, экзальтированная масса меняет веру и преображается в полном смысле этого слова. Эмоциональная энергия бросает ее вперед и придает ей как мужества переносить страдания, так и бесчувственности, необходимой для совершения насилия. В подтверждение вспомним революционные войска, которые воодушевленные шли под знаменами Наполеона через всю Европу. Энергию, которую массы черпают в своих грезах и иллюзиях, лидеры используют, чтобы нажимать на рычаги управления государством и вести множество людей к цели, продиктованной разумом, а иногда и наукой. Генерал де Голль, один из тех, кто, как мы увидим, лучше других усвоил доктрину психологии толп, распознал ее практический смысл: «Великой была жизненная ситуация, но, возможно, мне удалось в какой-то степени овладеть ею, поскольку у меня была возможность, по словам Шатобриана, „вести французов, опираясь на их мечты“» [30].

Народный опыт подкрепляет эту уверенность: от общей идеи к конкретному действию, от разума одного человека к движению массы самая короткая дорога проходит через мечты. Когда иллюзии утрачиваются, слабеют, человеческие общности вместе со своими верованиями приходят в упадок, они мертвеют и опустошаются, утратив самое существенное, как тело, лишенное крови. Люди больше не знают, за кем следовать, кому подчиняться, во имя кого жертвовать собой. Ничто и никто их больше не обязывает к дисциплине, необходимой для цивилизованного труда, ничто и никто не питает их энтузиазма или страсти. Мир восторгов, мир преданности оказывается опустевшим. И тогда обнаруживаются признаки паники. Страшит возвращение к мертвому безразличию камней пустыни или, в современном варианте,

Государства. Никто никому там больше не друг и не враг. Практически исчезли границы группы или города. Место народа занимает аморфная совокупность индивидов. В массовом обществе, подобном нашему, «нищета психологии масс» излечивается лидером, при условии, что он устранит опасность паники. Так, Наполеон в момент окончания Французской революции восстановил в толпах объект боготворения, утраченный ими, и сотворил для них идеал, ради которого они были готовы пожертвовать всем, включая жизнь и свободу. «Фюрер, — по наблюдению Броха, — является признаком некоторой системы ценностей и носителем динамики этой системы. Он появляется прежде всего как символ системы. Качества его ума и его действия имеют лишь второстепенное значение»[31].

V

Итак, что же делать, когда массы уже налицо? Две вещи, отвечает психология толп: открыть вожака в их среде и управлять ими, взывая к их страстям, верованиям и фантазии. Можно было бы усомниться в первой, полагая, что личности играют лишь второстепенные роли в истории или даже вовсе не играют никакой роли. На самом же деле знание этой психологии заставляет принимать их в расчет при решении проблемы. Прежде всего и в особенности потому, что каждый верит в это, включая тех, кто не должен был бы так считать. Собеседнику, который отстаивал в разговоре с ним решающую роль масс, руководитель югославской коммунистической партии Тито живо возразил: «Вздор все это, исторические процессы часто зависят от одной личности». Таким образом, психология масс отвечает на вопрос «что делать?», поставленный нашим временем, предлагая иную политику. Она ее отрывает от эмпирии, стремясь предложить четкое решение проблемы, которая не так уж незначительна. Отсюда роль, которую играет внушение для создания массы, и роль вождя, приводящего ее в движение. Сейчас пока речь идет только о предложенном решении, без развернутых пояснений. В последующих главах я представлю доводы в его пользу. Но один из этих доводов я приведу прямо сейчас, чтобы понятнее было то исключительное внимание, которое эта наука уделяет такому решению. Вот он: стихийно массы стремятся не к демократии, а к деспотизму.

ГЛАВА 4
ВОСТОЧНЫЙ ДЕСПОТИЗМ И ДЕСПОТИЗМ ЗАПАДНЫЙ

I

В век рождения масс единоличное господство слывет пережитком варварства. Такой тип правления клеймят как абсолютную диктатуру, удручающее следствие недостатка культуры или материальных возможностей, прискорбный возврат к архаическим нравам. В целом его трактуют как продукт невежества, низменных инстинктов. Нам кажется, что наше предназначение — идти рука об руку с развитием человечества к завершенной демократии. Каждая победа культуры означает также победу народа над его наследственными врагами, над деспотами. Всякий, кто отрицает такое понимание вещей, разумеется, плывет против течения. Однако именно такое понимание оспаривает Ле Бон и большая часть теоретиков психологии толп к нему присоединяются. Для него и для них расцвет масс, определив их психическую конституцию, открывает дорогу вождям и деспотическому режиму: «Ряд фактов, тоже типичных, совершенно четко показывает общую ориентацию в Европе на деспотические формы правления» [33].

Скажем больше, массовое общество определяется демократизацией своеобразного рода, когда демократизируются автомобили, досуг, книги, газеты и средства массовой информации. Прежде предназначенные для элиты, потом для буржуазии, теперь они становятся доступными для всех. Почему же деспотизм принимается и вводится в обиход низшими классами? С одной стороны, сдача позиций правительствами, которые не могут больше удерживать власть или, как говорит Томас Манн, играть роль «господ, которым можно было бы служить добросовестно в аристократическом духе». С другой стороны, давление низших классов, которые со своей иерархией, со своими собственными организациями, переносят социальные дебаты из парламента на улицу и лишают авторитета демократические учреждения. И опять Ле Бон: «Вожди стремятся сегодня мало-помалу занять место общественной власти по мере того, как эта последняя дает втянуть себя в дискуссии и ослабить. Благодаря своей тирании эти новые повелители добиваются от толп полной покорности, какой не добивается ни одно правительство» [34].

Не говоря этого определенно, Ле Бон имеет в виду синдикалистских руководителей. В них он видит истинных властелинов трудового мира. Но этим еще не все сказано. Если расширить поле анализа и охватить больший период истории, мы почти всюду найдем признаки возрожде-

ния деспотизма. В любой идеологии, в любой политической жизни он обнаруживается снова и снова с поразительным постоянством, переносимый из одних цивилизаций в другие. С того момента, как у народа появляется письменность, с той поры, как он начинает производить свои первые тексты, эта тема навязчиво повторяется. Невозможно ограничиться лишь теми причинами, которые я здесь упомянул, чтобы описать эволюцию и понять смысл, которым был наполнен этот древний авторитарный режим вплоть до наших дней. Я хотел бы прояснить эту эволюцию, пользуясь контрастным сравнением, правда, условным, как всякое сравнение, но в данном случае оправданным. Вот оно.

По данным истории, до нашей эры, по-видимому, существовал *восточный деспотизм*, образцами которого были императорский Китай и фараонский Египет. Его основой служил принцип неравенства, общий для государств той эпохи, отвечавший необходимости функционирования способа производства, основанного на создании городов и поддержании добротной ирригационной системы. Иерарх, король, император или фараон осуществлял свою абсолютную власть через господство над водными ресурсами крестьянских общин, речь шла о строительстве плотин или каналов. Человеческие массы были сосредоточены и координировались сетью его чиновников для реализации грандиозных проектов, представление о которых ещё сегодня нам дают пирамиды. Вершина строго иерархизированного общества, освященная религией, непреложный властелин государства и вселенной, сконцентрированных в его персоне, деспот требовал абсолютного повиновения. Именно здесь фокусируются признаки, которые мы включаем в представление о деспотизме. Если мы обратимся взглядом назад, мы заметим, что эти признаки имели значительное распространение и возникали совершенно независимо друг от друга, а не в результате перехода с континента на континент. Такое идентичное решение одной и той же проблемы, вновь и вновь обнаруживаемое у совершенно разрозненных народов, являет собой волнующую загадку человеческой истории.

Перенесемся теперь через тысячелетия в современное общество, не пытаясь обосновать этот скачок. У нас есть причины, позволяющие говорить о *западном деспотизме*. Можно с уверенностью утверждать, что это понятие было выдвинуто в эпоху Французской революции. Еще до того, как Ле Бон и Тард придали ему некий общий смысл, Шатобриан уже уловил его основную черту: «Повседневный опыт, — заявлял он, — заставляет признать, что французы бесспорно устремляются к власти, они нисколько не дорожат свободой, их идол — равенство. Между тем равенство и деспотизм соединены тайными узами».

Никоим образом не нужно воспринимать эти слова как простую метафору, как незначащий поэтический штрих. Нет, напротив, здесь раскрывается эта тайная связь, и нам остается выразить ее в прозе. Политические системы, господствующие в форме партийного руководства, обсуждений, дискуссий разрешают проблемы путем

периодического голосования. Но теоретически они нестабильны и ненадежны. «Правительства, так неудачно названные сбалансированными, представляют собой не что иное, как кратчайший путь к анархии», — говорил Наполеон Моле. И именно для того, чтобы избежать беспорядка, нужен деспот. Нам это знакомо с самой глубокой древности. Психология толп же принимает данное положение без дискуссий. Она делает из него вывод, что в эпоху более обширных и более неустойчивых человеческих скоплений, чем в прошлые времена, все чаще будут вспоминать о деспоте.

II

Итак, став свершившимся фактом, массовое общество, естественно, тем или иным образом будет тяготеть к стабильности. Но оно сможет ее достичь не иначе, как модифицировав один из основополагающих факторов: равенство или свободу. Восстановление неравенства между гражданами — одно из двух решений уравнения, — по-видимому, невозможно. Ни одна партия, ни один государственный деятель не станет его защитником. Ни один ученый, ни один оратор не придумает аргументов, представляющих его как некое наименьшее зло, как необходимое изменение. Это противоречило бы природе массы, которая как раз и заявляет себя через равенство составляющих ее индивидов. «Оно имеет такую огромную значимость, что решительно можно было бы определить массовость как состояние абсолютного равенства. Голова есть голова, рука есть рука, и речи не может быть о какой-то разнице между ними. Массой становятся, именно предполагая равенство»[35].

Поэтому вся деятельность, все политические проекты поддерживают в неприкосновенности фактор равенства и стремятся преобразовать фактор свободы, убеждая или вынуждая людей отказаться от нее. Все происходит почти так же, как, не имея возможности уменьшить расстояние между городами, мы старались бы сократить время, чтобы быстрее попасть в пункт назначения, пользуясь самолетом вместо поезда.

Нестабильность массового общества следует, как можно предположить, из неустранимого требования равенства и неверного использования свободы. Есть два возможных пути помочь этому. Первый состоит в том, чтобы передать власть в руки одного лица, второй — в том, чтобы не передать ее в руки какой-то личности, а доверить ее своего рода анонимной директории, как любой обычный технический или экономический вопрос. Тем самым достигается точно такой же отказ от свободы из-за нехватки денег, ограниченности ресурсов или из-за бедности, чего вождь достигает убеждением и принуждением. Третьего пути нет.

В одном случае все заканчивается демократическим деспотом, так знакомым в Европе с того дня, как его изобрел Наполеон. Один

английский писатель сказал о нем, что он воплотил «абсолютное правление, снабженное народным инстинктом». Демократические приемы совмещаются в его личности с цезарианскими устремлениями. Черты брата, символа народного равенства, прикрывают в нем черты отца, фигуры безгранично авторитетной. Так, каждый римский император как известно, был преемником Цезаря. Ему воздвигали памятник, на капители которого было выгравировано: *Отцу отечества*. И тем не менее он продолжал носить титул народного трибуна, делавший из него глашатая граждан и их защитника от всемогущества государства, которое он воплощал. Сталин тоже, почти как настоящий император, сконцентрировал в своих руках всю политическую и военную власть, соединив ее с обязанностями народного комиссара, согласно которым он был простым исполнителем коллективных решений. В этом-то и состояла одна из непомерных привилегий этих людей: обладать верховной властью и властью приостанавливать ее исполнение, самим быть единственным средством против репрессий, которые они же и осуществляли, — таким образом, что их могущество было ограничено только их собственной волей.

Эти авторитетные, или харизматические, лидеры сохраняют видимость демократии. Они вновь и вновь подтверждают идею всеобщего равенства путем регулярных плебисцитов. Созываемые и опрашиваемые, массы могут ответить лидеру «да» или «нет». У них нет никакой реальной возможности собраться для принятия решения. Они не правоспособны ни обсуждать решения лидера, ни давать ему советы. Единственное, к чему их призывают и что они могут совершить — это санкционировать определенную политику, в крайнем случае, ее отвергнуть. Плебисцит является признаком свободы, от которой отрекаются в ту самую минуту, когда он осуществляется.

В том случае, когда никто персонально не получал полномочной власти, можно говорить о *деспотической демократии* некой бюрократической и анонимной партии. Действующая по типу административного совета или управленческого аппарата, она смотрит на государство или общество как на национализированное предприятие. Специфический вопрос о власти кажется второстепенным. Для того, чтобы он не возникал, бывает достаточно, если большинство утратило к нему интерес, оставалось молчаливым и пассивным. Именно таков тип правления в странах с однопартийной системой или с ведущей партией — либеральные демократы в Японии, христианские демократы в Италии, революционная партия в Мексике, коалиция голлистов и либералов во Франции и т. д., — находящейся у власти почти полвека. Став государством в государстве, она неизбежным образом навязывает серое однообразие, конформизм, полезный для поддержания баланса сил в свою пользу. Она замыкает свободы в узкие рамки. Монополия полиции и средств коммуникации гарантирует, что эти свободы не выйдут за определенные пределы.

Для того, чтобы обеспечить себе преемственность, правящая партия рекрутирует свои кадры и своих руководителей из узкого круга, который обновляется через кооптацию, контролируя, в случае коммунистических партий, классовое происхождение новых рекрутов, и религиозное в случае христианских партий. Никому другому не доверяется забота о пополнении и содержании питомника будущих государственных деятелей, пестования их будущей карьеры. Именно эта система продвижения по службе внутри аппарата и поднимает их к вершинам власти. Назначая их на должности депутата, мэра и т. п., она дает им право на претензию представлять народ. Нужно, чтобы они рекрутировались именно через кооптацию, потому что наследование, противоречащее принципу равенства, исключено, хотя и можно было видеть, как секретарь французской социалистической партии выбирает своего преемника! Что касается подлинных выборов, они бы восстановили свободную конкуренцию между кандидатами. Между тем, каждый из них выбирается высшим органом (руководящим комитетом, политбюро, секретариатом и т. п.) согласно степени своего соответствия человеческому прототипу и своей лояльности по отношению к партии. Затем их представляют на всенародное утверждение, которое часто бывает формальным и автоматическим, как в Мексике или в Польше. Это определенный тип плебисцита, закамуфлированного под выборы всеобщим голосованием анонимного вождя, раздробленного на совокупность индивидов.

В обоих случаях степень свободы личностей, общностей сокращается, и их возможности по своей воле контролировать ход дел в обществе сведены к нулю силовым или лукавым способом. Все, что характеризует суть демократии — согласие большинства, авторитет собраний и уважение закона, — сохраняется юридически, но хиреет фактически. Как и все общие понятия, она нуждается в адаптации к реалиям каждой страны и каждой эпохи. И мы почти не рискуем ошибиться, замечая, что массовые общества варьируют от демократического деспотизма до деспотической демократии. Они используют то одну, то другую формулу в надежде со временем найти равновесие, которого они не достигают в пространстве. С этой точки зрения, история Франции показательна и с эпохи революции представляет собой классический образец. Повторение одинаковых причин вызывает одни и те же следствия, это очевидно по тому, как заразительны эти формы. То, что некогда было исключением, теперь стало образцом и своего рода наукой. Как Французская революция, призвавшая массы к оружию, чтобы сразиться и победить, навязала войну своему классическому веку, так и череда современных революций и антиреволюций навязала деспотизм своему классическому порядку вещей. Поэтому так и распространилась сеть заведений и административных учреждений, в которых человек добивается продвижения в соответствии со своей компетенцией лишать людей их свободы.

III

Понятиям тоталитарной системы, культа личности или авторитарного режима я предпочитаю понятие западного деспотизма, как более откровенное. Но даже из того немногого, что здесь было отражено, можно заметить ограничения его аналогии с восточным деспотизмом и то, что их различает.[36] С одной стороны, вместо того, чтобы заниматься средствами производства, этот тип власти привлекает средства коммуникации и использует их как нервную систему. Они простирают свои ответвления повсюду, где люди собираются, встречаются и работают. Они проникают в закоулки каждого квартала, каждого дома, чтобы запереть людей в клетку заданных сверху образов и внушить им общую для всех картину действительности.

Восточный деспотизм отвечает экономической необходимости, ирригации и освоению трудовых мощностей. Западный же деспотизм отвечает прежде всего политической необходимости. Он предполагает захват орудий влияния или внушения, каковыми являются школа, пресса, радио и т. п. Первому удается господствовать над массами благодаря контролированию их потребностей (в воде, в пище, например). Второй достигает этого контролем над верой большинства людей в личность, в идеал, даже в партию. Все происходит так, как если бы шло развитие от одного к другому: внешнее подчинение уступает место внутреннему подчинению масс, видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься.

С другой стороны, при древнем деспотизме вождь был хранителем неизменного порядка в обществе и в природе. Он находился наверху общественной иерархии в силу узаконенного неравенства. Никто не оспаривал его позиции, даже если и бунтовали против его личности. Его падение или смерть, аналогичная смерти бога, рассматривалась как знак нарушения порядка вещей. Она вызывала ужас, искусно используемый его заранее определенными наследниками. В современном деспотизме, напротив, потребность в вожде определяется исключительными обстоятельствами и крайней напряженностью ситуации. Таковы ситуации экономических кризисов с их чередой инфляции, безработицы, нищеты; таковы политические кризисы с их угрозой гражданской войны и краха всей системы, со сменой революций и контрреволюций, которые дестабилизируют аппарат управления и мощно мобилизуют массы.

В эти периоды утверждаются новые силы. Власть переходит в другие руки. Тюрьмы пустеют, а их прежние узники заточают туда своих недавних тюремщиков. С триумфом возвращаются изгнанники, а дорогой изгнания следуют другие. Исключительная ситуация рождает исключительных людей. Массы предоставляют им верховную власть, как римляне своему диктатору. Они их выбирают, принимая в расчет годы, проведенные ими в тюрьмах, за границей, открытое

сопротивление врагу в сложные моменты, героический разрыв с их средой — таково было 18 июня 1940 г. призвание генерала де Голля. Все формы ереси, неповиновения и узурпации — а узурпатор был почетным титулом, присвоенным Наполеону, тому прототипу, которому следовали все государственные мужи, оставившие свой след в истории этого века, — эти формы одновременно являются источниками новой власти и атрибутами изгнанника. Они лежат в основе того, что называется притягательностью или харизмой, того, что непонятно каким загадочным образом вдруг превращает никому не известного человека в личность, вызывающую беспредельное восхищение. Эта притягательность заставляет умолкнуть все сомнения нравственного порядка, опрокидывает всякое законное противодействие лидеру и превращает узурпатора в героя. Это можно видеть глазами Гегеля, когда он 13 октября 1806 г. увидел в Йене Наполеона и с восхищением написал: «Я видел императора, эту душу мира, пересекавшего на лошади городские улицы. Поистине это колоссальной силы ощущение — увидеть такого человека, сидящего на коне, сосредоточенного, который заполняет собой весь мир и господствует над ним».

Знаменитый философ чувствует то, что должны были чувствовать все, служившие в наполеоновской армии, кто посвятил свою жизнь этой душе мира. Он не видел ни их, ни вереницу миллионов смертей на полях сражений, без которых эта душа не владела бы всем миром.

Сказанное подводит нас к очевидному выводу: *вождь масс — это всегда узурпатор, признанный ими*. Это происходит не только потому, что его действия шли вразрез с нормами законности и что его власть была порождена чрезвычайным положением. Это также объясняется необходимым уважением принципа равенства. А он на самом деле не допускает, чтобы человек, кем бы он ни был, мог стоять неизмеримо выше сообщества. Так что всякий истинный лидер по существу своему незаконен. Но, пока он занимает свои позиции, он безгранично распоряжается массой.

Мне возразят, что ни значимость средств коммуникации, ни могущество лидеров не имеют того веса, который я им здесь приписываю. Будут называть другие действующие факторы, чтобы объяснить такое развитие истории. Я и не думаю этого отрицать, так колоссальна ее сложность. Но я сосредоточился на цели до конца проработать одну из гипотез психологии толп: тенденцию современного общества к деспотизму. Эта наука видела в ней симптом деградации нашей цивилизации, поражение индивида перед лицом сообщества и отказ интеллектуальной и политической элиты от их обязательств перед демократией. Есть много средств будоражить души, восстанавливать против нее умы. Но повсюду, где мы наблюдаем царящие, но неправящие массы, без риска ошибиться можно предвидеть черты западного деспотизма. Совсем, как встарь, везде, где король царил, но не правил, можно было приветствовать победу демократии. «Примечательно, —

писал Поль Валери, — что диктатура также заразительна сейчас, как некогда свобода».

IV

Историк Возрождения Буркхард предполагал эту эволюцию задолго до появления на свет психологии масс: «Будущее принадлежит массам и тем личностям, которые смогут доступно объяснить им некоторые вещи». Не наука выдумала деспотизм и тип авторитарной личности в Европе, как и не экономика выдумала прибыль или капиталистическое предприятие, сделав их предметом изучения. А ее, однако, этим попрекали. Это даже было причиной, почему ее подвергали цензуре и держали на карантине. Тем самым, может быть, надеялись укрепить демократию, обратить ее трагические поражения в триумфы.

Это иллюзия, и психологи намеревались с ней бороться. Деспотизм остается главной темой их работ, начиная с Ле Бона, который видел в нем черту человеческой натуры, до немецкого социолога Адорно, анализировавшего деспотическую авторитарную личность через Фромма и Рейха, нащупывая корни в семье, от добровольного подчинения до тоталитарной власти. Они пытались преодолеть успокоительные речи и «розовые» обещания, коснуться той глыбы, той части человека, которая заставляет его отказаться от свободы, от того, что называют правами человека, тотчас, как вождь возникнет на перекрестке истории. Потому, что в конечном счете они озабочены этой конкретной целью, они дают науке миссию говорить обо всем, как есть, задумываясь о том, какими вещи должны были бы быть, если стремиться их изменить. Это, понятно, нечто совершенно противоположное по сравнению с отстраненной и нейтральной рефлексией. Тема западного деспотизма ими одними воспринималась серьезно. Если говорится о воздействии масс-медиа или авторитарной структуры масс, это выбрано не случайно и не из простого рассудочного любопытства. Эта тема возвращает к реальности и именно с ней должны сражаться их теории. Они находятся в полном соответствии с конфликтами эпохи, с драмами, которые она породила, они соразмерны с ними. Действуя, как необходимо действовать, когда сталкиваются с условиями времени (подъем нацизма — один из наиболее впечатляющих признаков), психология толп оказала и продолжает оказывать значительное влияние на политическое поведение и мышление, и даже более того. Каждый в тот или иной момент обращался к ней за поддержкой. Поздно пришедший в эту науку, когда она уже определила свой путь, немецкий писатель Брох замечает: «На всем предшествующем пути развития этой проблемы, который вел нас через области этатистской теории, политики, экономики, почти не было сферы, где мы не встречали бы вопросов психологии масс. Следовало бы признать за психологией масс центральную позицию в современном знании о мире, что давно стало ясно для меня, правда, только в виде предположения» [37].

Для нее демократия масс — это поддержание боевой позиции против сил человеческой природы, которые противоречат ей. Она требует поколения людей, которые умели бы противостоять давлению среды. Способные на настойчивые усилия, служа разуму, эти люди должны быть в состоянии совершить в определенной мере принуждение в пользовании благами и свободами. В этой боевой позиции всякая уступка, всякое ослабление бдительности сурово наказуемы. Уступчивость и выживание любой ценой становятся наихудшими разлагающими факторами. Уступая даже в незначительной степени, они подвергаются опасности оступиться в главном. Как только тиски немного разжимаются, появляется риск погрузиться в вялое течение повиновения.

V

В этой первой части работы я набросал план и чертеж мысленного ландшафта психологии масс. Я стремился дать представление о ее истоках, феноменах, которые она изучает, и в целом о практических проблемах, которые она надеется разрешить. Более того, я подчеркиваю ее суть как науки в первую очередь политической; науки, которая начала с этого свое существование и никогда не переставала ею быть, в чем вы сейчас же убеждаетесь. Отсюда две силовые линии, два почти исключительных предмета, к которым она беспрестанно возвращается:

1. Индивид и массы.
2. Массы и вождь.

Первый позволяет ей поставить важнейшие проблемы массового общества, второй — искать пути их практического решения. В этом все дело.

Теперь мне нужно уточнить этот план, оживить красками пейзаж, обращаясь к яркости самих этих теорий. Нам представится случай воссоздать некую связную систему и убедиться в возможности упорядочить огромный массив разрозненных фактов.

ЧАСТЬ 2
ЛЕ БОН И СТРАХ ПЕРЕД ТОЛПАМИ

ГЛАВА 1

КЕМ БЫЛ ГЮСТАВ ЛЕ БОН?

I

Всем известно, что психология толп была создана Ле Боном (Лебон Густав *Le Bon Gustave*). Однако существует и загадка Ле Бона. Работы, публиковавшиеся им по-французски, в течение пятидесяти лет не оказывают большого влияния на науки об обществе, хотя вместе с тем они сохраняют особое место среди трудов ученых второго ряда и научных школ, сколь многочисленных, столь и неопределенных. Так какова же причина столь несправедливого отношения? Как можно игнорировать человека, принадлежащего к десяти или пятнадцати умам, идеи которых в рамках социальных наук имели решающее влияние в XX в.? Скажем прямо, за исключением Сореля и, несомненно, Токвиля, ни один французский ученый не имел такого влияния, как Ле Бон. Ни один из них не написал книг, получивших подобный резонанс. Итак, обратимся к этой личности, к тому положению, которое определила ей эпоха. Это поможет нам понять, в каких обстоятельствах и почему именно во Франции была создана психология толп.

Гюстав Ле Бон родился в 1841 г. В Ножан-ле-Ротру в Нормандии. Умер он в Париже в 1931 г. Его жизнь замечательна во многих отношениях. Его рождение случайно совпало с моментом, когда появились первые ростки прогресса. Зрелые годы проходили во времена второй империи, период промышленной революции, военного поражения и гражданской войны. Наконец, он прожил достаточно долго, чтобы застать расцвет научного знания, кризис демократии и взлет социализма — той народной мощи, за которой он с тревогой наблюдал и чье возрастающее влияние изобличал.

В его личности как бы воскрешается та давняя традиция ученых-любителей, памфлетистов, выдающимися представителями которых были Мирабо, Месмер, Сен-Симон. Он продолжает эту традицию, но в сфере, терзаемой резкими изменениями. Этот провинциальный

врач небольшого роста, любитель хорошо поесть, вскоре оставил свою лечебную практику и пустился в научную популяризацию. Успех его работ позволил ему жить писательским трудом и проложить свой путь в литературном мире, где он занял место в ряду наиболее заметных его представителей. Чем же вызваны этот успех и такое видное положение? Можно ли сказать, что его исключительный талант заставил себя признать в среде, поначалу настроенной неблагоприятно и даже враждебно? Возможно, в его трудах просматривается сочетание новых и прогрессивных научных идей со старой литературной традицией? Или же нужно признать в этом человеке исключительное чутье, позволившее ему почувствовать духовные движения эпохи и выразить эти подспудные тенденции? Несомненно, все это можно сказать о Ле Боне, еще и обладавшем поразительной способностью облечь в ясно выраженную и обобщенную форму идеи, которые витали в воздухе и которые другие не решались сформулировать или высказывали туманно. Кроме этого имело место особое стечение обстоятельств, которое сделало кабинетного ученого создателем науки, теоретиком новой политики.

II

После унизительного поражения своей армии в 1870 г. Франция, а особенно французская буржуазия на протяжении нескольких месяцев обнаруживает свою несостоятельность и неготовность управлять страной, владеть социальной ситуацией. При Наполеоне III она только что аплодировала опереттам Оффенбаха, отдаваясь во власть очарования его музыки и не вникая в тексты. Она сыграла свою роль вяло, не поняв ни себя, ни симптомов грядущего взрыва, ни своей беспечности, подготовившей крах. Арман Лану подчеркивает: «Сейчас, когда смотришь Оффенбаха в исторической перспективе, невозможно удержаться от того, чтобы не назвать его произведения пляской смерти, приведшей к Седану». А от Седана к Парижской коммуне, которая была его прямым следствием. Пытаясь определить причину этих крушений, буржуазия, как всегда, находит ее в уличных беспорядках, неповиновении рабочих, недисциплинированности солдат, бурлении общественных процессов, обрушившихся на Париж, как некогда гунны на Европу. Тогда как это только слабость правительства, разобщенность политических группировок, неспособных сдержать восставших. Было бы логично, если бы решение исходило от сильного правительства, способного к установлению власти. «Единственно разумная вещь, — писал Флобер Жорж Санд 29 апреля 1871 г., — верхушечная власть, народ — это всегда второстепенная фигура».

Каково! А Парижская коммуна с ее дерзкой претензией изменить мир, с провозглашением будущего, которое воспевается в тот момент, когда Франция на коленях, территория отрезана, армия потерпела поражение. Коммуна наглядно воплощает связь, существующую между

поражением и народным возмущением, падением государственной власти и бунтом граждан. Интеллигенция вибрировала в унисон с буржуазией — разве это не ее сыны? — перед фактом национального унижения. В то же время она подняла голос против опасности, исходящей извне — от постоянно враждебной Германии — и изнутри — от вечного врага, Французской революции, не завершенной даже почти век спустя, но все же побежденной. «Так, французская история XIX в. в целом, — пишет Франсуа Фюре, — была историей борьбы между Революцией и Реставрацией, вехи которой —1815, 1830, 1848, 1851, 1870 гг., Коммуна, 16 мая 1977 г.».[1]

Достаточно почитать Тэна и Ренана, чтобы уловить всю степень тревоги, пробужденной этими двумя последними эпизодами, и тот отклик, который она получила в общественной мысли своего времени.

С этой тревогой соизмеряют общественный резонанс, видя в ней новый смысл, придаваемый общественным движениям и простонародным классам. Романы Золя свидетельствуют об этом, как и исторические исследования. Эти классы каждый увидел в действии. Каждый почувствовал их значимость или исходящую от них угрозу соответственно своим политическим убеждениям. Тревога? Лучше было бы сказать страх, внушенный «подозрительной и колеблющейся популяцией», «антисоциальным сбродом», согласно употреблявшимся тогда выражениям. Чтобы преодолеть эту тревогу, нужно было найти объяснение событиям и ещё, быть может, отыскать ключ к современной эпохе. Все во Франции вглядывались в социальную ситуацию и видели нестабильность власти. Попытки реставрации, возвращения старого режима с его монархией, его церковью не давали желаемых результатов. Имели успех теории, которые осуждали современные убеждения — стандарты научного знания, всеобщее избирательное право, высший принцип равенства и т. п. — и клеймили позором тех, кто их распространял. Это не мешало партиям быстро множиться, буржуазии — цепляться за командные посты, а революционным идеям — прокладывать себе путь. Требовалось какое-то драконовское средство, доводящее все до крайнего выражения, дерзкая идея для прочистки мозгов. Идея простая и ясная, мобилизующая дух. Нужно было дать отпор социализму, показать, что революция не неизбежна и что Франция могла собраться с силами и сама определить собственную судьбу. Такая программа могла бы показаться слишком честолюбивой, но ее смысл был понятен каждому и каждый сознавал необходимость нового решения.

III

Итак, Ле Бон появился. Этот неудачник от науки, этот трибун без трибуны понимал, что происходит. Он был одержим идеей лечить болезни общества, она его просто преследовала. Отойдя от своих медицинских исследований, он сошелся со многими пишущими учеными,

государственными деятелями и философами, которых занимали те же вопросы. Жаждая сделать карьеру — быть принятым в Академию или получить место в университете, — он берется за совершенно разноплановые исследования: от физики до антропологии, от биологии до психологии — науки, едва зародившейся, и оказывается среди первых, кто предчувствовал ее значение. Но, несмотря на широкий круг знакомств и на то упорство, с которым он преследовал свою цель, его большие амбиции не были удовлетворены. Двери университета, как и Академии наук, оставались для него напрочь закрытыми.

И он неутомимо работает вне сферы официальной науки, по сути дела как *аутсайдер*. Он ворочает знаниями, как другие деньгами. Сооружает один научный проект за другим, хотя никакой заметный результат не увенчивает этих усилий. Но этот исследователь-дилетант, этот популяризатор науки совершенствует свои способности синтезировать. Он обучается искусству кратких формулировок, обретает шестое чувство журналиста на факты и идеи, которые в данный момент возбуждают читающую публику. Сопротивление, с которым он сталкивается со стороны университетских кругов, все сильнее подталкивает его к поискам успеха на политическом и общественном поприщах. В течение этих лет, написав десятки трудов, он варит в одной и той же посудине биологические, антропологические и психологические теории. Он делает набросок психологии народов и рас, вдохновленный одновременно Тэном и Гобино. По мнению историков, вклад Ле Бона в эту отрасль психологии достаточно значителен для того, чтобы его имя фигурировало в почетных списках — не слишком славных, по правде говоря, — предтечей расизма в Европе.

Изучая эти психологические проблемы, Гюстав Ле Бон был прямо-таки поражен феноменом толп — особенно народных движений и терроризма, — беспокоившим его современников. На самом деле несколько книг по этой теме уже появилось, в частности, в Италии. В них акцент делался на страхе, вызванном повсюду возвратом к варварству или к тому, что некоторые считали таковым. Ле Бон искусно подхватил тему, которая обсуждалась, впрочем, преимущественно в общих и чисто юридических терминах. А он воздвиг на ее основе вполне правдоподобную, если не сказать, внутренне связную теорию.

Он начинает с диагностики парламентской демократии: ее болезнью является нерешительность. Сила в управлении ведет к общественному порядку, ее несостоятельность влечет за собой общественные беспорядки. Воля в управлении ведет к политической безопасности, отсутствие такой воли имеет следствием общественную опасность и побуждает к революционным действиям. Однако же классы, стоящие во главе этой демократии, сохранили свою способность рассуждать — причину нерешительности, но утратили волю — источник всякой силы. Они не верили больше в свою миссию, а без этой веры политическая деятельность тонет в нерешительности и безответственности. Они

также не проявляют достаточной откровенности: при демократии, даже если голосует большое количество людей, правит всегда меньшинство.

Вдумаемся как следует. Ле Бон упрекает господствующие классы не в фальсификации, не в забвении принципов. Он их обвиняет в неумении отринуть прошлое и в недооценке действительности. Именно в их руках было решение в период смуты и деморализации. Выбирая демократию, где якобинские идеи перемешиваются с практикой олигархии, где все прикрыто общими и туманными дискуссиями, они обрекают себя на нерешительность. Они рискуют стать жертвой манипуляций, быть выбитыми из колеи, раздавленными умными честолюбивыми людьми без совести, поддерживаемыми народными силами, во главе которых они стоят. Чтобы не впадать в ошибку относительно своей культурной и прогрессивной миссии, они должны признаться себе в реальности сложившейся ситуации, в существе конфликта, терзающего общество. И Ле Бон дает им долгожданный ответ: в этом конфликте дальнейшую роль играют массы. Одни лишь массы дают ключ к ситуации во Франции и во всем современном мире. «Высказываясь в пророческом духе, — замечает современный историк, — Ле Бон начал с того, что поместил массы в самый центр любой возможной интерпретации современного мира» [2].

Конечно, он к ним испытывал пренебрежение, как буржуа к черни, и социалиста к люмпенам. Но массы являются фактом, а ученый не пренебрегает фактами, он их уважает и пытается понять. Поэтому Ле Бон не грезит о реставрации монархии или аристократического режима. Его мечтой скорее была бы патрицианская и индивидуалистическая демократия в английском духе.

Либерализм по ту сторону Ла Манша не переставал задевать общественную мысль Франции от второй до пятой республики включительно. Ему, однако, не удался решительный интеллектуальный прорыв. Так же, как и крупная финансовая и промышленная буржуазия не имела решающего политического успеха во французском государстве, задуманном как государство среднего коммерсанта, чиновника, крестьянина, даже рабочего и созданном ими. Бурные и метафизические отношения Франции с современностью, ее метания между английской моделью, с которой она ощущала близость во времени, и немецкой властью, близкой в пространстве, наконец, ее преданность миссионерскому национализму, несущему в себе образ мира с французским лицом — XVIII в. был тому примером и предметом ностальгии, — вот причины, объясняющие эти полупоражения.

Обеспокоенный реальным положением дел во Франции, Гюстав Ле Бон ищет противоядия беспорядкам, производимым толпами. И он находит его не в истории, не в экономике, а в психологии. Она его наводит на мысль о существовании «души толп», состоящей из элементарных импульсов, объединенных сильной верой и маловосприимчивых к опыту и разуму. Совершенно так же, как «душа индиви-

дов» подвержена внушающим влияниям гипнотизера, погружающего человека в сон, «душа толп» подчиняется внушениям вождя, который навязывает ей свою волю. В таком состоянии транса любой выполнит то, что в нормальном состоянии люди не могут и не желают делать. Замещая реальность воскрешенными в сознании образами и отдавая приказания, вождь овладевает этой душой. Она отдается на его милость, как пациент, загипнотизированный врачом. Таким образом, основополагающая идея проста. Причиной всех катастроф прошлого и сложностей настоящего признается нашествие масс. Объясняется и слабость парламентской демократии: она идет вразрез с психологией. Господствующие классы совершили ошибки, они не распознали причин и проигнорировали законы толп. Достаточно признать ошибку и понять эти законы, чтобы исцелить недуг и поправить ущербную ситуацию.

Эта идея, сформулированная непосредственным и живым языком, подкрепленная, скажем, научным содержанием, объясняет успех его книг, «такой, что ни один иной теоретик общественной мысли не смог бы с ним соперничать». Популяризатор науки постепенно превращается во властителя дум. И он сохранял эту позицию до конца своей долгой жизни. «В последний период жизни, — пишет его единственный биограф (конечно же, английский), — Ле Бон направил свои усилия на воспитание элиты ввиду возрастания ее военно-политической ответственности»[4].

У себя дома, поскольку он был домоседом, на протяжении тридцати лет Ле Бон воспитал когорту государственных деятелей, писателей, ученых. Упомянем психологов Рибо и Тарда, философа Бергсона, математика Анри Пуанкаре, несравненного гения Поля Валери, принцесс Марту Бибеско и Марию Бонапарт, внесших колоссальный вклад в распространение его идей. Не забудем и политических деятелей, которые были с ним знакомы и, полагаю, почитали его: среди них Раймон Пуанкаре, Бриан, Барту и Теодор Рузвельт. Нужно добавить, что все его поклонники были убеждены в большой значимости такого видения человеческой природы, как ни трудно его принять. Они со всей серьезностью воспринимали его настойчивые советы по общественным и политическим вопросам. Фактически своего апогея распространение этой доктрины достигло к двадцатым годам нашего столетия, в тот момент, когда «новая наука больше всего прельщала демократическую элиту, которая видела в ней теоретический инструмент, подтверждающий ее глубинный страх перед массами, а также обеспечивающий ее сводом правил, с помощью которых можно было бы манипулировать массами и обуздывать их потенциальную свирепость»[5].

ГЛАВА 2
МАКИАВЕЛЛИ МАССОВОГО ОБЩЕСТВА

I

Все готовы признать, что «Психология толп» Ле Бона является тем, что в наше время было бы названо бестселлером, а общие тиражи этой книги свидетельствуют о ней как об одном из самых впечатляющих научных успехов всех времен. Сегодня я бы мерил этот успех и положением в обществе тех, кто читал труды Ле Бона, и последствиями этого успеха. Начнем с самого очевидного: «Психология толп» стала манифестом науки, которая под разными названиями (социальная психология, коллективная психология) продолжает существовать до нынешнего времени. Этот факт заслуживает пояснения, так как далеко не все единодушны в его признании.

«Наиболее значительными работами, создавшими непосредственный фон, на котором строилась современная социальная психология, — замечают два американских исследователя, — были труды Тарда и Ле Бона во Франции» [6].

Имена этих двух французских ученых часто связываются, но, по признанию Олпорта, очевидно, что «Психология толп» остается наиболее значительной из всех работ, когда-либо созданных в социальной психологии». Это — работа, тотчас переизданная, прокомментированная, раскритикованная, ставшая предметом плагиата. Именно данный труд стал основным источником вдохновения и материалом для анализа в двух первых учебниках по социальной психологии: в английском Макдауголла[7] и в американском Рона — и до сих пор сохранил свое влияние. Я же сам принадлежу к тем немногочисленным из наших коллег, кто берет на себя труд оспаривать его основы.[8] Но считаю вместе с тем вполне уместным суждение двух известных американских исследователей:

«Работа Ле Бона, — пишут Милграм и Точ, — все же достигла своей цели в социальной психологии. Книга этого автора почти не вызывает дискуссии, так как она просто не находит отклика в экспериментальной психологии нашего века... Однако ведь Ле Бон предлагает нам не только дискуссию самого общего плана, но и щедрое изобилие гипотез, полных изобретательности, над которыми можно работать» [9].

Его роль была не меньшей и в социологии, хотя, случается, об этом умалчивают. Некоторые, даже довольно поверхностные, зондирования вызвали необычайный отклик, я бы сказал, почти моду на предложенные Ле Боном идеи и концепции, например, в Германии. Такие

знаменитые мыслители, как Зиммель [10], Фон Визе [11] и Виркандт [12] развивали их, уточняли и включали в свои системы.

Психология массы проникает и в процесс образования, становясь частью университетского багажа. Тем самым была подготовлена почва для ее внедрения в политические сферы. Она действительно пользовалась авторитетом в науке. Более того, она встречает отклик со стороны совершенно иного течения немецкой социологии — франкфуртской школы. Имя французского психолога многократно повторяется в текстах Адорно, Хоркхаймера. И в этом нет ничего удивительного, поскольку массовое общество находится в центре их теорий. Так, недавно появившийся в русле этой школы «учебник», посвящает ему главу, где можно прочитать: «По опыту последних десятилетий нужно заметить, что утверждения Ле Бона подтвердились удивительнейшим образом, по крайней мере во внешних аспектах, даже в условиях современной технологической цивилизации, когда можно было бы рассчитывать на то, что массы стали более просвещенными»[13].

У нас еще будет по другим поводам случай вернуться к отношениям франкфуртской школы и психологии масс, к тому вниманию, которое было уделено Ле Бону и его «знаменитому труду»[14]. Сейчас же я удовольствуюсь подведением итога. До прихода к власти Гитлера, до гибели немецкой социологии этот итог был ясен. «Неоспоримо, — пишет один из самых известных ее представителей, — что „Психология толп“ Ле Бона до сегодняшнего времени сохранила за собой славу классического труда, ее полуправда встречается почти в любой социологической работе»[15].

Не были исключением и работы американских социологов. Их число слишком велико для того, чтобы можно было привести подходящий пример. Случай Роберта Парка, одного из основателей знаменитой чикагской школы, не единичен. Начиная с диссертационного исследования, проведенного в Германии и посвященного непосредственно толпе, или публике, и вплоть до его последних текстов можно обнаружить влияние Ле Бона и его «фолианта» о толпе, который «составил эпоху»[16].

Эта школа создала значительные работы о массах и коллективном поведении. В этой области Ле Бон пока ещё признается вместе с Тардом пионером. Даже при том, что многие из тех, кто прочитал его поверхностно или знает о нем из вторых рук и судят пренебрежительно, вынуждены признать, что он имеет влияние. [17] То, что истинно для Германии и Соединенных Штатов, истинно и для остального мира. Чтобы в этом убедиться, достаточно даже бегло просмотреть, например, энциклопедический труд *H.Becker & A.E.Barnes*. Social thought from lore to science (Dover, New York, 1961). Из него видно, до какой степени классическим автором стал Ле Бон. Наведя справки в некоторых книгах по истории социологии, разумеется, опубликованных за границей, я мог бы утверждать, что до второй мировой

войны его имя (вместе с именем Тарда) цитируется так же часто, если не чаще, чем имя Дюркгейма, а его идеи получают чрезвычайное распространение.

Распространение влияния психологии толп также затронуло соседние отрасли и послужило толчком для серии работ в области политической науки и истории. Ее модели можно обнаружить даже в психоанализе. Мы должны быть благодарны Роберу Михельсу [18] за труд о политических партиях, который все считают классическим. Если проанализировать его основные положения, в них можно обнаружить синтез описания форм господства, выделенных немецким социологом Максом Вебером, и психологических объяснений Ле Бона. Это тем более очевидно, что сам автор не делает из этого тайны. Идея трактовки политических партий в том же ключе, как если бы речь шла просто о массах, и объяснения их эволюции психологическими причинами — эта идея непосредственно восходит к психологии Ле Бона.

История не могла остаться в стороне от всеобщего увлечения этими идеями. Я не хотел бы много распространяться по этому поводу, вот только одна цитата с комментарием. В 1932 г., год спустя после смерти Ле Бона, по случаю Semaine de synthese состоялось торжественное собрание, посвященное теме толпы. Это вполне в университетском духе, натянуто чтить и поминать человека, которого предпочитали игнорировать, но чьи идеи не проигнорировали. Критикуя, облекая в дюркгеймовский язык, господствовавший в то время, совершенно недюркгеймовские идеи, очень знаменитый историк Жорж Лефевр оказал Ле Бону редкостное почтение: «Специфическое понятие толпы, — сказал он, — было введено доктором Ле Боном при изучении истории Французской революции. Оно подразумевало существование проблемы, до него почти никого не заботившей. В данном отношении заслуга этого автора неоспорима, но не более того» [19].

Беспристрастное суждение, никакой мелочности. Обнаружить проблему, о которой раньше не подозревали, ввести понятие в научный обиход такой почтенной и полной неожиданностей науки, как история — не такая уж незначительная заслуга. Со своей стороны Жорж Лефевр отдал Ле Бону еще большую дань уважения, сказав «более того» и положив понятие толпы в основу своих собственных исследований и анализа существующих документов. Это следует из работы, остающейся единственной в своем роде — «Великий страх 1789 года» (Париж, А.Колэн, 1932), в которой он перебрасывает мост между психологией толп и историей.

По логике вещей, я, прежде всего, должен был бы остановиться на том, *что* именно психоанализ почерпнул из психологии толп, *что* развил и *что* является основным. Но, поскольку значительная часть этой книги посвящена Фрейду, я ограничусь тем, что напомню суждения, схватывающие, и очень точно, самое главное: «Метод книги Фрейда, — пишет Адорно по поводу „Массовой психологии и анализа

человеческого *Я*“, — состоит в динамической интерпретации описания Ле Боном духа массы» [20].

В этом прослеживании идей не хотелось бы забыть о Юнге. Его идея коллективного бессознательно находится в первом ряду тех идей, к которым французский психолог интуитивно пришел, которыми пользовался и злоупотреблял. Здесь я еще раз предоставляю слово историку: «Нет, кажется, области, в которой бы между Фрейдом и Юнгом было такое согласие, как в вопросах массовой психологии. Оба они принимают классическое описание массы Гюстава Ле Бона и соглашаются в том, что индивид в массе опускается на более примитивный интеллектуальный и эмоциональный, уровень» [21].

Напоминание об этих преемственных связях, эти беглые сравнения дают, нужно признать, весьма неполную картину воздействия на культуру в целом вне рамок науки как таковой. Одна из тенденций культуры нашего века может быть определена и так: «...пронизанная дарвинистской биологией и вагнеровской эстетикой, расизмом Гобино и психологией Ле Бона, проклятиями Бодлера, мрачными пророчествами Ницше и Достоевского, а позднее философией Бергсона и психоанализом Фрейда» [22].

Конечно, компания не слишком жизнерадостная, но в нее по крайней мере попали немногие. Нравится нам это или нет, Ле Бон в ней фигурирует. Данный факт говорит больше, чем все свидетельства об исключительной значимости этого труда, его огромном резонансе. Это дает понять, что вовсе не стоит воспринимать его как бедного родственника в огромной семье психологов и социологов. Его прочитали все, но никто не спешит признаться в этом. От него отрекаются, используя его тексты без малейшего стыда, как наследники кузена Понса растрачивали и уничтожали не принадлежащие им коллекции, чтобы изъять из них монеты. Для имеющихся у меня документальных свидетельств в защиту Ле Бона не хватило бы и целого тома.

II

Множество странностей обескураживает современного читателя в текстах Ле Бона. Но его предвидение нас просто изумляет. Им была предвосхищена вся психологическая и политическая эволюция нашего века. Вкладывая столько страсти в свои рассуждения и предсказания, он явно видел себя в роли Макиавелли массовых обществ и призывал обратиться к трудам своего прославленного предшественника с новых позиций: «Большая часть правил, относящихся к искусству управлять людьми, — пишет он в 1910 г., — которым учил Макиавелли, долгое время были невостребованными и четыре века не коснулись праха этого великого покойника, никто не сделал попытки продолжить его дело» [23].

Он, со своей стороны, пытается это сделать и, рассчитывая на успех, обращается к государственным деятелям, руководителям партий, государям современной эпохи как к своим прямым или косвенным учени-

кам. И у него не было недостатка в учениках. Используя наставления на уровне здравого политического смысла, изречения Робеспьера и особенно Наполеона в психологическом обрамлении, Ле Бон ломает интеллектуальные преграды, рушит запреты либерального и индивидуалистического мышления. Он позволяет государственным деятелям подходить к жизни масс, используя неожиданные уловки и разрешая им вести себя как вожди. По правде сказать, это происходило в основном по отношению к новым партиям и деятелям, которые с рвением новообращенных принимали его идеи и упражнялись в парафразировании его книг. По меньшей мере, они должны были принимать их в расчет и определять свое к ним отношение. Социалистические движения и рабочие партии первыми столкнулись с проблемой масс. Их политика основывалась на постулате рациональности совершенно так же, как и политика либеральных движений буржуазных партий. Их общая философская позиция заставляет тех и других считать, что поведение людей зависит от осознания ими своих интересов и общих целей.

Однако основные положения Ле Бона поражают социалистов-теоретиков тем, что идут абсолютно вразрез с их установками. Особенно его настойчивость по поводу иррациональных факторов, решающей роли неорганизованных, аморфных масс и их глубоко консервативного характера: «История учит нас, — пишет он, — что толпы чрезвычайно консервативны, несмотря на их внешне революционные побуждения, они всегда возвращаются к тому, что разрушили» [24].

Живее всех на эти утверждения прореагировал Жорж Сорель, автор знаменитых «Размышлений о жестокости». Его отзыв о работе по психологии толп, в целом вполне положительный, опровергает суждение об их консерватизме, особенно в классовых обществах, и указывает на недостаток социологического основания этой психологии. Эти критические высказывания не мешали ему годами следовать Ле Бону и вторить его теории. Идея о том, что какой-нибудь мощно действующий миф, пусть даже иррациональный, необходим для того, чтобы рабочий класс стал революционным, является тому подтверждением. Так, при посредстве Сореля, концепции которого имели огромное влияние на политику того времени, психология толп проникает почти всюду. Ее отголоски можно найти даже у коммуниста Грамши, который прочел работы Сореля и Михельса — двух ученых, в наибольшей степени ассимилировавших, каждый в духе собственного дарования, концепции Ле Бона. Они оказались прямо в центре дебатов, всколыхнувших немецкую социал-демократическую партию. До советской революции эта партия служила моделью для всех рабочих партий. Вот и дебатировавшийся вопрос: каковы должны быть отношения между сознательной и организованной классовой партией и неорганизованной массой, чернью, люмпеном, «улицей»? Французский психолог с полной очевидностью привлек внимание ко все возрастающей значимости последней. Знаменитый немецкий теоретик Карл Каутский признавал

важность этой эволюции: «Стало ясно как день, — пишет он, — что политические и экономические битвы нашего времени во все более возрастающей степени становятся массовыми действиями» [28].

В то же время он опровергает объяснение феноменов толпы через внушение и причины в основном психологического свойства. Это, впрочем, не мешает ему принимать, хотя, правда, несколько пренебрежительно и с трудом, теорию Ле Бона. К каким бы общественным классам они ни принадлежали, толпы остаются одними и теми же: непредсказуемыми, разрушительными и, по крайней мере отчасти, консервативными. Так, приводя пример еврейских погромов, линчевания негров, он заключает: «Очевидно, что массовые акции не всегда служат делу прогресса. То, что разрушает масса, не всегда является самыми роковыми препятствиями прогресса. Там, где она одерживала победы, она настолько же отличалась реакционностью, насколько и революционностью» [28].

Один из его противников, Паннекок, даже с горячностью упрекает его в приписывании толпам какой-то собственной динамики, не связанной с определенным историческим периодом и независимой от их классовой сущности. Проще говоря, в игнорировании пролетарского или буржуазного состава толпы. Для него здесь речь идет лишь об эпифеномене, который рабочие партии не должны были бы всерьез принимать во внимание. «Перед лицом этого фундаментального (классового) различия, — утверждает он, — нельзя не придавать значения контрасту между массами организованными и неорганизованными — ведь вовлеченность и опыт создают значительную разницу при равной предрасположенности у членов рабочего класса, но эта предрасположенность тем не менее остается вторичной» [29].

Насколько мне известно, эти дебаты так ничем и не завершились. Ни одна из противоположных сторон не предложила какой-то новой точки зрения или новой тактики по отношению к неорганизованным городским массам.

Я слишком кратко остановился на этом важном эпизоде. Однако он дает представление об отголосках психологии толп на довольно коротком промежутке времени. За неимением необходимых исторических работ нет возможности определить вес и значение психологии толп для социалистического и революционного лагеря. Я подозреваю, что этот вес не был таким уж большим, чтобы открыть глаза демократам всяких ориентации, когда откровенно деспотические режимы, и в первую очередь фашизм, воцарились на сцене современной истории при восторженной поддержке толп. Они были настолько убеждены в невозможности добиться победы таким «примитивным» способом, что их просто, так сказать, не замечали. Итальянский писатель Силоне об этом свидетельствует: «...нельзя замалчивать тот факт, что социалисты, сосредоточившись на классовой борьбе и нетрадиционной политике, были удивлены варварским нашествием фашизма. Они не поняли причин и

следствий их лозунгов и их символов, таких необычных и странных, и тем более не могли себе представить, каким образом столь примитивное движение могло прийти к власти над такой сложно организованной машиной, как современное государство, и удержать эту власть. Социалисты не были готовы понять действенность фашистской пропаганды, так как их доктрина была сформулирована Марксом и Энгельсом в предшествующем веке и с тех пор не продвинулась вперед. Маркс не мог ни предвосхитить открытий современной психологии, ни предвидеть форм и политических следствий этой массовой цивилизации» [30].

Немецкие социалисты оказались точно в таком же положении. Все склонны принимать возможное за невозможное вплоть до того момента, когда оно происходит: отсюда войны и научные открытия. Близорукость социалистов (и коммунистов) отрезала их, и в сходных обстоятельствах это повторится, от рабочих масс, даже если бы они за них голосовали. Это очень правдоподобно.[32] Когда водная масса не имеет достаточной глубины, она не может поддерживать огромный корабль. Когда человеческая масса не взволнована, она не может жить великой идеей. Это именно то, что случилось.

III

Труды Ле Бона были переведены на все языки, в частности, «Психология толп» на арабский министром юстиции, а на японский — министром иностранных дел. Президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт числился среди усердных читателей Ле Бона и стремился с ним встретиться в 1914 г.[33] А другой глава государства, Артуро Алессандри, в 1924 г. писал: «Если вам однажды представится случай познакомиться с Гюставом Ле Боном, скажите ему, что президент Республики Чили является его горячим поклонником. Я питаю себя его произведениями». Вот что заставляет присмотреться и задуматься. Сейчас, по прошествии времени, можно утверждать, что психология толп и идеи Ле Бона являются одной из господствующих интеллектуальных сил Третьей Республики, которые дают нам к ней ключ. Заметим, что их проникновение в мир политики происходит через посредничество тех, кто хорошо знаком с этими доктринами и следует советам их автора. Аристид Бриан с самого начала фигурирует среди тех, кто посещает и слушает Ле Бона. [34] Луи Барту знаком с ним и заявляет: «Я считаю доктора Ле Бона одним из самых оригинальных умов нашего времени» (La Liberte, 31 мая 1931 г.). Раймон Пуанкаре без колебаний вспоминает его имя в своих публичных выступлениях. Затем Клемансо. В предисловии к своей книге «Франция перед Германией», появившейся в разгар войны, он упоминает единственного из живых авторов: Ле Бона.[35] К этому далеко не полному списку я добавил бы, наконец, Эррио: «Я питаю к доктору Гюставу Ле Бону, — пишет он в 1931 г., — самое горячее, искреннее и осознанное восхищение. Я считаю его одним из самых широких и проницательных умов».

Но ведь эти пятеро людей держали в руках власть. Они формировали Республику. Их заявления, судя по разным другим признакам, свидетельствуют, что проникновение, о котором я говорил, было действительно реальным. Психология толп глубоко проникла в различные сферы, начиная с военной. Ее изучают в армиях по всему миру. Мало-помалу она становится составной частью их деятельности и доктрин. В начале нынешнего века теория Ле Бона изучалась в Военной школе, в частности, генералами Боналем и Модюи. Некоторые открыто объявляли себя его последователями, как, например, генерал Манжен. Можно утверждать, что идеями Ле Бона были вдохновлены некоторые военачальники, Фош [36] в первую очередь. Видимо, они восхищались его пониманием власти вождя, опирающейся на непосредственную волю нации. Они должны были бы одобрительно относиться также к его критике демократии, правящей вяло, у которой расходятся слово и дело, и смиряющейся с поражением, лишь бы не вступать в бой. После краха 1870 г. одна только речь об этом вызывала одобрительное внимание. А поскольку эти речи шли от имени науки, им склонны были верить. Во время же войны 1914–1918 гг. к Ле Бону действительно обращались в нескольких случаях, и он подготовил документы для политических и военных руководителей. В его психологию тем более верили, так как она предлагала свой метод мобилизации людей, усиления дисциплины войск, то есть именно то важное и нестабильное, что каждый дальновидный военный стремится сохранять и упрочивать. Нужно было обладать гением генерала Де Голля, чтобы вынести этот сгусток идей за рамки военных школ и придать им систематизированную форму на политической арене. Он, несомненно, придал им определенный стиль, особое величие, воспользовался ими в час опасности, чтобы возродить миф о Франции и внушить французам патриотический настрой. Должен заметить со всей определенностью, что идеи Ле Бона дают нам ещё один ключ, на сей раз к пониманию Пятой Республики. Он предвидел эту формулу: объединяющий президент и соглашающийся парламент. С 1925 г. он ее утверждает в своих терминах: «Наиболее вероятная форма (правления), несомненно, будет состоять в автократической власти премьер-министров, пользующихся, как это было в случае господина Ллойд Джорджа в Англии и господина Пуанкаре во Франции, практически абсолютной властью. Трудность состоит в том, чтобы найти механизм, позволяющий добиться того, чтобы премьер-министры были, как в Соединенных Штатах, независимы от парламентских решений» [37].

Известно, что генерал Де Голль одержал победу в трудной ситуации благодаря открытию этого механизма. Он даже сделал больше — совершенно осознанно воплотил в себе именно такого лидера, каким его рисовал Ле Бон. К тому же он сумел приспособить это видение к условиям демократии и к особенностям французских масс.[38] Доказательство тому — «Острие шпаги». В ней мы находим собрание афо-

ризмов Ле Бона, особенно тех, в которых говорится о природе масс и завораживающей силе вождя. М. Манони заметил это заимствование: «Генерал Де Голль воспринял эту идею (вождя) слово в слово. Будучи совершенно обесславленным, Ле Бон был основательно ограблен» [40].

Однако раньше других ограбили Ле Бона еще два великих человека. Они привели в исполнение его принципы и с чрезвычайной скрупулезностью отработали их применение. Это — Муссолини и Гитлер. Заметим интересную деталь: представления об этой теории проникают в Италию в основном по каналам революционных социалистических изданий. Взглянув на истоки фашизма, вы увидите, что в них эти представления тоже занимают значительное место. «Там (у Муссолини) идеи Парето, Моски, Сореля, Михельса, Ле Бона и Коррадини должны были найти свое выражение. Это были критические идеи для его социальной теории и начинающейся политической деятельности. Это были идеи, которые должны были составить первые доктринерские формулировки фашизма и завершиться оформлением первой рациональной доктрины первого тоталитарного национализма, заявленного нашим временем» [41].

Если допустить, что Сорель и Михельс были вдохновлены идеями французского психолога, а Парето также многое у него позаимствовал, из этого следует, что каждый из его текстов имел двойника в итальянской контрреволюции. Во всяком случае, Муссолини признавал этого автора и относился к нему с теплотой. Вот что он заявляет в 1932 г., вероятно, с некоторой долей преувеличения: «При всем том, с философской точки зрения, я мог бы вам сказать, что я являюсь одним из наиболее горячих приверженцев вашего знаменитого Гюстава Ле Бона, о смерти которого я не могу не сожалеть. Я целиком прочитал его грандиозные и глубокие труды: его „Психологию толп“ и „Психологию нового времени“, два произведения, к которым я, вместе с его „Трактатом о политической психологии“, часто обращаюсь. На строительство нынешнего режима в Италии меня вдохновляют некоторые содержащиеся в них принципы» [42].

Вот слова, которые должны были удовлетворить гордость старца. И на это свидетельство признания, исходившее с родины Макиавелли, он ответил компрометирующей его благодарностью. Поистине ещё было достаточно учтивости и формул вежливости в преддверии этих двух самых мрачных в истории десятилетий. В то время ещё не знали, что концентрация массы завершится концентрационными лагерями.

Но тот, кто наиболее методично, с чисто немецким прилежанием следовал Ле Бону, приходит к власти уже после его смерти: это Адольф Гитлер. Его «Майн кампф» отличается не только глубокой внутренней связью с рассуждениями французского психолога, но и утратой стиля, возвышенности целей и слога. С полным основанием замечали, что это произведение и сами декларации Гитлера, предназначенные для воздействия на массы, «читаются как дешевое копирование Ле Бона» [43].

Эта долговременная связь позволяет думать, что Ле Бон сыграл куда более значительную роль, чем могло бы показаться на первый взгляд. Одно из немецких исторических исследований, действительно, убеждает нас в том, что «теория Ле Бона, бесконечно подвергавшаяся критике и противопоставлявшаяся действительности, ему (Гитлеру) придала уверенности для овладения категориями истинно революционного мышления (...). Ле Бон единственный дал ему возможность осознать то, что необходимо для революционного противодействия, Ле Бон обеспечил ему базовые принципы воздействия на массы» [44].

Без сомнения, эти утверждения, взятые отдельно, должны были бы восприниматься критически, так как будущего диктатора вдохновляли другие интеллектуальные и политические доктрины. Но, по-видимому, и в них есть большая доля правды. Если Гитлер превратил идеи Ле Бона в клише, то он и усилил доверие к их научной значимости. Будучи хитроумным ловкачом по части человеческих душ, он претворил эти идеи в жизнь. Таким образом, «не так трудно установить основные источники идей Гитлера в области пропаганды, выдвинутых им в «Майн Кампф»: это — «Психология толп» Ле Бона и «Групповое *Я*» Макдауголла. Некоторые компетентные и заслуживающие доверия свидетели утверждают, что он неплохо знал обе эти книги. Многие формулировки в «Майн кампф» убедительно доказывают, что Гитлер не только прочитал Ле Бона и Макдауголла, но и хранил их теории в памяти, логически приспосабливая их к обстоятельствам своего времени».

А если бы нам требовалось дополнительно в этом удостовериться, то это подтвердил бы гитлеровский министр пропаганды, чудовищный Геббельс. Подневольный служака, он в своих теориях и практике следовал первоисточнику, своему хозяину. Он изучил «Психологию толп» и проникся ее полуправдами. Он резюмировал их, парафразировал, до конца жизни методично внушал их своему окружению. Один из его помощников отмечает в своем личном дневнике: «Геббельс считает, что никто со времен Ле Бона не понял духа масс так, как он».

В тоталитарном государстве то, как думает великий, становится Евангельским словом для сотни миллионов обыкновенных людей. Один американский автор заметил, что «почти вся нацистская пропаганда — одна из наиболее эффективных, которым подвергался мир — вместе с подкрепляющей ее политической теорией является воплощением на практике тезисов Ле Бона», и в это охотно верится.

Это не какое-то частное суждение или слишком сильное преувеличение. Большинство историков, издавших эволюцию этого тоталитарного режима, упоминают его имя по тому или иному поводу и в деталях анализируют его влияние. [47] Вот как это резюмирует американский историк Моссэ: «Фашисты и национал-социалисты являются не кем иными, как последними представителями движений, породивших такие теории человека, как теория Ле Бона. Было бы много приятнее трактовать политику новейшего времени как неудачу. Но, если вспомнить ее историю в достаточно далекой перспективе, нам это не удается» [48].

По моему мнению, концепцией, которая более всего сближается с концепцией Ле Бона, мы также обязаны Шарлю Де Голлю. Всей душой преданный демократии, приверженец республиканских свобод, разочарованный, что Франция — это не Англия, Англия правых убеждений, автор «Психологии толп» мечтал, как все представители его класса и остальные, о власти, которая была бы стабильной, не будучи авторитарной. [49] История, однако, распорядилась иначе. Правда, изрядное число демократов вдохновлялись его книгами и заимствовали то тут, то там его идеи. Но именно диктаторы цезаристского толка поняли его рекомендации буквально и превратили их в жесткие рабочие правила. Мне могут возразить, что они черпали приемы господства над людьми в мудрости тысячелетий, не испытывая необходимости обращаться к Ле Бону. [50] Возможно, но именно ему в то время было дано преобразовать эту мудрость в систему и облечь ее в формулы, получившие признание. Именно в этом смысле я без колебаний утверждаю, что здесь он был первооткрывателем. Первооткрывателем, который, как и многие подобно ему, не подозревал о масштабах своего открытия, о его взрывной силе.

IV

У читателя, возможно, сложится впечатление, что я утрирую некоторые детали, кое-что преувеличиваю, а многое обхожу молчанием. Но эта работа и не мыслилась как безусловная и окончательная. Если мы оглянемся назад, то увидим, что, с одной стороны, гипотезы Ле Бона по поводу масс переделывались, модифицировались, смешивались с другими, рассеивались, пока не стали общим достоянием психологии, социологии, и все это на протяжении одного века. Немногие исследователи удостоились таких привилегий, хотя те, кому удалось воспользоваться ими, делают вид, что забыли об этом карьере, об этом руднике, из которого они добывали свое богатство.

С другой стороны, несмотря на прямо противоположные политические приложения Ле Бона, метод, который он проповедовал и умело выстроил, стал составной частью нашей жизни. Взять хотя бы пропаганду. То, что он предсказал, прежде всего в этой области, проявило себя очень наглядно. Всякому, кто наблюдает массовое общество, сразу бросается в глаза, что любое правительство, демократическое или автократическое, держится у власти благодаря пропагандистской машине, работающей с невиданным ранее размахом. До сих пор только Церковь в иные периоды истории добивалась таких результатов. Соединить средства внушения или воздействия с политикой и возможностями средств коммуникации, научиться смешивать личности и классы в одну массу — вот в чем абсолютная новизна эпохи, у истоков которой стоял французский психолог. Именно он систематизировал их и придал им научную форму: «Данное Ле Боном описание способов действия, лидера, — пишет Рейнволд в своем исследовании по психологии

масс, — имело влияние на современную пропаганду, ориентированную на толпы, и в значительной степени определило ее успехи» [51].

Бесспорно, все то, что было открыто и использовано относительно воздействия на общественное мнение и коммуникации (включая, разумеется, рекламу), обнаруживает здесь свои корни, не очень изменившиеся с тех пор. [52] Разве что можно заметить прогрессирующее сближение приемов становящихся единообразными и стандартными в масштабах всего мира, как, скажем, общие для всех телевидение или кока-кола. Наукам об обществе часто ставили в вину их малую практическую значимость. Они, увы, не могут влиять на течение общественной жизни. Но эти недостатки, как мы убедились, не свойственны психологии толп. Она с самого начала повлияла на ход истории, стала необходимой — не лучше атомной бомбы! — причем по степени своей же необходимости превзошла большинство известных теорий. Те некоторые факты о трудах Ле Бона, которые я напомнил, неоспоримо доказывают это.

ГЛАВА 3
ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ УМАЛЧИВАНИЯ

Долг исследователя — смотреть в лицо досадным фактам и воспроизводить ситуацию такой, какая она есть. Я предвижу ваш вопрос. Вы спросите меня: если он имел такую значимость, как могло произойти, что так мало было известно и о Ле Боне, и о психологии масс в целом? Почему, наконец, его произведениями пренебрегали, а то и создавали им дурную славу? В мои намерения не входит ни приходить на помощь его идеям, ни исправлять положение дел — они в этом почти не нуждаются. Но мне хотелось бы показать, в чем, по-моему, состоят причины умалчивания.

Первая — посредственность его книг. В большинстве своем это тексты на потребу дня, будоражащие воображение читателя, преследующие цель понравиться ему, сказать то, что он желает слышать. Чтобы завоевать широкую публику, нужно уметь кратко, в двух словах, обрисовать, объяснить и подвести итог. То есть идти на риск, в том числе и на риск быть поверхностным. Назовем вещи своими именами: Ле Бон обладал талантом делать открытия, но ему не всегда удавалось их разрабатывать. Его суждения слишком пристрастны, наблюдения бедны. Все это не очень глубоко. Трудно читать его хлесткие суждения о массах, революции, рабочем классе, не испытывая досадного недоумения перед этой лавиной предрассудков и озлобленности по отношению к тому, что в каком-то смысле его самого гипнотизирует. [53]

Вторая причина более деликатного свойства. По своему социальному происхождению Ле Бон принадлежал к буржуазно-либеральной традиции и, таким образом, он в своих исследованиях настроен против революции, социализма и слабостей парламентской системы, выражаясь при этом языком сырым, шероховатым, неотточенным. Сегодня все изменилось. То, что в начале века представлялось неясной возможностью, стало очевидной реальностью. Та же самая традиция должна смело встречаться лицом к лицу с теми же самыми проблемами, поставленными революцией, социализмом и так далее, но в гораздо более экуменическом ключе и *mezzo voce*. Она оттесняет Ле Бонов и Тардов и замещает их более дипломатичными профессорами: Веберами, Дюркгеймами, Парсонами, Скиннерами, говоря только об умерших и не беспокоя живых. Аналогичные выводы они просто облачают в более рафинированную форму. Их наука более приглажена и, называя вещи своими именами, более идеологизирована.

В любом случае она более приемлема для интеллигентской и университетской среды, имеющей левую ориентацию, в стране, где власть всегда оставалась в руках правых и центра. Эта среда продолжила развитие идей и самих общественных наук, не возвращаясь к скомпрометировавшим себя вопросам. Что касается Ле Бона, то его сразу же исключили из этой среды. Как будто его и не было. «В первую очередь он сам противостоял французской университетской организации, которая никогда не признала авторитетной ни одну из его амбициозных научных работ, за исключением „Психологии толп“: ее постигла участь замалчивания»[54].

Третья причина заключается в том, что любые партии, средства массовой информации, так же как и специалисты в области рекламы или пропаганды, используют его принципы, я бы сказал, его рецепты и трюки. Однако никто не собирается в этом признаваться, поскольку в этом случае весь пропагандистский инструментарий разных партий, дефиле руководителей на телевизионных экранах, зондирования общественного мнения предстанут тем, что они есть на самом деле: элементами массовой стратегии, базирующейся на иррациональности. О массах охотно рассуждали бы как о неразумных, но нельзя: ведь им внушают как раз обратное.

Впрочем, психология и политика существуют отдельно одна от другой. На разные голоса кричат о том, что первая не слишком важна для второй. Проясним этот момент. Разумеется, есть политика, для которой психологии не существует, точно так же, как есть психология, для которой не существует политики. Тогда как политика, являющаяся психологией, и психология, являющаяся политикой, беспокоят одновременно и защитников классической концепции революции и демократии, и защитников чистой науки. И беспокоит Ле Бон, соединивший то, что все предпочитали разводить. Он поставил нас перед лицом фактов, с которыми трудно мириться. Об этом свидетельствует знаменитый немецкий экономист Шумпетер: «Значимость иррациональных элементов в политике может всегда связываться с именем Гюстава Ле Бона, основателя, по крайней мере первого теоретика, *психологии толп*. Подчеркивая, хотя и с некоторым преувеличением, реалии человеческого поведения в условиях массовых скоплений... автор поставил нас перед лицом зловещих явлений, о которых каждый знал, но которым никто не желал смотреть в лицо, и тем самым нанес серьезный удар по той концепции человеческой природы, на которой зиждется классическая доктрина демократии и демократическая легенда о революциях»[55].

Наконец, четвертую причину мы находим в его политическом влиянии. Его идеи, рожденные во Франции, были переняты фашистской идеологией и практикой. Разумеется, их систематически применяли для завоевания власти почти повсюду. Но в Германии и в Италии, и только там, его признавали безоговорочно. Таким образом, все проясняется.

Если вы спросите, почему Ле Бона следует игнорировать, вам ответят: «Ведь это фашист». Вот так! Если бы желали предать аутодафе без огня и пламени книги, проповедующие идеи, аналогичные его идеям, то нужно было бы к ним добавить произведения, например, Фрейда и Макса Вебера[56]. Все, что направлено против последнего, в равной мере может быть выдвинуто и против Ле Бона. За исключением того, что ему выпала незавидная честь быть прочтенным Муссолини и Гитлером. Флобер об этом говорил: «Почести бесчестят». Они также и предают забвению.

Нет ничего более естественного в этих обстоятельствах, чем осудить создателя психологии толп. Даже если мы знаем из его произведений, что он предпочитал муки демократии безмятежности диктатур. Ратуя за первую, он видел во второй лишь крайнее средство. По его мнению, любая диктатура отвечает требованиям кризисной ситуации и должна исчезать вместе с самим кризисом: «Их полезность преходяща, их власть должна быть недолговечной» [57]. Продлеваемые и поддерживаемые сверх необходимого, они приводят любое общество к двум смертельным опасностям: размыванию ценностей и падению нравов. Он тем самым предостерегал французов, на протяжении века уже испытывавших на себе власть двух Наполеонов, против искушений и риска новой диктатуры. В конечном счете он желал сохранить свободы во Франции, для которой единственная революция закрыла бы путь другим. Он безапелляционно осуждает любые формы диктатуры, включая ту, которую ему вменяют в вину: фашистскую диктатуру.[58] Так что наклеенный ему ярлык был, мягко говоря, предельно неточным. Признаюсь, я бы не рискнул нарушить это молчание, если бы не обнаружил, что оно существовало только во Франции. Немецкие мыслители первой величины, убежденные антифашисты Брох, Шумпетер, Адорно, не стесняясь обращались к Ле Бону, чтобы уяснить явление тоталитаризма и бороться с ним. Адорно идет дальше и разоблачает идею об исключительной связи психологии толп с фашизмом как просто слишком удобный предлог: «Почему же, — задается он вопросом, — прикладная психология групп, которую мы здесь обсуждаем, более специфична для фашизма, чем большинство других течений, исследующих средства массовой поддержки?... ни Фрейд, ни Ле Бон не предполагали подобного отличия. Они говорили о толпах „как таковых“, не делая различий между политическими целями вовлеченных групп» [59].

Как человек не может избавиться от своей тени, так и все поколение может постигать идеи и судить о них, только соотнося их со своими идеями и собственным опытом. [60] А последние толкают нас к остракизму по отношению к Ле Бону и к психологии масс в целом. Мне нужно было показать здесь причины этого, очистив их от всего необоснованного. Я не стремился их обсуждать прежде оговорок, которые я разделяю. На этом моя роль биографа заканчивается.

ГЛАВА 4
ОТКРЫТИЕ ТОЛП

I

Когда массы обнаружили себя почти повсюду в Европе, угрожая социальной системе, возник вопрос: так что же такое толпа? На него были даны три ответа, в такой же степени неполные, как и универсальные. Вот они:

— Толпы представляют собой скопления людей, которые объединяются вне учреждений и вопреки им на временных основаниях. Одним словом, толпы асоциальны и асоциальным образом сформированы. Они являются результатом временного или непрерывного разложения групп или классов. Рабочий или любой наемный работник, покидающий мастерскую или контору, чтобы вернуться к себе домой, к своей семье, на час или два ускользает из обычных рамок общества. Он находится на улице или в метро как частичка кишащей многочисленной толпы. Как прогуливающийся или зевака он притягивается скоплением людей и растворяется в бурных утехах. Бодлер в «Парижском Сплине» описал это как «искусство»: «Прогуливающегося человека, одинокого и задумчивого, притягивает необычное упоение этого всеобщего единения. Тот, кто легко присоединяется к толпе, понимает лихорадочный восторг, который никогда не будет доступен ни эгоисту, закрытому, как сундук, ни лентяю, сидящему в своей раковине, как моллюск».

Толпа еще соответствует понятиям «чернь», «сброд», «люмпен-пролетариат», короче говоря, тому, что во все времена называлось *плебсом*. Это мужчины и женщины, не принадлежащие к определенным общественным группам, существующие за границами социальной структуры, оттесненные в гетто или предместья, без определенных занятий и целей, живущие вне закона и обычаев.[62] По крайней мере, предполагается, что это так. Тогда толпа представляет собой груду разрозненных социальных элементов, отбросов общества, выметенных за пределы социума и поэтому враждебных ему. Она, следовательно, не является для социолога ни самобытным феноменом, ни феноменом значительным или новым, это просто эпифеномен. Она даже не предмет науки. На нее смотрят как на некое повреждение, случившееся в результате нарушения естественного хода вещей. Общество являет собой порядок, а толпа — это беспорядок и в конечном счете явление скорее коллективное, чем социальное.

– Толпы *безумны*, таков второй ответ. Цепкая, как плющ, эта, так сказать, истина передается из поколения в поколение. «Craze», говорят англичане, чтобы описать то состояние обожания, в котором пребывает толпа поклонников популярного певца — обезумевшие фаны, или восторг тысяч зрителей на стадионе, которые вскакивают, как один, размахивая флажками и плакатами, когда их футбольная команда забивает гол. Безумие и в беспорядочном движении масс, желающих видеть знаменитую личность, и в толпе, бросающейся на человека, чтобы его линчевать, выносящей ему приговор, не убедившись в его вине. Это массовые нашествия верующих в места, где совершится чудо: в Лурд или в Фатиму.

Бесчисленные легенды и книги, озаглавленные, например, «Необычайные народные заблуждения и безумие толпы»[63], полные колоритных деталей, описывают безграничный восторг или безудержную панику народных масс, облетают континенты, бичуя или воспевая. Фанатично преданные религии или какой-то личности, они следуют за ними, как евреи за своим ложным мессией, христиане за своими фанатичными монахами, вплоть до катастрофы. Следуя своему капризу, они сегодня сжигают то, чему вчера поклонялись. Они беспрестанно меняют свои убеждения и превращают события исторического значения в причудливый карнавал или в кровавую бойню, смотря по обстоятельствам.

Живописные толпы, толпы экстравагантные, они всегда порождали воодушевление и будоражили воображение свидетелей, чудом оставшихся трезво мыслящими. Они описывают их подвиги то как витание в облаках корабля дураков, то как бесчинства банды преступников. Рассказы достигают дантовских масштабов, когда их авторы подробно описывают вам, «как если бы вы там были», огромные колонны десятков и сотен тысяч людей, крестоносцев или средневековых еретиков, которые, связанные общей иллюзией, покидают семьи, свое добро, очаги и, невзирая на свою веру, без малейших колебаний и угрызений совести предаются страшнейшим разрушениям, чудовищной резне. Если эта их вера угасает, они следуют другой и с тем же упорством устремляются к новой иллюзии. Они приносят ей такие же невероятные жертвы и совершают в угоду ей такие же жестокие преступления.

В сознании рассказчиков, как и в сознании читателей, приступы, происходящие с толпой, выглядят как приступы безумия, которые подпитывают мрачные видения, приподнимают завесу над потаенной стороной человеческой натуры и высвобождают ее, выставляя напоказ. Их нрав выходит за пределы общепринятого, это нрав исступленный, патологический, очаровывающий, так как, по словом Клоделя, «порядок — это наслаждение разума, а беспорядок — это лихорадка воображения». Впрочем, если не считать этой зрелищной стороны, можно было бы сказать, что толпы не представляют никакого интереса. У них нет ничего, кроме иллюзорности видений, и они по-настоящему не оказывают влияния на ход истории.

– Третий ответ выглядит отягощающей добавкой к двум первым: толпы *преступны*. Будучи сбродом и жульем, они состоят из людей разгневанных, которые нападают, оскорбляют и громят все подряд. Это воплощение беспричинной, разнузданной жестокости, стихийного бушевания массы, несанкционированно собравшейся вместе. Действия против личности, грабежи — все это в ее духе. Она противодействует властям и абсолютно не признает законов. К концу девятнадцатого века толпы все более множатся. Их непредсказуемые действия тревожат власти. Именно тогда начинают усиленно говорить о «преступных толпах», об этих объединенных коллективных преступниках, которые угрожают безопасности государства и причиняют беспокойство гражданам. Невозможность их схватить, покарать, возложить на конкретного человека ответственность за их действия в целом приводит в замешательство юристов и делает произвольным всякий закон, который следовало бы к ним применить. Большее, что можно сделать — это остановить нескольких случайных людей, просто статистов или же невинных свидетелей, так же отличающихся от этого разъяренного чудовища, как тихая волна от бушующего шторма.

И неслучайно, что среди первых, кто взялся объяснить поведение толп, фигурирует Ломброзо, чья теория врожденной преступности получила большую известность. Согласно ей, толпы состоят из индивидов с делинквентными наклонностями и тех, кто идут за такими людьми. Ломброзо утверждает, что психология масс просто-напросто может трактоваться как часть «криминальной антропологии, поскольку криминальность составляет неотъемлемый элемент всякой толпы». Это имеет отношение к еще более общей тенденции, новой для того времени: к попытке создания юридической доктрины для наказания коллективных деяний, противоречащих закону: «Что своевременно, — пишет Фоконне в 1920 г., — так это стремление ввести в уголовное право принцип криминальности толп и их ответственности» [64].

Итальянец Сигеле продолжил теорию своего соотечественника Ломброзо. Он первым придал специальный смысл термину «криминальные толпы». В этом качестве для него выступают все социальные движения, политические группы — от анархистов до социалистов и, разумеется, бастующие рабочие, участники уличных митингов и т. п. Его исследование готовит почву для запуска репрессивного аппарата, формируя мнение и снабжая аргументами, подтверждением если не правоведов, то политиков.

Итак, толпы открыли себе путь в политику посредством криминального аспекта. Это криминальность, которую стоит описать и понять, так как она объясняет их жестокость, террористические действия и разрушительные инстинкты. В целом признается, что речь идет о группировках, действующих как воровские шайки или бандиты с большой дороги, банды убийц или любое другое сообщество злоумышленников, лишенных нравственного сознания и чувства ответственности перед законом.

Общество, имеющее прочные практические и правовые устои, терпимо по отношению к отклоняющимся или нонконформным явлениям. Оно бывает почти снисходительно к тем, кто потерял рассудок, даже преступил закон, и если оно их иногда наказывает, то не видит в этом проблемы. Их асоциальная природа, их аномалия не угрожают стабильному порядку вещей. Они считаются безопасными, а трудности полностью надуманными. Но, когда устои общества расшатаны, когда его атакуют извне, тогда угроза внешней и внутренней безопасности увеличивает риск, который представляют эти явления для общества. И их начинают считать вредными и аномальными. Тогда и толпы горожан, рабочих сразу воспринимаются с позиций психиатрии и криминологии. В них увидели патологические симптомы или же симптомы отклонения от нормальной общественной жизни. Они оставались бы вредными наростами на здоровом теле, которое старается от них поскорее избавиться. Итак, плебейские, безумные или преступные толпы слывут отбросами, болезненными явлениями существующего порядка. Сами по себе они не представляют реального интереса.

II

Рискованной идеей Ле Бона, его гениальным озарением была идея отказаться от этой точки зрения. Он опровергает все три ответа на вопрос, который все беспрестанно себе задавали: что же такое толпа? Его умозаключение просто и непосредственно. Основной характерной чертой толп является слияние индивидов в единые разум и чувство, которые затушевывают личностные различия и снижают интеллектуальные способности. Каждый стремится походить на ближнего, с которым он общается. Это скопление своей массой увлекает его за собой, как морской прилив уносит гальку. При этом все равно, каков бы ни был социальный класс, образование и культура участвующих. «Развитые умственные способности людей, из которых состоит толпа, — пишет Ле Бон, — не противоречат этому принципу. Эти способности не имеют значения. С того самого момента, когда люди оказываются в толпе, невежда и ученый становятся одинаково неспособными соображать» [65].

Иначе говоря, исчезновение индивидуальных свойств, растворение личностей в группе и т. п. происходят одинаково, независимо от уровня состоятельности или культуры ее членов. Было бы ошибкой считать, что образованные, или высшие, слои общества лучше противостоят коллективному влиянию, чем необразованные, или низшие, слои, и что сорок академиков ведут себя иначе, чем сорок домохозяек. Один комментатор очень определенно это подчеркнул: «У Ле Бона, по его примерам, а также по многочисленным пояснениям, видно, что он имел в виду не только уличные бунты и народные сборища, но также и коллегии: парламенты, сословия, кланы так же, как и высшие слои общества и, наконец, носители национальных интеллектуальных движений; итак,

простой народ так же, как образованное сообщество. Для него масса является почти исключительной противоположностью личности»[66].

Массы, состоящие из аристократов или философов, читателей «Монда» или «Нувель обсерватер», то есть из людей, ясно сознающих свою индивидуальность, и нонконформистов, вели бы себя совершенно так же, как другие. Автор «Воспитания чувств» имеет в виду то же самое, когда на нескольких страницах говорит о «благородной публике», затем о «всеобщем, безумии», так описывая репрессии: «Это было половодье страха... равенство (как наказание его защитников и насмешка над его врагами) выражало себя триумфально, равенство тупых животных, тот же уровень кровавой мерзости, поскольку фанатизм корысти уравновешивался лихорадкой желаний, аристократия бушевала, как сброд, а хлопчатобумажные колпаки смотрелись не менее уродливо, чем красный колпак»[67].

Всеобщность этих явлений, превращение, одинаково затрагивающее всех людей, собранных в группу, позволяют нам сделать вывод о том, что масса — это не «плебс» или «чернь», бедняки, невежды, пролетариат, *hoi polloi*, которые противопоставляли себя элите и аристократии. Толпа — это все: вы, я, каждый из нас. Как только люди собираются вместе, неважно кто, они становятся массой. Вместе с тем то, что принимали за криминальность толп, не более чем иллюзия. Будучи, разумеется, жестокими и анархичными, они легко поддаются порывам разрушительной ярости. Сообща они грабят, громят, линчуют, то есть творят то, что ни один человек не позволил бы себе совершить. И Ле Бон охотно приписывает им крайне негативную роль в истории: «Цивилизации были созданы и до сих пор управлялись малочисленной аристократией, а никак не толпами. У этих последних только и хватало сил разрушать. Их господство всегда представляет собой какой-то беспорядочный период»[68].

Но также и прелюдию к новому порядку, в этом заключается его глубокая идея. С другой стороны, толпы оказываются более героическими, более справедливыми, чем каждый по отдельности. Они обладают энтузиазмом и великодушием простодушного существа. Их бескорыстие бывает безграничным, когда их увлекают идеалом или затрагивают их верования. «Неспособность рассуждать у них, — пишет Ле Бон, — создает почву для мощного развития альтруизма — качества, которое рассудок основательно заглушает и которое представляет собой необходимую общественную добродетель»[69].

Упорно и дотошно он критикует всех тех, кто полагает криминальность отличительной чертой толп. С этой целью он показывает, что даже в разгар революции, в наисложнейшие моменты, они брали на себя труд создавать трибуналы и судить свои будущие жертвы в духе справедливости. Их порядочность была не меньшей, ибо деньги и драгоценности, отобранные у своих жертв, они передавали комитетам. Таким образом, преступления составляют всего лишь частный аспект их психологии. И совершаются они чаще всего по наущению вожака.

Одним словом, нет больше преступных толп, есть только добродетельные, жестокость уже перестает быть их атрибутом, если это не признак героизма. Они могут быть жестокими и героическими одновременно. «Это то, в чем заблуждались писатели, изучив толпы лишь с точки зрения криминальной. Разумеется, толпы часто бывают преступными, но часто они бывают и героическими. Их легко принуждают убивать во имя триумфа веры или идеи, воодушевляя и суля славу и почести, увлекая почти без хлеба и оружия, как во времена крестовых походов, освобождать могилу Господню, или, как в 1793 г., защищать землю Отечества. Героизм, конечно, не вполне осознанный, но именно на таком героизме делается история. Если вносить в актив народов только великие деяния, которые были хладнокровно рассчитаны, мировые анналы вписали бы очень немногое»[70].

Добавим еще, что толпы легче побудить, взывая к их коллективному идеализму. И наконец, нет ничего глупого или патологического в так называемых безумиях, crazes или иллюзиях масс. При условии принятия гипотезы о том, что они состоят из таких же нормальных людей, как вы и я. Просто, собравшись в толпу, эти люди чувствуют, рассуждают и реагируют в иной психологической плоскости. Разумеется, их суждения и реакции противоречат суждениям и реакциям изолированных субъектов, но это противоречие не означает аномалии. И ничто не дает нам повода для вынесения столь резкого суждения по этому поводу, разве что в самых крайних случаях явного душевного расстройства. Даже в этом случае мы не знаем, имеем ли дело с действительным безумием, а не со стереотипом, позволяющим нам избегать того, кто избегает и пугает нас. Слишком легко приклеить ярлык «истерия», «коллективное безумие» на странное или необычайное поведение толпы — стычки после футбольного матча, панику, спровоцированную катастрофой, беспорядочные передвижения массы на очень малой территории и т. п. Ярлык может быть обманчивым, а поведение непонятым. То, что писал Жорж Лефевр по поводу революционных уличных собраний, действительно повсюду: «Это ведь слишком поспешное решение, — приписать такие эксцессы „коллективному безумию“ „преступной толпы“. В подобном случае революционное собрание не является неосознанным и не считает себя преступным: напротив, оно убеждено, что наказывает справедливо и с полным основанием»[71].

Это также поспешно, как приписывать злоупотребления власти какого-то деспотического вождя, например Гитлера, «личному безумию» и «преступной личности». Он поступает в целях укрепления своей власти и в соответствии с действующим законом. Впрочем, когда мы наблюдаем толпу вблизи и достаточно долго, ощущение истерии рассеивается. Мы просто отмечаем, что психология индивидов и психология толп не подобны друг другу. То, что кажется «аномальным» для первой, для второй совершенно нормально.

Эти различные ответы на вопрос о природе толп широко распространены: их берут за основу, рассуждая и размышляя. Но причины, о

которых я напомнил, не позволяют нам с ними соглашаться. Действительно, толпы, или массы (с психологической точки зрения оба слова имеют один и тот же смысл), являются независимой реальностью. Больше не возникает вопрос о том, плебейские они или буржуазные, преступные или героические, безумные или здравомыслящие. Они представляют собой коллективное устройство, коллективную форму жизни — и этим многое сказано.

В чем же, спросите вы, собственно, состоит открытие? Обычно в теориях затушевывается тот факт, что в сердцевине общества обнаруживается масса, почти так же, как в человеке — животное или в скульптуре — дерево. Она, таким образом, представляет собой основной материал любых политических установлений, потенциальную энергию всех социальных движений, примитивное состояние любых цивилизаций. Этого не замечали, как утверждают Тард и Ле Бон, вплоть до настоящего времени. Понадобились катаклизмы и общественные потрясения, чтобы это начало осознаваться. Массы существовали и в прошлом: в Риме, Александрии, Карфагене. В средние века они снова возникли в крестовых походах, а во времена Возрождения — в городах. Наконец, революции видели их в действии, особенно Французская революция, которая ознаменовала их второе рождение. Начиная с этого момента, они распространяются, как эпидемия, через заражение и подражание, расшатывая государства, потрясая общества. Пока они играли незаметную роль, власть имущие оставляли их без внимания. Моралисты и историки ими забавлялись. Теоретики сообщали о них мимоходом. Они выступали не более чем статистами в театральной пьесе, играя незначительную роль и не имея или почти не имея, что сказать. Но роль их возрастала и вскоре достигла впечатляющих масштабов на сцене государственной жизни. Они уже претендуют на центральное место, на главную роль — правящего класса. «Зарождение власти толп, — утверждает Ле Бон, — поначалу происходит через пропагандирование определенных идей, неторопливо насаждаемых в сознание, потом через постепенное объединение людей, реализующее концепции, до той поры теоретические. Объединение позволило толпам сформировать если и не вполне справедливые, то, во всяком случае, достаточно определенные идеи, интересы и осознать свою силу. Они создают профсоюзы, перед которыми капитулируют все властные структуры, биржи труда, которые вопреки экономическим законам стремятся влиять на условия труда и зарплату. Они направляют в правительственные структуры своих представителей, лишенных всякой инициативы, независимости, чьи функции сводились к тому, чтобы быть рупором избравших их комитетов»[72].

Итак, вот чем являются рабочие для Ле Бона: толпами. Но почему же нужно возражать против их власти? Какую причину этого осуждения он выдвигает? Для него эти людские потоки, взбудораженные и захваченные потоками идей, как похоронный звон для цивилизаций;

они их разрушают, как вода, просачиваясь в корпус корабля, неизменно его затопляет. Предоставленные самим себе, массы становятся злым гением истории, разрушительной силой всего, что было задумано и создано элитой. И лишь новая элита, точнее, вождь, может превратить их в созидательную силу для нового общественного устройства. Рабочие массы не составляют исключения. Не из-за характера их занятий, нищеты, враждебности к другим общественным классам и не из-за интеллектуального уровня. А потому, что они — массы. Приводимые причины имеют скорее психологический, а не социальный характер.

Если они порой и производят обратное впечатление, если кажется, что они имеют мнения, руководствуются какой-то идеей, считаются с законами, — это не результат их собственных позывов: все это внушено им извне: «Психология толп показывает, — я снова цитирую Ле Бона, — до какой степени незначительное воздействие оказывают на их импульсивную природу законы и установления и насколько неспособны они формировать мнения, хоть в чем-то отличные от тех, которые им были внушены. Они не в состоянии руководствоваться правилами, вытекающими из чисто теоретической справедливости. Их могут увлечь только впечатления, запавшие им в душу» [73].

Утверждения очень жесткие и категорично высказанные. Автор не церемонится, отрицая в массах всякую рациональность, низводя их до уровня детей или дикарей. Впрочем, идея о том, что сознание масс привносится им извне, а сами по себе они им не обладают, очень широко распространена. Мы обнаруживаем ее и в большевистской концепции партии рабочего класса. «В произведениях Ленина, — пишет советский психолог Поршнев, — вопрос отношения между психологией и идеологией часто представляется как вопрос о стихийности и сознательности... Полярными концепциями здесь являются, с одной стороны, слепая несознательность в поведении людей и научное сознание, с другой» [74].

И, как это хорошо известно, именно функцией партии и революционной верхушки было внедрять это сознание в гущу масс, прививать им дисциплину мышления и действия.

III

Таким образом, на первый план выходит класс явлений, которым почти не уделялось внимания, — толпы. Наука полагала, что эти человеческие скопления — аномалии, исключительные состояния вне какой-либо закономерности, не представляющие никакого интереса. Только классы, общественные движения и их организации, являя собой, на их взгляд, истинные объединения, упорядоченные состояния общества, заслуживали изучения. Отныне это, скорее, наоборот. Через «аномальность» толп обнаруживается тайная лаборатория истории, неожиданно проявляется тот фактор реальной жизни, который прорывает тонкий слой цивилизации и чреват повторениями. Толпы

перестают быть просто диковинами, чередой лихорадочных приступов и происшествий в истории, поводом для захватывающих красочных рассказов. Они становятся категорией нашей мысли, предметом науки и основополагающим аспектом общества.

Исторические параллели всегда хромают. Но эта не лишена правды. Благодаря Фрейду сновидения, бессознательные акты, до той поры не привлекавшие особого внимания как случайные или несущественные, превратились в симптомы психической жизни и в научные факты. Точно также благодаря Ле Бону массы, их образ мысли и странное поведение становятся научными феноменами. Их можно описать и нужно объяснять. Ибо их недооценка грозит непониманием современного мира с его омассовлением общества и массами в качестве главных действующих лиц. На это не обращается достаточного внимания: ведь речь идет об открытии исследовательского пространства, которое до сих пор игнорировалось. Теперь иррациональные действия, аффективные взрывы, расстройства мышления и толпы больше не считаются странностями, погрешностями или врожденными пороками человеческой природы. Это перископы, отображающие на поверхности подводные течения, скрытые под спудом обыденной жизни каждого из нас. Но если толпы нельзя назвать ни «криминальными», ни «истеричными», т. е. в терминах индивидуальной психологии явлением отклоняющимся, тогда для их изучения нужно создать новую науку, особый вид психологии. «Толпы, о которых столько начинают говорить, — пишет Ле Бон, — в сущности нам очень мало известны. Профессиональные психологи, будучи далеки от них, обычно их игнорировали, занимаясь ими лишь с точки зрения преступлений, которые те могли совершить»[75].

Этот особый вид психологии, само собой разумеется, — психология толп, которой Ле Бон предсказывал великое будущее.

Но есть кое-что еще. По проблемам, возникшим вокруг феномена толпы, наука не сумела бы найти решения ни с точки зрения психиатрии, ни с точки зрения правоведения, как это большей частью происходило. Толпы по существу не являются ни безумными, ни преступными. Тогда остается лишь политическое решение. Единственной целью такой науки должно было бы быть обнаружение метода управления, соответствующего психологии масс. Она может к нему прийти, объединив сразу всю массу повседневных наблюдений, чтобы превратить их в научные наблюдения. Результаты этой работы позволят впоследствии обучить государственных деятелей и влиятельных людей управлять толпами. Таким образом, в политике произойдет замена интуитивной психологии психологией научной, так же как в медицине бабушкины средства сменились научными знаниями и технологиями. Чаяния Ле Бона в отношении новой науки были в том, чтобы дать решение и метод проблемы управления массовыми обществами.

ГЛАВА 5
ГИПНОЗ В МАССЕ

I

Как только открывается новый класс феноменов, их нужно объяснять. Какова причина изменений, которым подвергается индивид, когда он попадает в толпу? Состояние человека, находящегося в массе, всегда сравнивали с сумеречным состоянием. Его сознание, утратившее активность, позволяет ему предаться мистическому экстазу, видениям или же в состоянии помрачения поддаться панике или наваждению.

Толпы кажутся влекомыми призрачным потоком, эта истина хорошо известна и настолько глубока, что философы и политические деятели всех времен и народов к ней без конца возвращались. Можно было бы сказать, что эти сумеречные состояния между бодрствованием и сном и есть истинная причина страха, который вызывается толпами, а также очаровывающего воздействия, производимого ими на наблюдателей, пораженных тем, с какой силой могут воздействовать на реальный ход вещей люди, казалось бы утратившие контакт с действительностью. А вот другой факт, не менее поразительный: это состояние является условием, позволяющим индивиду слиться с массой. Чувство тотального одиночества заставляет его стремиться к тому неосознанному существованию, которое даст ему чувство слитности с массой.

Психологи никак не расценили эти фундаментальные и характерные черты толп. Ле Бон же, размышляя о них, пришел ко второму озарению или открытию, влияние которого на науку и политику оказывается весьма значительным. Он полагает, что психологические превращения индивида, включенного в группу, во всех отношениях подобны тем, которым он подвергается в гипнозе. Коллективные состояния аналогичны гипнотическим состояниям. Это сопоставление уже звучало в других работах, и прежде всего у Фрейда. Ле Бон довел его до логического конца и вывел из него все следствия, включая самые неподобающие. Именно в тот момент, когда Ле Бон начинает интересоваться толпами, гипноз благодаря Льебо, Бернгейму и Шарко шумно вступает в мир медицины и психологии. Это совпадение не было совершенно случайным. Именно этим трем ученым принадлежит заслуга впервые применить в широком масштабе метод словесного внушения. Тогда еще не знали, впрочем, и по сей день не знают, почему некое «магнетическое» состояние, состояние транса, вызывалось у больного взглядом врача или когда он побуждал своего пациента смотреть на

блестящий предмет. Однако лечебные эффекты были очевидны так же, как и доступные наблюдению психические изменения. Образованные люди, как и публика в целом, еще не забыли впечатляющих экспериментов по животному магнетизму и видели в гипнозе новую терапию. Она могла облегчить страдания и одновременно удовлетворяла дремлющую в каждом мечту о чудесном выздоровлении. Все ощущали себя интеллектуально и эмоционально причастными к этому непосредственному воздействию одного человека на другого. Происходит ли оно на расстоянии, с помощью слова или в непосредственной близости, через какие-то электромагнитные флюиды, циркулирующие в нас и вокруг нас? Это было неизвестно. Как бы то ни было, сегодня трудно себе представить возбуждение умов, вызванное гипнозом, то сильнейшее воздействие, которое он произвел на воображение публики, в том числе и ученой. Этот ажиотаж напоминает шум, который произвело в свое время открытие электричества. Каждый хотел участвовать в сеансе гипноза, так же как сто или сто пятьдесят лет назад каждый желал нанести или испытать удар от электрической искры, увидеть, как люди подпрыгивают под действием разряда тока.

II

Если психология толп родилась во Франции, а не в Италии или Германии, то это объясняется связью между революционными волнами и школами гипноза, между последствиями Парижской Коммуны и больниц в Нанси или в Сальпетриер. Одни поставили проблему, другие как будто предложили решение. Приравнивая коллективное состояние к гипнотическому, можно было бы думать, что Ле Бон неправомерно переносил индивидуальные отношения на социальные. Вовсе нет. На самом деле практика гипноза была групповой практикой. Именно такой нам ее описывает Фрейд, сообщая о том, что он видел в клинике Бернгейма и Льебо: «Каждый пациент, который впервые знакомится с гипнозом, наблюдает в течение некоторого времени, как бывалые пациенты засыпают, как они повинуются во время гипноза и как, проснувшись, обнаруживают, что их симптомы исчезли. Это приводит его в состояние психологической готовности, которое способствует погружению его в свою очередь в глубокий гипноз. Возражение против этой процедуры заключается в том, что недомогания каждого человека обсуждаются перед многочисленной толпой, а это не годилось бы для пациентов более высокого социального положения» [76].

Эту практику Фрейд упрекает в том, что она коллективна и разворачивается публично, сковывая любое личное взаимодействие человека с человеком. Бернгейм же, напротив, видит в этом условие проведения сеансов и успешности гипноза. В своей классической работе на эту тему он ставит себе в заслугу то, что сумел создать в своей клинике «поистине суггестивную атмосферу», результатом которой является «значительно большее количество сомнамбул» [77], чем в других.

Итак, «загипнотизированная толпа» могла появиться как своего рода модель, уменьшенная в замкнутом пространстве, по отношению к толпе настоящей и действующей под открытым небом. Явления, наблюдаемые в микрокосме больницы, как в лаборатории, воспроизводят происходящее в макрокосме общества. Подобные аналогии обычны в науке, и их ценность зависит от их плодотворности.

Однако, стоит немного остановиться на этих явлениях и посмотреть, как они порождаются. Мы тем самым сразу поймем и природу зрелищного, благодаря которой внушения потрясают воображение, и объяснения им. Природа гипноза, то, каким образом внушение воздействует на нервную систему, остается нам малопонятным. [78] Мы знаем что некоторых людей очень легко усыпить. В этом состоянии определенная часть их сознания подчиняет тело внушениям, исходящим от оператора, обычно врача. Он произносит свои команды очень решительным тоном. Для того, чтобы пациент не почувствовал ни малейшего намека на колебания, что имело бы нежелательный эффект, оператор категорически не должен сам себе противоречить. Оператор энергично отрицает недомогания, на которые жалуется пациент. Он уверяет его, что можно кое-что сделать и дает ему команду это совершить.

Любой гипнотический сеанс содержит, таким образом, два аспекта: один — эмоционального свойства, другой — физического воздействия. Первый строится на абсолютном доверии, подчинении гипнотизируемого гипнотизеру. Манипуляция же выражается в строгой направленности взгляда, в восприятии очень ограниченного числа стимулов. Это сенсорная изоляция, которая ограничивает контакт с внешним миром и как следствие способствует погружению субъекта в гипнотическое состояние сна наяву. Пациент, эмоционально зависимый от гипнотизера и видящий свое пространство ощущений и идей как ограниченное им, оказывается погруженным в транс. Он полностью повинуется командам, которые ему дают, выполняет требуемые от него действия, произносит слова, которые приказывают произносить, нисколько не осознавая, что он делает или говорит. В руках гипнотизера он становится чем-то вроде автомата, который взмахивает рукой, марширует, кричит безотчетно, не зная, зачем. Вызывают удивление случаи, когда гипнотизеры, как они сами утверждают, заставляли человека испытывать ощущение замерзания или жжения. В другом случае человека принуждали выпить чашку уксуса, внушая пациенту, что это бокал шампанского. Еще один принимает метлу за привлекательную женщину и так далее. В ходе публичных демонстраций пациенту внушают, что он превратился в младенца, в молодую женщину, одевающуюся к балу, в дискутирующего оратора и заставляют его действовать соответствующим образом. «Почти безусловно можно утверждать, — писали Бине и Фере в одной научной работе, — что внушение творит всё» [79].

Разнообразие галлюцинаций, затрагивающих все ощущения, и каких угодно иллюзий, действительно огромно и не может не впечат-

лять. В том, что касается толпы, две из них имеют особую значимость. Первая состоит в полном сосредоточении гипнотизируемого на гипнотизере, его замыкании в рамках группы при абсолютной изоляции от других людей. Введенный в транс, субъект становится слеп и глух ко всему кроме оператора или возможных участников, которых тот ему называет по имени. Другие же могут сколько угодно эмоционально привлекать его внимание — он их не замечает. И напротив, он подчиняется малейшему знаку гипнотизера. Как только тот прикасается к кому-то или просто указывает на него едва заметным жестом, загипнотизированный ему тотчас отвечает. Здесь можно увидеть вероятную аналогию с непосредственной связью, которая устанавливается между вождем и каждым из членов толпы, — производимое влияние совершенно сопоставимо. Вторая иллюзия задается в процессе акта внушения приказом, а реализовывать ее субъект начинает позднее, после выхода из транса, в состоянии бодрствования. Гипнотизер покидает его, загипнотизированный ничего не помнит о полученном приказании, но, тем не менее, не может воспротивиться его исполнению. Он в этом случае забывает все обстоятельства внушения, полученного в недавнем сеансе. Он считает себя самого источником этого действия и часто, исполняя его, придумывает оправдания, чтобы как-то объяснить происходящее свидетелям.[80] То есть он действует согласно своему естественному чувству свободы и непосредственности, как если бы он вовсе и не подчинялся указаниям, внедренным в его сознание: «Можно получить власть над мыслями и решениями загипнотизированного заранее, на какое-то время вперед, когда гипнотизера уже не будет с ним рядом. Более того, внушенным решениям можно придать видимость добровольности. К тому же, можно сделать такое внушение, когда загипнотизированный и не заподозрит вовсе, что это побуждение пришло к нему от гипнотизера» [81].

Такие отсроченные эффекты явно напоминают разные формы воздействия, наблюдаемые в обществе. Разве мы не встречаем на каждом шагу людей, безотчетно и не желая того, воспроизводящих много времени спустя жесты или слова, которые они видели или слышали, считающих своими идеи, которые кто-то, не спрашивая их, самым категоричным образом вдолбил им в голову. Эти эффекты, кроме всего прочего, доказывают, какое огромное множество мыслей и действий, кажущихся намеренными, осознанными и обусловленными внутренним убеждением, в действительности представляют собой автоматическое исполнение внешнего приказания.

Излишне было бы обсуждать дальше результаты, полученные гипнотизерами. Нам лишь остается кратко рассмотреть психические изменения, обнаруженные благодаря гипнотическому состоянию, и их возможную причину, согласно этим авторам. Предполагается, что это идея, внедренная, взращенная и усиленная в сознании субъекта: идея, что он Наполеон, что он здоров, что ему должно быть холодно и

т. п. «Именно идея, — утверждает Бернгейм, — и представляет собой гипноз; именно психическое, а не физическое воздействие, не влияние флюидов обусловливает это состояние» [82].

Идея прокладывает дорогу к человеку, более или менее глубоко усыпленному. Она навязывает ему новую манеру видения самого себя и предметов, скорое и прямое суждение, сопровождаемое внутренним убеждением. Возникает вопрос: кто совершает это чудо, придает идее необходимую силу, чтобы его сотворить? Обычные идеи не достигают этого. А гипнотическая идея черпает свою силу в образах, которые она с собой приносит, о которых напоминает, то есть в своем конкретном, а не абстрактном содержании. Благодаря серии превращений она приводит в действие совокупность образов нашего сознания. Эти образы, в свою очередь, вызывают и запускают весь ряд элементарных ощущений. Таким образом будет совершаться упорядоченное превращение обобщенного понятия в непосредственное восприятие, переход от концептуального мышления к мышлению образному.

Эта гипотеза подкрепляется тем фактом, что загипнотизированные разговаривают сами с собой, находятся во власти зрительных иллюзий, как в сновидении, и испытывают яркие ощущения в связи с внушенными идеями. Кроме того, и это многое объяснило бы, память усыпленного человека чрезвычайно богата и обширна, много богаче и обширней, чем память того же человека в состоянии бодрствования. К огромному удивлению всех и к своему, в первую очередь, человек в состоянии транса вспоминает места, фразы, песни, которые он в обычном состоянии не помнит. Гипноз высвобождает воспоминания, активизирует память до такой степени, что «порой заставляет думать о загадочной просветленности испытуемых»[83]. Однако погружение в сон, тягостный или легкий, никогда не отменяет сознательной жизни. Просто она уступает место другому состоянию и расщепляет его. На заднем плане продолжают существовать мысли и они сохраняют возможность истолковывать внушения, хотя и не смогли бы остановить их действия и воспрепятствовать их ментальным или физическим последствиям.

III

Вот как резюмируют Бине и Фере эволюцию, которая развертывается в мозге загипнотизированного: «В каждом образе, представленном в мозгу, в зачаточном состоянии имеется галлюцинаторный элемент, который лишь ждет своего развития. Именно этот элемент развивается в процессе гипноза, когда достаточно бывает назвать испытуемому какой-нибудь предмет, просто сказать ему „вот птица“ для того, чтобы внушаемый словом экспериментатора образ тотчас стал галлюцинацией. Итак, между идеей предмета и галлюцинаторным образом этого предмета разница только в степени» [84].

В этой декларации много свежести мысли и слишком много ясности для этого достаточно непонятного явления, по поводу кото-

рого у нас все меньше и меньше уверенности. Однако я должен был его представить, ведь мы только что видели, как много гипноз может подсказать любой психологии толп. Он придает ей авторитет науки, как экспериментальной, так и клинической, не высказывая ничего, что не было бы надлежащим образом подтверждено. И особенно то, что в рассудке толпы, как и в рассудке загипнотизированного, «любая идея становится действием, любой вызванный образ становится для них реальностью, они уже не отличают реального мира от мира внушенного и воображаемого»[85].

В связи с этим кажется полезным отметить три элемента, которые останутся почти неизменными в психологии толп: прежде всего, сила идеи, от которой все и зависит, затем немедленный переход от образа к действию и, наконец, смешение ощущаемой реальности и реальности внушенной. Что же из всего этого следует? В гипнозе врачи выходят за пределы индивидуального сознания, переступают границы ясного рассудка и чувств, чтобы достичь пространства бессознательной психики. Там, как излучение, исходящее из какого-то источника, воздействие подспудной памяти ощущается очень живо. Это как если бы, однажды погрузившись в сон, человек, вырванный из своего привычного мира другим миром, пробудился бы в нем.

Однако аналогия между группой загипнотизированных и группой бодрствующих людей не кажется достаточной для того, чтобы переносить явление с одной на другую. Это условие способствующее, но, тем не менее, не решающее. Поскольку у вас немедленно возникнут сомнения: гипнотизер может воздействовать взглядом, а не словами. Кроме того, гипноз, по-видимому, возникает вследствие особого патологического состояния — внушаемости больных истерией, что относится к компетенции психиатров, — и в норме невозможно. Если гипноз представляет собой так называемое «искусственное безумие», «искусственную истерию», ошибочно было бы пытаться обнаружить его у толп, особенно после того, как мы установили, что они не являются ни «истерическими», ни «безумными». Как же можно переходить из одной сферы в другую, если одна находится в ведении медицины, а другая — политики? Тем более, что в толпах «ненормальные» субъекты составляют явное меньшинство, а группы, в которые мы включаемся в большинстве своем, состоят из людей нормальных.

Льебо и Бернгейм справедливо отвели этот род сомнений. На основе своей клинической практики они утверждают, что гипноз вызывается посредством словесного внушения какой-то идеи, то есть чисто психологическим путем и что его успешность не зависит ни от чего другого. Но каждый ли человек восприимчив к внушению? Или же необходимо, чтобы субъект имел болезненную предрасположенность к этому? Иначе говоря, для того, чтобы быть внушаемым, должен ли человек быть невропатом или истериком? Ответ на этот вопрос категорически отрицательный. Все явления, наблюдаемые при гипнотическом

состоянии, являются результатом психической предрасположенности к внушению, которая в некоторой степени есть у всех нас. Внушаемость присутствует и в состоянии бодрствования, но мы не отдаем себе в ней отчета, поскольку она нейтрализуется критикой и рассудком. В состоянии вызванного сна она легко проявляется: «Воображение царит властно, впечатления, поступающие в сенсорную систему, бесконтрольно принимаются и трансформируются мозгом в действия, ощущения, движения, образы»[86].

Вот, что снимает последние преграды и позволяет перейти от одной сферы к другой, от индивидуального гипноза к гипнозу в массе. Человек тогда кажется психическим автоматом, действующим под влиянием внешнего импульса. Он легко исполняет все, что ему приказано делать, воспроизводит хабитус, запечатленный в его памяти, сам того не осознавая. Психиатры в своих клиниках, похоже, имитируют автоматы, сделанные Вокансоном в его мастерских. Они завораживают так же, как эти последние, и очаровали даже психологов Ле Бона и Тарда, а ещё поэта Андре Бретона. Сопоставление напрашивается само собой: сюрреализм воплощает открытия гипноза в живописном плане, как психология толп использует их в социальном плане. Самопроизвольное письмо и психологические фантазии сюрреалистов больше обязаны нансийским мэтрам, чем венскому мэтру. Фрейд хорошо это понял отказав им в своем покровительстве, которого они добивались. В этом смысле подобным образом действует и Гюстав Ле Бон. Он вводит в науки об обществе то, что считалось за диковину или вообще не-фактом: «Внушение, — пишет Макдауголл, — представляет собой процесс, которым психологи могут настолько пренебрегать, что они не занимаются социальной жизнью: и, это исторический факт, оно действительно долгое время не принималось в расчет, в частности, совершенно поразительные и невероятно поучительные феномены внушения, происходящие с загипнотизированным субъектом, были отброшены в сторону в качестве диковин, уродств или жульнических демонстраций и сегодня еще есть немало профессоров психологии, которые ими пренебрегают, избегают их или даже оспаривают» [87].

Однако понимая, что речь идет об общем явлении, которое беспрестанно действует среди нас, его выдвигают в центр психологии толп. Утверждается, что внушение описывает и вполне объясняет, чем человек в группе отличается от человека, когда он один, — точно тем же, чем человек в состоянии гипнотического сна отличается от человека в состоянии бодрствования. Наблюдая действия толпы, исследователи были убеждены, что наблюдают людей, находящихся в состоянии своего рода опьянения. Как любая другая интоксикация, словесная или химическая, она выражается в переходе из состояния ясного сознания в состояние грез. Это сумеречное состояние, когда многие реакции тела и рассудка оказываются преображенными.

Все это подводит нас к пониманию того, почему общеупотребимая теория человеческой природы, рациональной и сознательной, оспаривает явления, вызванные этим состоянием, и отказывается допустить их влияние на социальную активность и политику. Ле Бон зато принимает их и противопоставляет себя этой теории, поскольку для него именно внушение определяет растворение человека в массе. По его мнению, это научный факт, что человек, погруженный в такое состояние, «подчиняется любым внушениям оператора, который заставил его утратить ее (свою сознательную личность) и совершать действия, идущие вразрез с его характером и привычками. Но вот внимательные наблюдения, похоже, обнаруживают, что человек, на какое-то время погруженный в недра активной толпы, вскоре впадает — вследствие исходящих от нее веяний или по совсем другой, еще неизвестной причине — в особое состояние, очень сходное с гипнотическим состоянием во власти своего гипнотизера»[88].

Итак, под действием этого магнетизма люди утрачивают сознание и волю. Они становятся сомнамбулами или автоматами — сегодня мы бы сказали роботами! Они подчиняются внушающим воздействиям вождя, который предписывает им, о чем думать, с чем считаться и как в связи с этим действовать. Благодаря заражению они разве что механически копируют друг друга. Из этого получается что-то вроде социального автомата, неспособного творить или рассуждать, но могущего предаваться любым неблаговидным занятиям, которым человек воспротивился бы наяву. Толпы и видятся нам столь угрожающими, так как кажется, что они живут в другом мире. Они как будто пребывают в плену видений, которые их терзают.

IV

Гипноз для психологии толп является основной моделью социальных действий и реакций. Вождь же — это эпицентр, от которого исходит первая волна. Потом другие концентрические волны сменяют ее, все дальше и дальше, как при землетрясении, распространяя ту же идею. Очевидно, что обе эти формы распространения, прямая и непрямая, постепенно расширяют эти концентрические круги, которые несут всякий раз дальше тот род гипнотических волн, которые привел в движение вождь. Процесс внушения развивается, таким образом, уже сам собой, активизируемый лидерами второго ряда, ускоряемый средствами массовой информации, подобно клевете, остановить которую не могут никакие доводы и никакие опровержения.

Однако гипноз в большом масштабе требует инсценирования. В самом деле, нужно за стенами врачебного кабинета обеспечить возможность фиксации внимания толпы, отвлечения его от реальности и стимулирования воображения. Несомненно, вдохновленный иезуитами и, например, Французской революцией, Ле Бон превозносит театральные приемы в политической сфере. Именно в них он видит

модель общественных отношений, разумеется драматизированных, и своего рода плацдарм для их изучения.

Между тем, в духе психологии масс был бы гипнотический театр. Его орудие — внушение, и если он хочет добиться искомого эффекта, то должен применять соответствующие правила. Ведь «ничто в большей степени не поражает воображение народа, чем театральная пьеса. Весь зал одновременно переживает одни и те же эмоции, и если они тотчас не переходят в действие, это потому, что даже самый несознательный зритель не может не понимать, что он является жертвой иллюзий и что он смеялся и плакал над воображаемыми перипетиями. Однако порой чувства, внушенные образами, бывают достаточно сильны, чтобы, как и обычные внушения, иметь тенденцию воплотиться в действия» [89].

Усердный читатель Ле Бона, Муссолини, если ограничиться его именем, должен был помнить этот пассаж и другие ему подобные. Он предписывал проведение блестящих парадов, митингов на роскошных площадях и побуждал к многоголосой поддержке ритмизованных возгласов. С тех пор эти приемы стали составной частью искусства захвата и удержания власти. Впрочем, достаточно посмотреть документальные фильмы и почитать специальные работы. В них заметно постепенное унифицирование приемов пропаганды. Парад в Пекине в честь Мао? Кажется, видишь повторенным в гораздо большем масштабе массовый парад в Риме во главе с Муссолини или же церемонию на Красной площади, развертывающуюся под бдительным оком Сталина.

Трудно обсуждать последствия этой модели гипноза в интеллектуальном и практическом плане, настолько неоригинальными они стали. Более того, эти вещи не стесняются обсуждать, даже если продолжают думать и действовать в том же духе. Ясно одно, раскрывая это явление, Ле Бон предлагает политическому миру архетип и метод. «Это была именно параллель гипнотической ситуации, — подтверждает Фромм, свидетель ее распространения, — по отношению к власти, с помощью которой социальная психология предложила новый и самобытный подход к животрепещущей исторической проблеме нового авторитаризма» [90].

Результатом этого подхода является замена фигуры оратора фигурой гипнотизера, замещение красноречия внушением, а искусства парламентских дебатов — пропагандой. Вместо того, чтобы убеждать массы, их возбуждают театром, их держат в узде с помощью организации и завоевывают средствами прессы или радио. По правде говоря, пропаганда, подводящая итог этому изменению порядка вещей, перестает быть средством коммуникации, усиленным приемом риторики. Она становится технологией, позволяющей нечто внушать людям и гипнотизировать их в массовом масштабе. Иначе говоря, средством серийно производить массы, так же как промышленность серийно производит автомобили или пушки. Становится понятным, почему без нее нельзя обойтись и почему она так чудовищно действенна.

V

С очевидностью можно утверждать, что область психологии толп, и это определяет ее новизну, отмечена тремя открытиями:

А) массы представляют собой социальный феномен,

В) внушение объясняет растворение индивидов в массе;

С) гипноз является моделью поведения вождя в массе.

Эти открытия превратили совокупность диковинных явлений, исключений, второстепенных фактов в исключительно важные факторы действительности и в предмет науки. Они позволили Ле Бону наметить первый вариант системы психологии толп. Она содержит некоторые особенно значительные идеи, в частности следующие:

1. Толпа в психологическом смысле является человеческой совокупностью, обладающей психической общностью, а не скоплением людей, собранных в одном месте.
2. Индивид действует, как и масса, но первый — сознательно, а вторая — неосознанно. Поскольку сознание индивидуально, а бессознательное — коллективно.
3. Толпы консервативны, несмотря на их революционный образ действий. Они всегда кончают восстановлением того, что они низвергали, так как для них, как и для всех, находящихся в состоянии гипноза, прошлое гораздо более значимо, чем настоящее.
4. Массы, каковы бы ни были их культура, доктрина или социальное положение, нуждаются в поддержке вождя. Он не убеждает их с помощью доводов рассудка, не добивается подчинения силой. Он пленяет их как гипнотизер своим авторитетом.
5. Пропаганда (или коммуникация) имеет иррациональную основу, коллективные убеждения и инструмент — внушение на небольшом расстоянии или на отдалении. Большая часть наших действий является следствием убеждений. Критический ум, отсутствие убежденности и страсти являются двумя препятствиями к действию. Внушение может их преодолеть, именно поэтому пропаганда, адресованная массам должна использовать язык аллегорий — энергичный и образный, с простыми и повелительными формулировками.
6. Политика, целью которой является управление массами (партией, классом, нацией), по необходимости является политикой, не чуждой фантазии.[91] Она должна опираться на какую-то высшую идею (революции, родины), даже своего рода идею-фикс, которую внедряют и взращивают в сознании каждого человека-массы, пока не внушат ее. Впоследствии она превращается в коллективные образы и действия.

Эти важнейшие идеи выражают определенное представление о человеческой природе, скрытое, пока мы в одиночестве, и заявляющее о себе, когда мы собираемся вместе. Психология толп прежде всего пытается быть наукой о них, а не об обществе или истории.

ГЛАВА 6
ПСИХИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТОЛП

I

Толпы пребывают, надо полагать, в состоянии, близком к гипнотическому, под воздействием того странного дурмана, который в каждом вызывает смутное желание влиться в общую массу. Он освобождает человека от груза одиночества. Он его переносит в мир коллективного упоения и торжествующих инстинктов, где он испытывает эйфорическое чувство всемогущества. «Эта несказанная оргия, эта святая проституция души», — говорил Бодлер о тех, кто попадает в такую «массовую баню».

Итак, что же происходит, когда каждый приглушает то индивидуальное, что у него есть, для того, чтобы до крайней степени взбудоражить коллективную часть своего «Я»? Для того, чтобы это объяснить, нужно понять, как, согласно психологии толп, функционирует психический аппарат. Он делится на две части: сознательную и бессознательную. Сознательная часть имеется у каждого человека, она формируется в течение жизни и по-разному представлена у различных людей. Одни люди отличаются более богатой жизнью сознания, другие менее. Напротив, бессознательная часть является врожденной, она общая для всех и равномерно представлена в обществе. Первая очень тонкая и временная, она представляет собой лишь частичку второй, которая массивна и долговременно. Если бессознательная жизнь имеет на нас такое колоссальное влияние, если она без нашего ведома господствует над нами, это потому, что такой, отягощенной грузом инстинктов, желаний и верований мы унаследовали ее от наших прародителей.

Посмотрим и теперь, что происходит в группе, где люди находятся в состоянии взаимного внушающего воздействия. Они стремятся подчеркивать то, что их сближает, то, что было у них общего до того, как они встретились. Каждый из них сводит к минимуму свое личностное начало, которое могло бы привести к риску противостояния. Таким образом, в ходе контактов и взаимодействий, они все больше и больше стирают, сглаживают ту сознательную часть, которая их разделяет и делает непохожими друг на друга. А часть, в которой они сходятся, поскольку она обща для них, завоевывает территорию. Точно так же люди, которые долгое время живут вместе, опираются на то, что их сближает и отсеивают то, что их разделяет. Психическое единство толп, которое является результатом этого, не имеет иного интеллектуального и эмоционального содержания, как именно это бессознательное, вошедшее в дух и тело людей. А именно, верования, унаследован-

ные традиции, обыкновенные желания, дорогие Малларме «родовые слова» и так далее. Но предоставим лучше Ле Бону самому подвести итог этому разложению сознании и личностей: «Итак, утрата сознательной личности, господство неосознанной личности, ориентация, посредством заражения, чувств и идей в одном направлении, тенденция немедленно превращать внушенные идеи в действия — таковы основные черты индивида в толпе. Это уже не он сам, а автомат, управлять которым его собственная воля бессильна»[91].

Итак, человек выходит за рамки человеческого состояния только через единственную дверь, и она открывается в бессознательное. Масса влечет к себе, как магнит, притягивающий железные опилки. Она удерживает благодаря своей действенной иррациональной энергии. В нее включены также и рациональные силы, и это соотношение меняется, смотря по обстоятельствам. Но успешность растворения индивида в массе предполагает, чтобы все было приведено в действие для высвобождения иррациональных тенденций. Эта идея психологии масс сразу получила огромный резонанс. Целому поколению она внушила иные способы мобилизации людей и управления ими. А в науке она стала следующим постулатом: *все, что является коллективным — неосознанно и все, что бессознательно — является коллективным.* Первая часть, как мы уже убедились, принадлежит Ле Бону, и он извлек из нее всевозможные практические следствия. Второй частью мы обязаны Фрейду. Он формулирует ее как самоочевидный ответ на риторический вопрос: «Не является ли содержание бессознательного в любом случае коллективным? Не составляет ли оно общее достояние человечества?» [93]

Необходимо постоянно иметь в виду этот постулат и проникнуться им. Это ключ к психической жизни толп в такой же мере, как постулат сохранения энергии является ключом к природе. Нас, разумеется, интересуют все грани этой жизни. Но понимать, как мыслят толпы, как мыслит человек-масса, представляет особый интерес. Для того, чтобы сделать это, нам нужно также допустить, как мы уже это делали раньше, что толпа чувствует и мыслит иначе, чем отдельный индивид, подобно тому, как человек в состоянии гипноза мыслит иначе, чем в состоянии бодрствования. Мы с вами так наглядно наблюдали это различие, что едва ли нужно убеждать в его существовании.

II

Итак, как мыслит толпа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно предположить существование иных законов, чем законы разума. Поскольку разум, свойственный отдельному человеку, не обладает возможностью поддерживать активность и побуждать верить во что-то. Здесь есть предел, и Паскаль предупреждал нас об этом: «Так что не нужно заблуждаться насчет самих себя: мы одновременно автоматы и разумные существа: а отсюда следует, что убеждение формируется не

на основе доказательства. Как мало вещей доказанных! Доводы действуют только на рассудок. Обычай делает доводы наиболее сильными и наиболее резкими; он пробуждает автоматизм, который увлекает за собой разум, не замечающий этого».

Психология толп в свою очередь обнаружила контраст (это неизбежно) между мышлением индивидов, сознательным от начала до конца и мышлением толп, в большинстве своем бессознательным, которое «увлекает за собой рассудок, не замечающий этого». В обыденной жизни себя обнаруживает именно первое. У человека в состоянии гипноза — второе. С помощью этой аналогии Ле Бон переносит наблюдения, сделанные над людьми в состоянии гипноза на толпы. Я рассмотрю сейчас, один за другим, различные аспекты обоих типов мышления, легко узнаваемые и иллюстрируемые по контрасту.

Мышление индивидов было бы мышлением *критическим*, то есть логическим, использующим идеи-понятия, в большинстве своем абстрактные. Оно описывает предметы и объясняет события с помощью теорий, соединяющих понятия в цепочку суждений, которые мы можем обсуждать и уточнять в свете наблюдений и известных фактов. Это потому, что мы чувствительны к противоречиям между ними, к расхождению между нашими суждениями и реальностью. Устраняя противоречия, мы приходим к логичному видению фактов, которые мы изучаем и методов, которые мы используем. Кроме всего прочего, это мышление независимо от времени. Последовательный ход идей определяется только логическими законами. Он не зависит ни от наших воспоминаний о прошлом, ни от заключений, к которым мы хотим прийти. Оно целиком обращено к реальности, которая единственная в конце концов принимается в расчет. Именно поэтому мы ставим его под сомнение, мы обсуждаем его пункт за пунктом, иногда в полемической форме. Доказательства мы перепроверяем повторными опытами. Опыт все решает и выносит свой вердикт. В конечном счете, ничего не принимается без доказательств. Итак, это мышление объективное.

Напротив, мышление толпы было бы *автоматическим*. Над ним господствуют стереотипные ассоциации, клише, глубоко сидящие в памяти. Она пользуется конкретными образами. Ле Бон беспрестанно повторяет в разных вариантах, что массы неспособны к абстрактным суждениям. Бесполезно, следовательно, обращаться к ним, взывая к качеству, которым они не обладают. В одной из тирад, которые у писателей играют ту же роль, что у адвокатов эффектные жесты, он пишет: «Последовательность строгих суждений была бы абсолютно непонятна толпам и именно поэтому допустимо говорить, что они мало рассуждают или рассуждают неверно и что они не поддаются воздействию рассудка. Нас порой при чтении удивляет неубедительность некоторых речей, оказавших колоссальное влияние на их поведение; но мы забываем, что они произносились для того, чтобы, увлечь массы, а не для прочтения их философами».

Не кажется ли, что мы слушаем адвоката, доказывающего в суде недееспособность своего подзащитного, адресуя намек суду, состоящему из людей здравомыслящих, «философов»?

Если эти противоречивые речи произвели такое впечатление, значит нужно искать причину этого в способности вызывать образы, преобразовывать звуки в наглядные знаки, слова — в воспоминания, а имена — в персонажи. В общем, толпы мыслят мир не таким, каков он есть, а таким, каким их заставляют его видеть, таким, каким они его себе представляют. Они никак не влияют на действительность и удовлетворяются ее видимостью. Не то, чтобы они ее избегали, нет, они просто не понимают разницы между видимостью и действительностью. Истина безнадежно ускользает от них. Они подменяют реальность, которую переносят с большим трудом, представлением; нетерпимое настоящее — прошлым. «В истории, — согласно Ле Бону, — видимость всегда играла куда более важную роль, чем действительность. Нереальное здесь господствует над реальным». Мышление толп — это всегда мышление уже виденного и уже знаемого. Вот почему, когда мы попадаем, как рыбы, в сеть толпы и начинаем грезить наяву, идеи проникают в наше сознание в виде конкретных схем, клише и других представлений.

Никто не взял на себя труда подтвердить эти резкие утверждения. Они, конечно, не могут быть абсолютно ложными постольку, поскольку массовая коммуникация или политическая пропаганда ежедневно с успехом используют их. Они опираются на солидную традицию. Еще святой Фома Аквинский утверждал: *Nihil potest homo intelligere sine phantasmata*, человек ничего не может понять без образов (как и без иллюзий). Это повторяет и Джордано Бруно: «Мыслить — значит размышлять в образах». Исследования гипноза, похоже, свидетельствуют о том, что внушенные идеи связываются с действительными образами прежде, чем выразиться в действиях. Однако подборка даже вполне вероятных предположений еще не является доказательством, я легко с этим соглашусь.

III

Эта оговорка не должна нам помешать идти дальше. Итак, проанализируем, как фабрикуется автоматическая мысль и как «рассуждают» посредством образов. Надо сказать, что до сих пор этот предмет остается очень слабо изученным и суждения, которые я выдвину, будут крайне неполными. Тем не менее, мы кое-что знаем, чтобы говорить о нем. Можно сразу выделить два процесса: наложение и проекцию.

Наложение соединяет случайные идеи-образы, которые сплетаются одна с другой на основе внешних признаков. Однажды наложенные друг на друга, они приобретают видимость рассуждения, которое быстро перескакивает от посылки к выводу, от части к целому, не проходя промежуточных этапов. Пример, приводимый Ле Боном, заслуживает

того, чтобы процитировать его *in extenso*, так как он многое скажет нам и об авторе, и о той форме мышления, которую он хотел показать. «Они (он говорит об идеях-образах) соединяются таким же образом, как и у эскимоса, который, зная из опыта, что лед, прозрачное тело, тает во рту, делает из этого вывод, что стекло, тело тоже прозрачное, также должно таять во рту: или как у дикаря, который воображает, что поедая сердце храброго врага, он сам становится отважным; или так же, как у рабочего, который, будучи эксплуатируем одним хозяином, делает из этого вывод, что все хозяева — эксплуататоры»[96].

Можно задаться вопросом, исходя из какой стереотипной ассоциации, послужившей ему отправной точкой, Ле Бон соединяет свои собственные идеи, чтобы заключить, что рабочий — это дикарь! Его рассуждение представляет собой блестящий пример автоматического мышления. Он выбирает и нагромождает ряд клише и составляет из них образ примитивной массы трудящихся. Коллаж художников, которые, чтобы сделать полотно, располагают рядом накладывающиеся друг на друга фрагменты фотографий, газет, рисунков и т. д., хорошо иллюстрирует то, что называется наложением.

Проекция выражает бессилие толп в разграничении реальности и представления о ней, в различении желаемого и действительного. Из-за неспособности это разводить, толпа, не осознавая того, проецирует вовне свои внутренние идеи-образы. Она рассматривает как внешнюю данность событие, являющееся не более, чем продуктом ее желаний и фантазии. Она попросту принимает свои стремления за реальные события и действует соответствующим образом. Примером может быть кризисная ситуация или обстановка паники. Исходя из слабых признаков, толпа уверяет сама себя, что существует некая угроза, исходящая от той или иной группы, например, евреев или негров. Она приписывает им несуществующие преступления (ритуальные убийства, изнасилования и так далее), раздувает слухи и пускается в погромы или линчевания. Тот же прием работает и для создания легенд вокруг персон, вызывающих особое восхищение. Они дополняются волнующими эпизодами — для французов это мученичество Наполеона на острове Святой Елены, для христиан это распятие Христа и так далее, — где он предстает таким, каким его хотят видеть, а не таким, каким он был. Сейчас мы присутствуем при зарождении легенды вокруг «Де Голля из народа». Какой-нибудь будущий Бальзак поведает о ней, как Бальзак описал с натуры «Наполеона из народа». «Образы, вызванные в их сознании персонажем, событием, происшествием обладают, — полагает Ле Бон, — живостью вещей почти реальных. Толпы пребывают отчасти в положении спящего человека, разум которого какое-то время бездействуя, уступает место образам невероятной интенсивности, но мгновенно рассеивающимся при попытке самонаблюдения» [97].

Это то, что может произойти, когда толпа разбегается. Тогда человеческий рассудок берет верх. Пока что он все принимал некритично,

пытаясь обосновать свои суждения не согласно опыту, а в согласии с большинством. Последнее всегда уводит его от действительности; оно обладает чрезвычайной силой убеждения, и человек в толпе не может ему противостоять. Постоянное смешение внутреннего мира с миром внешним является особенностью автоматического мышления. И если оно остается помехой для рефлексии, то для практики оно обладает преимуществом, поскольку позволяет перейти прямо от идеи к действию, соскользнуть с воображаемого на реальное. Доказательством этому могли бы быть эпизоды наподобие следующего: «Часто рассказывают историю о народном драматическом театре, вынужденном охранять выход актера, исполняющего роль предателя, чтобы оградить его от агрессивных выпадов зрителей, возмущенных его воображаемыми преступлениями. В этом, я полагаю, один из наиболее заметных признаков психического состояния толп и, особенно, их способности подвергаться внушению. Нереальное в их глазах имеет почти такую же значимость, что и реальное. Им свойственна явная тенденция не отличать одно от другого»[98].

IV

Нагромождает ли автоматическая мысль идеи-образы или проецирует их, в обоих случаях она ничуть не озабочена своей строгостью или связностью. Она обеспечивает более важный уровень благодаря верованиям и чувствам, которые определяют ее течение, как шлюзы определяют течение реки. Главное для нее, насколько это возможно, придерживаться конкретного, пережитого. Произнесенное слово, определенный образ важной особы вызывает мгновенную реакцию. Она отличается от критического мышления тремя основными чертами: безразличием к противоречию, жизненностью и повтором.

Безразличие к противоречию наблюдается постольку, поскольку толпа беззастенчиво принимает и смешивает идеи, которые не вяжутся друг с другом — шовинистические и социалистические, идеи братства и ненависти и т. д., — ни в малейшей степени не смущаясь их нелогичностью или словесным нонсенсом. Надо полагать также, что эти искажения, привнесенные в разум, придают ему своего рода таинственность, сообщают ему дополнительную авторитетность, как в этом размышлении Мао: «В народе демократия соотносима с централизмом, свобода — с дисциплиной».

Бросая вызов принципам элементарной логики, понятие может сочетаться со своей противоположностью. Такая нечувствительность к противоречию объясняет тот факт, что масса может перейти от сегодня к завтра, от одного мнения к мнению диаметрально противоположному, даже не заметив этого или, заметив, не попытаться это исправить. Виражи, перестройки, непоследовательность партии или движения проносятся поверх людских голов, увлекая их в своем вихре. Все это

объясняет ту легкость, ту беззастенчивость, с которой они противоречат сами себе, производя резкие перемены. «Никакой логической связи, никакой аналогии или преемственности, — утверждает Ле Бон. — не связывает эти идеи-образы между собой, они могут сменяться одни другими, как стекла волшебного фонаря, которые вынули из коробки, где они были наложены друг друга. Так и в толпах можно видеть, как самые противоречивые идеи сменяют друг друга по воле мимолетной случайности. Толпа будет находиться под влиянием одной их этих разных идей, скопившихся в ее рассудке, и совершать самые противоречивые действия. Полное отсутствие критического разума не позволяет ей замечать противоречие.

С позиций общественной жизни это не объясняет, почему члены партии и избиратели остаются верными ей, несмотря на частые смены курса, вопреки тому, что по четным дням она говорит одно, а по нечетным — совсем другое и объявляет врагами своих вчерашних союзников — история взаимоотношений между социалистами и коммунистами уже полвека иллюстрирует это. Но тот факт, что массы нечувствительны к этим противоречиям, попросту не замечают этих виражей, является важным историческим фактором»[99].

Шекспир поразительно точно проиллюстрировал это с некоторой, если угодно, театральностью, но в абсолютном соответствии с исторической правдой, сообщенной Плутархом. В его драме «Юлий Цезарь» толпа устраивает овацию Бруту, который с помощью безукоризненно логических доводов объясняет, почему он предал смерти Цезаря. «Хотя он и Цезарь», объявляет один из его горячих сторонников. А мгновение спустя та же толпа, распаленная Марком Антонием, жаждет убить Брута и его друзей, изменников родины.

Нескольких образов было достаточно, чтобы вызвать желаемые эмоции: продырявленный и залитый кровью плащ — настоящая реликвия; изрешеченное ударами тело — завещание, которым Цезарь передает свою собственность народу и это почтительное слово, повторенное с оскорбительной иронией, звучит насмешкой над человеком чести, коим считает себя Брут. С одной стороны, высшие соображения и ослепление в том, что касается человека, политического животного; с другой, магия необузданных образов и разгулявшихся страстей, искусство оратора, который играет на настроении толпы, как на инструменте, из которого он по своей прихоти извлекает то звуки любви, то ярости, то ненависти!

Жизненность — это интуитивная способность, позволяющая выбрать решающую для массы идею из возможных. Ясно выраженная, живо заинтересовывающая, она пробуждает близкие каждому воспоминания. Она немедленно вызывает в сознании отсутствующую личность или предмет. Если вы слышите «Де Голль», перед вашими глазами возникает его высокая фигура, его размеренная поступь и отстраненный взгляд. Понятие «нацист». вызывает в вашем сознании

толпу, марширующую строем, вскидывающую руки в гитлеровском приветствии, выкрикивающую лозунги на фоне знамен со свастикой, сжигающую книги или людей.

Ее сила состоит не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы показать контраст между идеей жизненной и не вполне. Она не просвещает, а захватывает. Для того, кто это сознает, «это говорит», так как она впрямую относится к знакомой личности или к обыкновенному предмету. Эти свойства закрепляют ее в памяти и способствуют частому употреблению. С последствиями, которые сбивают с толку. Определенный тип знаний, насыщенных информацией, останется мертвой буквой, поскольку им недостает этой эмоциональной окрашенности. Если вы слушаете речь, перегруженную цифрами и статистическими данными, вы заскучаете и затруднитесь понять, в чем же вас хотели убедить. Несколько колоритных образов, ярких аналогий или же фильм, комикс гораздо сильнее действуют на воображение и получают эмоциональный отклик.

Когда речь идет о толпах, «которые немного напоминают спящего», для того, чтобы поразить их воображение, нужно преувеличивать, используя утрирование в аргументации, эффектные примеры, броские обобщения. По поговорке: «Что чрезмерно, то ложно». Для толп же было бы верно обратное: «Что чрезмерно — то верно», так, по крайней мере случается.

Древние авторы учили, что разум и память можно подвергнуть эмоциональному шоку с помощью необычных и ярких образов, прекрасных или уродливых, комических или трагических. А для того, чтобы себя подать, необходимо, чтобы личность имела выдающиеся черты, выходящие за рамки привычного особенности: нужно, чтобы она была подобна какой-то исключительной фигуре: герою или предателю, пережила необычные приключения и побывала в экстремальных ситуациях. При этом условии идеи или люди становятся для толпы действующими образами. Образами, которые можно прописывать, как лекарство, в больших дозах и часто. «Все, что поражает, — утверждает Ле Бон, — является в форме захватывающего и цельного образа, свободного от неизбежной интерпретации или не имеющего иного сопровождения кроме нескольких удивительных фактов: великая победа, великое чудо, великое преступление, великая надежда. Следует представлять вещи целиком, никогда не вдаваясь в их происхождение. Сотня мелких преступлений или сотня маленьких происшествий нисколько не подействуют на воображение толп, в то время как одно — единственное значительное преступление, одна катастрофа глубоко поразят их даже с исходами куда менее разрушительными, чем эта сотня мелких происшествий вместе взятых»[100].

Надо полагать, что идея-образ содержит в себе заряд воспоминаний не меньший, чем бомба взрывной мощи. Она пробивает фильтры памяти и выносит на поверхность то, что обычно подавлено и спрятано.

Повторяемость обладает особым качеством превращать идею-понятие в идею-действие. Абстрактное содержание первой переходит в конкретное содержание второй. Для того, чтобы стать общедоступными, доктрины и теории должны отказаться от того, что составляет их отличительную особенность: цепочки рассуждений, строгости языка. Иначе не может быть. У толп нет ни времени, ни необходимых условий, чтобы изучать все аргументы, взвешивать все за и против, уточнять все факты. Кроме того, всегда будучи, как мы видели, разнородными, они редко опираются на познания. Парадоксально, и на это стоит обратить внимание, что сами места, где их собирают или где они устраивают манифестации — митинги, съезды, собрания, шествия обычно проходят на городских площадях, стадионах, на улицах — то есть те места, где их лидеры, якобы желают проинформировать и проинструктировать их, совершенно противоречат своему назначению. В этих местах есть все, чтобы производить внушающее воздействие и слишком мало для рассудочного. Толпы могут здесь слушать выразителей их чаяний, видеть их и друг друга, возмущаться, восторгаться и так далее — все, что угодно, только не размышлять, поскольку они низведены до уровня элементарного мышления и простейших чувств. Для того, чтобы прижиться на этом уровне, идеи обязательно должны упроститься, факты или их содержательная наполненность — сгуститься, приняв образную форму. «Какими бы ни были идеи, внушаемые толпам, — утверждает Ле Бон, — они могут стать господствующими только при условии их облачения в простейшую форму и внедрения в сознание в виде образов»[101].

Идеи, конечно же, упрощаются и, будучи повторяемыми, становятся доступными для всех, совершенно также, как автомобили и станки, воспроизведенные в тысячах экземпляров, становятся более ординарными и дешевыми. Их может использовать кто угодно, тогда как поначалу был необходим специалист-инструктор или механик. Таким образом, сведенные к формуле, они захватывают воображение. Естественный отбор? — «Выживание сильнейших». Социализм? — «Классовая борьба», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Кто знает формулу, тот, кажется, владеет ключом к пониманию и решению самых сложных проблем наиболее простыми средствами.

Сведенные к нескольким элементарным предложениям, часто и долго повторяемые, они воздействуют на глубинные мотивы нашего поведения и автоматически его запускают. Именно такова функция лозунгов, призывов, выраженных в наиболее краткой форме. То же касается показательных или чрезвычайных фактов — революция, запуск первых космических ракет, — которые поражают и способствуют внушению образа, который захватывает и неотступно преследует сознание.

Конечно, здесь существует нечто большее, чем аналогия, этого нельзя не признать, между этим автоматическим мышлением — с его нечувствительностью к противоречию, жизненностью и повторяе-

мостью — и символическим мышлением. Второе свойственно нашим мечтаниям, которым мы предаемся, в одиночестве засыпая в своей постели, а первое свойственно видениям наяву, которым предается масса в состоянии внушения. Здесь и там сон размывает сознание и рассудок. Если выразиться категоричнее, толпы существуют автоматически. Они восприимчивы к тому, что поражает их память, они реагируют на конкретные аспекты абстрактной идеи. Они предпочитают получить простой, часто повторяющийся ответ на сложный вопрос, ответ как бы разрубающий гордиев узел. Итак, в идеале им нужно преподносить решение еще до того, как они взяли на себя труд выслушать проблему. Короче говоря, логика толпы начинается там, где логика индивида заканчивается.

V

Выше мы определили качества автоматического мышления. Мы утверждали, что оно выражает восприимчивость к стойким, стереотипизированным и повторяющимся образам. Но на эту восприимчивость влияет, наконец, и внушающая сила слов. Отсюда и чрезвычайная важность их подбора. Он относится не к точности выражения или ясности информации, заложенной в том или ином слове, а к численности и силе образов, которые оно вызывает в сознании толп, вне какой-либо зависимости от их действительного значения. «Те, смысл которых менее всего определен, порой обладают, — утверждает Ле Бон, — наибольшей действенностью. Таковы, например, термины: демократия, социализм, равенство, братство и т. п., чей смысл остается таким туманным, что пухлых томов недостаточно, чтобы его прояснить. И все же действительно магическая сила связана с произнесением слогов, как если бы они содержали решение всех проблем. Они соединяют в себе неосознанные и многообразные чаяния и надежду на их осуществление»[102].

Когда вождь намеревается мобилизовать толпу, ему необходимо использовать такие слова. Если он употребляет слова обыденного языка, он должен учитывать смысл, который они имеют именно в данный момент. Некоторые могли обветшать — боги, честь — и утратить свою побудительную силу. Другие еще слишком молоды, чересчур новы, для того, чтобы пробудить отклик. Вождь или государственный деятель должен постараться найти «говорящие» слова, как-то окрестить вещи, любимые или ненавидимые массами, сжав их в краткие формулировки. Тем самым кристаллизуется их воображение, поскольку «определенные слова в какой-то момент притягивают к себе определенные образы: слово — это не более чем кнопка вызова, которая заставляет их появиться» [103].

За возникшим образом сразу следует действие. Ле Бон испытывает глубокое доверие к языку. Разумеется, не как к инструменту рефлексии или способу коммуникации, а как к средству передачи словесного внушения. Он приписывает слову, надлежащему исполь-

зованию слов и формулировок магическую силу. В каких случаях язык обладает таким качеством, чем оно объясняется? Своей способностью пробуждать в массах сильные чувства и стойкие убеждения. Иначе говоря, в тех случаях, когда язык связывает настоящее с прошлым, подкрепляет актуальные идеи прежними эмоциями и переносит старые отношения на новые ситуации. То, как это происходит, великолепно демонстрирует заявление, сделанное Морисом Торезом в 1954 г. Он наделяет коммунистическую партию представлениями и чувствами, насыщенными патриотическим духом и делает из революционеров наследников традиции. Все исторические личности воскрешаются в сплетении тяжеловесных метафор доблестной истории: «Мы вернули Жанне д'Арк, — пишет он, — домремийской пастушке, преданной королем и осужденной Церковью, ее истинный облик, который был искажен реакцией, как мы вернули ее истинный смысл Марсельезе, революционной песне голытьбы из Вальми и добровольцев Второго года. У нас единое красное знамя надежд с трехцветным знаменем наших предков» [104].

Внушающая сила подобного языка происходит из того, что он будоражит в каждом члене толпы воспоминания о событиях, верованиях и чувствах, хранимых веками. Все это составляет всеобщее достояние большинства. Даже если оно не осознается, даже если от него отказываются, оно остается основой, созданной историей, — основой нации в этом конкретном примере — и каким-то невидимым образом влияет на наши мнения и действия. «В каждом из нас, — пишет Дюркгейм, — в различной степени присутствует человек прошлого, это тот человек прошлого, который в силу определенного порядка вещей господствует в нас, поскольку настоящее есть только нечто мало сопоставимое с тем длительным прошлым, в ходе которого мы сформировались и результатом которого мы являемся» [105].

У Ле Бона, Тарда и Фрейда были аналогичные высказывания, поскольку одной из наиболее устойчивых гипотез психологии масс является утверждение о том, что в жизни народа, религии, группы ничто не утрачивается, а все или почти все лишь принимает иные формы. Это объясняет, почему, когда обращаются к толпе, нужно отбирать слова, которые из потаенных уголков памяти вызывают идеи, образы, чтобы их восстановить, извлекая из глубинных недр. Так, Жорж Марше утверждает, что социалистическое общество, которое желает построить коммунистическая партия, «как раз и будет голубым, белым и красным [106]».

Сами по себе такие слова, запечатлевающиеся в сознании формулировки типа: «Франция — французам», «тонкие против толстых» — возрождают вокруг видимых толп другие — невидимые, скандальные, порой неведомые. Эти воскресшие фантомы «как по нажатию кнопки» оказывают громадное давление, противостоять которому невозможно. «Бесконечно более многочисленные, чем живые, — утверждает Ле Бон, — мертвые также бесконечно более могущественны, чем они.

Они господствуют в огромной сфере бессознательного, той невидимой сфере, которая держит под своим контролем проявления ума и характера... Ушедшие поколения определяют не только нашу физическую конституцию, они определяют также и наши мысли. Мертвые являются единственными непререкаемыми наставниками живых»[107].

Они также представляют собой связующее звено нашего языка, ведь именно они воскрешаются словами, вызванными в образах, — Жанна д'Арк, домремийская пастушка, голытьба второго года и т. п., — которые стихийно возникают вновь и настоятельно заявляют о себе. Итак, вождь должен обращаться к человеку прошлого в человеке, изобретать язык, предназначенный для того, чтобы возбудить толпы, сплотить их, увлечь неспособных размышлять к заранее поставленной цели. Если он желает сохранить над ними психологическое господство, он должен постоянно расширять свою речевую палитру, ее подсознательную основу, затрагивая новые верования, новые сферы коллективного воображения, доходя до глубинных слоев предания. Таковы были, помимо прочих, Наполеон и Сталин, соединявшие давнее наследие революций и народных слоев с наследием отечества, империй, царей, а первый и с наследием религий. С того момента, как для этих речей не находится больше мастера, виртуоза, способного их обновить, они утрачивают свое господство. Это наблюдалось во Франции сразу после генерала де Голля. Тогда толпы слабеют день ото дня и рассеиваются, почти не оставляя следа.

VI

Подведем итоги. Существуют два и только два типа мышления, предназначенные для объяснения реальности: первый нацелен на идею-понятие, второй — на идею-образ. Первый действует по законам разума и доказательств, второй взывает к законам памяти и внушения. Первый присущ индивиду, второй — массе. Было бы глубоко ошибочным пытаться убедить и увлечь массы с помощью приемов, предназначенных для отдельных людей, подобно тому, как ошибочно было бы пытаться использовать для построения государственного бюджета те же правила, по которым строится семейный бюджет. «Логические умы, — упрекает Ле Бон тех, кто совершает эту ошибку, — привыкшие к цепочкам строгих суждений, обращаясь к толпам, не могут удержаться от использования этой формы убеждения и неизменно удивляются недостаточному эффекту своей аргументации»[108].

Они могли бы избавить себя от такой неожиданности в том случае, если бы прибегли к поражающим воображение образам и при этом обращались к ним достаточно часто. Так, Морис Баррес упрекает «крупную семитскую буржуазию», которая заставляет «голодать тысячи трудящихся»[109]. Или же Морис Торез пишет, что «14 июля — это праздник нации, внутренне примиренной и объединенной против двух сотен семейств» [110]. Две сотни семейств, семитский банк — это колоритнее, чем капиталисты или буржуа.

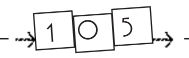
Не следует думать, что Ле Бон побуждает умышленно и на основе холодного расчета манипулировать толпами. Это противоречило бы его намерениям и данным науки: толпу не склонить к идее, если она сама к ней не склонна, не загипнотизирована ею. Он утверждает на основе наблюдения, которое считает вполне строгим, что иным образом обращаться к массе нельзя. Начинать какую-либо коллективную деятельность по образцу индивидуальной бесполезно и даже опасно. Это значит упустить из вида данный тип мышления, его психологическую природу. Это значит подходить к массе, по существу, не как к массе. Именно это делает массу апатичной вместо того, чтобы ее мобилизовать. Ее законы невозможно обойти. Они так же строги, как законы экономики или физики. И из этих законов следует, что искусство управлять массами — это искусство управлять их воображением.

Власть сильных мира сего зиждется на этом воображении. Именно воздействуя на него, могут функционировать великие религии и свершаться исторические события — христианство, буддизм, Революция, Реформация, а в наше время — социализм. Никто, даже «наиабсолютнейшие деспоты» никогда не могли править, не считаясь с воображением. И они всегда способствовали его возбуждению своими торжественными речами, фантастическими легендами, своими блистательными сражениями. Вспомним Наполеона, а также Черчилля или Мао. Сделаем вывод этой главы словами Ле Бона: «Владеть искусством производить впечатление на толпы означает владеть искусством управлять ими»[111].

Гитлер шел вслед за французским психологом и передавал его мысль такими словами: «Искусство пропаганды состоит в том, чтобы, примеряясь к уровню понимания тех слоев, среди которых работает воображение, слоев широких масс, ведомых инстинктом, пропаганда в надлежащей психологической форме находила пути к их сердцу».

И он превозносит «использование образа во всех его формах», поскольку тем самым «человек должен еще меньше напрягать свой рассудок; ему достаточно всего-навсего посмотреть и прочитать самые короткие тексты». Биографы Гитлера сообщают нам, что именно применению этого принципа он был обязан завоеванием власти и своим господством над немецким народом.

Таким образом, для Ле Бона век толп — это век воображения, и в нем господствуют благодаря воображению. Живя в эпоху, не знавшую ни кино, ни телевидения, он объясняет, как повседневно используемый язык может быть инструментом такого господства. Поскольку повторяемые слова и формулировки пробуждают и оживляют в нас целый мир образов, которые мы видим, как говорится, внутренним взором. Сколь бы удивительно ни было это могущество, оно между тем ограничено. Помимо всего прочего, слова и формулировки являются всего лишь заменителями образов. Непосредственно представленные, они обладали бы гораздо большей властью: «Слова воскрешают



психические образы, — пишет он, — но еще могущественны образы, представленные наглядно»[112].

Он, конечно, имеет в виду образы своего времени: афиши, фотографии, театральные спектакли. Важная и полезная задача состоит в том, чтобы найти средства производства и распространения таких наглядных иллюзий, дабы впечатлять и увлекать толпы. Эта интуитивная догадка Ле Бона не перестает подтверждаться. С тех пор мы умножили число тех материальных инструментов, которым он дал теоретическое обоснование в своем предвидении. Появление средств коммуникации, без сомнения, имело, и об этом часто говорится, экономические и технические причины. Но, однако, они с самого начала были созданы специально для того, чтобы волновать массы, воздействовать на них и, по сути, предназначены для их серийного производства. Когда анализируется эволюция средств коммуникации, отмечается, что она проходила в два этапа: вначале усиление выразительных возможностей слов посредством радио, а затем непосредственное порождение образов через кино и телевидение.

От одного этапа к другому наблюдается непрерывный прогресс. Полвека кино, телевидения, комиксов, политических плакатов, рекламных объявлений материализовали и, собственно говоря, подтвердили то, что в зачаточном состоянии присутствовало уже в разработках психологии толп. На протяжении одного поколения был совершен переход от культуры слова к культуре более могущественных «наглядных образов». Следует сказать, что, подобно тому, как книгопечатание создало базу критическому мышлению, радио и телевидение за этот короткий промежуток времени обеспечили автоматическому мышлению техническую базу и мощь, которую трудно было предвидеть. Средства коммуникации сделали его историческим фактором. И этот фактор будет иметь место, пока существует массовое общество.

ЧАСТЬ 3
ТОЛПЫ, ЖЕНЩИНЫ И БЕЗУМИЕ

ГЛАВА 1

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: ИМПУЛЬСИВНОЕ И КОНСЕРВАТИВНОЕ

I

Психология толп интересуется двумя простейшими феноменами и только ими: объединением индивидов в толпу и господством вождей над массами. До сих пор я занимался первым. Вы уже знаете, почему распад сознания каждого приводит к психическому единству всех — причиной тому внушение. Как будто загипнотизированные, люди превращаются в психические автоматы, движимые своим бессознательным. Когда их спрашивают, как в пьесе немецкого автора Толлера: «Кто вы?», — они отвечают: «Масса безымянна».

Я перехожу ко второму феномену — господству вождя. Можно оспаривать его необходимость, осуждать его действия, сводить до минимума его роль. Но невозможно говорить о человеческих группировках, не принимая во внимание их деление на ведущих и ведомых, на соперничающих сильных мира сего и противоречивых личностей. Кто бы ни пожелал понять их устройство, всегда будет задаваться одними и теми же вопросами: «Кто командует?» и «Почему ему подчиняются?»

Это не перестает быть самой волнующей загадкой между небом и землей: меньшинству всегда удается править большинством с согласия последнего. Само меньшинство заканчивает тем, что уплотняется до единственной точки — лидера — как огонь в очаге.

Вся работа психологии толп направлена на решение своеобразной проблемы: в массовом обществе массы больше не подчиняются — они демонстрируют свою силу. А вожди больше не руководят — они тушуются и сомневаются. Вместе с тем неуверенная и спорная власть представляет собой опасность. Это признак старения цивилизации, нехватки энергии народа. Значит, нужно научить вождей понять толпы и направить их к цели. Для решения этой проблемы новая психология посвящает свои усилия исключительно той загадке, о которой я только

что говорил. Изучить толпы для нее — это понять человеческую драму на манер событий, происходящих на сцене; изучить вождя — это понять его на манер того, что происходит за кулисами. В ее понимании толпы и вожди являются первичными и не сводимыми к другим силам, к рассмотрению которых нужно приступить в первую очередь. Их законы независимы от техники или экономики. Эта психология не отрицает важности и других факторов. Но всегда и повсюду факторы господства и подчинения будут наиболее значимыми и оставят больший отпечаток на культуре, чем факторы богатства и производства.

Выживание цивилизации, победа одной психологии над другой в этой настоящей войне — вот ставка, и не меньше. «Духовная борьба так же жестока, как сражения между людьми», — писал Артюр Рембо. Это война верований и идей. Тот, кто ее выигрывает, выигрывает могущество и все остальное. Подведя итог обсуждению этой точки зрения, скажу, что для психологии толп связь между вождем и толпой — это прежде всего связь человеческая. Здесь происходит переход от предыстории к истории. Имеются достаточные основания, чтобы опровергать ее аксиому: «сначала есть вождь и масса»[1]. Но, поскольку она является одной из важнейших тем этой психологии, примем ее условно.

II

Начнем с массы, рассмотренной в ее совокупности. Чтобы в разнообразии симптомов увидеть логику, обратимся к древней схеме Аристотеля. В соответствии с ней все во вселенной состоит из пассивного и податливого вещества и активной и устойчивой формы. Так же, как присущи вещество — дерево или бронза, и форма — круглая или остроконечная, — столу или стреле, точно так же вещество и форма будут присущи толпам. Их единство реализуется в каком-то объекте, в специфической человеческой группе: парламенте, политической партии, государстве и т. д.

Мы знаем, как образуется коллективное вещество: люди превращаются в толпу. Какие особенности ей свойственны? Люди толпы импульсивны и внушаемы, с одной стороны, и проявляют экстремистские настроения, с другой. Внушаемость говорит о том, что они уязвимы во всех своих побуждениях, во всех изначальных инстинктах и реагируют на все стимулы извне, не владея собой. Неизменная восприимчивость заставляет их откликаться на каждое событие внешнего мира и как следствие провоцирует на чрезмерные реакции.

Оставим в стороне преувеличения и признаем, что французский психолог предлагает очень значимую гипотезу об общественном происхождении эмоций. Ее даже удалось проверить в лаборатории. Действительно, американский психосоциолог Stanley Schachter показал в серии классических экспериментов, что человек, пребывая в состоянии возбуждения, с которым он не может совладать, будет проявлять грусть или веселость, если он находится в присутствии другого

человека, который кажется грустным или веселым. Иначе говоря, не существует самих по себе грусти и веселости. Есть лишь неуверенность и неустойчивость, которые переходят в грусть или веселость в зависимости от настроения окружающих.

Для Ле Бона люди, собранные в толпу, беспрерывно пребывают в состоянии, которое окрашено то черным, то розовым в зависимости от импульсов, получаемых от внешнего мира. Этим и объясняется их вечная переменчивость: «Возбуждающие средства, способные воздействовать на толпы, очень разнообразны, и толпы, находясь под их влиянием, обычно становятся крайне подвижными. Можно увидеть их мгновенный переход от самой кровавой свирепости к благородству и героизму в высшем смысле. Толпа легко становится палачом, но также легко и мученицей»[2].

Ее отличительные черты: равнодушие и, как ни странно, альтруизм. Толпы в большей степени способны на жертвы и альтруистические действия, чем отдельно взятый человек.

Такие скачки коллективного настроения происходят тем резче, чем более критической становится ситуация, и Гитар де Флорибан, парижский буржуа, замечает в своей газете, видя, как ведут к эшафоту Робеспьера и его товарищей: «Они были приведены туда, пройдя через улицу Сент-Оноре, и народ повсюду оскорблял их, возмущенный тем, как они его обманули. Им отрубили головы в 17 часов вечера».

Эти перемены кажутся немотивированными и не встречают никакого сопротивления, когда лидеры берут их инициативу на себя. Немецкие социалисты провозглашали свое намерение противостоять войне, но в 1914 г. они голосуют за нее, и Роза Люксембург писала по этому поводу: «Организационная мощь и хорошо известная дисциплина социалдемократии имели блестящий результат. Было достаточно приказа кучки парламентариев, чтобы в течение двадцати четырех часов эта масса из четырех миллионов человек повернула назад и позволила впрячь себя в тележку империализма, разрушение которого еще вчера было смыслом ее существования».

Будучи непостоянными, массы тем самым являются легковерными. И как им ни быть таковыми? Они не умеют извлекать уроков из опыта. Живя в воображаемом мире, отуманенные образами и иллюзиями, сосредоточенными в бессознательном, толпы готовы проглотить все, что им преподносится, и действовать в соответствии с этим. «Действительность и опыт, несомненно, стоят над ними. Можно заставить толпу принять все, что угодно. Для нее нет ничего невозможного »[3].

Толпа не отличает сна от реальности, утопии от науки. Она не признает препятствий, которые преграждают дорогу к ее желаниям! Тем более она не понимает слов, предназначенных для того, чтобы пробудить ее, заставить отказаться от того, что она требует. Погруженную в свой гипнотический сон, ее можно не только заставить все принять, но и необходимо также все ей пообещать, поскольку именно это тот

единственный язык, который действует на нее и ей подходит. Рецепт ясен: «Если толпа просит луну, надо ей ее пообещать»[4].

Редко демагогия преподносилась и проповедовалась с таким убеждением под видом правды, которая вытекала из глубинных тенденций человеческой психики. На многих страницах Ле Бон разворачивает афоризмы, которые обращены к политическим деятелям его времени, взывая к ним: «Чтобы правильно избрать цель, всегда нацеливайтесь на самое элементарное, на самое простейшее». Это совет, которым пользуются. Если бы Гитлер не последовал ему, он остался бы оформителем.

Мы подходим к центральной идее психологии толп. Непостоянство, легковерие, скачки настроения — о чем они заставляют нас задуматься? О чем, как не о женщине? В одной из этих формулировок, секретом которых он обладает, Гюстав Ле Бон пишет: «Толпы повсюду обладают женским началом, но наиболее женственны из всех романские толпы. Тот, кто опирается на них, может подняться очень высоко и очень быстро, но постоянно чувствуя под собой отвесную скалу и уверенность, что однажды будешь низвергнут с нее»[5].

Из этих черт, часто квалифицируемых как женские, сделали вывод, судьба которого не проста: толпа — это женщина. Предполагается, что ее характер, эмоциональный и капризный, своенравный и ветреный, подготавливает ее к внушению так же, как ее пассивность, традиционная подчиненность, терпеливость готовят ее к благочестию. Она куртизанка и хранительница очага, любовница, которую завоевывают, и невеста, которую берут в жены. Ле Бону не нужно было изобретать этого уподобления вечной женственности и вечной коллективности. Толпы времен Французской революции отличались исключительно женскими свойствами. Еще долго впоследствии знаменитых ораторов преследовали кошмары руководителей санкюлотов. Наполеон описывал их как император-любовник: «У меня только одна страсть, одна любовница — это Франция. Я ложусь с ней». Многие его преемники, наверное, хотели бы так сказать, но не осмелились.

Ассоциирование женщины, толпы и беспорядка является другой изустной темой политических и литературных толков. Один современный автор описывает толпу такими словами: «Да кто бы ни читал рубрику „Письма читателей“, проникает во все раны этого женского и стонущего монстра — толпы и имеет довольно четкое представление о том, что Бог и его святые ежедневно слышат в молитвах, обращенных к ним»[6].

Этот впитанный психологией масс предрассудок, который был не более чем полуправдой, стал политическим принципом. Муссолини, конечно, первый, кто овладел им и систематически применял; он повторяет Эмилю Людвигу то, что прочитал у Ле Бона: «Толпа любит сильных мужчин. Толпа, как женщина». Его великий союзник Гитлер оказался более многословным: «Народ, — заявлял он, — в своем огромном большинстве обладает столь женскими чертами, что

его мнения и действия направляются в значительно большей степени впечатлениями чувств, чем чистым разумом. Это впечатление, вовсе не мудреное, а очень простое и ограниченное. Оно почти не допускает нюансов, а только позитивные или негативные понятия любви или ненависти, права или несправедливости, истины или лжи: получувств не существует».

Нельзя отрицать, что этот текст конкретно и броско резюмирует одну из главных идей автора «Психологии толп», которую он обрисовывал вдоль и поперек с явным удовольствием. Но немецкий диктатор не удовлетворился мыслью, что надо обращаться с толпой, как с женщиной, он также изобрел стратегию обращения с женщинами, как с толпой. Вот что наблюдает великий немецкий философ Эрнст Блох по поводу привлечения женщин к нацизму: «В этом случае все началось с обольстителей. Чувства воспламенились, сердца устремились к ним. Никого не удивит, что там было море женских сердец: известно, что чувства — это их сила. Но все это не так просто, не все женщины сотворены только из инстинктов, и одной только щетки, которую Гитлер носит под носом, не хватило бы, чтобы их привлечь. «Нужно, чтобы он был холостяком, тогда мы будем женщинами», — сказал один из нацистов еще вначале, когда они бросились на поиски лучшего рекламного номера»[7].

Блох, разумеется, хотел сказать, что они увидели бы в нем своего возлюбленного, своего супруга, короче говоря, мужчину, которого сразу после войны им не хватало. И этот «рекламный номер» был эффективным. В доказательство мы располагаем свидетельством Чахотина, который в тридцатые годы боролся на стороне социалистов с нацистской пропагандой. «Внушающая пропаганда, — писал он, — естественно, находила благодатную почву в среде женщин; они не могли устоять против антифеминистских идей нацистского движения»[8].

Это превращение предрассудка в практическую точку зрения не является очевидностью, которая подтверждала бы его истинность. Множество очень эффективных практических шагов было основано на ложных теориях. Оно, однако, ставит перед нами более серьезную проблему: как происходит это соскальзывание с внушаемости толп на внушаемость женщины? Соскальзывание, которым пользовались не одни только нацисты и которое, если я не ошибаюсь, представляет собой поворот на сто восемьдесят градусов. Исключенные прежде как нечто не стоящее внимания, в массовом обществе женщины стали главной мишенью публицистики, пропаганды и других средств убеждения. До такой степени, что мужчины, которые являются настоящими хозяевами этих средств, говорят сегодня о *феминизации* медиа (параллельно с их демократизацией). Но соскальзывание, которое я подразумеваю, имеет гораздо более древние истоки в нашей культуре. Оно восходит к Аристотелю. Для нас, как и для греков, материя всегда имела в качестве образа женщину, создание, как и она, восприимчивое, с которой муж-

чина стремится соединиться и которой он хочет повелевать, как творец — камнем, который он высекает, деревом, которое он обрабатывает.

Экстремизм толп можно узнать по скорости, с которой они принимают однобокие мнения, приводящие их к крайности, позитивной или негативной. Этим выражается тенденция к беспрерывному текущему действию, для реализации которого нужен центр притяжения. Им могут быть выдающаяся личность, вождь, иностранцы, евреи, богачи, американцы или какая-то идея, мир, война. Это может быть какое-нибудь место, к которому все идут вместе: Бастилия во времена Французской революции, Зимний дворец в Петербурге во времена революции в России. Вдохновленный психологией масс своего времени, австрийский писатель Роберт Музиль так описывает это движение: «Ими могли быть наиболее возбудимые, наиболее восприимчивые, наименее стойкие, то есть экстремисты, способные на внезапную жестокость или трогательное благородство, которые служат примером и прокладывают путь... Крик, который у них вырывается скорее, чем они его издают; камень, который попадает в их руку, чувство, которому они предаются, освобождают путь, по которому остальные, в состоянии взаимно нагнетаемого возбуждения, вплоть до невыносимого, бессознательно следуют за ними. Они придают действиям своего окружения форму массового поведения, которое ощущается всеми наполовину как принуждение, наполовину — как облегчение»[9].

Избирая центр притяжения, кумира или козла отпущения, толпы исключают колебания, сомнения и отклонения, которые вели бы к риску породить разногласия и раздробить массу. В перевозбужденной и разгоряченной атмосфере толпы сомневающиеся начинают верить, нерешительные становятся полными решимости, а умеренные — экстремистами. В такой степени, в какой им были внедрены чувства непомерной силы. Ораторы вдолбили толпе утрированные суждения, они потребовали устроить овацию или освистать определенного человека или какую-то идею. Заражение довершает дело: как только толпа начинает соскальзывать к проявлениям крайности, всеобщее одобрение этой идеи увеличивает шанс исключить все остальные. Нюансы исчезают по мере того, как сообщество поляризуется. «Простота и преувеличенность чувств толп, — утверждает Ле Бон, — предохраняют их от сомнений и неуверенности. Как и женщины, толпы устремляются к крайностям. Высказанное подозрение сразу же превращается в бесспорную очевидность. Зарождающаяся антипатия или осуждение, которое у отдельно взятого человека осталось бы слабо выраженным, у человека в толпе тотчас становится лютой ненавистью»[10].

Как бы странно это ни могло показаться, такое предположение было подтверждено в более сдержанной форме, в лаборатории. Объяснение Ле Бона не было связано с чем-то, либо основано на чем-то, кроме обширного ряда предрассудков. Но оно содержит долю правды: поляризация в массах связана с необходимостью избежания сомнений

и неуверенности. Она образует психическое единство вокруг определенного пункта, обеспечивая консолидацию с устойчивым суждением. Неподвижность и стабильность надежно ведут к крайностям.

III

Гипноз возвращает людям, подвергнувшимся внушению, забытые образы, которые становятся даже более яркими и многочисленными, чем в состоянии бодрствования. Они обладают свойством императивности, непреодолимости, которого так часто недостает сознательному мышлению. Выражая это наблюдение, Ле Бон подчеркивает, что в толпах сквозь их раздражительность, преувеличенность реакций всегда просматриваются воспоминания и традиции. Даже после великих потрясений восстанавливается прерванная нить преемственности. Вопреки лозунгу революции прошлое не может стать «табула раза», поскольку оно нам не подвластно. Несмотря на временные эксцессы, прошлое остается нашим властителем.

Это заявление может показаться шокирующим. Но действительно, в настоящее время массы кажутся вовлеченными на путь революционных преобразований общества через традиции и заинтересованность. Масса и революция охотно ассоциируются, как ассоциируются детство и невинность, по привычной логике. «Заблуждение, —говорит Ле Бон, — вы принимаете свою логику за действительность. Массы вовлекаются в революцию благодаря не собственному инстинкту, а партиям и вождям»[11]. «Их жестокие действия вводят нас в заблуждение в этом смысле. Взрывы бунта и разрушений всегда мимолетны. Они слишком руководствуются бессознательным и как следствие слишком подвержены влиянию векового наследия, чтобы не показаться крайне консервативными. Предоставленным самим себе, им вскоре надоедает беспорядок, и они устремляются к зависимости. Самые гордые и самые неуступчивые из якобинцев устраивают бурную овацию Бонапарту, когда он упразднил все свободы и жестко дал почувствовать свою железную руку»[12].

В этом консерватизме Ле Бон видит не препятствие, а благо. Этот консерватизм может помешать возникновению, казалось бы, неминуемой революции. Таков его тезис. Не нужно принимать это за чистую монету, дать себя обмануть этим толпам, которые поднимаются на баррикады, размахивают красными знаменами и выкрикивают революционные лозунги. В действительности они терзаемы желанием вернуться к архаичным основам. Отвечая этому желанию, оживляя его соответствующими речами, можно вернуть их к тому прошлому, от которого они на короткое время освободились, то есть к обычному порядку вещей. В этом Ле Бон вторит Ницше: «Стадное чувство ориентировано на косность и консерватизм, в нем нет ничего творческого».

На это утверждение, с виду безобидное, прореагировали немедленно. Сорель первым отмечает: «Есть много справедливого в тех сужде-

ниях, которые основываются на широком знании цивилизаций» [13], но они совершенно не годятся для классовых обществ. Затем Каутский. Мы уже видели в предыдущей главе, что он практически принимает эту точку зрения. [14]

Но и Муссолини, и все те, кто следовал и подражал ему, полностью приняли этот тезис. Стало быть, они осмелились на то, что не осмеливались сделать великие буржуа: расценить рабочий класс как консервативную массу и соединить марксизм или социализм с шовинистическими убеждениями, с избитыми идеями традиции, чтобы воскресить миф нации. Эта дерзость произвела ожидаемый эффект. Фашистские партии и нацистские отделения сразу обработали влиятельную рабочую фракцию в социалистических и коммунистических партиях. Так, они превратили борцов революции в солдат антиреволюции, одной из самых реакционных, которые мир когда-либо знал.

Подведем итог. Толпы внушаемы и склонны к экстремистским установкам. На поверхности они легко и часто меняются. Их можно увлечь из одной крайности в другую, не встречая серьезного сопротивления. Из этого можно заключить: толпа — это женщина. В глубине она тоже женщина, когда, будучи узницей традиций, обычаев и архаического бессознательного, противится всяким потрясениям. Или, если они имеют место, она поворачивает назад, чтобы с трудом восстановить то, что, не долго думая, разрушила. С помощью ностальгии сердца, прошлой славы, заботы масс о почитании памяти мертвых предотвращается или завершается революция.[15] Рецепт прост, и психология толп дает ему удачное объяснение. А применение его производило и продолжает производить редкостные эффекты.

ГЛАВА 2
КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОРМА: ДОГМАТИЧЕСКАЯ И УТОПИЧЕСКАЯ

I

Роль форм играют верования. Соединенные с первичным веществом, которым являются собранные вместе индивиды, они создают организованные психологические толпы. Они скрепляют вместе части сообщества, как строительный раствор, цементирующий камни. Они их обрабатывают с точки зрения общей цели. Продуманные плохо или лишенные четкости, верования распыляются, сооружение разрушается. Толп без верований не существует так же, как не существует дома без архитектуры и цемента. В противоположность социологии, истории марксистского толка, для которых верования — это лишь малозначащая надстройка, возведенная на солидном экономическом базисе, психология толп видит в них непреходящие основания общественной жизни. Лишенные верований, обделенные основополагающей идеей, человеческие группы инертны и пусты, говорит она. Они разлагаются и впадают в апатию, подобно человеку, который не находит больше смысла в жизни. «Благодаря основополагающим верованиям, — пишет Ле Бон, — люди любого возраста опутаны сетью традиции, мнений и обычаев, гнета которых они не в силах избежать и которые делают их всегда немного похожими друг на друга. Самый независимый ум не помышляет уклониться от них. Существует только одна настоящая тирания — это та, которая действует на души бессознательно, поскольку именно с ней невозможно бороться. Тиберий, Чингисхан, Наполеон, без сомнения, были страшными тиранами, но из глубины своих могил Моисей, Будда, Иисус, Магомет, Лютер оказали гораздо более деспотическое воздействие на души. Тирана сразит заговор, но что он значит против прочно утвердившейся веры?»[16].

Не ученые и философы устанавливают психологическое единство массы. Это делает вера, от которой невозможно скрыться. Ни одно общество, а наше не больше, чем другие, не сумело бы от нее избавиться. [17]

Верная своим прогрессивным принципам, социология из самых добрых побуждений провозгласила крах идеологий. Она предвидела конец постиндустриального общества, целиком основанного на науке и разуме. Это будет результатом поднявшегося уровня культуры, освоения природы и просвещенного человеческого разума. Такой финал желателен, возражает психология масс, но совершенно невозможен. Человеческие массы не могут ни вести себя согласно разумным правилам, ни действовать, опираясь на науку. Они нуждаются, образно

говоря, в цементе верований. Далекие от исчезновения, они, напротив, остаются решающим фактором. В век толп их значимость продолжает возрастать.

II

Идеи торжествуют, становясь верованиями, вовсе не потому, что они правильны или значительны. Это происходит оттого, что они приобретают облик традиции. Им нужно пройти из сознания индивида в бессознательное толп, найти отклик в памяти народа. Так идеи свободы и равенства, проповедовавшиеся философами Просвещения, соединились с памятью о буржуазных привилегиях и римских добродетелях во Французской революции.

Чтобы проникнуть в «душу» толп, верование должно приобрести жесткий характер обычаев. Его не обсуждают. Оно навязывает себя в силу своей очевидности и эмоциональной энергии, которым невозможно противостоять. А также в силу своей способности преобразовывать реальность, приукрашивать ее, либо воскрешая в памяти мир прошлого — золотой век, утраченный рай, либо, обращаясь к будущему — справедливому обществу или страшному суду. В целом необходимо, чтобы такая вера была догматической и утопической. Почему?

Толпы испытывают постоянную потребность в интеллектуальной связности и эмоциональной убежденности. Это позволяет им понимать события, разгадывать смысл нестабильного и сложного мира, игрушкой в руках которого они кажутся. Догматический аспект верований связан с потребностью в перестраховке, аналогичной потребности детей. Когда объясняется с помощью простой и наглядной причины — рабочие, евреи, капиталисты, империализм — действительность, даются понятные и безусловные ответы на вопросы, утверждается «это истинно, это ложно», «это хорошо, это плохо», тогда становятся возможными искомые связность и убежденность.

С другой стороны, исключается всякая дискуссия. Каждое заключение логично, каждое суждение непогрешимо. Так поступают идеологи или партии, указывая на то, что они никогда не ошибались, доказывая, что все предвидели, что их политика всегда остается неизменной — одним словом, утверждая, что они всегда и во всем правы. Вот, например, декларация Жоржа Марше, генерального секретаря коммунистической партии: «В 1934 г. французская коммунистическая партия была права. В 1939 г. французская коммунистическая партия была права. Против Алжирской войны французская коммунистическая партия была права. Против Индокитайской войны французская коммунистическая партия была права, и в великих событиях национальной и международной жизни она одна оставалась партией»[19].

При помощи постоянно повторяющегося утверждения, с неоспоримым правом на непогрешимость, он превращает события истории в пункты безоговорочной доктрины.

Навязанные в качестве абсолютных истин, повторяемые с помощью непрерывного внушения, верования становятся нечувствительными к доводам рассудка, к сомнению, к очевидности противоречащих им фактов. Тем более, что толпы в целом уклоняются от любой дискуссии и любой критики. Для них не существует ни попятного движения в необходимых случаях, ни обращения к себе, предполагающего рефлексию. Согласно Ле Бону, доказательство этому можно видеть в выкриках и ругательствах, которыми встречается даже самое невинное возражение, исходящее от оппонента в ходе публичного собрания.

Результатом действия этого догматического аспекта будет поддержание и усиление нетерпимости толп: «Одним из наиболее общих и неизменных свойств верований, — пишет он, — является их нетерпимость. Она тем более непримирима, чем сильнее убеждение. Люди, ведомые уверенностью, не могут терпеть тех, кто ее не принимает».

Любое коллективное верование бескомпромиссно, радикально и отличается пуризмом. Оно освобождает от двусмысленности в интеллектуальном плане и от безразличия в плане эмоциональном. Его сторонники черпают в нем впечатление восторженности и всемогущества, питающее убежденность в принадлежности к группе, которая «права». Оно оправдывает их усердие, спасая от апатии, от этого состояния desanimado, как говорят испанцы, лишенного воодушевления, от отвращения к жизни. Оно утверждает триумф страсти. Господство фанатизма над толпой зависит от этой убежденности в следовании подлинному идеалу — ее собственному. Идеал создает мир с незыблемыми ценностями, освобожденный от внутренних сомнений и огражденный от внешних опасностей. Это мир предвзятостей, и любая действующая толпа будет предвзятой, более того, действующей ее делает именно предвзятость.

Итак, по мнению французского психолога — запомним эту гипотезу, — логическая связность и убежденность, качества, с которыми мы связываем приоритет в образовании, ведут прямо к фанатизму, авторитаризму, нетерпимости. Может быть, не у индивидов, но наверняка в случае толп.

Если это так, то что же думать о правительствах, партиях и общественных движениях, которые, особенно сегодня, стремятся принести в массы научно обоснованные связность и убежденность? В противоположность тому, во что они верят и что утверждают, их усилия не ведут к возрастающей терпимости, к большей объективности. Они имеют и будут иметь результаты, противоположные ожидаемым. Закрепляясь в науке, толпы становятся еще более беспощадными по отношению к тем, кто не разделяет их убеждений или осмеливается ставить их под сомнение. Такое умонастроение породило, по Ле Бону, инквизицию и террор. И именно оно будет питать новые инквизиции и современный террор. Вот дилемма, перед которой мы оказываемся: наука просвещает человека, она же доводит до фанатизма массы. Хотелось бы видеть

решение, которое не было бы простым гимном веры в человеческий разум: история уже опровергла его состоятельность.

* * *

Раздробленные и анонимные толпы живут в мире, в котором не так просто жить. Они стремятся к счастью, но чаще всего находят противоположное. Такие неудачи являются суровой школой. Но, оставаясь нечувствительными к опыту, раздираемые неудовлетворенными желаниями, люди никогда не перестают верить, что такое положение изменится, что оно должно радикально измениться. Эта надежда рождает колоссальную энергию, которая приводит их к совершению лучшего или худшего. Она делает толпу героической или преступной. «Люди всех рас, — пишет Ле Бон, — поклоняются одному божеству, называя, его разными именами, — надежде. Ведь все их боги были только одним единственным богом»[22]. Поклоняясь ему с таким упорством, толпы оказываются восприимчивыми к верованиям, обращенным к нему и рисующим достижение на земле счастья, к которому они стремятся.

Может быть, это и химера, но способная сдвинуть человеческую гору. Утопия? Но утопия, которая воссоздает из чаяний совершенное, подлинное общество, свободное от всякой несправедливости и развращенности: короче говоря, противоположность тому, в котором живут люди. Эти благородные иллюзии не так уж обманчивы. Так, например, рабочий мечтает о мире, где он мог бы трудиться свободно, не страдал бы от нужды или от притеснений со стороны хозяина. Он мечтает о сознательном сотрудничестве с другими работниками на основе общих задач. Разве эта мечта иногда не реализуется?

Верование нацелено на создание действительности более приемлемой, чем действительность обыденная. Оно ей противопоставляет более радужное будущее. Но под видом полного разрыва с прошлым обычно возрождается именно потерянный рай — первобытный коммунизм, греческий город, римская империя — золотой век, в существование которого толпа хочет верить. «Это настоящая „промывка мозгов“, — достаточно резко говорит Пруст, — она делается, конечно, с опорой на надежду, которая является выражением инстинкта самосохранения нации, если речь идет о действительно живущем члене этой нации»[23].

Утопическая вера и есть это выражение инстинкта самосохранения, склонного к крайним проявлениям. Ее не назовешь нарушенной логикой, но логикой, тяготеющей к крайностям и рисующей мир в мельчайших деталях таким, каким он должен быть во всем своем чарующем великолепии.

В своей живой речи Ле Бон доходит до преувеличений: в создании этого образа, одушевленного надеждой, он видит глубокую и непреодолимую необходимость. Виртуальное состояние живущих масс представляется мессианским. Они видят себя облеченными миссией,

которую должны выполнить, они верят, что могут спастись и спасти мир. Эта миссия оправдывает все их действия, возвышенные и гнусные. Человек попирает мораль разумом, масса — из-за своей веры. Руководитель венгерской коммунистической партии, мастер в этом деле, по этой же причине требовал, чтобы мессианство было объявлено «преступлением перед человечеством»[24], поскольку в атомную эру оно рискует повлечь за собой политические катастрофы, какая бы идеологическая система его ни инспирировала. Да, вождям хорошо известно это искушение, когда они, начиная с разумных предложений, затем заявляют толпам: «Надейтесь на нас, и мы сделаем вас счастливыми» — совсем как святые отцы говорили когда-то своей пастве: «Отдайте нам вашу душу, и мы препроводим ее на небо».

Если отнять у людей веру, то есть их способность строить иллюзии, они бы никогда больше ни за что не взялись. Верования поддерживают и обновляют эту способность. Они воспроизводят в своей структуре потребность толп в уверенности и надежде так же, как науки воплощают стремление людей к доказанной истине и объективной реальности.

III

Верования различаются до бесконечности. Одни универсальны, другие локальны. Некоторые предполагают бога, другие его исключают. Они регламентируют нашу каждодневную общественную жизнь или упорядочивают наши отношения с небом. Назвать их истоки, перечислить языки, составить карту их географического распространения даже в одной стране, как Франция, было бы утомительной работой. Но работой необходимой, и можно только сожалеть, что не существует общей и сравнительной науки о верованиях.

Если ограничиться их главными чертами — догматической и утопической, — с удивлением можно заметить, что они копируют ту систему верований, которая лучше других доказала свою способность сплачивать цивилизации на протяжении тысячелетий и противостоять бурям истории: религию. Чтобы проникнуть в «душу» толп, все верования должны быть ей подобны и в конце концов ей уподобляются, каков бы ни был их источник. Это общий закон. «Убеждения толп, — утверждает Ле Бон, — приобретают признаки слепого подчинения, дикой нетерпимости, потребности в религиозной пропаганде, характерной для религиозного чувства; таким образом, можно сказать, что все их убеждения имеют религиозную форму»[25].

Их можно узнать по интенсивности веры, экзальтации чувств, по склонности считать врагами тех, кто их не принимает, а друзьями тех, кто разделяет их веру, по человеческим жертвам, которых требовали и добивались все великие основатели широко распространенных верований, наконец, по почти божественному характеру, которым их наделило человеческое сердце. Внушая безграничное поклонение, навязывая необсуждаемые догмы, вожди требуют слепого подчинения. Их

персоны одна за другой занимают место в галерее легендарных героев, которые заполняют и украшают историю. Мы больше не воздвигаем им алтарей, хотя великие люди имеют свой пантеон в Париже, а Мао свой мавзолей в Пекине. Мы не обращаемся к ним с молитвами, «но у них есть памятники, изображения и культ, воздаваемый им, не слишком отличный от культов прежних времен. Подойти к пониманию философии истории можно, лишь постигнув этот основополагающий вопрос психологии толп: для них нужно быть богом или ничем»[26].

От Александра до Цезаря, от Гитлера до Сталина — это достаточно длинный список. Я буду к нему обращаться только для раскрытия того заразительного в наше время явления, которое весьма точно называется культом личности.

IV

Психология толп принимает всерьез религиозный феномен. Разумеется, по причине его психологической значимости для масс, а не его содержания, которое ей безразлично. «Религиозными бывают не только тогда, — пишет Ле Бон. — когда поклоняются одному божеству, но и когда все способности своего ума, весь пыл фанатизма ставят на службу делу или человеку, ставшему целью и вдохновителем чувств толп»[28].

Каждое крупномасштабное дело зависит от этого. Любой авторитетный вождь владеет искусством пользоваться этим, самые великие добавляют к нему дар пророчества. Но только цивилизация, почитающая обычаи, умеющая молиться богам, представлять себе сверхъестественный мир, может обладать священной религией. Это не случай нашей цивилизации, которая исповедует атеизм, культивирует неверие и превозносит светские добродетели. После такого курса гуманизма и безбожия возврат к вере прошлого, реставрация уничтоженного культа исключены. Даже не стоит труда искушаться этим, так как в вестернизованном мире, в сравнении с националистической или социалистической верой, религиозная вера утратила способность волновать души, пробуждать преданность и поднимать неверующие массы. Это доказывается методом от противного. Что заставляет массы устремляться навстречу Папе или Хомейни? Не религия, а харизма вождя!

Тем не менее наша цивилизация также может обладать религией, со всеми ее догмами, со своей ортодоксией, непогрешимыми текстами, которые запрещено критиковать. Религия, сотканная из современных идей, опирающаяся на научные знания и без какого-либо духовного бога. Это мирская религия. Таков не претендовавший на это позитивизм Огюста Конта, таков, не желавший им быть, социализм Карла Маркса. Поскольку потребность ощущается, а древние авторы устарели, мы вольны изготовить новые, такие же действенные. Эти религии безрелигиозной цивилизации, конечно мирские и «созданные человеком», в любом случае призваны множиться, чтобы удовлетворить стремления к уверенности и надежде, которым отвечали религии, «созданные Богом».

Психология толп делает из этого почти формулу. В самом деле, она указывает, под какой шаблон подгонять коллективные верования и как их использовать в широком масштабе. За неимением этого невозможно воздействовать на массы или заставить их действовать. Надо полагать, что эта формула была удачной. Почти нет партии или страны, которая не пожелала бы иметь свою специально созданную мирскую религию, как только почувствует в этом потребность. Немецкий философ Кассирер пишет: «Новые политические мифы — это вещи, искусственно сфабрикованные очень ловкими и лукавыми умельцами. Двадцатому веку, нашей великой технологической эпохе, было предназначено развивать новую технику мифа. Отныне можно сфабриковать миф с таким же успехом и таким же образом, как любое современное оружие — пулеметы или самолеты. В этом состоит нечто новое и принципиально важное»[29].

Явно преувеличенное утверждение и неудачное сравнение. Современные религии (слово «миф» неверно в этом контексте и напрасно уничижительно), вначале привитые на других, а затем взращенные умелыми руками на основе психологических законов, — как растения, выращенные в оранжерее. Но это утверждение не лишено основания. Серийное производство верований по одному и тому же шаблону, бесспорно, является изобретением нашей индустриальной эпохи, где все, что существует в диком виде, может быть воспроизведено искусственно, достаточно снабдить его запахом дикости. Наиболее старое из человеческих искусств, религия стала прикладной наукой, коль скоро массы не могут без нее обойтись.

ГЛАВА 3
ВОЖДИ ТОЛП

Каждый мог бы быть таковым,
но почти никто таковым не является.
Гофмансталь

I

Продолжим. Толпы обладают веществом и формой. Они состоят из людей внушаемых и поляризованных, податливых и изменчивых, подверженных случайностям внешнего мира. Их форма — прочные верования, догматические по своей природе, по необходимости утопические, сходные с религией. Толпы соединяют, таким образом, то, что есть наиболее примитивного в человеке, с тем, что есть наиболее постоянного в обществе. Именно здесь и кроется проблема: каким образом форма воздействует на вещество? Как она становится ее матрицей? Согласно схеме Аристотеля, необходим третий член силлогизма — демиург, творец, способный соединить их вместе и сделать из них произведение искусства: столяр, превращающий дерево в стол; скульптор, отливающий из бронзы статую; музыкант, который переводит звук в мелодию.

Этим демиургом и является вождь. Он превращает внушаемую толпу в коллективное движение, сплоченное одной верой, направляемое одной целью. Он — художник общественной жизни, и его искусство — это правление, как столярное мастерство — искусство столяра, а ваяние — искусство скульптора. Именно он формирует массу, готовит ее к идее, которая наполняет эту массу плотью и кровью. В чем секрет искусства вождя? В глазах массы он воплощает идею, а по отношению к идее — массу, и в этом обе искры его власти.

Он осуществляет власть, опираясь не на насилие, имеющее вспомогательное значение, а на верования, которые составляют главное. Ведь и скульптор проявляет свой талант не тем, что с помощью молотка и стамески разбивает камень, а тем, что создает из него статую. «Создавать веру, идет ли речь о вере религиозной, политической или социальной, вере в какое-то произведение, в человека, в идею — именно такова роль великих вождей... Дать человеку веру значит удесятерить его силу»[30].

Иначе говоря, для толпы вера является тем, чем атомная энергия — для материи: наиболее значительной и едва ли не самой ужасающей силой, которой мог бы располагать человек. Вера активно действует. И тот, кто ей владеет, обладает возможностью превратить множество

скептически настроенных людей в массу убежденных индивидов, легко поддающихся мобилизации и еще более легко управляемых. Однако вернемся к вождю — мастеру в этом искусстве.

II

Идеи управляют массами, но масса с идеями неуправляема. Чтобы решить эту насущную задачу, произвести эту алхимию, необходима определенная категория людей. Они преобразуют взгляды, основанные на чьих-то рациональных соображениях, в действие всеобщей страсти. С их помощью идея становится материальной.

Конечно, эти люди — выходцы из толпы, захваченные верой, более и ранее других загипнотизированные общей идеей. И, составляя единое целое со своей идеей, они превращают ее в страсть: «Вождь, — пишет Ле Бон, — чаще всего сначала сам был загипнотизированным идеей, ее последователем, апостолом которой он становился позже. Она им овладевает до такой степени, что все, помимо нее, утрачивается и что любое противоположное мнение кажется ему ошибкой и суеверием. Таков Робеспьер, загипнотизированный своими химерическими идеями и использовавший методы Инквизиции, чтобы их пропагандировать»[31].

Подобные люди, больные страстью, полные сознания своей миссии, по необходимости являются своеобразными индивидуумами. Аномальные, с психическими отклонениями, они утратили контакт с реальным миром и порвали со своими близкими. Значительное число вождей набирается в особенности среди «этих невротизированных, этих перевозбужденных, этих полусумасшедших, которые находятся на грани безумия. Какой бы абсурдной ни была идея, которую они защищают, или цель, которую они преследуют, любое рациональное суждение блекнет перед их убежденностью. Презрение и гонения лишь ещё больше возбуждают их. Личный интерес, семья — все приносится в жертву. Инстинкт самосохранения у них утрачивается до такой степени, что единственная награда, которой они домогаются, — это страдание»[32]. Кстати, Ле Бон пишет: «Полусумасшедшие, как Пьер Лермит и Лютер, потрясли мир»[33].

Картина этих безумцев веры, каковыми были вожди, кажется вполне завершенной. Тут нет недостатка ни в отчуждении, ни в жажде страдания, ни в догматической убежденности, ни в упорстве воли. Это своеобразный сгусток толпы. Но они также и радикально от нее отличаются своей несравненной энергией, своим упорством, одним словом, твердостью. Именно это безмерное упрямство, это стремление идти к цели можно считать признаком их безумия. Здоровый, нормальный же человек предпочтет принять компромиссы, необходимые для собственной безопасности и безопасности своих близких. Те, кто отступает перед этой «невозможной миссией», не перестают уважать то, на что

они не способны, они признают свое поражение перед реальностью, которая сильнее их.

Сам Ле Бон никогда не упускает случая оскорбить рабочий класс, но и он поступается своим уважением к вождям, квалифицируя их в отношении ума как «способных на чрезвычайное упорство в повторении всегда одного и того же теми же словами, зачастую готовых пожертвовать своими личными интересами и своей жизнью ради триумфа идеала, который их покорил»[34].

Таким образом, вождю необходимо, и это его важнейшее качество, быть человеком веры, до крайностей, до коварства. Большинство людей непостоянны в собственных убеждениях, сомневаются в своих мыслях. Опасаясь быть слишком ангажированными, люди сохраняют по отношению к ним определенную дистанцию. С появлением вождя всякая неуверенность исчезает и любая дистанция ликвидируется. Безразличие, эта великая добродетель нормальной жизни, для него является смертельной слабостью, гибельной роскошью. Его идея — не просто средство, инструмент амбиций, которым он пользуется на свой лад. Она является убеждением, безоговорочно внушенным ходом Истории или Божьим повелением. Любое его действие нацелено на достижение триумфа — доктрины, религии, нации — любой ценой. Другие люди, от первого до последнего, покоряются ему и выполняют свой долг, подчиняясь ему.

Сектантский фанатизм исходит от вождя, и любой великий вождь — фанатик. Массы заражаются фанатизмом с поразительной легкостью. Несокрушимая уверенность в себе фанатиков порождает безмерное доверие других. Они говорят себе: «Он знает, куда идет, тогда пойдем туда, куда он знает». Громкие раскаты его речи не смущают, а непреодолимо влекут их. Когда он говорит языком силы, озаренной светом веры, все его слушатели покоряются. «Религиозный человек думает только о себе» — пишет Ницше. В «Я» заложена его идея. Контраст между вождем и просто политическим деятелем был недавно блестяще описан Фюре, историком Революции. По поводу Робеспьера, одного из образцов вождя для психологии толп, он пишет: «Тогда как Мирабо или Дантон, другой виртуоз революционного слова, выглядят ораторами-лицедеями, мастерами двуязычия, Робеспьер — это пророк. Он верит во все, что говорит, и выражает это языком Революции, ни один современник не пронес через себя такого, как он, идеологического воплощения революционного феномена. Можно сказать, что у него нет никакой дистанции между борьбой за власть и борьбой за интересы народа, которые совпадают по определению»[35].

Таким образом, здесь можно видеть слияние индивидуальной судьбы и судьбы толпы, идеи и общества, власти и веры. Некоторые из этих черт можно найти у Шарля Де Голля, если верить одному из самых осведомленных наблюдателей: «Никогда пророк, — пишет Жан Даниэль, — не чувствовал себя настолько уверенным в своем пред-

назначении. Никогда страсть не утверждала себя до такой степени самолюбования. Никогда возлюбленный не был настолько влюблен в предмет своей любви»[36].

Амбиция вождя, его непреодолимая жажда вырваться вперед раскрывают, таким образом, смысл призвания, властной миссии. Он ее выполняет так же, как загипнотизированный исполняет приказания, данные голосом, и повторяет внушенные слова. Никакое препятствие, ни внешнее, ни внутреннее, его не останавливает, как будто бы он побуждаем неудержимой волей самого сообщества. Вот поучительное сравнение. Государь у Макиавелли — личность проницательная и лишенная принципов, тонко рассчитывающая силы, манипулятор, знающий людей. Он действует за кулисами, в затхлой атмосфере. Каждая мысль у него имеет и тайный смысл. Совсем иным нам представляется вождь, загипнотизированный идеей, верой. Он идет навстречу толпам открыто, лицом к лицу. Ему не чужды закулисные махинации, силовые компромиссы, коварство власти. Но самая большая его уловка состоит в том, чтобы делать то, что он говорит, иметь в качестве задних мыслей только мысли, открыто им выдвигаемые, следовать своим путем до конца, когда никто на это не надеется, не считая его таким безрассудным, каким он на самом деле является. Когда замечают, таким образом, совершенную ошибку, чаще всего бывает слишком поздно. Как было слишком поздно в Германии: каждый верил, что Гитлер останется пленником союзов, которые он заключил, утаит свою ненависть против евреев, социалистов и т. д. с целью захвата власти, а затем его объявят самозванцем перед народными массами. Однако упорство и убежденность Гитлера в этих роковых идеях разрушили все расчеты, привели всех в растерянность. Авторы этих махинаций были уничтожены той простой машиной, запуску которой они способствовали. И этот случай не уникален в недавней истории.

Второе качество вождя проявляется в преобладании смелости над интеллектом. Как определить эти пары понятий, которые, как здоровье и безумие, сила и слабость, объясняются зависимостью одного от другого? Оставим на уровне здравого смысла, удобных непонятностей принимаемые значения, которые каждый, по-видимому, понимает. Остановимся на этом: людей, способных проанализировать ситуацию, поразмыслить над задачей и предложить решение, в политике, как и везде, достаточно много. Они умеют рассматривать проблему со всех точек зрения, предвидеть все ограничения решения и дать объяснения. Они представляют собой прекрасных советников, строгих экспертов и грозных исполнителей. Но верная теория, точное рассуждение ничего не значат без воли к действию, умения увлечь людей, запасть им в душу. Итак, смелость — это качество, которое превращает возможность в реальность, рассуждение в действие. В ответственных случаях, в решающие моменты смелость, а значит, характер, берет верх над интеллектом и ей принадлежит последнее слово. Из советника она

делает вождя, как Помпиду, из генерала — императора, как Наполеона, из первого среди равных — властелина равных, как Сталина. Это качество свидетельствует о владении своей волей, что подчеркивает Гете: «Человек, владеющий и утверждающий господство над самим собой, решает самые трудные и самые великие задачи».

Это свойство позволяет ему не бояться насмешек, осмеливаясь делать то, на что не осмелилась бы уравновешенная мысль: встать на колени, чтобы поцеловать землю концентрационного лагеря, как канцлер Брандт, или воскликнуть «Я — Берлинец», как президент Кеннеди. Вопрос отваги всегда является центральным в управлении, когда дружественные силы ненадежны, а враждебные — опасны. В сравнении с ней ум кажется скорее помехой, чем козырем: «Вождь, — замечает Ле Бон, — может быть порой умным и образованным, но в целом это ему скорее бесполезно, чем полезно. Обнаруживая сложность вещей, позволяя объяснить и понять их, ум проявляет снисходительность и существенно ослабляет интенсивность и действенность убеждения, необходимого проповеднику. Великие вожди всех эпох, главным образом, революционных были людьми ограниченными и, однако, совершали великие деяния»[37].

Вот неизменный постулат: не бывает слишком много характера, то есть силы, но можно обладать избыточно большим умом, то есть слабостью, которая обескровливает накал и рассеивает ослепление, необходимое, чтобы действовать. Известная поговорка гласит: «Все понять — значит, все простить». Эту идею можно обнаружить в «Поэзии и Правде» Гете: «Это не всегда люди, превосходящие других умом или талантами (как властители толп); редко они отличаются добрым сердцем: но им свойственна необычайная сила, и они имеют невероятную власть над всеми существами и даже над природными силами, и кто может сказать, до каких пределов способно простираться такое влияние? Все объединенные силы морали бессильны против них; и напрасно самая здравая часть человечества пытается заподозрить и обвинить их в обмане или в том, что они обмануты, масса завлечена ими».

Можно упрекать психологию толп и особенно Ле Бона за поспешные замечания, грешащие предрассудками, и, откровенно говоря, поверхностные. Но поразительно, до чего они дублируются в описаниях двух наиболее показательных вождей нашего времени: Сталина и Гитлера. По сравнению с другими руководителями российской коммунистической партии, такими великими ораторами, как Зиновьев и Троцкий, блестящим теоретиком Бухариным, Сталин слыл за личность неприметную, с посредственным интеллектом. Он обладал весьма элементарными познаниями в области истории, литературы и марксизма. Его тексты были совсем не оригинальны, выдавая ограниченность ума, к тому же ему недоставало полемического дара. «В движении, привычном к самым напряженным дебатам идей, пропитанном романтизмом, где одни великие революционные деяния и блистательные атаки в

область марксистской теории создают ауру, это a priori неисправимый недостаток...»[38].

Да, этот человек имел не только этот недостаток, врачи даже считали его психически больным: «Врачи Плетнев и Левин диагностировали психическое заболевание, даже произнеся слово паранойя» [39].

Хрущев констатировал тот же диагноз в своей знаменитой речи о культе личности. Он подтверждает его, имея на то основания, так как был одним из его ближайших соратников. А блеск ума и обширность знаний стали ограничениями не для Сталина, которому их недоставало, а для Троцкого, который был ими щедро наделен; они сделали его нерешительным в критические моменты, склонным к компромиссам и к ложным расчетам. Один из его сторонников, Иоффе, признался ему в этом перед самоубийством в одном из писем: «Но я всегда думал, что вам недостает ленинского характера, непреклонного и неуступчивого, этой способности, которой обладал Ленин, держаться одному, оставаться одному на пути, который он считал верным... Вы часто отказывались от вашего собственного правильного взгляда, чтобы прийти к соглашению или к компромиссу, значимость которых вы переоценивали».

Известно, каков был вердикт истории, кто из этих двух людей надолго стал полновластным руководителем одной из самых великих держав мира и коммунистического движения в целом. Интеллектуальное убожество, недостаток культуры, несмотря на страсть к книгам, нацистского диктатора описаны теми, кто был к нему приближен, слышал его или читал. Сегодня трудно понять, как «Mein Kampf», этот образчик предвзятых идей, пустыня никудышней прозы, смог прельстить издателя и найти читателя. Однако многие его прочитали или по крайней мере купили и говорили о нем. Вопрос страха, говорят некоторые, но это поспешно сказано. Во всяком случае, это произведение адекватно передает посредственный интеллектуальный горизонт его автора, которого Томас Манн описывает как неудачника, «чрезвычайно ленивого, пожизненного пансионера приюта бездельников, четверть неудавшегося художника», другие определяют его проще: безумцем, одержимым одной идеей. Однако именно этого безумца вознесет на вершину власти страна, где было столько высочайших умов, мэтров науки, искусства и техники двадцатого века. Народ, давший миру самых значительных теоретиков социализма. Когда я говорю о народе, я включаю сюда рабочие массы, даже если бы они и не обеспечили ему основную часть его войск и избирателей. Эти примеры наглядно иллюстрируют то, что Ле Бон писал о вождях: «Они не слишком прозорливы и не могли бы таковыми быть, прозорливость в целом ведет к сомнению и бездействию»[40].

Бесполезно множить эти черты: в этом смысле портрет всегда беднее модели. Выдвинувшийся из людей особого рода, жертва идеи-фикс, идеальный для психологии толп вождь идет в своем «безумии» до конца. Он взбирается на вершину, жертвуя тем, чем дорожит человек

уравновешенный, в полной мере использующий свои возможности. Но что толку в сильном честолюбии, если к этому не иметь веры и убеждений? А это великое преимущество, по справедливости ему принадлежащее, — соединять честолюбие и веру. Затем удел вождя состоит в том, чтобы обладать скорее мужеством, мобилизующим людей, чем интеллектом, обезоруживающим их волю. Без мужества ничего великого никогда не происходило. Без него ни одна мысль никогда еще не стала реальностью, ни один человек не вызвал восхищения. В действительности этот портрет имеет оттенки: встречаются только уникальные случаи. Но компоненты всегда и повсюду одни и те же.

ГЛАВА 4
ОБ АВТОРИТЕТЕ

I

Вожди должны выполнять миссию. Без них массы, весь род человеческий не могут ничего создать и даже выжить. Ле Бон создал себе на основе этой идеи специфический метод и реноме. Не следует ни на минуту забывать, что наш автор не беспристрастный ученый, не сторонний наблюдатель. Он читает наставления элите, чтобы внушить ей необходимость подлинной власти прежде, чем улица навяжет ей сильную личность. Используя разящие аргументы, он хочет убедить буржуазию, совсем как Ленин почти в то же время пытается убедить социалистов, обзавестись организацией, имеющей во главе маленькую монолитную группу, поскольку, по словам последнего, «без десятка вождей, способных (способные умы не появляются сотнями), испытанных, профессионально подготовленных и обученных в течение длительного времени, отлично согласованных между собой, ни один класс современного общества не может вести решительную борьбу»[41].

Но Ле Бон — и в этом основное отличие — видит в существовании партии, общественного движения результат деятельности вождя. В нем толпа признает единственного человека и покоряется его околдовывающей личности: Робеспьеру, Наполеону или Магомету. Что же ее в нем привлекает? Что это за мета, отличающая вождя от обычного человека? Это, конечно, не дар слова, не физическая сила, не ум, не красота или молодость. Многие вожди лишены этих качеств. Да, несмотря на неприятную внешность, корявую речь, посредственный ум, они властвуют и очаровывают. Ведь должен существовать некий знак избранности, особый стигмат, делающий из человека повелителя толп. Признак, который светится через веру и мужество, неопределимая, но действенная черта вождя называется *авторитетом*. Как его описать? Речь идет о «таинственной силе, некоем колдовстве, наполняющей восхищением и уважением, парализующей критические способности»[42]. Человек, обладающий ею, осуществляет неотразимое воздействие, естественное влияние. Одного его жеста или одного слова достаточно, чтобы заставить повиноваться, добиться того, для чего другим потребовалась бы армия в состоянии войны, бюрократия в полном составе. Ганди достаточно было произнести короткую речь перед вооруженной и перевозбужденной толпой, за которой стояли миллионы людей, чтобы успокоить и разоружить ее. Этот дар — основное преимущество вождя, а власть, которую он ему дает, кажется демонической. Гете видит

этот демонический элемент «в Наполеоне настолько действенным, как может быть в последнее время ни в ком другом». Он объясняет господство, которое тот имеет над своим окружением, и его влияние на движение мнений. Он придает ему ореол: каждый жест восхищают его приверженцев, каждое слово околдовывает аудиторию. Толпа магнетизируется его присутствием, напуганная и очарованная одновременно, загипнотизированная его взглядом. Она замирает, она послушна. Как и гипнотизер, вождь является мастером взгляда и художником глаз, инструментов воздействия. Глаза Гете, говорил Гейне, были «спокойны, как глаза бога. Впрочем, признаком богов является именно взгляд, он тверд и глаза их не мигают с неуверенностью». Это, конечно, не случайно, замечает он также, что Наполеон и Гете равны в этом смысле. «Глаза Наполеона тоже обладали этим качеством. Именно поэтому я убежден, что он был богом».

Авторитет у вождя становится гипнотической силой, способностью воздействовать на толпу: диктовать ей свою волю и передавать свои идеи-фикс. Он заставляет ее делать то, что она не желала и не думала делать, остановиться или идти разрушать или сражаться. И он делает это абсолютно один, нужно добавить, голыми руками, без видимой внешней помощи. Он не опирается ни на какую силу физического подавления, ни свою, ни силу союзника, как Де Голль перед восставшими солдатами, потерпевшими поражение в Алжире.

Сам Ле Бон не скрывает своего предпочтения Робеспьеру, который своими обаянием, страстью, энергией, несмотря на небольшой ораторский дар, властвовал и заставлял дрожать собрания. «Я охотно предполагаю в нем, — пишет он, — наличие некоего сорта личного очарования, которое сегодня от нас ускользает. Опираясь на эту гипотезу, можно объяснить его успехи у женщин»[43]. (Опять уподобление вместо довода: Робеспьер соблазняет женщин, значит он соблазняет толпы, которые являются женщинами!).

Но что вызывает искреннее восхищение, так это возвращение Наполеона с острова Эльба. Вот одинокий и побежденный человек, лишенный союзников и средств, который с горсткой верных ему людей высаживается в стране, где мир восстановлен, где король привлек к себе значительную часть буржуазии, полиции и армии. Ему достаточно показаться и быть услышанным, чтобы все перед ним отступили. «Перед его ореолом пушки короля умолкли, его войска рассеялись»[44].

Здесь можно услышать отзвуки прекрасного описания его возвращения, сделанного Шатобрианом: ошеломленный народ, исчезнувшая полиция, пустота вокруг его гигантской тени. «Его очарованные враги ищут его и не видят, он прячется в своей славе, как лев в Сахаре прячется в солнечных лучах, чтобы скрыться от взоров ослепленных охотников. В горячем смерче кровавые фантомы Арколя, Маренго, Аустерлица, Йены, Фридлянда, Эйлау, Москвы, Лютцена, Бауцена составляют его кортеж из миллиона мертвецов. Из недр этой колонны

огня и дыма при входе в города раздаются звуки трубы, смешанные с трехцветными императорскими штандартами — и ворота городов открываются. Когда Наполеон перешел Неман во главе четырехсот тысяч пехотинцев и ста тысяч лошадей, чтобы подорвать царский дворец в Москве, он был менее удивителен, чем когда, прервав ссылку, бросив свои цепи в лицо королям, он пришел один из Канн в Париж, чтобы мирно почивать в Тюильри».

Итак, некоторые люди обладают ореолом авторитета. Им не нужно выставлять напоказ силу или красноречие, чтобы заставить себя признать, вынудить толпы поклоняться и следовать за собой. Эта способность порождать восхищение широко распространена во всех слоях общества, но ее осмеливаются признать лишь в исключительных случаях.

II

В авторитете слиты два качества вождя: его сияющая убежденность и упрямая отвага. Он представляет собой во французской культуре то, что появилось затем в немецкой мысли, а потом и в американской под названием «харизма». Оба термина, с точки зрения политического значения, взаимозаменяемы с небольшой разницей. Для психологии толп авторитет составляет условие всякого могущества, тогда как понятие харизмы, взятое в историческом аспекте, выделяется как его особая форма. Другими словами, не бывает так, чтобы власть зависела или не зависела от авторитета. Любая власть основана на нем: когда вождь исчерпал свой авторитет, ему не остается ничего, кроме грубого насилия завоевателя. Следует, однако, различать две значимые категории в зависимости от их происхождения: авторитет должности и авторитет личности. Принадлежа к данной семье или к конкретному классу, сдав определенные экзамены и получив некоторые звания — профессор, доктор, барон и т. д., — человек приобретает частицу авторитета, придаваемого им традицией, даже если он не обладает никакой личностной значимостью и никакими собственными талантами. Директор предприятия в своей конторе, служащая в хорошенькой униформе, судья в расшитой мантии, офицер, у которого грудь в орденах, сразу же выделяются на общем фоне и внушают уважение.

Авторитет личности, напротив, независим от всяких внешних признаков власти или от места. Он целиком исходит от личности, которая с первого слова, с первого жеста или даже самим своим появлением очаровывает, притягивает, внушает: «Эмоциональное воздействие, внушение, производимое впечатление, некая симпатия, вызываемая в других, — пишет генерал Де Голль, — авторитет зависит прежде всего от изначального дара, от естественной способности, не поддающейся анализу. Это факт, что от некоторых людей с рождения, так сказать, исходят флюиды власти, природу которых трудно определить, но удивительно порой, насколько они себе подчиняют. Авторитет того же

происхождения, что и любовь, которую невозможно объяснить иначе как действием необъяснимого очарования»[45].

Относительная значимость этих двух категорий авторитета эволюционирует. В стабильных и жестко иерархизированных рангами, титулами и т. п. обществах прошлого преобладал должностной авторитет. Все, в прямом смысле слова, склонялись перед фамилией с частицей, перед армейским или церковным званием, наградами или униформой. Это изменилось в наших обществах по ходу их эволюции и беспрерывных перемен. Единственным авторитетом, которым можно воздействовать на массы, становится авторитет личности. Вслед за теоретиками психологии толп, генерал Де Голль, которого я еще раз процитирую, отмечает эту новизну: «Лучше сказать, эти основы, — пишет он, — вот что их отличает: это индивидуальная значимость и ее влияние. Все, чему раньше доверяли массы на основании должности или рождения, ныне они переносят на тех, кто смог заставить себя признать. Какому законному государю повиновались так же, как диктатору, вышедшему из ничего, если только не из своей дерзости»[46].

В массовом обществе, можно сказать в заключение, авторитет вождя является почти единственным козырем власти, единственным рычагом, который есть в ее распоряжении для воздействия на толпы. Именно с помощью авторитета удается их поднять, всколыхнуть, вдохнуть в них фанатизм, если не навязать им дисциплину. Уберите авторитет, и останется лишь возможность управлять ими с помощью полиции или администрации, оружия или компьютера. Вместо блеска авторитета — кровь или серость. В любом случае беспомощность правления, возведенная в принцип, является характерной особенностью большого числа сильных режимов, существующих повсюду на планете.

III

Авторитет основан на даре — способности, которой некоторые люди наделены, как другие — способностями рисовать, петь или разводить сады. Но дар — это не наследство, которым можно распорядиться по своему усмотрению. Над ним нужно работать, направлять его, разрабатывать, пока он не станет истинным талантом, социально полезным и применимым. Тот же автор продолжает: «Если в авторитете есть некая часть, которая не приобретается, которая идет из глубины существа, и у каждого она своеобразна, то нельзя не видеть в нем и некоторых постоянных и необходимых элементов. Ими можно обзавестись, или, по меньшей мере, их развить. Руководителю, как и художнику, нужен дар, отшлифованный мастерством»[47].

Это ремесло заключает в себе несколько простых правил. Осанка, точный и повелительный стиль речи, простота суждения и быстрота решений — вот главные составляющие воспитания вождей. Поскольку речь идет о толпах, нужно добавить способность уловить и передать эмоцию, привлекательность манер, дар формулировки, которая

производит эффект, вкус к театральной инсценировке — все, что предназначено для разжигания воображения. Примененные разумно, эти правила порождают подражание, возбуждают восхищение, без которого нет управления.

Кроме того, авторитет, понятый таким образом, действует только если вождь, как чародей или гипнотизер, сумеет сохранить определенную дистанцию, окружить себя покровом тайны и саму свою манеру сделать фактором успеха. Расстояние, отделяющее его от толпы, пробуждает в ней чувство уважения, покорной скромности и возводит вождя на пьедестал, воспрещая делать обсуждения и оценки. Даже если он представляет социалистическую власть, то и тогда заботится о том, чтобы не было фамильярности: «Тито, — пишет один старый соратник руководителя югославской коммунистической партии, — заботливо оберегал свою репутацию. Он держал на расстоянии самых близких своих товарищей, даже в состоянии возбуждения, которое на войне дает близость смерти или победы»[48].

Понятно, что это желание отдалиться от своих приближенных у вождя, вышедшего из толпы, соответствует желанию порвать с прошлым. Отделяясь от своих соратников, он превращает отношения взаимности в подчинение, отношения равенства в неравенство. Став властителем, будь то Наполеон или Сталин, он не знает больше друзей, у него есть только подчиненные или соперники. Огромная пропасть, которую он создает, способствует этому изменению. В противном случае он не будет свободен в своих решениях, не сможет руководить по своему усмотрению. «Я был вынужден, — признался однажды Наполеон своему биографу Лас Казу, — создать вокруг себя ореол страха, иначе, выйдя из толпы, я имел бы много желающих есть у меня из рук или хлопать меня по плечу».

Одиночество человека у власти проистекает, без сомнения, из этого разрыва и отказа от взаимности в мире, где ему больше нет равных. На вершине пирамиды есть место только для одного. Оно ему необходимо, чтобы подчеркнуть его авторитет, создать вокруг него атмосферу тайны, питающей все иллюзии. Так, массы могут награждать его всеми желаемыми качествами. Поддерживать ощущение загадочности, возбуждать любопытство по поводу своих намерений особенно необходимо вождю в решающие моменты. Шарль Де Голль возводит это в принцип: «Авторитет не может обходиться без тайны, поскольку то, что слишком хорошо известно, мало почитается»[49]. Проще говоря, не существует великого человека для его камердинера.

Завеса тайны, скрывающая его, всегда украшена какими-то представлениями, как театральный занавес масками и драматическими сценами. Все это позволяет показать его в благоприятном свете. Его внешность, личность, жизнь защищены экраном незнания, искусно камуфлирующим его предпочтения, действительные увлечения, чувства, болезни. Вильсон, близкий к безумию, и Помпиду при смерти

продолжали, однако, управлять: один — Соединенными Штатами, другой Францией. Своей связностью, иллюзорной силой эти образы, распространяемые таким способом, внушают страх, пресекают любую дискуссию. Это условие авторитета. Поскольку «оспариваемый авторитет — это уже больше не авторитет. Боги и люди, которым удалось надолго сохранить свой авторитет, никогда не допускали спора»[50].

Именно в этом состоит полезность таких представлений. Властители толп пользуются этим для того, чтобы отвлечь их от реальности, создать впечатление, что они наделены тем, чего масса лишена. Тайна, которой они облекают свои действия и решения, выводит их за рамки обычного. Это то, что позволяет им делать сюрпризы и устраивать представления, вплоть до инсценировки собственного конца. Вера толпы вынашивает эту тайну, приукрашивает образ, который она хочет себе создать. Загипнотизированная иллюзией, толпа сопротивляется вторжению реальности. Массы и вожди, постоянные сообщники, вместе создают мир видимостей, святая святых их общих верований. Потребность в надежде довершает остальное. «Сущность авторитета, — заявляет Ле Бон, — состоит в том, чтобы помешать видеть вещи такими, какие они есть, и парализовать суждения. Толпы всегда, да и сами люди чаще всего, нуждаются в готовых мнениях»[51].

Итак, можно сказать, что авторитет по своей сути есть разделяемая иллюзия. Мы захвачены ей, как волшебством чародея. Зная, что это трюк, мы, однако, верим в его магию и позволяем себя покорить.

Добавим следующее: единственные вожди, сохраняющие свой авторитет безупречным и вызывающие безграничное восхищение толп, — это мертвые вожди. Живых боготворят и питают к ним отвращение, любят и ненавидят. Они боготворят вождей, поскольку те обладают отвагой ими править, они питают к ним отвращение, потому что позволяют собой править. Но мертвым создается безграничный культ, так как они составляют одно целое с коллективной идеей и иллюзией. Они — боги. Именно поэтому мертвые вожди опаснее живых: невозможно бесконечно править в их тени, разрушать их легенду, обожествлять, не ранив сами толпы.[52] Я надеюсь в дальнейшем несколько прояснить эти сложные вопросы. Хочу закончить цитированием одной мысли, которая спустя столетие сохраняет свою значимость. Возможно, она проста, но с ней трудно спорить. «Сегодня большинство великих завоевателей душ. не имеют больше алтарей, но у них есть статуи или изображения, и культ, который им создается, не так уж отличен от культа в прошлом. Начинаешь понемногу понимать философию истории, только проникнув в эту основополагающую идею психологии толп: для них нужно быть богом или никем»[53].

IV

Однако авторитет людей, целиком основанный на личностных особенностях, страдает ущербностью в сравнении с авторитетом должностей: ему недостает законного основания. Должностной авторитет

переходит по наследству, приходит с богатством, на основе избрания, он почти не зависит от самих людей. Первый же приобретается собственными силами, здесь нужен дар. Он действует ровно столько, сколько продолжается действие этого дара и зависит от благоволения масс. Он может быть низвергнут в любой момент. Президент республики или король, генерал или профессор осуществляют властные полномочия, признанные определенными и незыблемыми правилами. Моисей или Наполеон, командующий армией, как Троцкий, или глава научной школы, как Фрейд, также долго остаются лидерами, поскольку своим гением могут вдохновить войска или последователей. Единственное, что спасает авторитет вождя и поддерживает благоговейное отношение к нему со стороны его приверженцев, — это успех, ощутимое доказательство того, что он в силе, его могущество так же действенно, как и прежде. Моисею нужны были скрижали закона, Иисусу Христу — чудеса, Наполеону — его победоносные войны, чтобы сохранить влияние, полученное дорогой ценой, и вселить доверие в толпы. Этот последний объяснился в «Воспоминаниях»: «Находясь в таком положении, как я без наследственной власти старого типа, лишенный авторитета того, что называют легитимностью, я обязан был не допустить того чтобы случай мог мне помешать, я должен был быть смелым, настойчивым и решительным».

В отличие от законного наследника, человек, вознесенный на вершину власти благоволением масс, является, с точки зрения власти, *узурпатором* и таковым воспринимается. Тогда он пытается стереть этот досадный образ, либо уничтожая всех представителей законной власти — мировая история полна «наследственными» войнами, — либо обеспечивая видимость, внешние признаки законности: королевский двор или соратников, знамена или знаки отличия. Вероятно, именно для того, чтобы узаконить свою власть, человек с 18 июня 1940 г. всю жизнь сохранял титул генерала Де Голля, — желая показать, что родина призвала его в час опасности. Несомненно, по тем же причинам Тито, который поднялся на вершину власти в сходных условиях, сохранял внешние признаки и ритуалы, напоминавшие о старых традициях австро-венгерских императоров, сербских королей и тщательно сохранял все, что принадлежало короне, пополняя свои запасы.

Такой вождь приходит к власти без династийной необходимости, без обязанностей перед кем бы то ни было, и никто не может сказать: «Ты являешься тем, кто ты есть по праву твоих предков и твоего имущественного положения». Это лидер selfmade[1], а не звено в потомственной линии, и Де Голль высказался определенно: «Я не являюсь ни предшественником, ни преемником». И это ему дает исключительную почти неограниченную власть. Но узурпатора легко может оттеснить другой узурпатор. Отсюда и его предельная слабость, необходимость беспрестанно завораживать толпу, чудесами или победами доказывать,

[1] Сам себя создавший (*англ.*) — *Прим. пер.*

что он по-прежнему обладает своим даром, из-за которого она остановила на нем свой выбор, и что его авторитет безупречен, подобно тому, как атлет заставляет себя улучшить собственный рекорд. Наполеон не раз признается: «Если и был порок в моей личности, недостаток благородства, то это возникновение вдруг из толпы. Я чувствовал свое одиночество. Вот почему я бросал спасительные якоря в глубину моря». Но его якоря находили почву только в местах его побед.

Если бы 20 января 1800 г. в Париж пришло послание с поля битвы при Маренго, сообщающее, что Бонапарт разбит и французская армия потерпела поражение, каждый тогда счел бы невозможным оставить за побежденным генералом титул первого консула и ему немедленно нашли бы преемника. В более близкие времена относительная неудача референдума, организованного после студенческого бунта в мае 1968 г., морально вынудила генерала Де Голля преждевременно уйти на пенсию.

Не имея возможности опереться на закон наследования, авторитет лидера толп основывается на законе успеха. Его власть длится ровно столько, сколько он преуспевает. Как только его предвидения или действия терпят неудачу, его сила, не имея другой поддержки и другого подтверждения, тотчас же слабеет. Вождь должен, как матадор на солнечных аренах Испании, победить или исчезнуть. Все происходит так, как если бы мистический дар, полученный им, исчерпал себя, утратил свою волшебную силу: «Авторитет, — пишет Ле Бон, — всегда исчезает вместе с неудачей. Герой, которому толпа накануне устраивала овацию, назавтра уже освистан ею, если судьба была к нему неблагосклонна. Реакция будет тем более резкой, чем выше был авторитет. Теперь масса воспринимает павшего героя как равного и мстит ему за то, что преклонялась перед его превосходством, которого больше не признает. Робеспьер, заставивший отрубить голову своим соратникам и многим своим современникам, обладал огромным авторитетом. Перемещение нескольких голосов немедленно стоило ему утраты этого авторитета, и толпа препроводила его на гильотину с теми же проклятиями, которыми она накануне награждала его жертвы. Верующие всегда с яростью разбивают статуи своих прежних богов»[54].

Исключение стало правилом. В век толп даже избранный, и избранный большинством голосов, вождь по существу является узурпатором. Этот факт определяет природу его авторитета и власти, качества этого разнородного типа, с которыми мы уже знакомы. Вспомним компоненты, составляющие его формулу: способности гипнотизера, модель пророка и императора (с одной стороны — Робеспьер, с другой — Наполеон). Это то, что создает то восхищение толп, от которого все зависит. Что утешает, однако, — существование типа не предполагает ни одинаковых вождей, ни сходных политических режимов. Вовсе не безразлично, жить ли в стране, руководимой Муссолини или Де Голлем, Салазаром или Рузвельтом, Пол Потом или Фиделем Кастро. Но разнообразие видов не мешает им принадлежать к одному и тому же роду.

ГЛАВА 5
СТРАТЕГИИ ПРОПАГАНДЫ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВНУШЕНИЯ

I

Итак, теория масс и вождей, а значит, политики в целом согласуется с психологией толп, которую мы рассматриваем. Предыдущие рассуждения заставили нас признать важнейшую роль коллективного внушения или пропаганды как формы воздействия первых на вторых. Его роль далеко превосходит простое средство коммуникации или убеждения большинства внизу меньшинством наверху. Программы или идеи человека или партии определяются внешними экономическими, историческими условиями и интересами класса или нации. При этом метод, используемый для того, чтобы заставить их превратиться в действия и преобразовать в верования всех, выражает природу отношений между вождями и толпами. Именно он один и является решающим.

Авторитет, рычаг этих отношений, предполагает и политику, основанную на авторитете. Как вождь должен взяться за это, чтобы сдвинуть массу с места и утвердить свое влияние на нее? Два пути ему заведомо закрыты: сила и разум. Сила предполагает физическое порабощение, подавление оппозиционных сил. Она гарантирует внешнее подчинение посредством страха. Но сердца не будут тронуты, умы останутся безучастными и выразят лишь внешнее согласие. Массы не испытают к вождю той внутренней преданности, того поклонения, без которого он не сможет их увлечь за собой, оставшись лишь ненавидимым тираном. В таком случае может ли он попытаться убедить их правдоподобными рассуждениями, дискуссией, неоспоримыми доводами? Массы нечувствительны к рассудочным доказательствам, а любая дискуссия подрывает доверие к власти вождя. Они не стремятся знать правду — к счастью для него, поскольку его авторитет создан из тайн и иллюзий. Только ученые-теоретики, не зная психологии толп, полагает Ле Бон, воображают, что разум меняет людей и правит миром. Он подготавливает идеи, которые изменят его позже, а сейчас, в ближайшее время, воздействие разума остается ничтожным.

Если сила исключается, а разум неэффективен, настоящему вождю остается третий путь: обольщение. «Обыкновенный оратор, боязливый полицейский умеют только раболепно льстить массе и слепо принимать ее волю. Настоящий руководитель начинает посредством обольщения, и обольщаемый субъект, толпа или женщина, располагает теперь только одним мнением — мнением обольстителя, живет одной волей — его волей»[55].

Авторитет обольщает, а вождь — обольститель: эти несколько слов резюмируют его неизбежную политику по отношению к толпам. Здесь

то же основание, что в действиях магнетизера или гипнотизера, оборудующего помещение, в котором он принимает пациентов, инсценирует ритуал сеанса, управляет физическим контактом, играет взглядом и произносит формулы таким образом, чтобы получше привлечь внимание больного к своей персоне и заставить его отказаться от своей воли и сознания. Как только это обаяние начинает действовать, больной превращается в сомнамбулу. Выздоровление, если оно имеет место, происходит через эту привязанность и этот уход, любовную иллюзию, которую они часто создают.

Как и гипнотизер, вождь использует в качестве метода приспособление внешних атрибутов так, чтобы правдоподобным заменить настоящее. Он держит толпу на расстоянии, уводит ее от действительности, чтобы представить ей лучшую действительность, более красивую, соответствующую ее надеждам. Его талант состоит в превращении событий, коллективных целей в представления, которые потрясают и возбуждают. С ним банальное становится необычным. И он думает об этом ежеминутно. Наполеон или Цезарь в суматохе полей сражений всегда думают о зрелище, которое они представляют, о формулировках, способных его зафиксировать в умах всех. Знаменитое «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид» придает присутствию французских войск в Египте миссию вечности.

Греческий философ Горгий учит, что с помощью логики обольщения (его исследование в области политики остается действенным!) слово становится «могущественным властелином, который, обладая маленьким и совершенно невидимым телом, успешно осуществляет свои в высшей степени чудесные деяния». Исторические слова, хлесткие формулы, образцовые поступки имеют, конечно, собственную реальность. Но они были задуманы и точно просчитаны, инсценированы, обращаясь к одной лишь обманчивой внешности, для того чтобы воспламенить убеждения — например «Да здравствует свободный Квебек!», окончание речи генерала Де Голля, обращенной к французским канадцам, — и укрепить преданность масс.

Обольщение вождя, как всякое обольщение, не стремится себя скрыть. Оно проявляется открыто и использует уловки, которыми оперирует на виду у всех. Эта иллюзия настолько полная, что она приобретает силу реальности. Обольщением можно восхищаться подобно произведению художника, когда оно имеет успех, но, если оно хоть немного не удается, создается ощущение издевки. Горе тому, кто порвет этот прочно сотканный покров коллективных иллюзий, он сильно рискует натолкнуться на массовый гнев, обернувшийся против него самого, но пощадивший соблазнителя. Не один политический деятель из Brutus a Mendes-France имел подобный горький опыт, которым он заплатил за свою неловкость.

Обольщать — значит переносить толпу из разумного мира в мир иллюзорный, где всемогущество идей и слов пробуждает одно за дру-

гим воспоминания, внушает сильные чувства. Вы, быть может, будете разочарованы или встревожены, если узнаете, как вожди поднимают народ, используя лишь приманки и парады, что превращает в подделку любую истинную социальную связь. Но Ле Бон не задерживается на стенаниях по поводу человеческой природы. Врач власти, он производит ее анатомирование и описывает ее физиологию. Он подчиняется обнаруженным законам, как инженер — законам физической материи. Чувство управляет законами толп. Они нуждаются в иллюзии, а действия вождя пропускаются через иллюзию, которая оказывается более необходимой, чем рассудок. «Разумная логика, — пишет он, — управляет сферой сознания, где осуществляются интерпретации наших поступков, на логике чувств строятся наши верования, то есть факторы поведения людей и народов»[56].

Не следует делать из этого вывод, что вожди — это обманщики, лицемеры и притворщики, — они таковыми не являются, как и гипнотизерами. Но, находясь во власти идеи-фикс, они готовы ей придать и присвоить себе любые внешние эффекты, способные обеспечить триумф. Отсюда их странный вид, одновременно искренний и притворный, который заставил Талейрана сказать о Наполеоне: «Этот человеческий дьявол смеется над всеми; он изображает нам свои страсти, и они у него действительно есть».

Нужно, чтобы вождь был непосредственным, как и актер. Он выходит из своего духовного пространства, чтобы сразу погрузиться в духовную жизнь публики. Обольщая толпу, он обольщает самого себя. Он действует в унисон с массами, воскрешает их воспоминания, озаряет их идеалы, испытывает то, что испытывают они, прежде чем повернуть их и попытаться увлечь своей точкой зрения. «Я, может быть, зайду дальше того, — признается Ле Бон, — что допускает позитивная наука, говоря, что бессознательные души обольстителя и обольщенного, вождя и ведомого проникают друг в друга с помощью какого-то таинственного механизма»[57].

Это — механизм идентификации. Психология толп откроет его позже, но исходя из того же самого факта.

II

Мы дошли до стратегий пропаганды. Они предназначены для превращения индивидов в толпу и вовлечения их в определенную деятельность. Приемы вождей (или партий!) всякий раз специфичны, поскольку искомые результаты конкретны и своеобразны. Но они прибегают к трем основным стратегиям: представлению, церемониалу и убеждению. Первая управляет пространством, вторая — временем, третья — словом. Рассмотрим их последовательно.

Для того, чтобы собраться и действовать, толпам необходимо пространство. Манера представления придает этому пространству рельеф и форму. Места действия — соборы, стадионы — создаются для того, чтобы принимать массы, и, воздействуя на них, получать желаемые

эффекты. Это ограниченное пространство, где люди сообща освобождаются от обыденной жизни и оказываются объединенными их общим достоянием надежд и верований, Каждый, сплотившись с другими, ощущает себя здесь более сильным, уверенным и поддержанным массой. Манера представления пространства стадионов, проспектов, площадей соответствует открытым массам, следующим вереницей, как человеческий ковер, развернутый по земле. Дворцы, соборы или театры больше подходят для закрытых, замкнутых на себе самих массах. Известно, что площади были приспособлены, а здания построены специально для того, чтобы вмещать множество людей, благоприятствовать проведению грандиозных церемоний, то есть позволять толпе прославлять себя, собираясь вокруг своего вождя. Памятники, в частности относящиеся ко времени фашизма, под предлогом ознаменования блестящего сражения, победы народа, представляли собой создание почестей вождю. Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, как архитектура площади Этуаль в Париже увековечивает память о Наполеоне. Иные являются настоящими политическими и историческими театрами. Например, Красная площадь в Москве — одна из самых впечатляющих и наиболее продуманных. Расположенная в центре города — с одной стороны ее ограничивает Кремль; этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизирует красная звезда. Ленин в своем мраморном мавзолее, охраняемом солдатами, придает ей торжественный характер присутствия увековеченной Революции. В нишах стены покоятся умершие знаменитости, которые оберегают площадь, к ним выстраивается живая цепь, объединяющая массу вовне с высшей иерархией, заключенной внутри. В этом пространстве в миниатюре обнаруживает себя вся история, а вместе с ней и вся концепция объединения народа. Эти места, в определенные часы приходящие в движение, создают психологическое состояние причастности и временности бытия человека. Здесь чувствуешь внутреннее волнение, вызванное исключительностью происходящего, и желание быть участником этого. Сама грандиозность увековечивает определенный порядок: руководитель наверху, а толпа внизу; первый — единственный, но видимый всем, вторая — в бесчисленном множестве, но невидимая, несмотря на количество. Первый имеет имя, выкрикиваемое всеми, вторая остается анонимной. Толпа скрывается в многочисленности своего присутствия, вождь демонстрирует свое одиночество. Еще до появления вождя, до того, как первое слово будет вымолвлено, каждый чувствует себя смешанным с этой огромной массой и внимание всех приковано к одному и тому же месту, пока свободному, но уже обозначенному образом того, кто его займет.

III

С помощью этого церемониала собрание превращается в *гипнотическую* мессу, в ходе которой вождь пускает в ход весь свой авторитет. Различные элементы комбинируются здесь в настоящий праздник

символов: знамена, аллегории, изображения, песни знаменуют встречу вождя и толпы, привязанность, которую они испытывают к нему и воплощаемой им идее (нация, армия, социализм и т. д.). Каждый из символов и порядок их появления на сцене имеют целью пробудить эмоции и, как говорится, накалить атмосферу. Они направляют коллективное слияние к его высшей точке. Требуется участие каждого, идет ли речь о шествиях, пении или выкрикивании лозунгов. Это условие перехода к действию.

С другой стороны, манифестации, военные шествия, демонстрации или политические съезды, предшествующие любой мобилизации толп, показывают нам, что без символов, почитаемых или разрушаемых, не может быть активных масс, как, впрочем, и масс вообще. Это наблюдается в ходе революционных восстаний: массы здесь видят возможность убить принца лишь после того, как они сожгли его изображение — символ и олицетворение господства. Или же они захватывают банки как храмы чистогана, комиссариаты полиции как высшие репрессивные органы и так далее. Взламываются двери тюрем, как были взломаны двери Бастилии — символа королевского правосудия, которое бросало в тюрьму любого без суда и следствия по королевскому указу.

Эти действия могут показаться бесполезными или абсурдными. И мы не преминем тогда поиздеваться над глупостью толпы. Может быть, всегда бесполезно и абсурдно нападать на символ, тогда как реальная власть в другом месте. Но высшая польза этих действий заключается в том, что с их помощью массы узнают себя и принимают на себя обязательства перед своим вождем. Вождь же, какими бы неразумными он ни считал массы, вынужден взять на себя управление ими и владеть ситуацией. «Великие события, — предупреждает Ле Бон, — родились не из рационального, а из иррационального. Рациональное создает науку, иррациональное направляет историю»[58].

Прохождение церемониала способствует вхождению индивидуальных клеток в массу, а также внедрению великих психических автоматизмов и их функционированию в уникод. Подобно тому как блестящий предмет гипнотизера обеспечивает переход от состояния бодрствования к состоянию сна, таким же образом праздник символов готовит людей к новой идентичности. Основная роль здесь отводится музыке, которая погружает их в гипнотическое состояние. Она поддерживает транс «подобно тому, как электрический ток поддерживает вибрацию в определенном диапазоне при условии, что ток настроен на ту же частоту. Но здесь настрой не является только физическим, он существует не только на двигательном уровне. Он также, и даже в большей степени, является психологическим, поскольку состоит в том, чтобы поставить человека, который переживает перемену своей идентичности, так сказать, в одну фазу с группой, которая эту идентичность в нем признает»[59].

Одновременно развертывается хореография масс: выход на заранее предназначенные места группы за группой, причем каждая имеет свой облик и отличительные признаки. Она разворачивается, как, например,

первого мая на площади Бастилии, где каждый человеческий луч сходится к трибуне, расположенной перед площадью, которая опутывает их всех сетью общих воспоминаний.

Хореография масс, сопровождающаяся музыкой, которая приветствует появление каждой группы (делегации города, профсоюзов, партии, какого-то лица), нарастает крещендо. Высшей точкой становится появление вождя, который представляет всех гостей. Оно венчает церемонию, подобно тому, как различные номера мюзик-холла разогревают публику, подготавливая ее устроить овацию звезде, для которой она и дала себе труд сделаться ее публикой. Этот подъем психологической «температуры» параллельно ослабляет сознательный контроль, критическое чутье и постепенно заставляет возникнуть автоматическую мысль, бессознательные силы. Толпа готова верить словам, которые она услышит, вступить в действие, которого от нее потребует вождь. Итак, соблазнение является основным моментом внушения. Человек порвал свои связи с остальным обществом, и единственным обществом для него служит присутствующая масса. Все объединены простыми и сильными чувствами, погружены в одно из тех состояний, которые описывает Стендаль: «Звучал Te Deum, волны фимиама, бесконечные залпы мушкетеров и артиллерии; крестьяне были пьяны от счастья и набожности. Один такой день разрушает действие ста номеров якобинских газет»[60].

Эти церемонии являются настоящими мессами, в которых вождь одновременно предстает и как должностное лицо и как Бог, но основаны они не на религиозном, а на гипнотическом принципе. Для скептического ума различие не так и велико. Это такие сеансы коллективного гипноза, о которых мечтал Ле Бон. Немецкий философ Адорно писал о тоталитарной пропаганде, что «ее подготовленная мизансцена — это видимый вождь, обращающийся к массам; мизансцена построена на модели отношений гипнотизера и его медиума»[61].

IV

Как только установлены декорации и массы вновь возбуждены и погружены в коллективный гипноз, всеобщее внимание приковывает к себе личность вождя. Его взгляд очаровывает, влечет и вместе с тем пугает, такой взгляд древние приписывали глазам полубогов, некоторых животных, змеи или ящерицы, чудовищ, подобных Горгоне. Покоренная масса становится еще более восприимчивой к слову, которое является теперь главным средством обольщения. Все зависит от намерения вождя: он может передавать массе свои желания, диктовать простое решение сложных проблем и наивысшее деяние, создавать впечатление вместе со всеми, что он обращается конфиденциально к каждому. В слове Ле Бон видит рычаг всякой власти. «Слова и формулировки, — пишет он, — являются великими генераторами мнений и верований. Являясь опасной силой, они губят больше людей, чем пушки»[62].

Можно ли в это поверить? Гитлер идет по его стопам, когда пишет в «Mein Kampf»: «Силой, которая привела в движение большие исторические потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен только волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется могуществу слова». И он доказал это в ряде случаев, совсем как его антипод Ганди, использовавший слово как самое эффективное средство для воцарения мира в умах и победы над насилием.

Что же превращает обычное слово в слово обольщения? Разумеется, авторитет того, кто его произносит перед толпой. Эффективность слов зависит от вызванных образов, точных, повелительных. «Массы, — пишет Ле Бон, — никогда не впечатляются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы, которые рождают определенные слова и ассоциации слов»[63]. «Их сосредоточенно произносят перед толпами, и немедленно на лицах появляется уважение, головы склоняются. Многие рассматривают их как силы природы, мощь стихии»[64].

Достаточно вспомнить некоторые лозунги: «Свобода или смерть», «Да здравствует Франция», вспомнить о магической силе, с которой в примитивных культурах связываются формулы или имена. Все они имеют побуждающую силу образов, воспоминаний. Психология толп безгранично доверяет языку, подобно тому, как христианин верит божественному глаголу. Исходя из практики, она твердо полагает, что можно убедить людей верить тому, во что веришь сам, и заставить их сделать то, что хочешь. Грамматика убеждения основывается на утверждении и повторении, на этих двух главенствующих правилах.

Первое условие любой пропаганды — это ясное и не допускающее возражений утверждение однозначной позиции, господствующей идеи. Информационное содержание может быть поверхностным. Можно даже сказать, что нет необходимости, чтобы в публичном выступлении содержалось что-либо, чего слушатели не знали бы раньше. И так как существует род сообщничества, чтобы не сказать тождества, между толпой и вождем, которое помещает их в одной плоскости, вождь не должен стремиться казаться преподавателем, демонстрировать свое превосходство педагога.

Действительно, лучше не вводить содержательной новизны. Напротив, стиль речи или выступления следует постоянно обновлять, вызывая удивление. Формулы должны быть краткими, поражающими, такими как: «Пришел, увидел, победил» Юлия Цезаря или более близкое нам «Франция проиграла сражение, но не проиграла войну» — этим призывом 18 июня 1940 г. Де Голль вдохновил французов, павших духом. Нужно постоянно учитывать усталость толп, то, что слова стираются от частого употребления и в конце концов покрываются патиной. Например, слова «свобода», «равенство», «братство», «революция» или «интернационализм» могут оказаться затертыми до предела. Но в час опасности в изменившемся контексте они звучат по-новому. Мы

машинально повторяем слова национального гимна. Но, если враг у наших границ, слова «К оружию, граждане!» звучат как сигнал горна и становятся коллективным паролем. Имея минимум смысла, но вместе с тем повелительную форму, такое слово может многое утверждать, не заботясь ни о логике, ни о правде.

Утверждение обычно отражает четкую позицию. Это позиция стороны, которую защищает оратор, против тех, кого он атакует. Если политический деятель провозглашает «Карлики у власти» или «Нет — выжиданию, да — борьбе», он выражает четкую позицию левых сил и предает анафеме правых. Кроме того, необходимо, чтобы каждое утверждение следовало за другими, которые оно подтверждает, и опиралось на них. Это требование соответствует склонности разума, и Бэкон так его описал в «Novum Organum»[1]: «Как только суждение произнесено (по общему ли согласию и общему убеждению или же из-за удовольствия, которое оно приносит), человеческий разум заставляет всех других добавлять к нему новую поддержку и подтверждение».

Чем решительнее и точнее суждение, тем больше силы имеет утверждение, так как в этом видят доказательство убежденности и правоты говорящего. Гете требовал от своего собеседника: «Если я должен выслушать мнение другого, необходимо, чтобы оно было выражено в позитивной форме. Во мне самом достаточно проблематичных элементов». Утверждение должно быть высказано кратким и повелительным тоном гипнотизера, отдающего приказ гипнотизируемому, — приказ без возражений. Оно должно «быть кратким, энергичным и впечатляющим»[65]. Утверждение в любой речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть человека или идеи, которая может подвергаться обсуждению, теряет всякое правдоподобие. Это означает также просьбу к аудитории, к толпе принять идею без обсуждения, такой, какая она есть, без взвешивания всех «за» и «против», и отвечать «да» не раздумывая. Например, Геббельс, выступающий на митинге после разгрома под Сталинградом:

— Верите ли вы вместе с фюрером и нами в полную победу немецкой нации?
Ответ из зала:
— Да.
— Хотите ли вы тотальной войны?
Ответ из зала:
— Да.
— Хотите ли вы, чтобы война, которая так необходима, стала ещё более тотальной и радикальной, чем мы только могли бы себе сегодня вообразить?
Ответ из зала:
— Да.

Эти псевдовопросы, конечно, являются утверждениями. Они формируют сознание толпы в одном направлении. Псевдоответы только вновь подтверждают то, что говорит оратор, поскольку повторение есть наиболее сильное утверждение. Действует магия удостоверенных,

[1] «Новый Органон» *(лат.) — Прим.пер.*

повторяемых слов и формулировок. Она распространяется, подобно заражению, с быстротой электрического тока и намагничивает толпы. Слова вызывают четкие образы, крови или огня, воодушевляющие или мучительные воспоминания о победах либо о поражениях, сильные чувства ненависти или любви. Следующий фрагмент из речи Аятоллы Хомейни дает точное представление о таком воздействии силы слова: «Обездоленные, поднимайтесь, защищайтесь! Израиль оккупировал Иерусалим, и сегодня Израиль и Соединенные Штаты организовали заговор с целью оккупировать мечети Аль Карам и Аль Мабиль». (...) «Поднимайтесь и выступайте на защиту ислама, так как защищать его — это наш долг. Положитесь на Всемогущего, и вперед! Победа близка! Она несомненна!»[66]

Короткими фразами, указывая святые места, которые каждый знает лично или понаслышке, называя врагов, которые их осквернили, оратор рисует картину, которую любой слушатель явно себе представляет — темные дьявольские силы вторгаются в святые мечети. Немногими словами он объясняет, почему нужно драться. Он призывает каждого встать на борьбу и уверяет народ в победе.

* * *

Таким образом, повторение является вторым условием пропаганды. Оно придает утверждениям вес дополнительного убеждения и превращает их в навязчивые идеи. Слыша их вновь и вновь, в различных версиях и по самому разному поводу, в конце концов начинаешь проникаться ими. Они в свою очередь незаметно повторяются, словно тики языка и мысли. В то же время повторение возводит обязательный барьер против всякого иного утверждения, всякого противоположного убеждения с помощью возврата без рассуждений тех же слов, образов и позиций. Повторение придает им осязаемость и очевидность, которые заставляют принять их целиком, с первого до последнего, как если бы речь шла о логике, в терминах которой то, что должно быть доказано, уже случилось. Поэтому не удивительно, что речи какого-либо диктатора — Сталина, Гитлера — до такой степени многословны. Оратор только и делает, что повторяет обычные темы, едва давая себе труд обновлять выражения. Его многословие — это многословие убежденных, свидетельствующее о своего рода вере, овладевшей им до одержимости: «Обычно это, — замечание Ле Бона применимо ко всем вождям, — умы весьма ограниченные, но одаренные большим упорством, всегда повторяющие одно и то же в одних и тех же выражениях и часто готовые пожертвовать собственными интересами и жизнью ради триумфа идеала, который их покорил»[67].

Повторение имеет двоякую функцию: будучи навязчивой идеей, оно также становится барьером против отличающихся или противоположных мнений. Таким образом, оно сводит к минимуму рассуждения и быстро превращает мысль в действие, на которое у массы уже сформировался условный рефлекс, как у знаменитых собак Павлова.

Эта быстрота позволила Наполеону сказать, что есть лишь одна форма эффективного убеждения — повторение. Поклонник императора, в котором он видел, как и в Робеспьере, великого соблазнителя толп, Гюстав Ле Бон отводит этому ораторскому приему определяющее место в психологии убеждения: «Повторение внедряется в конце концов в глубины подсознания, туда, где зарождаются мотивы наших действий». И он добавляет ещё одно чрезвычайно тонкое замечание: «По истечении некоторого времени, забыв, кто автор повторяемой сентенции, мы начинаем в нее верить. Этим объясняется удивительная сила рекламы. Когда мы сто раз прочли, что лучший шоколад — шоколад X..., мы воображаем, что часто слышали это, и кончаем тем, что уверяемся в этом»[68]. Эта интуитивная мысль была подтверждена исследованиями пропаганды во время войны.

С помощью повторения приказ, формулировка отделяются от личности вождя. Они живут собственной жизнью и обретают автономную действительность, подобно заговору или молитве. Затем они проникнут в подсознание и станут элементом коллективного верования. Этот процесс пойдет быстрее, когда толпу призовут отвечать вождю, как верующие отвечают священнику во время мессы и хором повторяют провозглашаемое слово, которое отдается громким эхом, повторяемое тысячами уст. С помощью повторения мысль отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, не зависящую от времени, места, личности. Она не является более выражением человека, который говорит, но становится выражением предмета, о котором он говорит. Клевещите, клевещите, что-нибудь непременно останется. Повторяйте, повторяйте, что-нибудь непременно останется, хотя бы молва. А молва, как и предрассудки, как и клевета, — это сила.

* * *

Повторение имеет также функцию связи мыслей. Ассоциируя зачастую разрозненные утверждения и идеи, она создает видимость логической цепочки. Складывается впечатление, что за фразами вырисовывается система, за частой связью несовместимых понятий стоит принцип. Если вы часто повторяете разнородные слова: «революция» и «религия», «национализм» и «социализм», «марксизм» и «христианство», «евреи» и «коммунисты» и т. д., — вы создаете у вашей аудитории эффект удивления (по крайней мере он создавался раньше!). С другой стороны, вы ей передаете уверенность в том, что оба эти понятия связаны и их парность имеет скрытое значение. Человеческое существо имеет особенность быть привлеченным и соблазненным упорядоченным представлением о мире, который его окружает. Говоря о тоталитарной пропаганде, Ханна Аренд с полным основанием замечала: «Массы позволяют себя убедить не фактами, даже выдуманными, а только связностью той системы, частью которой они якобы являются. Обыкновенно преувеличивают значение повторения, так как считают

массы способными понимать и вспоминать: в действительности же повторение важно лишь потому, что убеждает массу в связности во времени»[69].

Немецкая философия ошибается по крайней мере в одном: массы обладают способностью помнить. В определенном смысле они помнят даже слишком много.

V

Утверждение и повторение имеют результатом коллективное внушение. Они сливаются в поток верований, которые распространяются со скоростью эпидемии. Заражение происходит тем быстрее, чем сильнее вызванные чувства и чем скорее действие соединилось, словно в коротком замыкании с мыслью. «Идеи, — резюмирует Ле Бон, — никогда не утверждаются оттого, что они точны, они утверждаются только тогда, когда с помощью двойного механизма повторения и заражения оккупировали области подсознания, где рождаются движущие силы нашего поведения. Убедить кого-либо — не значит доказать ему справедливость своих доводов, но заставить действовать в соответствии с этими доводами»[70].

Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что говорится, а из их «магии», от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они рождаются. Обращаться с ними следует не как с частицами речи, а как с зародышами образов, как с зернами воспоминаний, почти как с живыми существами. Оратор, который ни о чем не напоминает, ни к чему не взывает. Когда действуют чары, толпа поддается силе того, что они напоминают, и действиям, к которым они призывают. Она уступает вождю, который ее соблазняет. Он рисует перед ней грандиозные, но смутные перспективы и тот туман, который их обволакивает, даже увеличивает их загадочную силу. В ряде современных и древних книг мы находим указания, относящиеся к каждой из стратегий: к представлению, церемониалу, убеждению. Но психология толп связывает их с общим фактором: гипнозом. Разыгранные в единстве места и времени, они сливаются и формируют одну стратегию — стратегию коллективного внушения. Вождь, обладающий таким даром и ремеслом, превращает своим способом самые разнородные собрания людей — и чем более они разнообразны, тем лучше — в однородную массу. Он насаждает в ней верования, ядром которых является страсть, а целью — действие. С момента своего открытия эта стратегия коллективного внушения применялась повсюду. Чаще всего в ней используются рецепты, взятые поодиночке. Я стремился представить их в совокупности, чтобы познакомить со смыслом их существования и их единством.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

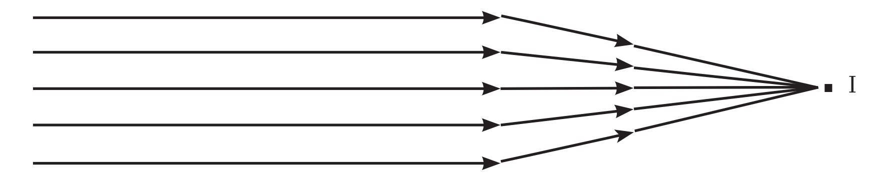
I

В последний раз обратимся к гипнозу. Весь багаж понятий и гипотез, которые мы до сих пор рассматривали, подсказан им. Скажем, внушение какой-либо идеи или жеста — считать себя бессмертным или дотронуться до огня, — которое осуществляется через автоматическую работу психики и ничем не обязано ни рассудку, ни логике. Мысль, внушенная твердым, не допускающим возражений тоном, немедленно вызывает действие: от приказа к выполнению, от мозга к телу путь прямой. Эта мысль вытесняет и замещает все, о чем человек думал и во что верил наяву. А когда она распространяется, подобно инфекции, как грипп, от человека к человеку, она делает их конформными и единообразными. Тогда создается коллективная реальность, заполненная разделяемыми верованиями, иллюзиями, воображаемый мир. Ле Бон так описывает его: «Если посмотреть на историю достаточно обобщенно, чтобы охватить взглядом всю ее в совокупности, она предстает как череда народов, создающих фантомы или разрушающих их. Древняя политика или современная — это нс более чем битва призраков»[71].

В этой битве внушение завязывает и развязывает отношения между людьми. В психологии толп оно является тем же, чем и обмен в экономике, консенсус в обществе: связью индивида с индивидом и индивида с группой. Оно образует закон их психического единства.

Когда гипнотизер уступил место вождю, который навязывает свои идеи массе людей, внушение вынуждает их подчиняться как бы силе, идущей изнутри. Каждый легко становится иным, выполняет действия, обычно добровольные и осмысленные, как автомат. Он превращается в члена толпы, сплоченной и завороженной своим творцом. Масса и вождь смотрятся друг в друга, как в зеркало, в котором каждый неизменно видит образ другого. Снимите маску с лидера, и вы обнаружите массу. Снимите маску с массы, и появится лидер. В эпоху толп эта связь приобрела вид солнечной системы и оказывается во многих отношениях господствующей. В центре — вождь. Он является воплощением и замещением идеи нации, свободы и т. д. — герой-эпоним, единственный человек, обладающий именем и дающий его другим. На расстоянии от него масса анонимных индивидов, окружающих единственную личность, готовых принимать его внушения, просто толпа. Вся сила обольщения излучается по направлению к толпе и возвращается к вождю, отраженная силой всеобщего восхищения. Фрейд в идеальном виде

выразил эти отношения схемой, где все люди, составляющие толпу, изображены параллельными стрелками, сходящимися в абстрактной точке I, это вождь или идея, которую он представляет.



То, что казалось идеализированным, можно было видеть реализованным вполне очевидным образом на собраниях и шествиях в Шанхае или в Пекине. Толпы проходили перед Мао, превозносимым вождем, с «красными книжечками» в руках, взметнувшихся к небу, миллионами голосов повторяя мудрые наставления, призывы к действию, политические лозунги. Здесь, как и повсюду, подтверждается магическая формула: лидер-эпоним окружает себя массой-анонимом.

II

Если психология толп определяла и продолжает определять нашу современную историю, это по причине, о которой стоит постоянно говорить. Она извлекает гипноз из сферы медицины, вырывает его из психиатрической цепи и внедряет в среду социальную, культуру в качестве парадигмы нормальных отношений между людьми. Парадигма, которая объясняет их, как закон тяготения объясняет отношения между физическими телами. Здесь не ставится задача проследить последствия этого перемещения в литературе, социологии и философии. Но нужно признать, что психология толп изменила, и это было ее целью, лицо политики, подобно тому, как хирургическая операция меняет лицо человека. В итоге она систематизировала на научной основе обращение к коллективному внушению (и пропаганде) в плане риторики, которая применяется для убеждения аудитории и формирования ее мнения. Она сместила видение отношений между вождем и массой. Она извлекла его из контекста власти, которую имеет представитель над представляемыми, государь над народом, рабовладелец над рабами, и ввела его в контекст влияния, внушения, которые имеет гипнотизер на массу гипнотизируемых индивидов. Она неустанно выдвигает вперед такой факт: в массовом режиме практика, изобретенная для элитарного режима, в афинской агоре или в европейских парламентах, ограничена и становится недейственной. Короче говоря, в мире, где революция и контрреволюция становятся уже не исключением, а правилом, правление, основанное на дискуссиях, уступает правлению, основанному на внушении, или на массовой коммуникации.

Мы имеем множество доказательств тому, что эта парадигма, проистекающая из гипноза, проникает сегодня, как и в свое время,

повсюду, образует каркас политического метода. Я приведу в пример только двух знаменитых вождей, противостоявших один другому. Сначала — я уверен, вы этого ожидаете — Гитлер. Он таким образом обращался к Rauschning: «То, что вы говорите народу, собранному вместе, находящемуся в этом состоянии восприимчивости и фанатичной отрешенности, звучит как приказ, данный во время гипноза, неизгладимый и не подвластный логике приказ. Но как отдельные индивиды страдают неврозами, которых не стоит касаться, точно так же масса имеет свои комплексы, которые никогда не нужно пробуждать».

Его антипод Троцкий описывает тактику, используемую большевиками против власти в октябре 1917 г.: «Применение этой тактики «мирного проникновения» состояло в том, чтобы легально сломать костяк противника и парализовать гипнозом то, что осталось от его воли»[72].

Если это правда, а именно то, что психология толп трансформировала теорию и практику гипноза в модель нашей культуры, отношений сначала между толпами и вождями, а затем коллективной деятельности, можно без труда заключить, что она составила Историю. Нет ничего исключительного в том, что одна наука берет и адаптирует результаты Другой: химия взяла рецепты кухни, а электротехника — рецепты химиков, которые любили играть с электрическими зарядами. Но когда взятый и адаптированный материал становится неотъемлемой частью общества и культуры, он оказывается своего рода истиной исторического порядка. Подобное подтверждение получили в нашу эпоху марксизм и психоанализ. Это положение остается «верным», даже если тщательное исследование покажет в конце концов, что оно недостаточно обосновано. Известно, что оно работает — некоторые будут считать, что это скорее хорошо — и достаточно. Психология толп дает этому пример, который не является единственным.

III

Наши современники почти единодушно вынесли вердикт теоретическим положениям психологии толп: они неприемлемы. Не будем придавать чрезмерного значения этому вердикту ученых, которые ее игнорируют, и идеологов, которые заинтересованы ее игнорировать. Невозможно опротестовывать вердикт Истории и тем более скрыть его. Однако вот возражения, которые можно сделать психологии толп. Прежде всего она даже не пыталась, как бы ни была трудна эта задача, достаточно укрепить свои концепции, чтобы подготовить их к сопоставлению с возможными наблюдениями. Она ограничилась их несколько беспорядочным перечислением, ища там и тут факты, способные проиллюстрировать интуитивным образом тот или иной тезис. Рискуя стать сборником анекдотов и объяснений, о которых самое большее можно сказать: « Si non a vero, a ben trovato»[1].

---

[1] Если это не правда, то хорошо придумано *(итал.)*. — *Прим. пер.*

Затем психология толп несколько поспешно и без достаточного основания освободилась от сознательного разумного аспекта жизни групп вообще и толп в частности. Однако свидетельства историков и лабораторные наблюдения показывают нам огромное значение этого аспекта, и именно тогда, когда группы должны выполнить общую задачу или когда они принадлежат к одному и тому же классу. Проблема не в том, чтобы знать, являются ли толпы рациональными или иррациональными, эту альтернативу по определению невозможно разрешить. Необходимо знать, какие связи и отношения существуют между рациональными и иррациональными механизмами, как они комбинируются в конкретной ситуации.

Наконец, можно, как это сделал Сорель, с самого начала адресовать ей следующее возражение, остающееся полностью действительным: «Наиболее значительная часть тома, — пишет он по поводу „Психологии толп“, — имеет предметом народные массы, их чувства, их идеи, но здесь господин Ле Бон дезориентирован, поскольку он не видит, что исследования такого рода должны основываться на экономических условиях и классовых различиях»[73].

Не принимая во внимание эти условия, психология толп строит все на зыбкой почве аналогий. Несомненно, она всегда затрагивала и сейчас затрагивает идеал, в который большинство продолжает верить. Идеал, который внушается со времен английской и французской революций: демократия граждан. Даже если наша кожа огрубела, мы менее требовательны и действительность нас реже возмущает. С тех пор как этот идеал стал разменной монетой, можно видеть, как народы избирают диктаторов на основе всеобщего избирательного права, разрушают демократию посредством демократии, единодушно, более чем 99 % голосов. Во имя другой версии того же самого идеала — демократии масс.

Что касается психологии толп, по крайней мере такой, какой ее задумал Ле Бон, она высказывается просто за демократию, каковы бы ни были домыслы и конституционные кризисы. «Несмотря на трудности их работы, — пишет он, — парламентские ассамблеи представляют собой наилучший способ, который найден народами для самоуправления и особенно для того, чтобы избежать по возможности ярма единоличной тирании»[74].

Однако в обществе со слабыми институтами и безжизненными убеждениями существует такая угроза. Но все знают, что ни один век не был столь вялым и отчаявшимся, чтобы не нашлось ни одной группы людей, восставших против гнета для утверждения прав на свободу и справедливость. Всегда были и всегда будут люди, для которых абсолютная власть является оскорблением и которые отдают все силы борьбе с ней. Ничто и никогда не помешало бесконечно подниматься росткам их бунта. В борьбе за свободу невозможно знать заранее, кто одержит верх, но битва эта остается неслыханной.

ЧАСТЬ 4
ПРИНЦИП ВОЖДЯ

ГЛАВА 1

ПАРАДОКС ПСИХОЛОГИИ МАСС

I

Многочисленные свидетельства, с которыми я ознакомился, показывают, что в век оптимизма и разума психология масс проявляет себя как наука скандальных фактов и безрассудства. В самом деле, она упорно ведет разговор о явлениях одновременно экзотических и эфемерных, исключенных из картины общественной жизни: толпы, верования, коллективное внушение и прочее.

Но, чтобы вызвать скандал, нужно нечто большее — потрясение, которое опрокидывает устоявшиеся убеждения. Психология толп ожесточенно сталкивается с ними и, несмотря на прогресс экономики и техники, лихорадочное устранение традиций прошлого, она пытается раскрыть человеческую природу, находящуюся вне водоворотов истории. Она даже провозглашает непобедимую силу этого прошлого над настоящим и тот факт, что оно давит таким тяжелым грузом на политику и культуру. Не она ли говорит: « У вас сложилось впечатление об изменении человеческой природы, устранении семьи, вождей, иерархии, религии. Так вы ошибаетесь: они остаются, они продолжают жить. То, что действительно реально, не проходит и не наскучивает»?

Это не означает, что эволюционных факторов не существует. «Да, добавляет она, в основном человеческая природа, даже если она не подчиняется прогрессу беспрекословно, испытывает тем не менее его влияние. Она адаптируется к нововведениям и выдерживает поломки. Именно это демонстрирует ее необычайную силу и выносливость». Вот таков этот неприемлемый язык, который задевает наиболее укоренившиеся представления.

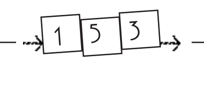
В науку, отмеченную экстремальностью точек зрения и политической страстностью, Тард привносит аналитический дух и вкус к четким понятиям, которых ей недоставало. Тем не менее он разделяет опасения Ле Бона в отношении состояния французского общества и обнаруживает ту же самую классовую тревогу перед подъемом масс. Это не мешает ему видеть, что такое общество в переломные моменты

является развивающимся, оно следует буржуазным путем, индустриализируясь, урбанизируясь, обогащаясь. Все происходит так, как будто кризисы, борьба революции и контрреволюции были расплатой за обновление, которое происходит, не останавливаясь ни на минуту. Короче говоря, за то, что наука и техника произвели на его глазах. Психология толп должна отдавать себе в этом отчет и приспосабливать свои понятия к явлению.

Тард продвигается по пути, открытому Ле Боном. Он начинает с толп, скоплений спонтанных, анархических и естественных, типичных явлений общественной жизни. Но ему кажется, что они менее важны в конечном итоге, чем искусственные толпы, организованные и дисциплинированные, которые и наблюдаются почти повсюду в виде, например, политических партий, предприятий или государственных структур. Армия или церковь были бы их прототипами. Здесь речь идет о действительно качественном скачке: о переходе от аморфной массы к массам структурированным.

Какое очевидное изменение! До сих пор массы обнаруживали себя как продукт распада и ослабления нормальных рамок общественной жизни. Будучи результатом развала социальных институтов, они являли собой нарушение упорядоченного хода вещей. Отныне они образуют элементарную энергию, примитивное месиво, из которого посредством превращений возникают все общественные и политические институты. Из этого следует заключить, что семья, церкви, общественные классы, государство и т. д., которые считаются основополагающими и естественными общностями, на самом деле искусственны и производны. Подразумевается, что они в такой же степени представляют собой некие разновидности массы, как электричество, уголь, растения — разнообразные формы энергии. Раньше говорилось: «Вначале люди создали общество, а затем появились массы». Теперь нужно сказать: «Вначале люди существовали в массе, а затем они создали общество».

В этом состоит коренное отличие. Самые рафинированные, самые цивилизованные общественные институты, я имею в виду семью, церковь, значительные исторические движения, профсоюзы, нации, партии и т. д., — все они являются превращенными формами простейшего сообщества — толпы. Они имеют свои психологические черты. Следовательно, задача науки — не объяснение свойств массы исходя из понимания общества, а свойств общества на основе знаний о массе, т. к. всякое общество рождается из массы. Я упрощаю, разумеется, для того, чтобы подчеркнуть главное. И вот что из этого следует. Из науки о важных, но частных явлениях психология толп становится наукой об обществе в целом, поскольку толпы обнаруживают себя повсюду. Следовательно, так же как законы энергии определяют химические, электрические или биологические законы, законы психологии определяют законы социологии, политики, и даже истории, поскольку они являются более общими. Они подвержены изменениям, но не допускают исключений.





II

Это и создает главную трудность. Согласно теоретикам психологии толп, эти последние не способны к интеллектуальному творчеству, к исторической инициативе и никогда не бывают во главе революционных переворотов в искусстве, науке или политике. Как они смогли бы это сделать, если у людей, собранных вместе, способность мыслить снижается и чувство реальности стирается? А между тем, когда мы наблюдаем социальные институты, армию предприятия и т. д., мы видим, что они развиваются. Искусство, наука, техника совершенствуются. Изобретены средства производства и открыты средства коммуникации, которые меняют лицо общества. Вот мы и оказались перед кардинальным парадоксом психологии толпы. Чтобы его разрешить, она по логике вещей не может отказаться от своего принципа: субъекты, объединившиеся в толпу, менее разумны, меньше способны к созидательной деятельности, чем взятые по отдельности. У Тарда в этом случае остается только одно альтернативное решение, и оно незамедлительно принимается. Оно означает следующее: в толпе существует класс отдельно взятых субъектов, которые собирают остальных, увлекают их за собой и ими управляют. Это — вожди, религиозные деятели, политики, ученые и т. д. Они стоят у истоков всех перемен, нововведений, общественных событий, которые делают историю. Поддаваясь внушению, большинство людей подражает им и следует за ними. Они подчиняются, как дети своему отцу, подмастерье — мастеру или актеры, увлекаемые гениальным режиссером. По мере того как разум и открытия этих выдающихся личностей прогрессируют, начинают превосходить прошлые, толпы, которые им подражают, также развиваются и поднимаются над толпами прошлого. Примеров тому достаточно: современный ученик решает сегодня задачу, которая три века тому назад не поддавалась гению Ньютона, психиатр лечит каждый день своих пациентов самым обычным способом по методу Фрейда, который тот оставил незавершенным, или же посредственные лидеры, которые уподобляются в своем поведении, отношениях, манере таким прототипам, как Сталин или Мао. Тем самым, взбираясь на высоту этих вершин, человечество продвигается вперед и преобразуется.

Решение, которое Тард дает этому парадоксу, поистине слабое. Единственный способ выйти из его порочного круга — кто они эти исключительные личности? откуда их всемогущество? — заключается в отказе от самого парадокса, но суть этого решения значит гораздо меньше, чем три следствия, к которым оно ведет:

— *Центр психологии толп перемещается с массы на лидера*. Его воздействие на нее объясняет его сходство с ней.

— *Имитирование — которое является формой внушения — становится главным механизмом общественной жизни*. Предполагается, что она объясняет влияние вождя на группы этих имитаторов, одно-

образие их мысли и поведения, распространение чувств и верований. То есть объясняет, почему мы приспосабливаемся к общему образцу. — Полагая, что, с одной стороны, существует изначальное непосредственное внушающее воздействие одного человека на другого, а с другой стороны, внушение имитационное, опосредованное, на расстоянии, через газеты, например, *Тард превращает коммуникацию в разновидность внушения и сближает деятельность журналиста с воздействием гипнотизера*. Это обобщение иного рода. Исходя из него, он вводит в психологию толп, как находящуюся в ее ведении, быстро расширяющуюся область явлений коммуникации. Со времени изобретения книгопечатания и до газет, пройдя через телеграф, эта сфера не переставала сокращать пространство речевого общения, выступлений, слухов. Эти явления потрясли основы культуры. Французский психолог удивительно точно замечает, что ничто с тех пор не опровергло теорию массовых коммуникаций, которая ничего в то время не подготовила.

Он описывает, каким образом они проникают в каждое жилище и превращают отдельных людей, мирных читателей газет, например, в тот вид невидимой толпы, которая становится публикой, — читатели какой-либо газеты, члены какой-либо партии и т. д. Сообщения прессы влияют на изменчивые преходящие убеждения, какими являются мнения, похожие на волны, которые непрерывно рождаются и исчезают на поверхности моря. Развитие средств коммуникации затрагивает в конце концов все ячейки общества. Оно определяет то, о чем говорят, как думают, и тот уровень, на котором действуют.

Это кажется нам само собой разумеющимся до тех пор, пока не сделать из этого окончательных выводов. Еще за полвека до предсказаний Mac Luhan Тард провозглашает принцип развития, который американец представил в форме девиза: «средства информации — это послание». А отсюда он предсказывает непременный приход массовой культуры. Естественно, он не произносит это слово, что не мешает ему изучать само явление. «Поступая таким образом, — пишет английский автор, эксперт в этом вопросе, — Тард внес первоначальный решающий вклад в гуманитарную дисциплину, которую мы теперь знаем под именем „теории массовой культуры...“. Тем не менее его вклад упорно замалчивался, факт по меньшей мере достойный удивления, поскольку вклад Габриеля Тарда в социологию далеко не безызвестен»[1].

Главное, по-моему, что этот вклад сыграл роль первооткрывательскую. Он выдвигает в качестве гипотезы примат средств коммуникации[2] над всеми инструментами, следовательно, она их рассматривает как факторы полного потрясения политики и как основу, в рамках которой рождается новая культура. Это не просто высказанные им предположения, в их основе лежит сделанный Тардом анализ. Распространение влияния, которое он предвещает прессе, относится не в меньшей степени к радио и телевидению. Именно здесь можно найти источник того, о чем теоретики и критики средств массовой информации успели с тех пор написать.

ГЛАВА 2
ТОЛПЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ

I

Огромные общественные массы позволяют наблюдать множество действий и реакций, людей, которые меняются и взаимно изменяют друг друга, группы, которые создаются и разрушаются в мгновение ока. Всякий, кто изучает их достаточно продолжительно, замечает в них перемены, но также и повторения, противоположности и идентичности, расхождения и сходства. Есть два типа простейших явлений. В органической природе одни мы называем мутациями, другие — наследственностью. В природе общественной мы имеем дело с изобретениями и подражаниями. Человек, который изобретает, нарушает порядок вещей. Человек, который подражает, его восстанавливает. Первый совершил последовательные изменения, то есть эволюцию, второй — повторяющиеся монотонности, короче говоря, традицию, моду.

Ребенок ли забавляется, перепутывая порядок фраз, селекционер, выводящий породу животного, или я сам, рассуждающий о психологии толп как единой науке — все эти три случая включают возможность изменения. Предположим, что начинание ребенка, селекционера или мое собственное встречает эхо, что оно многократно повторяется, копируется; мы немедленно получили бы новый оборот речи, новую породу или новое направление исследования. Существует характерный ритм общественной жизни, и, мы в этом убеждаемся, ничего не может быть проще: вначале индивидуальные творческие акты, затем имитирующие иррадиации. Этот цикл бесконечен.

Остальное естественным образом вытекает из этого. Если подражание берет свое начало в изобретении, тогда каждая группа, каждое общество происходит из человека, повторенного в тысячах или миллионах экземпляров: христиане копируют Христа, сталинисты являются факсимильной копией Сталина, как, впрочем, и указывает название. Подобие членов группы стало бы результатом повторения мыслей, чувств, действий одного из них, который служит им одновременно духовным образцом и реальным вождем. Чрезвычайная простота этой схемы объясняет успех, который она имеет. Это поистине колумбово яйцо, которое хотелось бы разбить хоть раз в жизни.

Зачем мы подражаем? Почему мы бросаемся копировать какой-то персонаж, идею или одежду? Похоже, мы делаем это по двум причинам: инстинктивному стремлению и экономии сил. Проще говоря, причиной этому атавизм и лень. Инстинктивное стремление соответствует тому,

что подражание является формой универсальной повторяемости и выражает биологическую тенденцию всего живущего к бесконечному воспроизводству. Оно имеет следствием мистическое стремление, присутствующее в каждом из нас, делать, как другой: ребенок — как его отец, сестра — как брат, слуга — как хозяин. Повторение или наблюдение за повторением идей, действий, слов и т. д., особенно тех, которые нам нравятся, приносит огромное удовлетворение.

Но мы следуем за другими еще и потому, что склонны беречь свою энергию и экономить усилия. Для чего же брать на себя труд открывать или изобретать самим то, что уже открыто или изобретено другими? «Можно мне указать, — возражает Тард одному из своих критиков, — что если подражание — это явление социальное, тогда то, что является не социальным, а в высшей степени естественным, — это инстинктивная лень, из которой проистекает склонность к подражанию для того, чтобы избежать труда что-то выдумывать. Но эта склонность сама по себе, если она необходимым образом предшествует социальному поведению, действию, в котором она находит свое удовлетворение, весьма разнообразна по интенсивности и по направлению, согласно природе уже сформировавшихся привычек подражания»[3].

Другими словами, в недрах каждого дремлет овечья натура, заставляющая избегать страданий и риска изобретателя и просто с наименьшими затратами воспроизводить изобретение, которое потребовало значительной энергии. Понятно, что существа податливые позволяют себя увлечь кем угодно, если тот желает ими руководить. Он их гипнотизирует, помимо прочего, своим авторитетом. Само общество создает гипнотическую среду, сферу отпущенных на свободу образов и автоматизмов. Оно погружено в атмосферу иллюзий, которые история сохранила в своей памяти. «Общественное состояние, — утверждает Тард, резюмируя свою концепцию, — как и состояние гипнотическое, — это не более чем разновидность сна: сон управляемый и сон под воздействием. Иметь лишь внушенные идеи и считать их спонтанными — вот иллюзия, свойственная сомнамбуле и точно так же общественному человеку»[4].

С помощью этих захватывающих сопоставлений Тард напоминает нам, что человек — это, вне всякого сомнения, социальное животное. Но он является таковым тогда и только тогда, когда он внушаем. Конформизм — вот первое социальное качество, создающее основу внушаемости. Благодаря ему из самых глубин появляются на свет мысли и чувства, о которых не ведает бодрствующий разум. Природа и организация общества благоприятствуют этому конформизму. Он объединяет людей и погружает их в туманный мир сновидений. Они подражают, подобно автоматам, они подчиняются, как сомнамбулы, и все вместе растворяются в огромном людском море.

Все сказано одной короткой фразой: «Общество — это подражание, а подражание — это род сомнамбулизма»[5].

Я знаю, как трудно согласиться со всем этим. Но я не могу здесь слишком углубляться в дискуссию. Я скорее рассчитываю на изучение следствий с тем, чтобы помочь читателю принять во внимание все обстоятельства.

II

Человек — это мыслящая овца. Легковерный и импульсивный, он устремляется навстречу тому, чего не видит и не знает. По полученному приказанию он сгибается или выпрямляется, погружает тело и душу в массу и позволяет ей себя захватить, пока не изменится до неузнаваемости. Тард был убежден в этом, и его описание толп хорошо это показывает. По правде говоря, он, черта за чертой, создал полотно, ставшее классическим. Согласно ему, они живут в состоянии грез наяву, постоянно раздраженные водоворотами городов, раздираемые простыми, но жестокими чувствами. Они даже не в состоянии ни установить серьезный и продолжительный контакт с реальностью, ни скрыться от своего мира, населенного иллюзиями. «Но, — утверждает он, — как бы они ни были различны в своих истоках, в любых своих проявлениях, все толпы похожи друг на друга определенными чертами: своей величайшей нетерпимостью, гротескной спесью, своей болезненной восприимчивостью, ужасающим ощущением безответственности, порожденной иллюзией их всемогущества и полной утратой чувства меры, тяготеющей к преувеличенности их взаимно подогреваемых эмоций. Для толпы не существует середины между проклятьями и обожанием, между ужасом и восторгом, между криками „да здравствует“ и „смерть ему“»[6].

Именно рассудка здесь очень недостает, потому что только он обеспечивает единицу чувством меры и способностью к компромиссу, признанием пределов власти каждого, утрата которых чревата опасными последствиями в будущем. Вот почему толпы в нормальном состоянии демонстрируют все те абсурдные и безрассудные черты, которые индивиды обнаруживают в болезненно безумном состоянии. Они имеют так много общего «с пансионерами наших приютов» [7], что, когда видят их действия в ходе революций, уличных шествий, бросающимися вперед при малейшем недовольстве, героически или панически, как в 1789 г., уже невозможно понять разницы между их легковерием и безумием. «У них настоящие коллективные галлюцинации: люди, собравшиеся вместе, уверены, что видят или слышат вещи, которые поодиночке они не видят и не слышат. А когда они считают, что их преследуют воображаемые враги, их вера основана на бредовых умозаключениях»[8].

По всей видимости, Тард потерял чувство меры. Согласно ему, преследования и притеснения, жертвами которых «себя воображают» мучимые страхом толпы, приводят их к наихудшим эксцессам. Они заставляют их переходить от одной крайности к другой, от возбуждения к депрессии. А иногда, страдающие манией величия, нетерпимые,

они воображают себе, что все то, что им не запрещено, им разрешено. Собственно говоря, чрезмерно то ожесточение, с которым он пытается представить массы как конгломерат сомнамбул, находящихся в состоянии шока и обделенных разумом, лишенных чувства ответственности, свойственного человеку невиновному, взрослому и цивилизованному. Выстроив цепочку стереотипных ассоциаций, он соскальзывает с аналогии толпа-безумие на аналогию толпа-женщина: «В целом из-за своей обычной прихоти, своих внезапных скачков настроения, от горячности до нежности, от ожесточения до взрыва хохота, толпа — это женщина, даже когда она состоит, как это почти всегда случается, из мужских элементов. Это счастье для женщин, что их образ жизни, требующий пребывания дома, обрекает их на относительную изоляцию»[9].

Он полагает, что обнаружил некоторые свойства толп: эмоциональную неустойчивость, коллективную истерию, вспышки мании и меланхолии, неумеренность во всем, которая, если его парафразировать, такая же, как у пансионеров наших приютов. Представим себе наглядно образ, который он нам предлагает: тысячи мужчин, мгновенно превратившихся в женщин, тысячи совершенно стандартных обликов, брюк, тщательно преобразованных в море юбок, развевающихся на ветру, и мы поймем, нет, не абсурдность, а тайну этого страха, содержащуюся в понятии толпы. Страха одновременно перед борьбой полов и перед утратой пола, мужского, само собой разумеется. Читателя незаметно предупреждают: «Если ты хочешь остаться мужчиной, избегай толп. Если ты смешаешься с толпой, ты станешь одной из женщин вождя».

Сказать, что толпа — это женщина, означает для Тарда сказать, что она состоит из мужчин послушных, податливых, готовых позволить лишить себя мужского начала и отдаться вождю, единственному, кто «носит штаны», используя расхожее выражение. Короче говоря, назовем вещи своими именами и скажем, что речь идет о том, чтобы признать отношения вождей к массам гомосексуальными по своей природе, так как у одной стороны, как и у другой, пол является мужским. Уловка этого сравнения с женщиной не имеет другого смысла, кроме как замаскировать эту очевидность отказа от индивидуальности, эквивалента утраты мужских атрибутов — то есть кастрации — и соединения с другим мужчиной, а именно соединения, противного разуму и природе. В конечном счете природа толп гомосексуальна, что расхожая мудрость подметила давно. Индивид, таким образом, противопоставляется обществу, как мужское начало женскому.

III

Тард с точностью до деталей принимает то описание толп, которое дал Ле Бон. Но, замечает он, толпы суть ассоциации спонтанные и преходящие, которые не могут бесконечно оставаться в состоянии волнения. Им предначертано либо распадаться, исчезать так же быстро, как и появились, не оставляя следов, — вспомните о сборище

зевак, митинге, небольшом мятеже; либо эволюционировать, чтобы превратиться в толпы дисциплинированные и стабильные. Существует движение, цепь превращений от первого типа толпы ко второму, в результате которых появляется новый особый характер толпы.

Чтобы его выявить, достаточно взглянуть на контраст между возникшими под влиянием какого-нибудь волнующего события скоплениями людей, попавших под власть одного человека (например, во время землетрясения, футбольного матча или музыкального фестиваля), и скоплениями, сформированными умышленно, переросшими в церковь, партию или предприятие. Легко можно обнаружить разницу, которая состоит в существовании организации, опирающейся на систему общих верований, использование иерархии, признанной всеми членами организации. Такова отличительная черта, которая противопоставляет естественные толпы толпам искусственным, неформальные организации, появившиеся импровизированно, организациям формальным, подчиняющимся правилам. На пути от первых ко вторым прослеживается логическая эволюция. От события не слишком значительного, но яркого «спонтанно рождается ассоциация первой ступени, которую мы называем толпой. Посредством серии промежуточных ступеней толпа поднимается от состояния рудиментарного, мимолетного, аморфного скопления до уровня толпы организованной, иерархизованной, постоянной, которую можно назвать корпорацией в самом широком смысле этого слова. Наиболее яркий пример религиозной корпорации — монастырь, светской корпорации — полк или цех. Примером самых обширных корпораций являются церковь или государство»[10].

Но не будем останавливаться на том, что уже стало привычным. Лучше спросим себя, какова природа такого превращения. Мы уже знаем, что спонтанные толпы образуются всегда под влиянием физического фактора, внешних обстоятельств: задержки в движении транспорта, дождя или хорошей погоды (вот почему лето им благоприятствует!), и так далее. Они формируются посредством серии побуждений и поддерживаются благодаря серии действий и реакций: криков, шествий, маршировки «руки вверх, руки вниз» — реакций квазимеханических.

Однако толпы организованные, ассоциации высшего порядка формируются и развиваются в силу внутренних обстоятельств, изменяются под действием верований и коллективных желаний, путем цепи подражаний, которые делают людей все более и более похожими друг на друга и на их общую модель — на вождя. Эти превращения не зависят от изменений физической среды, непосредственных воздействий одного человека на другого. Они приспосабливают время к соответствующим обстоятельствам — сессиям парламента, национальным или религиозным праздникам, так же, как и пространствам, местам собраний, расположениям выступающих, перемещению трибун и т. д., следуя собственным правилам.

Между двумя категориями толп можно легко установить поучительные различия. Самое важное из всех, которое доказывает нам, что одни толпы являются естественными, а другие — искусственными, — это способность последних к подражанию. Отсюда очень высокая степень сходства между членами этих групп, церквей, партий и т. д. Индивид там захвачен полностью и беспрепятственно обработан посредством некой мистической силы без всякого противодействия. Организуясь, толпы лишь делают явной эту скрытую силу, превращают внушение почти физическое во внушение социальное: «Сама организация, — утверждает Тард, — ничего не создает, ничего не изобретает, ничего не дифференцирует, она служит лишь для координации и предложения изобретений»[11].

Отсюда проистекает преимущество, позволяющее заменить спонтанные массы массами дисциплинированными, и замещение это всегда сопровождается прогрессом общего интеллектуального уровня. В самом деле, массы спонтанные, анонимные, аморфные низводят умственные способности людей на самый низший уровень. И напротив, массы, в которых царит определенная дисциплина, обязывают низшего подражать высшему. Таким образом, эти способности поднимаются до определенного уровня, который может быть выше, чем средний уровень отдельных индивидов. Почему же? Ответ прост: потому что все члены искусственной толпы подражают и должны подражать руководителю, который создал эту толпу. Отсюда следует, что его умственное развитие становится их развитием. «Таким образом, правы те, — пишет Тард, имея в виду Ле Бона, — кто замечает, что толпы в целом стоят ниже по умственному и нравственному развитию, чем большинство их членов. В этом случае играет роль не только то, что целое, как всегда, не похоже на его элементы, продуктом комбинации которых оно является, более чем суммой, что обычно хуже, но нельзя сказать, что толпы или собрания близки друг другу в этом смысле. Напротив, там, где царит корпоративный дух и где он значительнее, чем дух толпы, часто бывает, что целое, которое постоянно вдохновляется гением главного организатора, выше, чем составляющие его элементы»[12].

Любой логик, изучив правила логики Аристотеля, может рассуждать как этот великий философ, так же и любой член любой партии или офицер любой армии усваивает политический или военный дух своего руководителя, основавшего партию или возглавившего армию, Ленина или Наполеона. Другими словами, все происходит так, как если бы после регрессивного периода естественной толпы, в течение которого умственные способности ее членов снижаются, наступило время организованных индивидуумов, являющихся частью искусственной толпы, схожих друг с другом способностью дисциплинированно подражать, усваивать навыки разумной общественной деятельности и подниматься до уровня суждений руководителя искусственной толпы, которую они составляют.

Возьмем, к примеру, жандармерию. Методы поиска злоумышленников, способы расследования, приемы оформления протоколов были разработаны умами выше среднего. Так что каждый жандарм применяет правила и приемы рассуждения, которые он был бы не в состоянии изобрести сам, поскольку они превосходят его естественные умственные возможности. Все это позволяет Тарду высказаться с некоторой ноткой комизма: «Если можно с достоверностью утверждать, что, согласно латинской поговорке — сенаторы порядочные люди, а сенат — скверное животное, я сто раз имел возможность заметить, что жандармы, хотя они часто и очень умны, все же глупее жандармерии»[13].

Ирония формулы заключается в инверсии смысла: жандармерия умнее жандармов. Это должно быть верно применительно к любой корпорации. Так, профессора и студенты должны были бы быть менее умными, чем университет, священники и христиане — менее добродетельными, чем церковь, генеральный секретарь и члены партии — менее сведущими, чем коммунистическая партия и т. д. Вот почему университет, церковь или партия должны были бы быть всегда правы.

Итак, то, что различает толпы — это существование или отсутствие организации. Одни толпы, естественные, повинуются механическим законам; другие, искусственные, следуют социальным законам подражания. Первые снижают индивидуальные способности мышления, вторые поднимают их на социальный уровень, который разделяет со всеми и их руководитель. Необычайное превосходство искусственных толп, то есть корпораций, заключается в том, что они являются воплощением и произведением человека исключительного, незаурядного. Они воспроизводят в тысячах и миллионах экземпляров черты одного человека: Де Голля, Эйнштейна, Иисуса Христа, Маркса. С точки зрения социальной существование этих репродукций, групп вождей, необходимого приводного ремня между уникальной личностью и толпой, наиболее важно и труднодостижимо. В определенном смысле эти группы даже более необходимы, чем сама масса: так как если они могут действовать, изобретать без участия массы, то масса не может ничего или почти ничего без них. Она лишь тесто, они же дрожжи.

Впрочем, эту идею очень ясно выразил Грамши. Он видит в руководителях движущий элемент партии, основной механизм, который делает эффективной и мощной работу всей совокупности народных сил, которые, предоставленные самим себе, не сдвинулись бы с мертвой точки или сделали бы очень немногое. Несомненно, один элемент не сформировал бы партию, но сформировал бы ее скорее, чем средняя масса, если бы она находилась в тех же условиях. «Говорят, — утверждает Грамши, — о полководцах без армии, но в реальности легче создать армию, чем полководцев. Правда также и то, что уже существующая армия разрушается, когда ей недостает полководцев, а при наличии группы полководцев, хорошо обученных, при согласии между ними,

при наличии общих целей, армия не замедлит сформироваться, даже если раньше она и не существовала»[14].

Я не хочу сказать, что великий теоретик марксизма следует учению французского психолога или руководствуется им, однако определенной преемственности исключить нельзя. Просто первый очень четко выражает квинтэссенцию концепции второго. И этот текст доказывает нам, до какой степени была распространенна данная концепция.

IV

С того момента, как начинают различать две категории толп, поле психологии масс значительно расширяется. Оно включает в себя наряду с уличными волнениями и периодическими взрывами в среде «простонародья» все те учреждения, столь разнообразные и непохожие на первый взгляд, — от церкви до армии, — куда входят также и партии, и государственные структуры. Ранее они там не фигурировали. Их природа совершенно различна, поэтому никто не осмеливался утверждать, что эти заботливо возведенные социальные здания, упорядоченно организованные участники политической, экономической и социальной жизни и есть толпы. Они согреваются тем же огнем, что и неосознанные скопления людей, полусонных, отдавших себя во власть эмоций. Как же признать, что в глубине этих абсолютно нормальных, холодных и мужественных социально организованных корпораций кроется, помимо того, горячая, безумная и женственная масса, которая при первом же удобном случае обнаруживает себя? Следует сказать, что «их историческая жизнь проходит в качаниях от одного типа к другому и эти образования предстают поочередно то в виде грандиозной толпы, как варварские государства, то в виде колоссальной корпорации, как Франция во времена Святого Людовика»[15].

Большинство психологов, в частности Фрейд, как мы увидим в дальнейшем, соглашались в этом с Тардом.

Но введение в научный оборот понятия «искусственной толпы» имеет некоторые последствия, в том числе и политического порядка. Здесь существует разногласие между Ле Боном и Тардом, о чем следует сказать несколько слов, чтобы лучше понять их позиции. Мы согласны в главном, говорит Тард Ле Бону: народные классы, революция представляют собой опасность, которой демократия во Франции не может противостоять. Однако наши позиции начинают расходиться, когда вы утверждаете, что наибольшая угроза исходит от действий неугомонных пролетарских толп. По моему мнению, здесь больше страха, чем беды. Массы эти переходные и временные, они приходят и уходят, поднимаются и опадают, как тесто. В конечном итоге они остаются бессильными. Спонтанные ассоциации людей, подчиненные капризам физической среды, колеблющиеся между приступами гнева и энтузиазма, бесспорно производят сильное впечатление. Но как восхитительны они в моменты сплочения, коллективного возбуждения и

как ничтожны в час распада, депрессии, когда недостает стабильной структуры, чтобы собрать части в целое, сберечь опыт и обеспечить преемственность. Это ясно видно на следующий же день после мятежей, жестоких и героических манифестаций; каждый возвращается к себе домой, грустный и одинокий, как после праздника.

Толпы становятся по-настоящему опасными лишь тогда, когда они возрождаются через все более определенные интервалы времени и превращаются в искусственные толпы, секты или партии. Предшествующая эволюция меняет свое направление. Секты или партии суть ростки толпы, которой они руководят и которую вдохновляют на будущую осмысленную деятельность: «Когда группа забастовщиков бьет в точку, именно туда, куда нужно бить, разрушает именно то, что нужно было разрушить, например, инструменты рабочих, остающихся на заводе, чтобы достигнуть своей цели, — это значит, что за ними уже стоит профсоюз, объединение, некоторая ассоциация. Толпы манифестантов, процессии, торжественные погребения поддерживаются товариществами или политическими кружками. Крестовые походы, эти колоссальные воинственные толпы, породили монашеские ордена имени Петра Отшельника или Святого Бернара. Волнения 1792 г. вдохновлялись клубами, возглавляемыми и направляемыми осколками бывших военных корпусов»[16].

Вы понимаете почему? Потому, что секты и партии, будучи организованными, обладают дисциплиной, накапливают опыт и объединяют вокруг одной идеи людей, которые различаются по своим талантам и по своей отваге. В этих сектах и партиях доминирующая воля может легко утвердиться и распространиться до последних уголков общества, причем наиболее короткими и надежными путями. Перемещения и приказы, исходящие из центра, выполняются с большей обязательностью, если организация построена более рационально, а мимикрия гарантирована в большей мере. «В том и состоит опасность сект, что, предоставленные самим себе, они (толпы) никогда не являются очень злонамеренными: но достаточно бывает слабой закваски озлобленности, чтобы поднять тесто глупости. Часто оказывалось, что секты и толпа, будучи отделенными друг от друга, были неспособны на преступления, но, соединенные вместе, они легко становились преступными»[17].

Замените слово «революционер» на слово «преступник», и вы немедленно поймете, что именно хочет сказать Тард. До определенного момента решительное меньшинство и беспокойное большинство, социалистическая партия и рабочая масса, например, по отдельности не представляли опасности для общественного порядка. Но, объединившись, они получают серьезные шансы преуспеть в этом. Сделаем еще один шаг вперед. Даже если события развиваются таким образом, то лидер, пусть и авторитетный, являющийся объектом стольких надежд, все же не сумел бы один избежать опасности. Недостаточно

обольстить естественную спорадическую толпу. Несмотря на то, что толпа собрана и приведена в состояние волнения, еще нужно ее организовать, преобразовать, хотя бы частично, в корпорацию (партию, армию, церковь) последователей, которые подражают вождю и следуют за ним. Только при этом условии общественный порядок может быть либо упрочен, либо опрокинут.

Теперь ясно видно, какова в этом смысле главенствующая роль организации. Она состоит в том, чтобы умножить возможности лидеров, распространяя более упорядоченным способом их идеи и указания. Она облегчает внушение на расстоянии. В принципе заблуждаются те, кто утверждает, что организация позволяет достичь наилучшего размещения индивидов, что она необходима для их кооперации, помогает избежать беспорядков или исправляет ошибки внутри сообщества. Эти следствия существуют, но они второстепенны. Нет, превосходство организации состоит, прежде всего и преимущественно, в существовании хорошо налаженного механизма подражания низших высшим, в точном воспроизведении изобретений верхушки низшими слоями, в соответствии всех одной модели: «Особенно действенно, — пишет Тард, — распространение примеров для подражания, которое использует социальная иерархия; аристократия строит водокачку, необходимую для последовательного извержения каскада подражательных действий, причем такие каскады неуклонно расширяются [18]».

Когда утверждают, что организация более действенна, потому что она обеспечивает лучшую согласованность между людьми или помогает избежать ошибок в процессе работы, то тем самым пытаются скрыть истину. Организация потому более действенна, что регулирует процесс подражания и позволяет лидеру вылепить массу по своему подобию. В конечном счете, организация будет «иметь ту же ценность, что и ее лидер».

Важное замечание. Если основная часть толпы, организованной и дисциплинированной, подражает природе своего лидера, то теперь важно понять именно его.

ГЛАВА 3
ПРИНЦИП ВОЖДЯ

I

Постараемся выразиться яснее. Согласно психологии толп, массы не способны к истинному духовному созиданию и общественной инициативе. Любые важные изобретения, все значительные изменения в истории являются индивидуальным творением. За каждым коллективным проявлением прячется индивидуальность, а не наоборот. Что же касается культа масс, прославления их роли в обществе, все это лишь трескучие декларации, исходящие от демагогов, которые пытаются скрыть свои безмерные амбиции, если не лицемерие. Так разумны ли толпы? Почему же тогда они позволяют обманывать себя людям, которым они доверились и от которых больше ничего не требуют? Богаты ли они талантами и добродетелью? Тогда почему же они так плохо справляются с властью, когда им доводится заполучить ее, с властью, которая иногда приводит их к лучшим, но куда более часто к худшим крайностям? На самом деле друзья толп — это ложные друзья. В действительности они друзья только самим себе.Тард прямо говорит об этом: «Надо заметить, что все эти поклонники масс, и только масс, хулители людей особенных, проявляли лишь чудеса гордости. Никто больше чем Вагнер, если не Виктор Гюго, после Шатобриана, может быть, и Руссо не проповедовал теорию, согласно которой „народ является действующей силой произведения искусства“, а „отдельно взятый человек не может ничего изобрести, а способен только присвоить общее изобретение“. Существуют такие коллективные восторги, которые ничего не стоят самолюбию личности, как безличная сатира, никого не задевающая, поскольку она обращена ко всем без разбора»[20].

И в наше время эти замечания не стали менее актуальными. Кто не знает, сколько людей, обладающих хоть крупицей власти, выдают себя за творцов истории, именно благодаря которым все совершается, хотя их речи доказывают обратное? Чтобы сохранить власть, они убеждают толпы думать так, как они. Им это удается, если судить по политическому долголетию партийных лидеров, даже самых демократических. Поразительный спектакль, несмотря на его банальность: наверху вождь, щедро изливающий свои обещания на толпу, находящуюся внизу, она же дружным хором возвращает ему потоки похвал и клятв, уверяя его, что он уникален и что давно уже земля не рождала деятеля такого масштаба. И с той, и с другой стороны все понимают, почему

другой это говорит, но не осмеливаются в этом признаться, потому что ни тот, ни другой не занимают своего истинного места: наверху тот, кто должен был бы быть внизу, а внизу те, которые должны были бы быть наверху. Со всей определенностью нужно отбросить мнение о том, что человеческие сообщества лишены креативности. История и этнология прекрасно доказали это на материале религии, языка и экономики. Существует ли открытие более фантастическое, чем земледелие, более замечательное, чем поэзия и музыка, обязанные своим появлением гению народов? В моем «Эссе о человеческой истории природы»[21] я показал народные корни искусств, техники и науки. При условии, что группа или социальное окружение дали по меньшей мере начальный толчок, человек же берется за дело и завершает общий труд. Но это условие необходимо.

Если рассмотреть доводы, посредством которых психология толп оправдывает превосходство индивида, то становится очевидным, что все они сводятся к одному: изобретательность. Ученый, государственный деятель, президент или секретарь партии, одним словом, руководитель, представляет собой квинтэссенцию индивидуальности, их прототип — это изобретатель. Предметы их деятельности, области, естественно, совершенно различны. Зато их черты идентичны, основные таланты общи. Буквально во всем можно обнаружить различие между категориями людей, наделенных призванием изобретать, а значит, руководить и большинства людей, удел которых — подражать, а следовательно, быть ведомыми. Их можно распознать по тому, что они носят имя и уподобляются образу того, за кем они следуют: христиане — образу Христа, дарвинисты — Дарвина, коммунисты — Сталина, психоаналитики — Фрейда и так далее.

Сказать, что лидеры представляют собой род изобретателей или что изобретатели — это разновидность лидеров, будет банальностью и преувеличением. То зерно правды, которое содержится в этой банальности, я покажу в дальнейшем. Если вождь привлекает и обольщает массу, то это происходит посредством какого-то оригинального и экстраординарного деяния, на котором он строит свой авторитет. Он очаровывает каждого из тех, кто ощущает себя вовлеченным в этот процесс подражания. Мы все вместе подхватываем потребность такого подражания и интериоризируем ее. Начав с воцарения в наших «Я», лидер затем переходит к их поглощению. Поскольку он занимает одно и то же место в психической жизни тысяч и даже миллионов людей, то сходство их реакций, единообразие чувств, аналогичный строй их мыслей порождают впечатление коллективного сознания, группового духа, общей идеологии, существующих автономно. Действительно, можно было бы вести речь о массе копий, воспроизводящих сознание, дух и идеи одного-единственного человека, лидера, так же, как миллионы дисков или книг являются копией с одного-единственного диска, с одной-единственной книги. Можно сказать, что в первом случае мы

имеем дело с продукцией социальной имитационной машины, а во втором — с продукцией физической машины по производству оттисков.

Тард, который и здесь является нашим гидом, уточняет: «Подражание — это первичная сила военного организма, но что же копируется в армиях? Воля и идеи руководителя, которые благодаря подчинению и восторженной вере распространяются по всей армии и из сотен тысяч делают одну-единственную душу. В коллективной душе нет ничего таинственного и загадочного: эта просто душа вождя»[22].

Конечно, эта гипотеза имеет общий характер и применима не только к армии. Ее истинное значение обнаруживается без труда. Она исключает понятие «коллективное сознание», которое использовал Дюркгейм, и понятие «душа толп», которым злоупотребляет Ле Бон. Такая душа, утверждает Тард, неуловима и не существует в реальности. Или, скорее, это не что иное, как душа вождя. Душа толп, ее психическое единство, — это и есть тот идеальный лидер, которого несет в себе каждый из их членов.

Вспомним обобщающую формулировку Мишле: именно душа «вождя концентрирует в себе честь народа и становится его грандиозным типажом». Основатель однажды созданной человеческой общности в какой-то мере является образцом, на которую она похожа, как семья на своего главу. И так же «как зародыш основополагающего порядка был обеспечен в зародившемся рассудке благодаря появлению „Я“, первое зерно общественного порядка было дано примитивному обществу благодаря появлению вождя. Вождь и есть социальное „Я“, предназначенное для развития и бесконечных изменений»[24].

Итак, это принцип существования любой толпы, повторяющий неустанно: «В сущности, люди не могут обойтись без того, чтобы ими руководили, как и без еды, питья и сна... Эти политические животные нуждаются в организации, то есть в порядке и в руководителях». «Это закон природы: когда группа людей собирается вместе, эти люди влекутся инстинктом под власть одного из них». «В каждой социальной сфере, от самой высокой до самой низкой, с того времени, как человек перестал быть одиноким, он подпадает под закон вождя»[27].

Каждый в свойственном ему стиле, Де Голль, Зигель и Ле Бон, заявляют, по существу, одно и то же: взятые по отдельности, люди свободны, объединившись, ищут вождя, отдавая себя ему и следуя за ним. Этот принцип [28], заявляя о себе с непреложностью математической аксиомы, навязывает свою очевидность, даже если его резкая форма нас и коробит. Но, это уже известно, психология толп не подслащивает пилюль и не оправдывает своих резких утверждений. Она в изобилии черпает эти доказательства в общей традиции народов и вверяется их опыту, чтобы подтвердить свои доводы. Если вы ищете дополнительных доказательств, она предлагает вам открыть глаза и посмотреть на то, что происходит вокруг. Ведь ясно как день, что большинство людей принимает закон вождя, живого или мертвого. Ни в одном из известных

обществ не существует вождя без подчиненного, а подчиненного без вождя. Такова иерархия закабаленного человечества. [29]

II

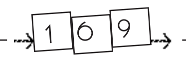
«Человек, — утверждал Кант, — это животное, которое с момента, когда оно начинает жить среди других индивидуумов своего вида, нуждается в хозяине... Однако этот хозяин в свою очередь так же, как и оно, является животным, которое нуждается в хозяине». Этот хозяин хозяина и есть, как вы знаете, идея, которую он открыл или которая овладела им. Она служит прочной основой представления, которое он составил себе о мире и собственной роли в этом мире. Представление, от которого не отойти по той простой и ясной причине, что другого он не имеет. У него нет выбора. Он может в лучшем случае изменить его на другое представление или предать его. Он замкнут в рамках этого представления, идеологии, узник миссии, без всякой возможности оставить ее, подобно художнику, который замкнут в рамках своего искусства, своего восприятия форм и цветов, в реальности, которую он изображает такой, какой видит, и не смог бы изобразить иначе.

В этом смысле вождь стремится господствовать над людьми в такой же мере, в какой над ним властвует идея: это первое звено подлинной власти. Какой бы титанической и исключительной она ни была, он таков же. Она дает ему превосходство над другими, особенно в век, когда массы жаждут уверенности и надежд. Еще Ле Бон пишет: «Верующие, апостолы, вожди, одним словом люди убежденные, имеют несомненно иную силу, чем негативисты, критики и равнодушные: но не будем забывать, что с нынешней силой толп, если бы она одна могла приобрести достаточно авторитета, чтобы заставить признать себя, она вскоре превратилась бы во власть настолько тираническую, что все должно было бы немедленно подчиниться ей»[30].

Вот почему психологические особенности вождя, которые покоряют нас и делают из него некоего прирожденного Месмера, аналогичны особенностям изобретателя, человека сильного и асоциального, поглощенного тем, что Бальзак называет поиском абсолюта. Они указывают на единство цели, *singleness of purpose*[1], как говорят англичане, свойственное человеку, охваченному единственной страстью. То есть ясновидцу, упрямцу, однобожцу. Тард пишет об этом следующим образом:

«Личное влияние одного человека на другого, как мы знаем, является феноменом элементарным и лишь в незначительной степени отличает внушающего от внушаемого. Благодаря своей пассивности, покорности, которые столь же неисправимы, как и неосознанны, толпа подражателей является разновидностью сомнамбулы, в то время как изобретатель, инициатор своей необычностью, своей мономанией, своей невозмутимой и одинокой верой в самого себя и в свою идею,

[1] Целеустремленность *(англ.)*.— *Прим. пер.*



верой, что окружающий скептицизм ни в чем не ослабевает, так как имеет социальные причины, этот субъект в соответствии с тем, что мы сказали выше, являет собой что-то вроде сумасшедшего. Безумцы, ведущие сомнамбул: какая логика следует из этого, скажут нам? Однако те и другие соревнуются в реализации логического идеала, и, кажется, они поделили задачу, стадность одних служит сохранению и нивелированию социальной веры, а отвага других служит ее возвышению и упрочению»[31].

Вот описание, которое проливает яркий свет на то, о чем можно было думать и писать меньше века назад в труде научного характера по поводу масс и сообщества. Самое меньшее, что можно сказать об этом: авторский тон лишен нейтральности, он не дает себе труда одеть свои предубеждения в научный язык. Но пойдем далее. Текст сжато излагает все элементы этих Führernaturen, по выражению Макса Вебера, который их обновляет и комбинирует по-иному в своей теории. Там есть все: и превосходство личности над толпой, и примат акта изобретения над актом подражания, и мономаническая решительность человека, предназначенного очаровывать и гипнотизировать массы почитателей и дарование идеального гипнотизера, какого можно встретить с трудом.

Но что же ищут вожди в толпе? Какое желание толкает и привлекает их к ней, заставляет их воздействовать на нее? Желание власти, личная амбиция, классовый интерес? Все это, конечно. Однако психология масс открывает нам единственную причину, которая господствует над всеми другими: желание авторитета, пробужденного в них всемогуществом верований, которые в итоге их изменяют. Если речь идет о личностях, это могут быть имена Наполеона или Сталина, Иисуса Христа или Карла Маркса, если о функциях, то это будут титулы: генерал, профессор, император или президент. Желание авторитета проявляется в желании известности, от которого никакой человек не застрахован. Отсюда у вождя навязчивая идея присваивать свое имя людям, партии, городам, наукам и т. д. Их число измеряется его влиянием. Отсюда опять же этот вальс имен, когда вождь меняется, отстраняется или умирает.

Спрашивается, может ли быть руководитель анонимным. Конечно же, нет. Ни один вождь не обладает подлинной властью, если никто его самого не ассоциирует с его именем. В этом случае у него нет ни имени, ни лица. Это немного напоминает случай преемников Тито: после смерти этого великого руководителя власть, партия, народ — все ушло в небытие. Едва шеф начинает командовать, он стремится заставить других повторять его имя: «Хочется, чтобы они произносили его часто и перед большим количеством народа до тех пор, пока много людей его выучит и привыкнет его произносить [32]».

Быть именем и сделать себе имя ничего не значит для разума, но значит все для эмоций. Это уверенность в продолжении — в славе или бессмертии — и наиболее ощутимый знак обладания властью

и господством над другими. Стать образцом для них и центром внимания. Одним словом, проникнуть в их «Я» и господствовать над их воображением. «Эти люди. — пишет Михельс по поводу партийных руководителей, — которые приобретают часто что-то вроде ореола святости и страдания, просят в уплату за оказанные услуги только одну компенсацию: признание»[33].

Без этого признания со стороны народов и толп ни один король, коронованный или нет, ничего не значит. Вот почему все вожди зависят от толпы, что определяет их внушающую силу. Они обязаны верить тому, чему верит она, видеть то, что видит она. Каждый может отождествляться с их решениями и понимать их с первого слова и без колебаний. После того, как они стали великолепными зеркалами толпы, она отражается в них в такой же степени, как они в ней. Вот почему лидер, если ему знакомо одиночество, не знает уединения. Он не сумел бы оставаться вне массы, из которой вышел, не заслужив славы циничного притворщика, служащего своим амбициям. Его сила в том, чтобы быть правдивым и действовать правдиво. Если он действует по правде, не являясь сам по себе правдивым, его сила утрачивается. Он впадает в иллюзию, что является владыкой, не будучи им в действительности. Таким образом, он теряет силу своего обаяния, весь тот капитал доверия, которое оказала ему толпа.

Напротив, до тех пор, пока он остается зеркалом толпы, массы узнают себя в нем. Они признают в нем авторитет коллективной веры, их общего тирана. Восхищаясь им, они восхищаются собой. «Когда толпа восхищается своим лидером, — заключает Тард, — когда армия восхищается своим генералом, она восхищается собой, она присваивает себе то высокое мнение, которое этот человек имеет о самом себе»[34].

Восхищайся собой, и тобой будет восхищаться толпа — приблизительно такой совет нужно дать вождю. Итак, подражая своему лидеру, толпа укрепляет уважение к себе, упрочивает свое социальное «Я». Каждый в глубине души чувствует, как он становится маленьким Эйнштейном, маленьким Наполеоном или маленьким Де Голлем, он видит себя новыми глазами. Надо полагать, что сильный руководитель укрепляет и повышает личность своих сторонников и последователей, тогда как слабый руководитель ее ослабляет и разрушает. Как если бы самоуважение каждого француза, например, прошло через взлеты и падения в зависимости от того, находится ли власть в руках господина Барра или господина Моруа или самооценка американца менялась бы соответственно тому, имеет ли он президентом господина Картера или господина Рейгана.

Таковой могла бы быть причина, которая заставляла бы людей требовать время от времени (не слишком часто!) сильного leadership[1] энергичного вождя. Тард, по прежнему он: «Фактически всякий раз, когда нация проходит один из таких периодов, когда это не только

[1] Лидерство (*англ.*). — *Прим. пер.*

великое воодушевление сердца, но и великие способности духа, в которых она имеет настоятельную потребность, необходимость личного правления усиливается, в республиканской форме или в парламентской окраске»[35].

Вспомним вместе с тем, что, за редкими исключениями, мы здесь имеем дело с очень опасной иллюзией. Режимы личного правления смогли на время эффективно восстановить национальную гордость. Они этого достигали ценой ущерба для достоинства народа, если не кровавой ценой. Сами они оставались горды, но это не могло длиться долго.

III

Почему же массы подчиняются вождю, как стадо — пастуху? Вечный вопрос. Со времен второй мировой войны этот вопрос стал еще более насущным. В современном мире появился феномен, создающий впечатление пережитка, причину которого безуспешно искали: власть некоторых вождей сопровождается каждодневным террором. Она требует жертв миллионов людей, по классовым или расовым мотивам, в немыслимом ранее масштабе. И власть этих вождей, что достаточно известно, держится волей народа. Несмотря на такую жестокость, они были окружены — и это продолжается — почтением и даже безграничной любовью. Во многих случаях любовь и почитание неразрывно связаны с ужасом, в совокупности напоминая болезненные приступы.

Однако то, что нужно прямо назвать преступлениями, было известно всем, за исключением тех, кто не желал об этом знать, кто закрывал глаза, чтобы не видеть, уши, чтобы не слышать, рот, чтобы не разоблачать. Так, популярность, которой были окружены Гитлер или Сталин, приводит в замешательство: «Тот факт, что тоталитарный режим, несмотря на всю очевидность своих преступлений, опирается на массы, глубоко тревожит», — пишет Ханна Аренд [36].

И не просто тревожит, а, по правде говоря, ошеломляет в том, что касается Сталина, о котором известно, с какой упорной настойчивостью он преследовал своих врагов. Контролировались дела и поступки каждого. Никто не ускользал от террора. От террора, широкое распространение которого было возможно только при стихийном участии масс. Тем не менее Сталин оставался очень популярным и его превозносили как бога. По правде говоря, ужас, который он внушал, был более эффективен в этом смысле, чем благосостояние, которое мог бы обеспечить его режим. «Мне кажется, — пишет советский философ Зиновьев, который знал этот период, — что сталинские чистки больше сделали для его обожествления, чем его настойчивая политика, имевшая целью снизить на пару копеек цены на продукты» [37].

И не только в самой России. Его прославляли и за ее пределами поэты, писатели и философы, присоединяя свои дифирамбы к хвалам со стороны политических деятелей. Даже во Франции не было недо-

статка в писателях, выражавших ему любовь и восхищение: «Сколько сотен и сотен тысяч, — писал Андрэ Вюрмсэ, — испытывают самую светлую любовь к маршалу Сталину»[38].

И в том же году Поль Элюар посвящает ему поэму, в которой можно прочесть: «И Сталин изгоняет беду, доверие свойственно его ясному уму». Вспомним, что по случаю его семидесятилетнего юбилея каждая семья, каждый завод должен был участвовать в сборе подарков, которые отправлялись целыми вагонами со всей Франции в Москву. Так чествовали того, кого Барбюс описывал как «человека с головой ученого, фигурой рабочего и одетого как простой солдат».

Когда он умер, толпы людей плакали на улицах. Их сердца были полны отчаяния, они с тревогой смотрели в будущее без него, чувствуя себя осиротевшими. Луи Арагон свидетельствует об этом: «Каждый раз, когда кто-нибудь пожимал мне руку, кто бы это ни был — Фернан, Франсуа или Даниель, — мы оба боялись смотреть друг другу в глаза, чтобы не увидеть слезы, потому что иначе невозможно было бы сдержать собственных».

Разумеется, это было не впервые, когда смерть обожаемого и деспотичного вождя вызывала подобные проявления чувств. Сам Калигула был обожаем, и народ чуть не взбунтовался после его убийства. Я вкратце напоминаю эти факты, еще свежие в памяти каждого, чтобы показать то, что совершенно изумляет: не подчинение масс и отсутствие протеста перед лицом таких вождей, а та глубокая привязанность, которую они испытывают к ним, вплоть до состояния безутешности по поводу его ухода из жизни. Как люди могут любить своего тирана? Как они могут следовать за ним, пренебрегая своей свободой и жизнью? Значит, они считают невыносимой всякую «вакансию власти» — термин, обозначающий реальную или воображаемую пустоту, в которой пребывают массы, когда вождь в агонии. Мы были современниками агонии Мао, Франко или Тито. Мы могли наблюдать за безнадежными усилиями врачей, пытавшихся продлить их существование, бесчеловечным способом задержать фатальный исход, как будто этим людям нельзя умирать.

Все эти интриги, утаивание настоящей даты смерти, предназначенные для того, чтобы поддержать иллюзию, что вождь болен или при смерти, тогда как он уже умер, имеют и другую сторону: реальная или предполагаемая реакция толпы на уход их лидера, толпы, лишенной своего «бога». Паника или ужас? Распад общественных связей, беспорядок, анархия, немыслимые траурные манифестации — все может быть (хотя самоубийства чаще происходят в среде поклонников кинематографических идолов). А еще ярость толпы, которая обращает свое горе в жестокость и направляет эту жестокость на приближенных вчерашнего вождя. Но всех этих мелких вождей, которые не смогли бы заменить великого, она одновременно возлагает ответственность и за его преступления, и за его смерть. И эта «вакансия вождя» заполняется

только после долгих траурных мероприятий и трудов по развенчанию, которые, в каком-то смысле, никогда не кончаются даже в обществах наилучшим образом организованных.

Вот ряд фактов, которые шокируют разум, задевают совесть и бросают вызов науке. Зато для психологии толп, которая их в некотором роде предвидела еще до того, как они стали массовыми, здесь нет ничего ни исключительного, ни безумного. Удивительно как раз другое: недооценка этой стороны человеческой природы.

IV

Так на что же опирается психология толп, которая смогла их предвидеть и заблаговременно описать? Рассматривая эту политическую проблему в классическом ключе, равенство людей считают окончательно достигнутым. Почему же, спрашивается, одни командуют, а другие подчиняются? Бывает, что большинство подчиняется из интереса или по причинам рационального порядка. Но если эти мотивы исчезают, то понять его невозможно. И сверх того, можно наблюдать, как оно активно идет или пассивно соглашается на то, чтобы его подчинили, и трудно отделаться от впечатления, что оно идет на это по собственной воле, по своей прихоти.

С точки зрения психологии толп загадка состоит не в том, что одни командуют, а другие подчиняются, это существовало и при деспотическом режиме. Все почти наоборот. Если бы все вожди командовали, а все толпы подчинялись, не существовало бы основной политической проблемы, да и проблемы вообще. Ведь она возникает тогда, когда первые колеблются, идут на поводу вместо того, чтобы руководить, тогда как вторые мечутся между двумя крайними полюсами, то навязывая свою волю, то впадая в апатию. Так рождается «патологическое недоверие, — пишет Тард, — демократической публики к своему властелину и страх, трусость, раболепие мнимого властелина, который наносит в декреты все указания своих подчиненных. Здесь есть логическая связь: такое недоверие и такой страх одинаково влекут за собой суждение о слабости вождя, есть здесь и телеологическая связь. В том смысле, что такое недоверие усиливает страх, если не страх это недоверие; а дисгармония, к сожалению, выражается в том, что соединение такого безумия и такого малодушия ведет народ в бездну»[39].

Иначе говоря, необходимость строгой иерархии диктуется так настойчиво, что если меньшинство наверху подчиняется, а большинство внизу диктует свою волю, власть теряет равновесие. Тогда возникает серьезная проблема. Единственным выходом будет установление порядка подчинения. И к вождям, которым это удается, испытывают благодарность. Им за это признательны, как атлантам, стоящим в полный рост и поддерживающим мир, который рискует опрокинуться.

Понятно, что для психологии толп повиновение масс представляется чем-то очень естественным. На чем же оно основано? Этот вопрос предполагает два ответа, один из которых можно резюмировать словом «репрессия», другой — словом «восхищение». Если мы принимаем первый, мы обращаемся к внешним основаниям: неприкрытое силовое давление полицейского аппарата, партий, администрации или состояний, денег, которые оказывают принуждение, развращают. Они порождают страх и унижение, уничтожают любую свободу движения и мысли, всякое желание сопротивления власти. Этот список можно было бы продолжить, так как в данном случае худшее всегда является неоспоримым.

Второе решение противостоит первому, как в «Дон Жуане» Моцарта соблазнение — насилию, психический подход — физическому. Оно предполагает внутреннее основание: стремление, психологическую потребность любить, подражать, подчиняться существу более сильному, от которого мы ждем указаний и защиты. Эта естественная склонность делает нас восприимчивыми к его внушающему воздействию, и мы его принимаем за свои желания. Она толкает нас к тому, чтобы мы отдали ему в распоряжение наши чувства, наше имущество, а в случае необходимости и нашу жизнь. Потребность восхищаться, видимо, проявляется у человека достаточно рано. Вслед за своим отцом, учителем, старшим братом он восхищается великими художниками или учеными, яркими историческими личностями, короче говоря, всеми теми блестящими или роковыми фигурами, которые населяют воображаемый Пантеон народов: «Потребность в восхищении у толп, — утверждает Ле Бон, — быстро превращает их в рабов людей, воздействующих на них своим обаянием. Они неистово обожают их [40]».

Эта потребность подчиняться и восхищаться не является психической потребностью индивида.[41] Будучи один, он ее и не ощущает, и не обнаруживает. Зачастую он сердится на того, кто ему о ней напоминает. Он рождается действительно свободным в полном смысле этого слова. Зато в массе эта потребность проявляет себя. Можно сказать, что каждый чувствует себя вынужденным подчиняться коллективной части себя самого, тому, что в его существе есть коллективного. На массах мощь этой потребности можно было бы пронаблюдать по многим показателям.

Прежде всего, почтение, которым они окружают своего вождя. Они смотрят на него, слушают его. Даже его имя произносится с уважением. Затем неистовство, с которым они отбивают любую атаку, любую критику, направленную против его персоны. Даже когда вожди противоречат сами себе или совершают преступления, толпы отказываются верить в это. Они перекладывают ответственность за это на других, например, на окружение вождя. Так они сохраняют безупречным его образ, созданный ими. Известно, что многие из советских людей и многие немцы были убеждены, что Сталин и Гитлер не знали о пре-

следованиях и расправах над оппозиционерами и евреями. Наконец, третьим признаком является удовлетворенное послушание, которое часто удивляет наблюдателей. Оно ведет к подчинению решениям и приказам, такому, что не требуется применения значительной силы или чрезмерного принуждения. Роберт Михельс в своем исследовании политических партий мог написать, что «Массы испытывают глубокую потребность преклоняться перед великими идеалами, а также перед людьми, которые в их глазах представляют таковые» [42].

Оба эти решения — давление и восхищение — диаметрально противоположны. В одном случае вождю подчиняются, так как он командует, в другом он командует, потому что ему подчиняются. Большинство социальных наук придерживаются первого объяснения. Они делают из давления насилие, источник которого в отношениях с позиции силы, то есть в социальном принуждении. Психология толп придерживается второго объяснения. Потребность восхищаться замечательным и авторитетным человеком, на которого они могли бы опереться, приводит, говорит она, массы к подчинению вождю. Если он господствует над ними, вынуждает их подчиняться своим приказаниям, то только с их согласия Это порой заходит очень далеко, вплоть до того, что вождь объявляет: «Я один, и этого достаточно».

V

Итак, масса — это деспотичное животное. Как только допускается, что она нуждается в том, чтобы подчиняться и восхищаться, кажется, что один человек, обладающий сильной и безусловной властью, может ее удовлетворить. Но где же формируется эта потребность, какова ее причина? Характерные особенности вождя имеют, без сомнения, тот же источник. Иначе как они могли бы подойти друг к другу, как ключ к замку? Забегая вперед, так как мы будем к этому возвращаться, заметим, что семья — это колыбель подчинения. И, стало быть, основание власти. Наша мать и особенно наш отец готовят нас к этому.

Они учат нас жестам и правилам подражания, навыкам конформности в целом. Более того, семья пробуждает в нас стремление и потребность в этом. До такой степени, что мы устремляемся к первому встречному, лишь бы его авторитет позволял ему быть примером и руководителем. Эта неосмысленная поспешность, эта поспешность загипнотизированного автомата выдает тот факт, что речь идет о потребности в послушании, которую необходимо удовлетворить. И мы из этого извлекаем удовольствие. «Эта правда, — заявляет Тард, — состоит в том, что для большинства людей есть некая непреодолимая сладость в послушании, в легковерии, в почти влюбленной снисходительности по отношению к своему лидеру»[43].

Можно сомневаться в точности этих аргументов. Труднее отрицать их логику и достоверность опыта. Вопрос стоит следующим образом: есть ли хоть один-единственный человек, который не испытывал бы

потребности восхищаться и подчиняться, который не ощущал бы ее подспудно в себе? Очевидно, если бы искушение свободой было бы более сильным, мир имел бы иное лицо, чем то, которое мы сегодня знаем. Подчинение и семья идут рука об руку. Желать одного — значит желать другого. Обнаружив эту связь, психология толп довела ее до логического конца. И она сделала отца прообразом любого типа вождей, ключом тех чувств, которые мы к ним испытываем. Не Фрейд, а именно Тард написал следующие строки: «Даже в обществах наиболее элитарных односторонность и необратимость, о которых идет речь, всегда существуют на. основе социальных институций в семье. Поскольку отец есть и всегда будет первым властелином, первым священником, первым образцом для сына. Любое общество даже сегодня начинается с этого»[44].

Даже если массы зачастую защищаются от попыток коллективного воздействия, если они абсолютно не доверяют рекламе, пропаганде, это вовсе не из-за страха, что их контролируют или подчиняют с помощью силы или давления. Они умеют им противостоять еще большими силой и давлением. Нет, в действительности они боятся увидеть вновь появившегося внутреннего демона, который всегда толкает их к поклонению и подчинению. Они как человек, который на некоторое время прекращает пить или принимать наркотики. Он не боится вновь начать пить или колоться, но боится своей тяги к вину или наркотику. Он опасается, как бы это желание не привело его к пороку, но против самого этого желания он беззащитен.

Вот почему чисто психологические способы убеждения и обольщения, таким образом, в итоге более эффективны. Одна поражающая формулировка порой значит больше, чем хорошо вооруженная дивизия: «В мире существуют только две силы, — говорил Наполеон, — сабля и разум. В конечном счете сабля всегда проигрывает разуму».

Вот таково пристрастное мнение психологии толп в этом старом и сомнительном споре цивилизаций о порабощении. Как только люди объединяются, они стихийно начинают подчиняться одному из них. Лидер — это тот, кем все восхищаются. Повсюду, таким образом, воссоздается, как внутренняя естественная потребность, видимое или скрытое разделение на предводителя и ведомых. Эта потребность масс извращенно реализуется во внешней репрессии, осуществляемой государством. В этом смысле не вызывает сомнения, что большинство наук придерживались противоположной теории, разделяемой сегодня всеми.

ЧАСТЬ 5
МНЕНИЕ И ТОЛПА

ГЛАВА 1

КОММУНИКАЦИЯ — ЭТО VALIUM НАРОДА

I

Коммуникация — это в высшей степени социальный процесс. Измените ее форму, ее средства, она тут же изменит природу групп и форму власти, этому нас учит история. Было бы ошибочным рассматривать коммуникацию как простой инструмент в руках людей, стремящихся овладеть толпами. На самом же деле это она навязывает им свои правила, с которыми они обязаны считаться. Я только укажу, как пример, на глубокую трансформацию политической и культурной жизни под влиянием в первую очередь радио, а затем телевидения. В масштабе одного поколения стиль и темп речей, соперничество словесного и образного времени полностью видоизменились.

Тард это предполагал. Каждому типу связи, говорит он, соответствует некоторый тип социального сообщества: традиционной коммуникации из уст в уста — толпа; современной коммуникации, берущей свое начало с газеты, — публика. Каждой соответствует особый тип лидера. Пресса породила свой собственный — публициста.

Мне, быть может, возразят, что речь идет о частном вопросе. Действительно, здесь ничего не говорится об экономических и социальных условиях этих отношений. Все это в каком-то смысле слишком легковесно для того, кто хочет быть исчерпывающим, и нас бы это не могло удовлетворить. С другой стороны, тема ясна и не требуется много слов, чтобы обозначить ее: развитие средств коммуникации определяет развитие групп и их способ коллективного внушения. Так же, как существует естественная история техники и труда, существует естественная история коммуникаций. Она представляет нам настоящую психологию социальных связей, высказываний и убеждений.

II

Постараемся дать ее краткий очерк. Ему не нужно быть полным для того, чтобы выглядеть поучительным. Все начинается, вы это представляете, с разговора. Среди действий и реакций, происходящих между людьми, он является тем простейшим социальным отношением, из которого проистекает большинство наших мнений. Тард даже думает о науке, которая специально была бы посвящена разговору. Он полагает, что посредством соединения фактов, собранных в самых различных культурах, можно было выделить «значительное число общих идей, способных сделать из сравнительного разговора настоящую науку в духе сравнительной религии, или сравнительного искусства, или даже сравнительного производства, другими словами, политической экономии!»[1].

Как ныне известно, в социологии и психологии разговор стал модным предметом, причем понадобилось определенное время для того, чтобы преодолеть безразличие и пробудить интерес к этому феномену, одновременно важному и простому, что еще раз подчеркивает верность идей Тарда! Желание сделать разговор единственным предметом изучения превращает эту идею в еще более безумную, а следовательно, более справедливую. Тард, естественно, не удовлетворяется указанием на этот предмет, он выдвигает проект. Сначала речь идет о том, чтобы познать то, что понимается под разговором. «Беседовать, — задавал себе вопрос Мопассан, — что это значит? Загадка! Это искусство не показаться скучным, умение говорить интересно, нравиться неважно чем, обольстить ничем. Как определить это легкое прикосновение к вещам посредством слов, эту игру в ракетку незначащими словами, этот род легкой улыбки со смыслом, что же такое беседа?»[2].

Одно ясно: разговаривать — это значит не только обмениваться словами, так как собеседник должен пустить в ход весь арсенал: взгляды, модуляции голоса, осанку, окутать свою личность особой атмосферой, которую мы называем шармом. Сохраним же вместе с Тардом это слово «разговор», чтобы определить все диалоги, в ходе которых мы говорим с другим, чтобы заинтересовать, развлечь, порой посредством учтивости, желания быть вместе и в особенности из-за удовольствия поговорить. Все переговоры, которые небезынтересны и небескорыстны и которые преследуют иную цель, чем утеха собеседников, например, дипломатические или военные переговоры, юридический допрос, научная дискуссия отсюда исключаются. Тард делает также исключения для флиртов, светской болтовни, так как ясность их целей обольстить, угодить, напротив, не устраняет ни игры, ни удовольствия.

Согласно Тарду, разговаривающий с кем-либо фиксирует свое внимание и напрягает свой разум. Никакое другое социальное отношение не вызвало бы столь глубокого взаимопроникновения между двумя людьми, не оказало бы большего влияния на их мысли, чем разговор.

«Заставляя их договариваться между собой, — писал он, — он заставляет их общаться посредством действий, насколько неудержимых, настолько и неосознанных. Следовательно, он является наиболее мощным фактором подражания, распространения чувств, идей, образа действия. Речь увлекающая и радующая часто оказывается менее внушающей, потому что намерения человека очевидны. Собеседники действуют друг на друга непосредственно через тембр голоса, взгляд, выражение лица, магнетические пассы, жесты, а не только посредством языка. И правду говорят о хорошем собеседнике, что он в магическом смысле чародей»[3].

Тард с уверенностью утверждает как само собой разумеющееся, что разговор обязан своей действенностью способности вызывать эффекты, аналогичные гипнозу. Во многих отношениях она близка к непосредственному внушению, оказываемому человеком на человека.

Другая черта разговора в том, что он равноправен и восстанавливает равенство в мире возрожденного неравенства и имеет последствия в общесоциальном плане. «Он синтезирует в этом смысле, — читаем мы в одной из посмертно изданных записок Тарда, — все формы психологического взаимодействия. Из-за сложности своего воздействия он может прослыть за зачаточное социальное отношение. По причине этого взаимного характера действий он представляет собой самый мощный и одновременно оставшийся самым незаметным фактор социального нивелирования».

Внушение, удовольствие, равенство — вот три слова, которые определяют разговор. Но монолог предшествует диалогу. Необходимо предположить, по Тарду, что в истоках человеческого рода, в первой семье или в простейшей группе, один человек говорил — кем он мог быть, как не отцом? — и все другие ему подражали. После многочисленных подражаний все принимались говорить и беседовать. Итак, наблюдаются два монолога, которые следуют друг за другом сверху вниз — от вождя, который дает команду группе, — и снизу вверх — от группы, которая повинуется и во всем следует вождю.

И только впоследствии коммуникации от высшего к низшему и от низшего к высшему становятся взаимными. Параллельные монологи превращаются в диалоги. В целом, слово вначале было словом предводителя, оно приказывало, предупреждало, угрожало, осуждало. Затем, скопированное и повторенное, оно становится также словом последователей, оно одобряет, рукоплещет, повторяет, льстит. Наконец, в диалоге оно превращается в разговорную речь, не преследуя цели командовать или подчиняться, оно является дарением слова, сделанным другому.

Тард описывает и кропотливо исследует все обстоятельства, которые повлияли на эволюцию разговора. Он отмечает, что стиль и содержание наших бесед отражаются на положениях нашего тела. Разговор сидя более значителен, более интеллектуален и более обычен.

Наоборот, разговоры лежа из наших романов, в *triclinia*[1] с их медлительностью, текучестью кажутся более обстоятельными. Между тем, как и беседы во время прогулок у греков, они выражают собой пылкое оживленное движение ума. Он также отмечает, что наличие или отсутствие козуара — комнаты, предназначенной для бесед, является отличительным признаком определенных общественных классов и цивилизаций. Греки и богатые римляне ею располагали. Начиная с XIV в. н. э. итальянцы и французы, подражая им в этом, создали салон. Он был изобретен аристократией, но именно буржуа распространили его и сделали из него центральную комнату всех апартаментов, как бы малы они ни были (исчезновение салона и замена его общей комнатой, которая является не чем иным, как гостиной, явно является признаком заката беседы в нашем обществе). В народных слоях салоны и кружки обнаруживаются только в зачаточном состоянии, места встреч для бесед находятся большей частью вне дома, как, например, в кафе или бистро.

В этом перечне ничего не забыто, ничего не упущено: ни вопрос времени, отведенного для беседы, ни ее разные условия в зависимости от общественных слоев, ни даже женская болтовня и так далее. Все эти объяснения подчинены двум лейтмотивам. С одной стороны, беседы обогащают язык и интеллектуальный уровень общества. С другой стороны, они являются противоядием абсолютной власти: «Существует тесная связь, — таково мнение Тарда, — между течением беседы и изменением во мнениях, от которого зависят превратности власти. Именно там, где мнение меняется мало, медленно, остается почти неизменным, — разговоры редки, тихи, они замкнуты в тихом круге молвы. Там, где мнение подвижно, оживленно, где оно переходит из одной крайности в другую, — разговоры часты, смелы, независимы»[4].

Справедливо или нет, он полагал, что беседа обуздывает абсолютную власть, гарантирует свободу. У него угадываются ностальгия по старой общинной жизни, сожаление по поводу исчезновения салонов и клубов, которые создавали и рушили репутации, а также идеализация античной демократии, которая родилась и погибла в дискуссиях на агора[2]. «С точки зрения политической жизни, — утверждает Тард, — беседа еще до появления прессы является единственной уздой для правительств, неприступным оплотом свободы; она создает репутации и авторитеты, она распоряжается славой, а через нее и властью. Она стремится уравнять собеседников, ассимилируя их, и разрушает иерархии посредством их обсуждения»[5].

А это означает, что свобода и равенство зависят от беседы. Приводя в доказательство литературные салоны XVIII в., настоящие лаборатории идей, где было сформировано, проверено и выдвинуто значительное число понятий, которые Французская революция очень широко распро-

---

[1] Столовая в доме древнего римлянина, ложе для возлежания во время обеда (*лат.*). — *Прим. пер.*

[2] Площадь для народного собрания в Древней Греции. — *Прим. пер.*

странила и применила на практике, разумеется, Тард принимает следствие за причину, симптомы за болезнь, а разговор за условие равенства и свободы, тогда как нам кажется верным обратное. С наступлением иерархии двойной монолог разрушает диалог, стремление командовать и подчиняться отравляет удовольствие поговорить. Что касается свободы, нет вещи более ясной: деспоты недоверчиво относятся к разговору, преследуют его и всеми средствами мешают своим подданным беседовать между собой. Любое правительство, которое желало бы остаться стабильным, крепко держать в руках рычаги управления государством, должно просто начисто его запретить, преследовать и отравлять удовольствие, которое он доставляет. Именно во Франции, пишет Тард, если бы желали восстановить порядок прошлых времен, «примитивных эпох, когда не разговаривали вне узкого круга семьи, надо было бы начать с установления всеобщей немоты. По этой гипотезе само всеобщее избирательное право было бы бессильно что-либо изменить».

Золотые слова! Еще не ставший всеобщим, полувсеобщий мутизм, который сосуществует в огромном большинстве стран со всеобщим избирательным правом, великолепно иллюстрирует мысль Тарда. Он делает его признаком железной руки диктатуры. По существу, изучение наших систем власти по тому, какие разговоры они культивируют или запрещают, было бы одним из наиболее увлекательных, — этому социологи или психологи наших дней могли бы посвятить свои таланты скорее, чем многим исследованиям, предпринятым на самом деле. За критерий принимается: государство, в котором не говорят просто для того, чтобы говорить, является государством, где мало говорят, страной, где каждый подвластен печально известному изречению: «Молчите, осторожно, стены имеют уши».

Во все времена стены имели уши, но, говоря об этом, обычно имели в виду соседей, подслушивающих перебранки и распри за перегородкой. И Тард был весьма далек от того, чтобы предвидеть исключительное изобретение, которое сделала наша эпоха в этой области: установление микрофонов в стенах. Отныне становится возможным преследовать и записывать на расстоянии любой частный разговор без ведома собеседников. А подслушивающие устройства, подключаемые к телефону, позволяют также перехватить все получаемые и отправляемые сообщения. Эти прогрессивные новшества одновременно и воздают должное разговору, и являются средством пресечь его в самом истоке, внедряя подозрение в сердцевину даже наиболее простых и интимных бесед.

III

Легко представить себе затем вторую фазу, во время которой происходит закат разговора и рождение коммуникативных средств, которые его замещают. Элементарный обмен словами уже видоизменился в течение столетий под влиянием письменности. Переписка

продолжает его непосредственно, а диалоги философов, театр и роман создают новые формы. Кружки «собеседников» умножаются, обмен мнениями производится в широком масштабе. Но газета превосходит всех по средствам ее массовых аффектов. Представьте по аналогии замену стрельбы из лука артиллерийским огнем! Постепенно расширяя свою аудиторию, одна из маленьких речушек становится рекой, в которую впадают все остальные, обогащая ее своими выразительными средствами — роман, театр, политическое выступление и т. д. Впрочем, газета остается чисто коммуникативным инструментом, соединяющим общества от полюса до полюса. «Она началась, — замечает Тард, — лишь как эхо бесед и переписки, а стала почти единственным их источником»[7].

Если Бальзак-консерватор оплакивает это, то Бальзак-наблюдатель видит в этом благоприятный момент для процветания промышленности: «Так, нет ничего более необходимого, чем приспособить бумажную промышленность к нуждам французской цивилизации, которая угрожала распространить дискуссию на все и опираться на вечное проявление индивидуальной мысли, истинное несчастье, так как народы, которые размышляют, мало действуют»[8].

Но в отличие от своего героя, он не нажил состояния на прессе.

В современном мире все против разговора. Он предполагает неопределенность, раздвоенность, возможность изменить мнение другого. Под предлогом разговора по-своему удовлетворяется желание поспорить. К сожалению, воспользоваться этим удается все реже, так как правила и объективная информация заменяют собеседников, выступающих также спорщиками. Возьмем, например, торг, путаный и колоритный, между покупателями и продавцами. Как только вы вводите фиксированную цену, торг становится невозможен: пара обуви стоит столько-то, вы ее покупаете или не покупаете, вот и все. Продавец не попытается вас убедить, и вам нечего ему сказать или ответить. Беседы, которые порождали невежество и самолюбие, погибали в зародыше, по мере того, как статистические данные, специальные знания входили в нашу жизнь как объективные или претендующие на это. «Каждая новая информация заглушает старый источник спора. Сколько таких источников пересохло с начала этого века?»[9].

Мы усовершенствовали систему. Это «сделайте сами», то есть: читайте аннотацию и разбирайтесь сами! Со своей стороны, пресса навязывает свою тематику, свои безапелляционные суждения и делает почти ненужной переписку, эту культивированную форму разговора или повседневных споров.

Она умножает в сто и тысячу раз типографские мощности, что делает возможной передачу на расстоянии и с необычайной быстротой идей людям. «Передача силы на расстоянии несравнима с передачей мысли на расстоянии. Разве мысль — это не общественная сила на расстоянии?»[10].

В этом можно убедиться без труда. Когда тысячи и тысячи людей читают одну и ту же газету, одни и те же книги, у них создается впечатление, что они образуют одну и ту же публику, им кажется, что они всесильны в толпах. Можно подумать, что читатель газеты свободнее, чем человек толпы, что он имеет время поразмыслить над тем, что он читает, и он прежде всего выбирает свою газету. На самом деле он подвергается постоянному подстрекательству, так как журналист потакает его предрассудкам и его страстям, он делает читателя легковерным и послушным, легко им манипулирует. Так, масса читателей становится массой послушных автоматов, образец которой можно видеть в кабинетах гипнотизеров и которую можно заставить делать и заставить верить во все, что угодно. Способность газеты и журналиста мобилизовать, привести в движение публику во имя великих целей Тард мог наблюдать в следующем особом случае: «Это не потому, — пишет он, — что мы имеем во Франции всеобщее избирательное право, а потому, что мы имеем газеты, жадные до новостей и очень распространенные, что вопрос о виновности или невиновности Дрейфуса разделил страну на две части, или, лучше сказать, на две резко противоположные публики»[11].

По этому поводу Марсель Пруст, убежденный мемуарист, представляет, как один из его персонажей, князь Германтов, желая заказать мессу за Дрейфуса, узнает, что другой католик уже сделал такой заказ. И этот борец, этот дрейфусист, эта «редкая птица» — это жена самого князя. Каждое утро украдкой ее горничная покупает ей «Орор» [12].

Сила прессы кажется почти безграничной в кризисное время. Когда на горизонте возникает опасность, все граждане превращаются в читателей, ожидая того. что выйдет из-под пера журналистов, и «тогда можно видеть, — пишет Тард. — как общественная группа в своем высшем выражении, нация, превращается, как и все другие, в огромный массив возбужденных читателей, лихорадочно ожидающих сообщений. В военное время во Франции не могут продолжать существовать никакие общественные группы: ни классы, ни ремесла, ни профсоюзы, ни партии — если это не французская армия и не „французская публика“»[13].

С момента своего появления пресса, а сегодня мы можем добавить к ней радио и особенно телевидение, не переставала делать более редкими случаи встреч и дискуссий. Она уводит людей от общественной жизни к частной. Она прогоняет их из открытых мест, кафе, театров и т. д. в закрытые помещения домов. Она разгоняет собрания частного характера, клубы, кружки, салоны и оставляет существовать только пыль изолированных людей, готовых раствориться в массе, обрабатывающей их на свой манер. Только затем пресса объединяет их вокруг себя и по своему подобию. Сделав невозможными личные и спорные случаи взаимодействия, она заменяет их спектаклем фиктивных полемик и иллюзией единства мнений:«Если бы гипотетически, — принимается мечтать Тард, — все газеты были бы упразднены вместе с их обычной

публикой, разве население не стало бы в гораздо большей степени, нежели теперь, собираться в многочисленные и тесные аудитории вокруг профессорских кафедр, даже вокруг предсказателей, заполнять общественные места, кафе, клубы, салоны, читальные залы, не считая театров, и вести себя повсюду более шумно?»[14].

Это охлаждение к общественным местам нам очень хорошо знакомо. Когда проезжаешь сегодня города и деревни, то видишь, что скамейки перед домами пусты, кафе не заполнены, площади безлюдны, все люди сидят по домам, в определенный час прикованные к телевизору. Множество антенн, выросших на крышах домов, является наиболее красноречивым знаком этих перемен. Каждый знает, как трудно оторвать людей от телевизора, чтобы заставить принять участие в политическом собрании, присутствовать на религиозной церемонии или местной демонстрации.

IV

Естественная история коммуникаций пока еще не написана. Их сравнительное изучение остается желательным проектом, который мирно дремлет в папках науки. Мы, однако, знаем о них достаточно, чтобы выделить их особенности в сеть наблюдений, которые я только что подытожил. Они нас убеждают в том, что психология толп, основанная на трудах Тарда, сразу улавливает значение коммуникаций, называемых массовыми. Их основные черты проявляются с момента зарождения прессы. Трудно говорить о законах в данном случае, настолько это слово опошлено и опасно. Будем иметь в виду все же три тенденции, которые непрерывно подтверждаются. Первая касается радикального изменения роли, присущей разговору и прессе — добавим еще радио, телевидение, короче, медиа, — в создании общественного мнения. До массового общества дискуссионные кружки, общение человека с человеком представляли собой решающий фактор. Начиная с этого момента, идеи и чувства циркулируют и проникают понемногу в круги все более широкие. Наконец, книга и газета передают их дальше и быстрее так же, как дальше и быстрее перевозят пассажиров поезд и самолет.

С наступлением массового общества пресса становится первейшей основой мнений, которые распространяются мгновенно и без посредников во все уголки страны, даже по всему миру. Отчасти заменив разговор, она в какой-то степени господствует над ним. Пресса не непосредственно создает свою публику и влияет на нее, а именно посредством бесед, которые она стимулирует и порабощает, чтобы сделать их резонаторами. Вот как об этом говорит Тард: «Достаточно одного пера, чтобы привести в движение миллионы языков»[15].

Таким образом, в действии массовой коммуникации можно было бы указать два этапа. Один идет от прессы к узким кружкам, к простейшим группам «болтунов». Другой идет изнутри этих групп, где

каждый находится под внушением, влиянием других. Искомым эффектом является изменение мнений и поведения людей, их голосования или их установки по отношению к какой-то партии, например. «Таким, образом, в конечном счете сами действия власти, перемолотые прессой, пережеванные в разговорах, в значительной степени способствуют трансформации власти»[16].

Это двухэтапное видение действия коммуникации принято большинством специалистов после полувекового периода исследований. [17] Масс-медиа как таковые неэффективны на уровне отдельного человека. Они не изменяют ни его мнений, ни его установок. Но, проникая в первичные группы соседей, семьи, друзей и т. д. посредством личных обсуждений, они окончательно воздействуют на него и меняют его. Короче говоря, кампания в прессе, на радио или телевидении, которая не ретранслирована через прямое воздействие из двери в дверь, из уст в уста, имеет мало шансов оказать значительное влияние: «Кафе, клубы, салоны, лавки, любые места, где беседуют, — вот настоящие основания власти», — пишет Тард.

Нет необходимости разделять его видение общества или его веру в могущество разговора, чтобы признать, что на некотором уровне эти наблюдения не лишены здравого смысла и проверены опытом.

Обратимся ко второй тенденции: преемственность средств коммуникации постоянно заставляет толпу переходить из собранного состояния в распыленное. Оно ослабляет контакты между ее членами, изолирует их и отдает в распоряжение тем, кто пытается на нее влиять. Существует определенное чередование тенденций ассоциации и диссоциации, производимое техническими средствами, влекущее за собой психологические и социальные последствия. Поначалу разговор объединяет небольшое число собеседников в определенном пространстве, где они видят и слышат друг друга. Затем пресса удаляет их друг от друга и превращает в разрозненных читателей. Кино собирает различных людей в одном месте, где производится непосредственное заражение мыслями и чувствами. Телевидение снова их распыляет, запирает по домам, приклеивает к маленькому экрану, и даже непосредственный контакт в семье становится ограниченным.

Итак, реальное общение между близкими чередуется с чисто идеальным общением, которому соответствует абстрактное группообразование. Толпа первого уровня превращается в толпу второго уровня, влияние которой на ее членов, становясь все более и более широким, не снижает при этом своей эффективности. Наконец, третья тенденция — поляризация коммуникаций в каждом обществе. Утверждают ошибочно, но не без внешнего правдоподобия, что их развитие осуществляется в сторону большей демократизации и более массового участия публики. Но, когда их изучают более детально, наблюдают обратное. Вернемся назад. В тысячах бесед с глазу на глаз люди обмениваются мнениями, задают друг другу вопросы и отвечают на них. Они находятся в равном

положении, каждый имея одинаковые шансы повлиять на другого. Эти дискуссионные кружки представляют собой в то же время отдельные центры власти и формирования решений в замкнутой среде.

По мере того как масс-медиа развиваются, они вытесняют разговоры и снижают роль этих дискуссионных кружков. Каждый остается один на один со своей газетой, телевизором и в одиночку реагирует на их сообщения и внушающие воздействия. Отношения взаимности между собеседниками превращаются в отношения невзаимности между читателем и его газетой, зрителем и телевидением. Он может смотреть, слушать, но не имеет никакой возможности возразить. Даже учитывая условия, при которых он может использовать право ответить, он всегда в невыгодном положении. Устроить овацию, освистать, опровергнуть или поправить, дать реплику на газетную колонку, на изображение, которое появляется на экране, или голос по радио — все это становится невозможным. Отныне мы находимся пассивно в их власти. Мы — в их распоряжении, подчиненные власти печатного слова или экранного изображения. Тем более, что изоляция читателя, слушателя или телезрителя не позволяет ему узнать, как много людей разделяет или нет его мнение. Неравенство растет, асимметрия приводит к тому, что «публика иногда реагирует на журналиста, но сам он действует на нее постоянно»[19]. Таким образом, за некоторым исключением, общее правило состоит в том, что коммуникации поляризуются. Они действуют все более и более в одном направлении и становятся все менее и менее взаимны.

Эти три тенденции — отход от разговора, переход от собранного состояния к распыленному, поляризация прессы, радио и т. д. — по своей природе сходны в своих причинах и результатах. Они действуют совместно, но не одинаково, распространяя сообщения, приукрашенные, как лекарства, которые зачастую могут успокоить, но, когда нужно, также и взволновать умы. До такой степени, что последние уже не могут без них обходиться. Потребность в этих средствах коммуникации подобна наркотической зависимости. Не удается ли им без особых затруднений производить внушение и психологическое господство, которое их властелины и ожидают от них? Я воздержусь от морального суждения в области, где их и так избыток. Я только передаю факт, который так и не был опровергнут с того дня, когда о нем заявили.

ГЛАВА 2
МНЕНИЕ, ПУБЛИКА И ТОЛПА

I

Чтобы понять изменения, вызванные в нашем обществе развитием коммуникаций, нужно более детально рассмотреть их последствия. Начнем с тех, о которых идет речь в этой главе, они касаются природы толп. Забегая вперед, отмечу самое существенное: вместо толп, собранных в одном и том же замкнутом пространстве, в одно и то же время, отныне мы имеем дело с рассеянными толпами, то есть с публикой. Очевидно, что средства коммуникации сделали бесполезными собрания людей, которые информировали бы друг друга, подражали бы друг другу. Эти средства проникают в каждый дом, находят там каждого человека, чтобы превратить его в члена некой массы.

Но массы, которой нигде не видно, потому что она повсюду. Миллионы людей, которые спокойно читают свою газету, которые непроизвольно вторят радио, составляют часть нового типа толпы — нематериальной, распыленной, домашней. Речь идет о публике или, скорее, о публиках: читатели, слушатели, телезрители. Оставаясь каждый у себя дома, они существуют все вместе. При всей непохожести они подобны.

По Тарду, именно они более, чем эти колоритные толпы, представляют собой истинную новизну нашей эпохи. «Нынешний век, — пишет он, — начиная с изобретения книгопечатания, породил совершенно новый тип публики, который не прекращает расти и бесконечное расширение которого является одной из наиболее впечатляющих черт нашей эпохи. Создана психология толп: остается создать психологию публики...»[20].

В этом смысле он добился своего: опросы общественного мнения и анализ средств массовой информации способствуют этому. Теперь следует посмотреть, почему.

II

Организация превращает натуральные толпы в толпы искусственные. Коммуникация делает из них публику. Сразу отметим различия. Организация поднимает интеллектуальный уровень людей, находящихся в массе. Коммуникация понижает его, погружая их в толпы на дому.

Это означает вполне ясную мысль: будем ли мы разрознены или сконцентрированы, собраны на стадионе, на площади вокруг вождя или же уединены в нашей квартире, слушая радио, погруженные в чтение газеты, приклеенные к экрану телевизора, знакомясь с последним вы-

ступлением президента Республики, наше психологическое состояние одинаково — сопротивление разуму, подчинение страсти, открытость для внушения. Будучи рассеяны, мы, однако, разделяем одну и ту же иллюзию всемогущества, склонны к тем же преувеличенным суждениям и эмоциям, подвержены одним и тем же чувствам ярости и ненависти, как если бы мы все вместе вышли на улицу для массовой манифестации. Одним словом, мы будем оставаться «сомнамбулами», очарованными авторитетом вождей, готовыми им подчиняться и склонными им подражать.

Однако в одном случае мы достигаем этого состояния внушением вблизи, в другом — внушением на расстоянии, когда масс-медиа преодолевают всякие пространственные ограничения. Как если бы врач, вместо того, чтобы гипнотизировать пациента, которого он видит и слышит, гипнотизировал с помощью писем и фотографий сотни пациентов, которых он не знает и которые не знают его. От коллективного влияния, производимого вождями, поскольку это всегда нужно там, где они находятся, совершается переход к влиянию вождей, которые действуют, как гравитация, там, где их нет. И «конечно, для того, чтобы это *внушение на расстоянии,* людям, составляющим одну и ту же публику, стало возможным, нужно, чтобы они длительное время имели привычку к интенсивной общественной, городской жизни, внушению вблизи»[21].

Эту функцию выполняет газета. Верстка, расположение и окраска материала — все должно заставить читателя жадно приняться за чтение. Несмотря на внешнее разнообразие и пестроту, нужно, чтобы в ней был некий центр, тема, заголовок, который неизменно привлекает внимание. Это — гвоздь «все более и более выделяемый, привлекает внимание читателей, загипнотизированных этим блестящим предметом»[22].

Разница между этими двумя типами внушения объясняет различие между толпами и публиками. В первых имеет место физический контакт, во вторых — чисто психическая связь. Взаимные влияния, которые в физических общностях проистекают от близости тел, звука голоса, возбуждения и воздействия взгляда, в последних возможны благодаря общности чувств и мыслей. Поэтому толпы быстрее действуют и реагируют, подвергаются эмоциям, проявляют чрезмерные энтузиазм или панику. Публика медленнее приходит в движение, труднее включается в героические или жестокие действия, короче говоря, она умереннее. С одной стороны, имеет место сенсорное заражение, а с другой — чисто интеллектуальное, чему способствует этот чисто абстрактный, но, однако, вполне реальный тип объединения людей: «Но публики, — отмечает Тард, — отличаются от толп тем, что публики, подверженные вере и идее, каков бы ни был их исток, больше соответствуют публикам страсти и действия, тогда как толпы верующие и идеалистические менее сравнимы с толпами страстными и беспокойными»[23].

Короче говоря, толпы соотносятся с публиками, как общественное тело с общественным духом. Тогда возникает вопрос: как люди, которые не видят и не соприкасаются друг с другом, не воздействуют один на другого, могут быть связаны? Какая связь устанавливается между разбросанными на огромной территории людьми, которые находятся у себя дома, читая газету, слушая радио? Как раз они и составляют публику, они внушаемы, поскольку каждый из них убежден, что в тот же самый момент он разделяет мысль, желание с огромным числом ему подобных. Разве не известно, что первое, на что смотрит читатель большой ежедневной газеты, разворачивая ее, — это тираж? На читателя влияет мысль о чужом взгляде на него, субъективное впечатление, что он является объектом внимания людей, очень удаленных от него: «Достаточно, чтобы он знал об этом, даже не видя этих людей, чтобы на него оказывалось давление теми, кто составляет массу, а не только журналистом, общим вдохновителем, который сам невидим и неизвестен и тем более привлекателен»[24].

Наконец, толпы или публики, любые типы группирований в целом созданы и ведомы вождем. Как только наблюдается объединение людей, которые одновременно воспринимают идею, воодушевляются и направляются к одной цели, можно утверждать, что некий агитатор или предводитель выступает своего рода ферментом и вожаком их деятельности. Поскольку речь идет о толпах, он чаще всего спрятан, невидим, полностью растворен в анонимной массе и сам аноним.

Несомненно, часть идей Тарда стала банальной, но то, что он открыл публику, преуспел в предвидении ее судьбы в век масс, свидетельствует и сегодня о глубоком реализме его подхода.

III

Это не все. Тард вписывает одну из самых важных глав в общественные науки, признавая, что основная черта публики — это движение мнений, которое она порождает. Великий немецкий социолог Хабермас пишет, что Тард «был одним из первых, кто осуществил его (анализ общественного мнения) надлежащим образом»[25].

Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что этот анализ лежит в основе исследования социальных аттитюдов и методов зондажа. Они, пройдя окольным путем через Америку, вернулись к нам еще более эффективными и доступными всем. Да, эти исследования мнений, которыми пользуются и злоупотребляют наши газеты в такой степени, что почти каждый день можно видеть их расцвеченными новыми подобными исследованиями, восходят в своих истоках к теориям этого профессора Коллеж де Франс.

Но как определить мнение? Это кажется затруднительным, если не обратиться к противопоставлению и аналогии. Скажем, оно располагается между полюсом традиции, предрассудков и верований, с одной стороны, и полюсом разума, логики и личного ощущения, с

другой, как буржуа — между народом и аристократией. Оно представляет собой более или менее связную совокупность размышлений и ответов на вопросы современности. На самом деле мнение — это статистическая система, управляемая как логикой, так и чувством и разделяемая различным числом людей, от десяти человек до шести миллионов. Для того, чтобы эта статистическая система существовала, надо, с одной стороны, чтобы каждый человек сознавал подобие своих собственных суждений суждениям других — похожесть суждений, которые я высказываю, например, по поводу абортов, по поводу президента Республики, опасности ядерной энергии, и суждений по этим вопросам огромного числа французов в тот же момент. С другой стороны, необходимо, чтобы эти суждения относились к одному и тому же предмету, о котором мы все имеем представление, — аборты, президент Республики, ядерная энергия, — а если этот предмет нам не известен, он не имеет общественной значимости и, по всей видимости, не может быть предметом мнения. «Мнение, — скажем мы, — это мгновенная и более или менее логичная группа суждений, которые, отвечая на актуальные вопросы, воспроизводятся во множестве экземпляров у людей одной и той же страны, одного времени и одного общества»[26].

Вы вправе спросить: как возможно такое осознание сходства наших суждений? Нет ничего более легкого, ответил бы Тард. Суждение берет свое происхождение у индивида, который его написал или высказал, а затем распространяется мало-помалу на все общество. Таким образом оно становится общим. Общение с помощью слова, а в наши дни особенно с помощью прессы, производит общественные мнения. В то же время она вас убеждает в том, что вы разделяете их с большинством людей.

Впрочем, развитие средств коммуникации идет параллельно с развитием мнения. Мы его не изобрели, мнение существовало всегда. В клане, в племени, в городе, где все друг друга знали, коллективное суждение, сформированное посредством разговора, в котором участвовал каждый, или в речи ораторов в общественном месте, сохраняло тем не менее личный характер. Оно связывалось с лицом, с голосом, с известным членом группы, и каждый вносил в него свой вклад, как бы минимален он ни был. Именно поэтому такое мнение имело живое лицо и конкретный характер. В течение долгого времени мнение в управлении племенем, городом играло роль комментария, общего голоса античного хора, который подчеркивал вопросами, восклицаниями ужаса или жалости, удивления или возмущения слова и действия протагонистов, причем сами хористы действующими лицами не являлись.

В феодальных государствах, раздробленных и локализованных, где общественная жизнь ограничивается территорией города или местности, мнение существует в форме множества фрагментов мнений, которые не обнаруживают видимой или стабильной связи между собой. Это, так сказать, местнические мнения, укоренившиеся в традиции и касающиеся очень ограниченного числа людей. Бродячие торговцы,

подмастерья, скитающиеся по Франции ради совершенствования своего мастерства, солдаты, монахи, студенты и другие странники переносят, разумеется, новости и мнения. Но какое доверие внушают эти мигранты оседлому населению, в какой степени принимает оно мнения и суждения этих бродяг, немногочисленных и странных?

Сначала книга, затем журнал обеспечили недостающую связь и объединили эти фрагменты в единое целое. Эти средства чтения и передачи идей заменили локальный разум общественным. Первичные группы людей, близких и единодушных между собой, были заменены вторичными группами людей, тесно связанных между собой, но не видящих друг друга и незнакомых между собой. «Отсюда, — пишет Тард, — различия между ними: в первичных группах голоса preponderantur (взвешиваются) скорее, чем numerantur (пересчитываются), в то время как во вторичной и гораздо более обширной группе, в которой люди находятся, не видя друг друга, вслепую, голоса могут быть только просчитаны, а не взвешены. Пресса безотчетно действовала в направлении возрастания *власти количества* и ослабления власти характера, если не ума»[27].

В ходе этой эволюции, приведшей к победе количества, книги, журналы сломали пространственные, временные, классовые барьеры. Писатели и журналисты, действующие как современные всасывающие и нагнетающие насосы, направили все речки и ручейки отдельных мнений в огромный резервуар общественного мнения. Он все более и более расширяется, а вода в нем непрерывно обновляется. Они скромно начинали, как писаки или газетчики, которые выражали локальные мнения парламента, двора, разносили сплетни о пристрастиях власть имущих. Они пришли к тому, что всем заправляют, по собственной воле «задавая большую часть повседневных тем спорам и разговорам». Еще Бальзак сравнивал их власть с властью правителей государств: «Быть журналистом — значит быть проконсулом в образованной республике. Тот, кто может все сказать, может и все сделать? Это максима Наполеона, и она понятна всем»[29].

Благодаря журналистам мнение продолжало усиливать свое влияние на наши общества вопреки традиции и разуму. Ополчается ли оно на обычаи, нравы, институции, ничто ему не противостоит. Переходит ли оно на личности — разум замирает в нерешительности и теряется. Разве мы не видели в недавнее время, до каких крайностей может дойти кампания, проводимая прессой? Было бы гораздо лучше, если бы, согласно Тарду, она довольствовалась пропагандированием разумных деяний с тем, чтобы превращать их в традицию. «Сегодняшний разум становился бы чем-то вроде завтрашнего мнения и послезавтрашней традиции»[30].

Такая перспектива, конечно, имеет минимальные шансы. Вместо союза мнений и разума мы наблюдаем соперничество, которое только все более увеличивается. Экстраполируя, мы могли бы представить

себе время, когда традиция, побежденная и сломленная, научная мысль, находящаяся под угрозой уничтожения, будут представлять собой не более чем периферию мнения. Тогда класс людей — политиков-журналистов, философов-журналистов, ученых-журналистов — продублирует и заменит в глазах публики класс политиков, философов или ученых и будет царить в политике, философии или науке. Может ли осуществиться такое видение? Для многих людей это уже реальность: власть средств коммуникаций и власть общественного мнения — это одно и то же.

IV

Мы затронули эволюцию публики и мнения. Не следует ли рассмотреть ее общее значение в массовом обществе? Без всякого сомнения, хотя нужно было бы взяться за это с большой осторожностью. Существует факт: масс-медиа непрерывно изменяют отношения между социальными общностями. Экономические, профессиональные, а также деления, основанные на частных интересах, например рабочих и хозяев, крестьян и коммерсантов, теряют свой традиционный характер. Они трансформируются прессой, которая смягчает их и облачает в форму общественного мнения, выходящего за их пределы. На их месте возникают новые линии раздела в соответствии с «теоретическими идеями, идеальными стремлениями, чувствами, которые явно выделены и навязаны прессой»[31]. То есть деления в соответствии с мнениями.

С этого времени человек имеет тенденцию скорее принадлежать к публике, чем к общественному классу или церкви. «Итак, какова бы ни была природа групп, на которые делится общество, имеют ли они религиозный, экономический или даже национальный характер, публика является в определенной степени их конечным состоянием, так сказать, их общей деноминацией; именно к этой группе, в полном смысле слова психологической, представляющей собой состояния ума в процессе постоянного изменения, все и сводится»[32].

Конечно, интересы не исчезают. Они остаются на заднем плане, в тени. Пресса, между тем, преображает их то в теории, то в страсти, которые в большинстве своем могут быть общими. Отметим это: психология толп предвосхищает массификацию — в форме толп или публик, неважно, каким образом, — наций, общественных классов и т. д. Массификация означает, что все классовые конфликты превращаются в конфликты массовые, в конфликты страстей и идеологий. Это цель, преследуемая ее классическими построениями: превратить классовую борьбу в борьбу масс, которую можно выиграть психологическими средствами. В их числе фигурируют средства коммуникации, занимающие первое место.

Это все? Нет. Пресса во времена Тарда, а затем радио и телевидение изменяют, согласно тому же принципу, природу политических партий. Рассмотрим только прессу. Она растворяет все, чего касается.

Она разрушает традиционные стабильные группы — клубы, корпорации и т. д. — и превращает их в разновидность публик. Она проводит постоянный ток возбуждения и информации. Беспрестанно внимание перемещается с одной темы на другую: с забастовки на убийство, с войны на женитьбу короля и т. д.

Чтобы следовать за каскадом событий и творить события в свою очередь, чтобы поддерживать контакт со своими приверженцами, политические партии, малые или большие, должны пройти через этап газеты. Это их ставит в зависимое положение и втягивает в непрерывный процесс переработки их программы и составления публик. Некогда менее активные, но более долговечные, более крепкие, хотя и не такие колоритные, теперь партии создаются и воссоздаются в ускоренном темпе. Парламентская партия, якобинский клуб, например, имели «основную черту быть сформированными из собраний, где все соприкасаются друг с другом, где все общаются лицом к лицу, где персонально воздействуют один на другого. Эта особенность исчезает, когда партия превращается, сама этого не замечая, в публику. Публика — это огромная рассеянная толпа с неопределенными и постоянно меняющимися контурами, чисто духовная связь в рамках которой определяется внушением на расстоянии, осуществляемым публицистами. То рождается партия, то сливаются несколько партий. Но публика всегда вырисовывается и выделяется за их счет, увеличивает их, преобразовывает их, и она может достигнуть невероятных размеров, на которые собственно партии, партии-толпы, не могли бы претендовать. Другими словами, партии-толпы имеют тенденцию замещаться партиями-публиками»[33].

Хотя это описание и несколько смутно, можно узнать в первых партиях те, которые объединяются вокруг вождя или группы вождей, являющихся борцами, способными мобилизовать массы вокруг себя, а во вторых — партии, вожди и руководящие группы которых могут создавать коалиции между общественными группами в соответствии с требованиями момента. Можно было бы попытаться выделить среди партий-толп коммунистическую партию и голлистское движение, а среди партий-публик — радикал-социалистические партии, христианских демократов, союз за французскую демократию (U.D.F.). Социалистическая партия в разное время приближается то к одному, то к другому полюсу.

По Тарду, масс-медиа ослабляют партии борцов и масс. Они благоприятствуют партиям публицистов и публик. Или, что еще хуже, они превращают борцов в приводные ремни медиа, а народные массы в сырье для своей публики. Отсюда нестабильность, «малосовместимая с действием парламентаризма по-английски»[34]. Это суждение оказалось справедливым. Даже если оно и опирается на негодные основания, которые абсолютно противоположны нашим.

Заключая, отметим, что самое большое изменение, привнесенное прессой (а затем и другими открытиями в сфере коммуникации),

состоит в создании публик на месте толп, в замене распыленного, но связанного состояния социабельности на состояние собранное и квазифизическое. Пресса быстро научила, как массифицировать человека. Она сумела найти его, когда он один, дома, на работе, на улице. С тех пор радио и телевидение пошли дальше. Они приносят ему домой, воссоздают специально для него в четырех стенах то, зачем ему раньше нужно было идти в кафе, на площадь, в клуб. Таким образом, они используют гипноз в огромном масштабе. Вследствие этого каждый из нас входит в состав более или менее видимой, но вездесущей массы. В конечном счете человек — это остаток. Он перестает принадлежать публике только для того, чтобы оказаться в толпе, или же *vice versa*[1] он выходит из публики только для того, чтобы войти в другую.

[1] В обратном порядке *(лат.)*. — *Прим. пер.*

ГЛАВА 3
ЗАКОН ПОЛЯРИЗАЦИИ АВТОРИТЕТА

I

Авторитет относится к насилию в современную эпоху так же, как некогда душа относилась к телу. Власть представляет собой соединение обоих. Она немыслима как без первого, так и без второго. Приверженцы массовых коммуникаций утверждают, к ним можно прислушиваться или нет, что технический прогресс, обеспечиваемый медиа, происходит в направлении значительного выравнивания авторитета в наших обществах, то есть в направлении сближения управляющих и управляемых. Как блестящий итог этого, они уже почти на протяжении столетия провозглашают наступление всеобъемлющей демократии. Чтобы подтвердить свои заявления, они доказывают, что беспрерывно возрастающее большинство читает газеты, слушает радио, смотрит телевизор: значит, оно все больше и больше в состоянии противостоять манипуляциям со стороны правящего меньшинства.

Психология толп в лице Тарда не верит ни одному слову из того, что утверждают эти ревностные поборники прогресса. В частности, одно наблюдение питает его недоверие: существование, уже мною обозначенное, постепенной поляризации коммуникаций, которые все больше концентрируются и становятся все более едиными. Можно ли говорить, что люди свободны и равны перед лицом медиа? Разумеется, нет.

При условии резких социальных потрясений, правда маловероятных, средства массовой коммуникации рискуют быть быстро переданными в руки небольшой группы вождей. Тард постоянно подчеркивает эту дистанцию между руководителями и руководимыми, их неравенство в смысле авторитета. Закон поляризации гласит, что число лиц, между которыми распределены эти средства, имеет тенденцию уменьшаться. И напротив, число лиц, на которых они могут оказывать влияние, непомерно возрастает.

Вдумаемся. Не невозможность для части населения иметь доступ к этим средствам, а напротив, возможность всех к ним приобщиться есть причина неравенства. Если бы я привел пример современной Франции, все произошло бы парадоксально, как если бы дискриминацию, являющуюся предметом оппозиции слева, по радио или по телевидению защищало демократическое большинство, которое еще существует. Предположим, что эта трактовка действует в его пользу, левое крыло заметило бы ускорение явлений, свойственных двору,

выдвижение звезд, ожидая такого же культа личности, какой можно наблюдать «здесь» и «там». В свою очередь оно приняло бы массовую демократию, демократию нереспубликанскую, где многолюдные собрания сменяются обстрелом медиа.

С точки зрения психологии толп думать иначе — значит принимать желаемое за действительное. Каковы же причины? Подобно тому, как еще вчера нужно было гораздо больше работников для производства вручную одежды, чтобы одеть всех французов, точно так же нужно было гораздо большее число лидеров, чтобы держать в руках население, охватывать взглядом каждого гражданина, убеждать его звуками своего голоса, постоянно воздействовать на него физически. И как в наше время один работник за смену произведет на станке в тысячу раз больше продукции, чем произвели бы столетие назад, так же и вождь в редакции своей газеты перед микрофонами или телекамерами гипнотизирует в тысячу раз больше людей, чем его предшественники. «Простым красноречием гипнотизировались сотни или тысячи слушателей, посредством печатного слова — уже гораздо больше читателей, а через прессу на немыслимых расстояниях завораживаются бессчетные человеческие множества»[35].

Таким образом, продуктивность средств коммуникации становится колоссальной. Накопление символического капитала (а это множество событий и представлений, которые поставляют нам медиа, эти обособившиеся от нас посредством микрофона и экрана голоса и лица) — стремительное и несопоставимое с тем, что было известно в прошлом. Общество, в известном смысле испытавшее потрясение, перешло на новый и решающий этап своей истории. После индустриального и финансового капитализма это этап символического капитализма, который базируется уже не на машинах или деньгах, а на коммуникации. Предаваясь такого рода пространным рассуждениям на темы коллективной психологии, Тард заключает: «Через все это многообразие просматривается что-то вроде общего закона: это все увеличивающийся разрыв между числом вождей и числом ведомых. 20 ораторов или вождей gentes[1] в античные времена управляли городом в 2000 граждан, между прочим, соотношение 1 к 100. А в наше время 20 журналистов, проданных или купленных, управляют иной раз 40 миллионами человек: соотношение 1 к 2000000»[36].

Чтобы не оставалось никакого сомнения по поводу того, кто эти сорок миллионов, обратимся к следующей выдержке: «Словом, мы увидели, что разрыв между группой вождей и массой ведомых увеличивался вследствие растущих возможностей, которые дает в руки правителям развитие вооружений, коммуникаций, прессы. Если для того, чтобы привести в движение 20000 афинских граждан требовалось 30 ораторов, то нужно не более 10 журналистов для того, чтобы встряхнуть сорок миллионов французов»[36].

[1] родов (*лат.*) — *Прим. пер.*

Такое бесконечное расширение поля деятельности вождей и их работников пера ускоряет ротацию знаменитостей и авторитетов. Оно так же быстро возносит их в зенит моды, как и низвергает. В том, что касается управления людьми, созидательное движение, по-видимому, идет так же интенсивно, а продолжительность использования мощностей столь же кратка, как и в производстве вещей. Другими словами, медиа обеспечивают грандиозное потребление авторитета.

Когда средства коммуникации действуют в таком масштабе и в таком темпе, продуктивность подражательных и конформных систем тоже не отстает. Там, где воспроизводили лидера в десяти или двадцати тысячах экземпляров, теперь могут его воспроизводить в десяти или двадцати миллионах копий. Там, где античная Греция скопировала бы десять или двадцать тысяч маленьких Гитлеров на протяжении одного поколения, современная Германия выпустила их несколько миллионов менее чем за десять лет.

Нетрудно далее доказать следующее: расширение коммуникаций и интенсивность подражаний влекут за собой монополию авторитета и часто насилия. Он замыкается в узком кругу, концентрируется в руках очень немногих. Точнее сказать, в руках одного человека. Каковы бы ни были принципы, все в конечном счете сводится к личному.

Снова цифры! Численность страстей, верований, интересов, которые направлены на одного-единственного человека, возрастает, как и население, в геометрической прогрессии. Вообразите на минуту, чтобы представить себе это, совокупность чувств, которые могли быть устремлены на Перикла в Афинах, на Сократа, вынужденного обходить рынки, чтобы говорить с греческими сапожниками, столярами или живописцами, на Робеспьера в Париже. Сравните все это с совокупностью чувств, которые связывались с Рузвельтом, обращавшимся к американскому народу по радио, или с де Голлем, выступавшим по телевидению, чтобы выступить с речью перед французским народом. Язык численностей отмечает одну-единственную перспективу: возрастающую анонимность снизу и ускоренную персонификацию наверху. «Вот почему мы наверняка можем предсказывать, — пишет Тард, — что будущее увидит персонификации авторитета и власти, в сравнении с которыми поблекнут самые грандиозные фигуры деспотов прошлого: и Цезарь, и Людовик IV, и Наполеон»[38].

Они действительно поблекли с 1899 г., когда эти фигуры были обозначены, и, в сравнении с нынешними деспотами, мы могли бы увидеть в них мудрых монархов, диктаторов, почитающих закон. Если бы ценность теории определялась точностью ее предсказаний, то их можно было бы записать в актив психологии толп.

II

Средства коммуникации, как мы только что видели, баснословно увеличивают власть вождя, поскольку они концентрируют авторитет

на одном полюсе и преклонение — на другом. В то же самое время они создают новый тип вождя, а именно тот, который овладевает искусством прессы — публицист. Каждый руководитель, каждый государственный деятель должен обладать, кроме прочих собственных талантов, талантом журналиста, чтобы формировать публику, превращать ее в партию, придавать ей необходимые импульсы для завоевания у нее авторитета. А для этого в наши дни достаточно иметь голос, который «звучит» по радио, и внешность, которая очаровывает по телевидению. Единственное различие заключается в том, что политический публицист должен был непременно обладать литературным даром, общей культурой, определенным воображением — вспоминается Золя и его знаменитое «Я обвиняю!». У сегодняшних политических звезд есть необходимость только в представительности их голоса по радио и в телегеничности. А это не предполагает ни культуры, ни литературного дарования, ни воображения, достаточно лишь некоторых элементов актерского мастерства. Тард, если снова вернуться к нему, в появлении публициста видит главный исторический элемент. Речи, помещенные в газетах, ораторы, овладевающие толпами с помощью журналистов, обеспечивающих их своей публикой, — вот то явление, которое революция 1789 г. увековечивает и неслыханно расширяет. «Каждый из этих великих и гнусных публицистов — Марат, Демулен, отец Дюшен — имел свою публику, и можно рассматривать толпы как поджигателей, грабителей, убийц, людоедов, которые в то время уничтожили Францию от севера до юга, от востока до запада, как злокачественные наросты, как сыпь на теле этой публики, которой злостные виночерпии, после их смерти с триумфом доставленные в Пантеон, постоянно подливали ядовитую водку пустых и жестоких слов»[39].

Одной этой фразой Тард воздает по заслугам горячим головам Революции и сам изливает яд на народ, который поднялся против режима, веками его угнетавшего, бесстыдно грабившего и беззастенчиво оскорблявшего его от юга до севера, от запада до востока. По этому поводу он в очередной раз выражает свое презрение тем, кто позволил ему, выходцу из семьи третьего сословия, писать и думать свободно и даже оскорблять их память. Ненависть и презрение заставляют его рассматривать Марата, Демулена или отца Дюшена как прототипов современного вождя и признавать их решающую роль: находиться у истоков великих течений мнения, быть двигателями общественных идей, которые без них пребывали бы в состоянии ропота недовольства и химер. Как, скажем, социализм и анархизм «до того, как некоторые знаменитые публицисты — Карл Маркс, Кропоткин и другие — ввели их в обращение, снабдив собственным лицом. Легко понять после этого, что печать индивидуальности гения творца оставляла бы больший след в публике, чем национальный гений, и что противоположное было бы верно по отношению к толпам»[40].

Заметьте, что публика отражает гений творцов, тогда как толпы выражают только коллективное бессознательное своей культуры, своего этноса. Таким образом, далекие от преуменьшения исторической значимости личностей для пользы народов, демократии, пресса и мнения ее укрепляют и высвечивают больше, чем когда-либо. Они представляют собой обширные резонирующие резервуары, невероятно обширную сеть подражателей, готовых следовать их указаниям, принимать их моду, тем более что никакая традиция не препятствует этому. Человека прошлого опекал и охранял обычай. Современный человек свободен, а значит, уязвим перед лицом переменчивой моды.

* * *

Не избежать вопроса: откуда берется сила публицистов? Несомненно, из их дара гипнотизировать на расстоянии. А также из их знания публики, одновременно интуитивного и основанного на информированности. Они знают, что она любит и что ненавидит. Они удовлетворяют ее бесстыдное желание, коллективное и анонимное, видеть выставленными напоказ самые неподобающие сюжеты, несмотря на стыдливость составляющих ее индивидов. Они потакают ее склонности предаваться зависти и ненависти. В публике потребность ненавидеть кого-то или обрушиваться против чего-то, поиск турецкой головы или козла отпущения соответствовали бы, по Тарду, потребности воздействовать на этого кого-то или на это что-то. Возбуждать восторг, благосклонность, великодушие публики — это не приводит ее в движение, не имеет серьезных последствий. И напротив, возбуждать ненависть — вот что захватывает, и предоставляет случай активно действовать. Разоблачить, бросить ей на съедение такой отвратительный и скандальный предмет — значит дать возможность для свободного выхода ее подспудным разрушительным силам, можно сказать, агрессивности, которая только и ждет сигнала, чтобы развернуться. Следовательно, направить публику против оппонента, личности, идеи — это самое надежное средство опередить его и подчинить себе. Зная все это, публицисты не отказывают себе в удовольствии поиграть на этих чувствах, так что «ни в одной стране, ни в одну эпоху апологетика не имела такого успеха, как клевета»[41].

Как и публицист, государственный деятель должен так же представлять себе силу, имеющую мнения в различных слоях публики, к которым он обращается. Тард первым указал на то, что мы сегодня называем «политическим маркетингом», чтобы измерять пульс нации.

«Но для государственных деятелей, — пишет он, — которые должны управлять тем, что называют мнением, суммой восприятии или совокупностями идей, вопрос особой важности состоит в том, чтобы угадать, в каком социальном классе, в какой корпорации, в какой группе населения (чаще всего чисто мужская группа, и тогда сравнение будет обоснованным) представлены наиболее выраженные впечатления и

идеи, наиболее энергичные убеждения и побуждения, то ли самые сильные, то ли самые прочные»[42].

Разумеется, в эпоху научных достижений, как наша, речь идет не о том, чтобы угадывать, — необходимо подсчитывать, взвешивать и приходить к точной оценке этой энергии, что не исключает обычных ошибок, о которых свидетельствуют предвыборные зондирования.

* * *

Что касается стратегий убеждения, искусства внушения, они те же самые. Газета должна уметь добиваться внимания посредством разоблачений, скандалов и преувеличений. Короче говоря, «заставить повернуть голову какой-то большой шумихой». Необходимо утверждать идеи решительно, если это нужно, выражаться безапелляционно, поскольку безапелляционность является непреодолимой потребностью людей, собравшихся в толпу или публику. Наконец, *last but not least*[1], не сходя с места повторять одни и те же идеи, одни и те же суждения: «Что касается аргументов, — пишет Тард, — один из наилучших, а также и наиболее банальных: беспрерывное повторение одних и тех же идей, одних и тех же химер»[44].

То, что Ле Бон и Тард предлагают одни и те же стратегии внушения, нисколько не случайно. Оба они приняли гипнотическую модель и извлекли из нее одни и те же следствия. Таким образом, бесполезно искать другое объяснение.

Из этих последних глав вытекает одно общее замечание: в обществе средства коммуникации являются определяющим элементом. Они меняют природу групп: например, толпы становятся публикой. Они трансформируют отношения между массами и вождями, формируют как психологию, так и политику эпохи. Девятнадцатый век создавал рабочие руки и машины. Двадцатый век сообщает, пользуясь небольшим количеством серого вещества, много информации посредством медиа. Психология толп первой обнаружила их роль и познала их законы. Надеюсь, мне удалось это показать.

[1] Последнее, но не менее важное *(англ.)*. — *Прим. пер.*

ГЛАВА 4
РЕСПУБЛИКА ВО ФРАНЦИИ: ОТ ДЕМОКРАТИИ МАСС К ДЕМОКРАТИИ ПУБЛИК

Власть приходит сверху,
доверие приходит снизу.
Sieyès

I

Чтобы проиллюстрировать эволюцию психологии толп, прежде чем длинно излагать теории, я предлагаю вам бросить взгляд на реальную ситуацию, такую, какой мы ее знаем. Нет лучшего поля для наблюдения. И этот выбор тем более оправдан, что единственная страсть, единственный мир реалий для Тарда и Ле Бона — это Франция. Не то, чтобы они не искали универсальные истины. Не то, чтобы чистое и простое знание оставляло их равнодушными. Но для них они подчинены жизненно важным интересам, действительности, которая их преследует. Читая этих двух авторов, мы хорошо чувствуем, что единственная история, которую им важно понять, предпочтительные образы, которые у них стоят перед глазами, близкие персонажи, которые их вдохновляют, — все это имеет отношение к нашей стране; а точнее —история, образы, люди, которые, начиная с революции 1789 г., неотступно преследуют воображение французского народа. Весь остальной мир служит им резервуаром примеров и аналогий, аргументов и риторического блеска. Они охотно написали бы, как Мишле: «Всякая другая история ущербна, и только наша является полной; возьмите историю Италии — здесь недостает истории последних веков; возьмите историю Германии, Англии — здесь недостает первых. Возьмите историю Франции — с ней вы узнаете мир»[45].

Ле Бон и Тард никогда не пытались отстраниться от этой истории, отбросить предрассудки, которые она укоренила в их сознании. Классовые предрассудки, в этом нет сомнения. Но не предрассудки класса, существующего неважно где: они локализованы, записаны в индивидуальной памяти, отлиты в язык и культуру. Это предубеждения французской почвы. Они диктуют этим двум психологам четко поставленный вопрос: принимая во внимание череду революций, которые произошли, начиная с великой Революции и до Парижской Коммуны, каковы шансы увидеть установление во Франции демократии, поддерживающей общественный порядок? Ни один, ни другой не считают возможным или желательным возвращение к деспотизму прежнего режима. И только его продолжительность вызывает у них ностальгию.

Отвечая на этот вопрос, Ле Бон и Тард представляют себе каждый свою политическую систему, соответствующую человеческой природе, а главное — устойчивую. Они опираются на психологию, совсем как Дюркгейм или Мишле черпают свое вдохновение, соответственно один из социологии, другой из истории. В любом случае психология толп образует здесь фон. Эти системы заслуживают того, чтобы быть рассмотренными сами по себе и ради себя самих. Тем более, что они, по-видимому, начали реализовываться на наших глазах в течение последних двадцати лет. Действительно, если условно различать систему Ле Бона и систему Тарда, становится очевидным, что во времена пятой республики президентство генерала де Голля соответствует первой, а президентство господина Валери Жискар Д'Эстена — второй. Существует тем не менее небольшое различие: тогда как первый читал Ле Бона и принял некоторые из его принципов, второй наверняка не знает Тарда. Но поймите меня правильно: я нисколько не настаиваю на том, чтобы оба эти психолога повлияли на них и чтобы оба эти президента республики соответственно использовали идеи одного и другого. Я лишь полагаю, что эти решения соответствовали бы определенной исторической реальности. Давайте рассмотрим их детальнее [46].

II

Ярлыки закрепляют идеи. Ле Бон предпочитает демократию масс, объединенную вокруг руководителя, когда плебисцит с помощью голосований и демонстраций подтверждает связь с верховной властью, которая сплачивает их вместе. Тард выступает за демократию публик, которую пресса, в более общем смысле — медиа, создает и воссоздает в угоду запросам действительности. Фактически он отстаивает множество публик, образовавшихся вокруг иерархии лидеров (администраций, партий и т. п.), громоздящихся друг над другом вплоть до высших эшелонов власти. Демократия масс отсылает к образу объединенной нации, где доминируют добродетели коллективности. Демократия публик признает рассеянную массу, где каждая часть, следующая своим традициям, основывается на консенсусе индивидов. Обе, однако, базируются на принципе вождя, на власти, которая не спорит и не позволяет спорить — никакая другая не смогла бы выполнить свое предназначение. Обсуждения «за» и «против» препятствовали желанию действовать, разрушили бы здесь то, что ей придает власть цезаря.

Руководимый и как бы порожденный своей собственной волей, генерал де Голль задолго определил условия своей деятельности: «Но в эпоху неупорядоченного времени в недрах потрясенного общества, в его кадрах и в его традициях ослабляются механизмы повиновения, и движущей силой власти становится личный авторитет руководителя»[47].

Военный, порвавший с кастой, лишенный своего звания и представший перед трибуналом, порвавший с классом политик, для которого уметь сказать «нет» было признаком сильного характера, он устремился

к вершине государственной власти в два приема посредством узурпации. Подобный великим вождям, генерал основал всю свою власть, в соответствии с классической формулой, на авторитете. Как бы ни спорили о том, что он собой представляет, никто не думал, что за ним пойдут. Никто не обладал властью заставить его от нее отказаться — кроме народа.

Человек широких взглядов и бескомпромиссных убеждений, он осуществлял тотальное господство над другими, которое принесло ему личную преданность людей, безусловную верность групп, узнававших себя в нем. Одни, как и другие, клялись этому человеку в исключительной любви и в безграничном восхищении. Он умел провоцировать и поддерживать даже тех. кто считался его противниками. Жан Даниэль, директор левого еженедельника «Ле Нувель Обсерватер», рассказывает об их встрече такими взволнованными словами: «Когда подошла моя очередь пожать руку генералу де Голлю, он мне сказал, что он счастлив, так как уже видел меня в Сен-Луи. У меня впечатление, что я побывал в Аустерлице»[48].

То есть он чувствует себя скорее бывшим солдатом, чем политическим оппозиционером. «Человек 18 июня» обладал в совершенстве этим мало распространенным искусством заставлять в такой степени восхищаться и впечатлять тех, кто вами восхищается.

Волна этой верности и этих почестей, порожденных в самых разных слоях общества, захватила партии-толпы, созданные в различные моменты. Одно за другим он создавал такие объединения, союзы, чтобы можно было внедрить туда множество своих сторонников. Но он всегда отказывался от возможности преобразовать их в постоянную организацию. Образ, который он каждый раз создавал и хотел сохранить, был образом масс, собранных на почтительном расстоянии вокруг единственного руководителя. Однажды он обозначил его со всей декларативностью: «Я пойду к Триумфальной арке, я буду один, население Парижа будет там, и оно будет безмолствовать».

Его повсюду видели таким уверенным, что почти не представляли, что он мог бы прибегнуть к уверткам и хитростям, к советам других. Но, чтобы внушить доверие, в источнике власти, которой он обладал, имелось кое-что неуловимое. Какая-то невидимая аура окружала его и исходила от его непостижимого взгляда. Держу пари, что пылкое поклонение, в котором ему клялись, доходя почти до религиозного экстаза, столько людей, было для него необходимым стимулом. И позволило ему победить разочарованность, к которой он был склонен.

Как всякий политический деятель, де Голль по-своему интерпретировал доктрины нашего времени, исходя из того, что он стал самим собой, и из своей роли в государстве. Он энергично возродил систему верований, связанных с нацией, с гением на земле, независимостью Франции и ее местом в мире. Знаменитый лозунг «Честь и Родина» связывает воедино воспоминания о прошлом. И эти верования, апеллирующие

к силам сохранения толп, Генерал соединил с социалистическими по существу идеями, рожденными революцией и целиком ориентированными на будущее. Чтобы окончательно переплавить их в абсолютную веру в Государство, суверенное и сильное, он создал вокруг своего поста руководителя атмосферу величия, которое, как он знал, преходяще, атмосферу стабильности, в которой он предугадывал хрупкость. И тем большую хрупкость, что, несмотря на конституции и референдумы, его власти, как и тому, что составляло основу его авторитета, не хватало некоторой законности. В глазах многих, а именно левых, его приход к высшей власти всегда выглядел государственным переворотом.

Но генерал де Голль, мастер искусства обольщения, сумел ликвидировать эту брешь, став могущественным, педантично организованным мифом, в который каждый француз мог верить. Будучи единственным демонстрирующим это и говорящим об этом, магом тайны, он сумел установить почтительную дистанцию скорее по отношению к человеку, чем к должности, дистанцию, гарантирующую влияние и способствующую благоговению. Мастер речи, верный правилам, установленным Ле Боном, он их возродил, украшая торжественной значительностью слова с сильной эмоциональной нагрузкой (Франция, сопротивление и т. п.). Он освежил значение и образы, добавив к ним новый смысл, скажем вспоминая «беспорядки» мая 1968 г., знаменитые «сутолока» или «ожесточенность, злость и ропот».

Носитель непоколебимого убеждения, он умел передавать его поэтапно в момент, выбранный им самим. Каким бы ни было использованное средство коммуникации, он всегда добивался своего. Публика, «бессильный чародей», как говорит Мальро, нуждается в сильном чародее. По радио или по телевидению он всегда появлялся именно таким. Хотя он и пользовался этими средствами с бесспорным талантом, подчиняя аудиторию взглядом, не знающим сомнений, голосом, который устанавливал безоговорочную тишину, он, казалось, особенно свободно себя чувствовал во время гипнотических месс, которыми были его поездки или патриотические церемонии. В этих заранее рассчитанных случаях инсценировка, простая, но действенная, позволяла ему производить немедленное обольщение своим присутствием, своей яркой речью, которая захватывала недолговечные толпы. Ее кульминацией были непосредственные контакты, общение с народом. Власть, которую он отсюда черпал и, таким образом, обновлял, позволяла ему обходиться без партий или находиться над ними, принуждая их склоняться перед его волей, подчиняться его должности и личности. В этом смысле его поездки за границу, церемониал, который их сопровождал, собеседники, которых он выбирал, звучные речи, которые он произносил, наконец, массы, которые он привлекал, состоящие из любопытных и благоговейных поклонников, превращались в события. В мире, где Франция не была уже на первых ролях, они обеспечивали необходимый успех для поддержания его авторитета бесспорного руководителя. Там он также играл перед покоренной публикой роль героя и отца.

Этот необычайный авторитет позволял ему прибегать к референдумам, этим регулярным плебисцитам, которых избегал бы человек, лишенный харизмы. Каждый из них был поводом для грандиозной церемонии, которая вновь разыгрывала поверх партий, классов, регионов незримую и всеобъемлющую сцену толпы, собранной вокруг своего вождя: де Голль и французы. Создавалось впечатление, что вне этой связи, воплощающей Францию, ничего не существовало. Когда последний референдум, последовавший за революцией 1968 г., отметил упадок его власти, он сам оставил власть. Многие были удивлены этим. На его месте они бы за нее держались. Однако осведомленный лучше их, он знал, что в такой демократии провал был бы предопределен сразу. Когда, проваливаясь, руководитель потерял авторитет, пусть какую-то его часть, он не может больше сохранять власть.

III

Между взятием власти генералом де Голлем и избранием Валери Жискар д'Эстена существует такая же огромная дистанция, как между похищением и женитьбой. Если бы специально хотели поставить во главе пятой республики личность, бывшую полной противоположностью ее основателю, то не смогли бы найти ни одной, более противоположной, чем избранный президент. Блестящий ученик Высших Школ, высокий государственный чиновник, молодой министр, отвечающий за важный сектор в администрации страны, он взошел стремительно по ступеням власти, не зная честолюбивых сомнений, страхов неудачи, неуверенности в своем предназначении. «Этот породистый патриций, — писал сведущий наблюдатель, — родившийся во влиятельной семье, состоятельной и очень консервативной, связанной с аристократией, одаренный всеми способностями, пользовавшийся всеми благами, представляет наиболее символический продукт правящего класса»[49].

Он обладает всем тем, что готовит человека к авторитету должности, лишая его тем самым авторитета личности, харизмы, которая ставит его выше других людей. Но избранный в относительно спокойный период, сменивший бури деколонизации и вихри студенческих бунтов, Францией, вечно разделенной и даже раздираемой между левыми и правыми, но ликвидировавшей свои имперские проблемы, модернизировавшей свою промышленность, вырвавшей из рутины свое сельское хозяйство, отложившей в своей исторической памяти Сопротивление, залечившей свои раны алжирской войны, загладившей воспоминания о неудавшейся революции мая 1968 г., он представляет в глазах одних французского Кеннеди, в глазах других — возвращение политических деятелей и приход практиков к государственным делам. Время эмоций и метафизиков от власти закончилось. Время разума и ученых от власти, казалось, наступало. Величие Франции остается фоном развивающихся действий. Однако акцент перемещается с коллективности на индивида: «Наше общество, — пишет господин Жискар д'Эстен, — основано на индивидуальном расцвете»[50].

Существо речи последовательно меняется. С широкими историческими панорамами, с воспеванием образов, с вызыванием в памяти тысячелетних верований сосуществуют малоинтересные, но эффективные уроки науки, тщательно подобранные экономические выкладки, холодный социологический анализ. Неопределенной логике эмоций предпочитается логика статистики, которая имеет твердые основания. Республика требующих преобразуется в республику управляющих. Неизбежно нерешаемые драмы политической истории становятся по определению решаемыми проблемами политической экономии. Управляющие являются одновременно руководителями и организаторами, обладающими каждый властью над своими подчиненными и компетентностью в своей области. Партийные руководители или производственные руководители, административные или профсоюзные, все они принадлежат к кругу перераспределенной власти и ослабленной ответственности. Они борются между собой или ведут переговоры, создавая и разрушая коалиции, следуя обстоятельствам, тогда как руководитель государства, находясь наверху, над схваткой, охотно играет роль арбитра.

Президент всегда держит в руках инструменты власти — полномочия обычного порядка и резервного. Но он не владеет больше, как генерал де Голль, той сущностью, которая внушает безраздельное уважение к должности и восхищение личностью. В этом новом контексте искусство правления является уже не искусством обольщения, а искусством (наукой?) коммуникации, в котором медиа — газеты, радио, телевидение — занимают решающее место. Не случайно, что первым, главным понятием наряду с причастностью, основной идеей генерала де Голля становится коммуникация: «Наше общество, — пишет господин Жискар д'Эстен, — должно быть обществом коммуникаций и причастности»[52].

Захват прессы, радио и особенно телевидения становится одной из целей политической борьбы и социальных дебатов. Справедливо или нет, каждая правящая группа — правительство или оппозиция — считает, что тот, кто получит к ним доступ, тот одновременно получит решающее влияние на общественное мнение. Зная ее или нет, все разделяют концепцию Тарда, согласно которой современные вожди для создания своей публики и управления ею должны располагать медиа и обладать необходимыми талантами, чтобы ими пользоваться. «Французами, — отмечает Пьер Эмманюэлъ в статье, очень точно озаглавленной „Управлять посредством телевидения“, — управляют с помощью медиа, и в большинстве случаев они почти в этом не сомневаются»[53].

Установив эту константу, автор абсолютно точно описывает, как люди, изолированные друг от друга, каждый представляя нацию, становятся членами той разновидности толпы, которая составляет публику телезрителей, получающих одновременно одни и те же изображения, одну и ту же информацию, а значит, одни и те же идеи. Передаваемые

программы подчинены этой цели и следуют «психологии и расхожим предрассудкам в наибольшей мере: трудно сказать, вытекают ли программы из предрассудков или предрассудки из программ. Взаимодействие, без сомнения, совершается в духе все большей и большей унифицированности. Эта массификация устанавливается на уровне ума наиболее застойного, наиболее инертного. Благодаря ей, посредством внушающего доверие эффекта повторения, политика правящих кругов гипнотизирует сознание».

В этих условиях тысячи лично преданных людей, многочисленные связи и соратники любого порядка, которые во времена генерала де Голля непрерывно и непосредственно обрабатывали и мобилизовывали толпы, успешно внушая им в живом общении голлистский дух, становятся (Тард совершенно справедливо это предсказывал!) абсолютно бесполезными. Достаточно некоторого очень ограниченного числа публицистов, чтобы достичь искомого результата, сообщить мысли президента и навязать свою волю целой стране. Пьер Эмманюэль понимает, что речь здесь идет не о случае, не о простом приложении усовершенствованной техники коммуникации, он ясно осознает в этом эффект системы: «Но этот один, — пишет он по поводу президента Республики, — не является одним: он представляет систему мыслей, идею государства, концепцию граждан и народа, которые, по всей очевидности, разделяются любым кругом практиков власти»[55].

Нельзя было бы сказать лучше, и эти фразы являются откликом на несколько строк господина Жискара д'Эстена, сформулированных в чисто тардовском стиле: «Огромное большинство французов живет в гуле городов. Радио и телевидение повсюду распространяют свои будоражащие сообщения»[56].

Если не считать того, что эти будоражащие сообщения исходят от одного или множества умов, составляющих часть starsystem[1], тонко проанализированной в свое время Эдгаром Морэном системы «звезд», которая не ограничивается более миром зрелищ, а простирается отныне на политику и на литературу, охватывает искусство так же, как и науку.

IV

Между этими двумя личностями два различия мне кажутся особенно значимыми с точки зрения психологии толп. Первое бросается в глаза со времени перемещений президента Республики. Настоящее общение с народом, с его воодушевлением, характерным теплом во время этих поездок редко. Именно к лидерам мнений, к избранным, функционерам, журналистам он обращается в первую очередь. Именно через них он стремится тронуть страну, привлечь публику на свою сторону. Всегда хорошо составленные, аргументированные цифрами, его речи показывают, что он больше озабочен тем, чтобы победить, чем тем,

[1] Звездная система *(англ.)*. — *Прим. пер.*

чтобы увлечь. Он также скорее умело пользуется своими противниками, чем вовлекает их, вопреки их воле, в коллективную веру, воплощением которой он является. Вопрос темперамента? Но также простое и чистое ограничение, так как он управляет не в силу контракта с Францией, он получил свой мандат в результате голосования французов.

Очевидно, как всякий президент нации, имеющий вес, он окружен двором. Из его личности делают культ, и каждый стремится ему понравиться, его обольстить. До такой степени, что «Франция управляется избранным государем, республиканским монархом, почти что просвещенным деспотом»[57].

Сам по себе такой культ, однако, смог бы вызвать поклонение, религиозный восторг, которые знал руководитель свободной Франции и которые единственные привлекают толпы к их лидеру, как полюса магнита — железные опилки. Но, несмотря на постоянные усилия, превосходную работу по подчеркиванию его должности и инсценированию великих событий, ему не хватало того единственного, что могло его возвысить: личного авторитета, харизмы.

Другое различие касается человеческой установки. Генерал де Голль всегда появлялся в качестве военного начальника и пророка. В нем видели представителя вождей толп и столпов нации. Он старался быть тем и другим. Валери Жискар д'Эстен непринужденно чувствует себя в позиции государственного деятеля и наставника. Именно в этом качестве, очевидно, он хочет блистать, и, поддерживаемый временем, он блещет. О военачальнике говорят, что он является вождем людей. Из этого следует, что он увлекает их к битве, к славе, к смерти и умеет найти зажигательное слово в критический момент. О наставнике же говорят, что он просвещает своих учеников и зажигает в них не только знания как таковые, но, по крайней мере, желание знать.

Черты этого персонажа характерны. Он не творит: он передает. Свободный от головокружения чувства открытия, от сомнения вопросов, он знает лишь удовлетворение от подражания, спокойствие ответов. И у него есть ответ на все. Его отличает упорство. Верный одной школе, одному учебнику, одной системе мышления, сформировав свое мнение, он стоит на своем. Он не только отказывается видеть противоположное мнение, «другую сторону вещей», для него эта другая сторона вообще не существует. Пусть даже его собственное суждение привело его к противоположному выводу. Нет смысла возвращаться назад или предаваться новому изысканию. Отсюда невозможность диалога. Он слышит только звук одного колокола, своего, и не понимает вопросов, которые ему задают. Так как они предполагают иную систему, принципиальное сомнение, не существующие для него. Следовательно, он ведет монолог, это и есть деятельность преподавателя. Нетерпимый к возражениям, он охотно позволяет себе уходить от темы, если не повторять утверждения, слово в слово воспроизводящие то, что аудитория уже знает.

Сегодня педагогика предпочитает почву экономики. Весь язык, все мышление, — вся публичная речь развиваются на прокрустовом ложе этой науки — либеральной экономики. Так, в случае несогласия или конфликта с оппозицией, предпочитают больше не обращаться к широким историческим обобщениям, но анализируют природу происходящего, оппоненту приписывают незнание реалий, неприкрытый идеализм и отсутствие чувства ответственности. Является ли это суждение верным или ложным, о нем начинают говорить и мыслить в духе Тарда: «Сторонники правительства и оппозиционеры напоминают своими качаниями столкновение на бирже между играющими на повышение и играющими на понижение. Сторонники правительства играют на повышение, а оппозиционеры играют на понижение в общественных делах»[58].

Это сравнение тем более точно, что биржа играет роль барометра мнений и реагирует в указанном смысле. Французский психолог видел в этом закон. Это, конечно, закон, установленный с точки зрения меньшинства, которое руководит и принуждает, а не большинства, которое подчиняется и сопротивляется.

Президент Республики в своих речах и публичных появлениях обнаруживает некий педагогический стиль. Отсюда этот аргументированный язык, пронизанный повсюду целомудренным чувством, этот отвлеченный лексикон, свойственный высокопоставленным чиновникам. Отсюда эти речи, изобилующие цифрами, процентами и подробностями. Посредством всего этого набора он предполагает прежде всего обучать, а затем убеждать. Это может дать положительный результат в мирное время, в кругах однородного политического класса — мятежники выставляются за дверь. Однако было бы достаточно прихода другого лидера, который сумел бы преобразовать публики в толпы, для того чтобы пошатнуть заботливо выстроенное здание и увлечь Францию снова к демократии масс.

Эти различия среди прочих указывают направление, в котором развивается Пятая Республика. Вне всякого сомнения, эта эволюция меньше затрагивает основы общества, а в настоящий момент экономику, чем природу политических форм объединения, деятельности и власти. Я лишь хотел выделить психологические аспекты, которые постоянно забывают принимать в расчет в конкретных разборах [59]. Не удивительно, что забывают, поскольку мешают их рассматривать и оправдывают этот предрассудок историческими и экономическими аргументами, что подтверждается успехом книжного рынка. Прогрессивным считается даже то, что способствует этой регрессии знания и фальсификации текущей политической практики.

V

Одно безусловно: в течение десятка лет политические партии меняются. Согласно формуле Тарда, партии-толпы становятся парти-

ями-публиками. На это нам указывают три признака. Прежде всего конкуренция, в которую они вступают, чтобы иметь доступ к средствам коммуникации и ими овладеть. Измерение своего влияния на телезрителей, слушателей и читателей — таким образом, граждан! — является общим для них занятием. Этим объясняется мода на анкетирования. Измеряют пульс общественного мнения, переписывают процент прослушивания радиопередач, учитывают намерения голосующих, определяют отношения по тому или иному вопросу, об абортах или инфляции, работниках-иммигрантах или евреях. При этом не забывают о доле популярности политических деятелей с ее колебаниями. Каждую неделю газеты публикуют эти результаты, замещая общественные дебаты, высказываясь за нас. Короче говоря, зондажи мнения путем опроса различных публик заменяют торжественные и волнующие плебисциты, в которых подвергнуться риску может только один лидер, наделенный властью. В этих опросах можно было бы видеть простое статистическое упражнение, в этих таблицах мнений — чистую информацию о состоянии людских умов. Автор «Французской демократии» напоминает нам о настоящей цели: «Импульс и санкция содержатся во мнении. Именно оно решает, где кончается свобода и где начинается беспорядок»[60].

Затем практика изучения политического рынка — знаменитый американский маркетинг, — которая распространяется, предвиденная и рекомендованная Тардом, и определяет презентацию и выбор кандидатов. Собрав суждения, предпочтения статистической выборки людей, составляется обоснованный перечень их мнений. Они должны занять свое место в заявлениях каждой партии. Набрасывается портрет идеального избранника, на который каждый претендент должен быть похожим для того, чтобы вызвать доверие. Для этой цели претендент подвергается не только интеллектуальным манипуляциям, но также и физическому вмешательству — меняют зубы Миттерану, заменяют очки Ширака или Дебре, не говоря уже о тех, о которых пишут в газетах.

Кроме того, проведение агитационных кампаний перед выборами, мы это знаем в отношении социалистов и голлистов, определяется специалистами по рекламе и доверяется агентствам после количественного анализа рынка. Родилась целая индустрия образа, с учетом повторения выборов, чтобы позволить партиям и кандидатам обращаться к наиболее различным и меняющимся публикам. Зная, что гражданин, телезритель или читатель прореагирует вначале как зритель, а затем — как избиратель, кандидаты отбираются с учетом перспективы их публичных выступлений. Так, посмотрим список кандидатов ФДС[1]. Речь идет, как пишет «Фигаро» 22 апреля 1979 г., о «научно установленной иерархии». Соперничество кандидатов, борьба течений, расхождение мнений, информирует нас та же статья, были выявлены без труда, «так как ФДС решил опереться на методы маркетинга, чтобы

[1] Французский демократический союз. — *Прим. пер.*

провести арбитраж, когда колебания или амбиции отравят атмосферу на переговорах. Первые двадцать пять из списка были протестированы в общественном мнении, и результаты этих зондажей повлияли на иерархию списка». Влияние кажется эвфемизмом для нажима. Мы знаем, что эта стратегия оказалась платной.

Наконец, по образцу средств коммуникации авторитет поляризуется в государстве, в партиях и в большинстве учреждений. Повсюду организованная масса смешивается со своим руководителем. Можно было бы сказать, что всякая масса стала личной собственностью своего лидера. Устанавливается привычка говорить «партия господина Марше» вместо «коммунистическая партия», «партия господина Ширака» вместо «народная республиканская партия». Система выборов, особенно президентских, представляет доказательства того, что теперь достаточно только одного человека, чтобы заинтересовать, убедить пятьдесят миллионов телезрителей или слушателей и воздействовать на Францию, тогда как раньше нужно было несколько сотен или даже тысяч.

Действительно, на политической шахматной доске есть место только для пяти или шести фигур, чтобы изображать правила прямой демократии, — другие являются пешками, быстро удаляемыми. Наблюдатели описывают эту эволюцию в терминах, которые обновляют благодаря современному и гораздо более абстрактному языку те же понятия психологии толп, в частности, Тарда, непогрешимого прорицателя: «Первенство кандидата или лидера над политической группой, к которой он принадлежит, эта тенденция к персонализации власти, отмечаемая во всех ветвях исполнительной власти, объясняется тем фактом, что политическая коммуникация все чаще основывается на системе обмена образами и символическими значениями. Распространение образов превращает избирательное поле в настоящий мир знаков, где хитрые подмастерья сокровенного смысла заместили картезианских резонеров»[61].

Эти подмастерья, не столь уж хитрые, сознательно применяют стратегии, которые создают им доказательства. Их не просят участвовать в противостоянии идей, мужчин и женщин, как и в столкновении представлений со всем тем, что содержит церемониал, ритуал. И этим, по большей части, мы обязаны медиа. Они рисуют великие мечты, обращают массы, тем не менее не заставляя их действовать. Они требуют только одного человека, имеющего дарования руководителя и публициста, умение убеждать их, то есть обольщать.

Эти три характерные черты нашей политической системы не являются абсолютно вечными. Они не имеют никакого отношения ни к парламентской демократии, ни к демократии масс. В длительной перспективе все может измениться. Но в ближайшее время, несмотря на резкую критику, на анафему слева или справа, они соответствуют непрерывной эволюции.

Переход от демократии масс к демократии публик мог бы быть изображен гораздо более детально.[62] От одной к другой прослеживается непрерывность и трансформация политической психологии. Они представляют много аналогий с теориями Ле Бона и Тарда. Это делает их более конкретными. они кажутся извлеченными из почвы, где родились эти теории, и согласующимися с реальностью, которую эти теории предполагали и отчасти предвосхитили.

Итак, закроем скобки этих примеров и подготовимся к следующему этапу. Описанием толп, своей блестящей характеристикой «души масс» [63], Ле Бон создал новую психологию. Анализом подражания и коммуникации Тард распространил ее на всю совокупность общества. Итак, машина действует. Здание для нее построено, детали механизма собраны, первый материал, на котором будут работать, отобран. Как Голему — человеку, согласно легенде, созданному из глины пражским раввином, этой машине не хватает дыхания жизни, собственной побудительной силы. Итак, остается привести ее в действие, объяснить «как» и «почему» этой психологии. Это мы найдем в творчестве Фрейда.

ЧАСТЬ 6
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕ БОНА И ТАРДА: ЗИГМУНД ФРЕЙД

ГЛАВА 1

НЕЗАКОННОЕ ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ФРЕЙДА

I

Существуют два вида гениев: университетские гении и гении универсальные. Первые, как Дюркгейм, Макс Вебер или Де Брогли, принадлежат исключительно миру знаний. Вторые, как Маркс, Дарвин или Эйнштейн, по своим идеям и личностным качествам составляют часть мира в наиболее широком смысле. Это масштабные личности, которые однажды включаются в галерею героев культуры: Моисеев, Аристотелей, Леонардо да Винчи, легендарных исторических личностей. Фрейд из их числа. Именно поэтому вокруг него образовалась школа последователей, секта правоверных, группа исследователей, которые представляют собой жрецов, падающих ниц в благоговении перед образом создателя их доктрины.

Все они поставили перед собой задачу пропагандировать его идеи, сохраняя их в чистом виде, подобно вере, путем усердного комментирования текстов Учителя. Комментарий увековечивает традицию и поддерживает легенду. Он объединяет служителей культа, преклоняющихся перед спасителем человечества, после того, как они надлежащим образом прошли испытание. Истина становится, таким образом, верой, а затем изменяется в соответствии с ритуалом. Эта ритуальность тем строже, чем сильнее почитание великого человека, поскольку никто не может отказаться от свободы мысли, отречься от желания быть, как он, героем культуры, не лишая при этом всех других этой свободы. Одним словом, его последователи утверждают, что такой великий человек не может больше появиться. После Фрейда другого Фрейда больше не будет, как после Маркса не будет другого Маркса и не будет Христа после Христа, а только последователи и верные ученики.

Это необычайное преклонение перед человеком не мешает тому, чтобы в его творчестве некоторые тексты стояли особняком. Противники и сторонники Фрейда в равной степени осуждают их. Эти тексты

касаются происхождения религии, социальных институтов, политической власти и вообще психологии масс. «Тотем и табу», «Психология масс и анализ «Я» «, «Будущее одной иллюзии», «Болезнь в цивилизации», наконец, «Моисей и монотеизм» — вот их названия. Вместе с эссе, озаглавленным «Я» и «Оно», которое развивает новый взгляд на личность, они составляют единое целое. Оно считалось и продолжает считаться компрометирующим: «Нет такой области, где Фрейд более бы рисковал своей научной репутацией. — пишет Марта Робер, — чем область религиозной психологии, в которой интеллектуальное любопытство, равно как и направление его исследования, многократно заставляли его рисковать. «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеизм» — вот три момента этой компрометирующей авантюры, которая расценивалась как неприемлемая даже теми, кого она касалась, привела к утрате им ряда сторонников и остается сегодня щекотливым пунктом для определенной части психоаналитиков-фрейдистов»[1].

Тем более щекотливым, если добавить к списку Марты Робер другие произведения, которые я только что назвал. Хорошо видно, что речь идет не о вагонах, которые, отцепленные от локомотива, потерялись в стороне от дороги, а обо всем поезде, крепко сцепленном, который пошел в неожиданном направлении. Вне восприятия этого единства, без понимания связей этой «религиозной психологии» с психологией толп (скоро вы в этом убедитесь), все смешивается и становится тревожным. Фрейда больше нет во Фрейде. И, чтобы спрятать свое замешательство, прибегают лишь к поискам объяснений во сне и наяву.

Сначала утверждается, что, как произведения пожилого человека, они лишены научной значимости. Подобно тому, как когда-то юношеские тексты Маркса были вычеркнуты из его творчества из-за их философического характера, так и поздние произведения Фрейда замалчивались под предлогом их мифологических реликтов. Первые были подвергнуты остракизму, так как полагалось, что Маркс высказал их, не достигнув возраста, когда можно заниматься серьезной наукой.

Вторые остаются скрытыми (как надолго?) под аналогичным предлогом, что Фрейд, достигнув определенного возраста, не мог больше заниматься серьезной наукой. Как если бы политическая экономия и психология походили на физику и если бы можно было точно знать, где начинается и где кончается в их случае наука! Или как если бы можно было установить строгие границы плодовитости исследователя, подобные плодовитости женщины.

Затем можно услышать, что, если Фрейд написал такие труды, нужно искать причины этого в тех трудностях, которые встают перед психоанализом в лечении неврозов. Основатель психоанализа предпринял попытку спасти его посредством серии текстов ненаучного характера, посвященных вопросам действительности и предназначенных широкой публике. Эти труды позволили подтвердить преемственность и успех

психоанализа за пределами круга его приверженцев. Но их содержание не касается ни психоанализа, ни психоаналитиков.

Наконец, — и в этом можно увидеть скорее обвинение, чем объяснение, — каждый из них составляет необоснованную попытку расширительного толкования и случайного применения психоанализа в области, которая не входит в его компетенцию. Эта попытка состоит в стремлении свести социальные проблемы к проблемам индивидуальным, политику к психологии. Короче говоря, речь идет об интеллектуальном империализме, о попытке вторгнуться в область других наук, в особенности марксизма. В то время как собственной и признанной областью психоанализа является психология, а значит, человек и невроз. И другой у него быть не могло.

Доходят даже до этических моментов, переворачивают все с ног на голову, потому что закрывают глаза на исторический и научный контекст, в котором эти труды родились. А также потому, что считается невозможным, немыслимым, что, начиная с какого-то момента, психоанализ отвернулся от психологии индивида и обратился к психологии толп. Как только психологией социального начинают пренебрегать, все посвященные ей труды Фрейда начинают причислять к потаенному миру, к мифотворчеству старого человека, к темной стороне его натуры: подобно тому, чем были алхимия для Ньютона и астрология для Кеплера, хотя эта аналогия была бы неточной. И чем меньше говорят об этом мире, тем лучше.

У меня нет ни малейшего намерения обсуждать или опровергать эти объяснения. Они кажутся мне скорее предназначенными для того, чтобы избавиться от затруднительной реальности, чем ее прояснить. Невозможно упрекать их в узости мысли: она соответствует их нравам. Однако их можно упрекнуть в неведении и поспешности, с которой они разрывают связь, сложившуюся в определенный момент между психоанализом и психологией толп в творчестве Фрейда и его последователей. Я знаю, эти пуристы испытывают отвращение к родству, объединяющему героя мысли с поденщиками в истории идей: Ле Боном, Тардом, Макдауголом. Понятно, что по низменным интеллектуально-аристократическим соображениям, по политической окраске они предпочитают более благородное родство с Ницше, Кантом и так далее. Фрейд их не читал. Но он читал этих поденщиков. Он с ними спорил и парафразировал их. Те, кто их осуждает, не зная, заставляет меня думать о том синьоре XVIII века, который четырнадцать раз дрался на дуэли, потому что настаивал на том, что Ле Тас был более великим поэтом, чем Ариосто. А на своем смертном одре он признался, что никогда не прочитал и строчки ни того, ни другого.

Итак, я могу не останавливаться на множестве исследований, которые сочатся подобными объяснениями. Я их упоминаю для того, чтобы не упускать из виду, и чтобы не показалось, что я их игнорирую. По отношению к науке также полезен совет, что лучше обращаться к Богу, чем к его святым. Или к его толкователям.

II

Посмотрим правде в глаза. Именно своим трудом, опубликованным в 1921 г., точное название которого по-французски «Психология масс и анализ *Я*», Фрейд делает свой первый рейд, если угодно, официальный, в область социальной психологии. В рамках анализа индивидуального «Я», в его следствиях он обнаруживает проявления социального. Не только в виде другого человека, просто другого или Другого в нейтральном или абстрактном смысле, который ему придают ныне, чтобы скрыть под видом другого конкретную идентичность. Но в виде масс, неорганизованных или организованных, и вождей. Социальное — тем более беспокоящее и завораживающее одновременно, что оно воплощается массами — непосредственно связано с тем, что индивид вытесняет — в полной мере проясняет то, что так трудно достижимо: бессознательное.

Бессознательное, воплощенное в толпе, ужасает Фрейда так же, как оно ужасает нас. Оно пробуждает у него те же страхи, которые оно уже пробудило, как мы помним, у Ле Бона: «Этот страх перед толпами, — пишет Марта Робер, — не слишком погрешив терминами, можно квалифицировать как фобию, он ему, кажется, был присущ всегда, и всегда он его любопытно объясняет с помощью аналогии, которая гораздо позднее даст ему тему социологических эссе: народ находится на одном уровне с нижними слоями психического, между ним и человеческим бессознательным существуют отношения согласия, почти пособничества, которые подвергают опасности самые высокие ценности сознания и достижения индивидуальности»[2].

Каковы бы ни были причины фобии, испытываемой Фрейдом, упомянутый очерк, несомненно, представляет новую научную позицию. С точки зрения психологии толп она четко вырисовывается. Ле Бон довольствовался тем, что описал их, Тард проанализировал их, показав, что они собой представляют. Фрейд в своей работе пытается их объяснить, сказать, почему они таковы, каковы есть. Такой подход является основополагающим в науке. С этой точки зрения, преемственность настолько поражает, что автор, которого трудно упрекнуть в легковесности, мог написать сжато и захватывающе: «Многие мыслители рассматривали теорию Ле Бона как безоговорочную научную правду. Как показал Рейнволд, рассуждения Фрейда, полностью противоречащие Ле Бону, обнаруживают поразительное сходство с рассуждениями Тарда. То, что Тард называл подражанием, Фрейд назвал идентификацией, и во многих отношениях, похоже, идеи Фрейда — это и есть идеи Тарда, выраженные в психоаналитических понятиях»[3].

Это верно и в целом, и в деталях. Каждый из трех мыслителей внес свой особый вклад в описание одного и того же класса явлений. Каждый способствовал разумному установлению системы понятий и исследованию оснований, знание которых очерчивает контуры науки. Это исторический факт. Можно придавать ему большее или меньшее значение. Однако трудно его отрицать.[4]

III

До сих пор я не представил вам ничего того, что не было бы вам уже известно. Но у меня меньше намерений вас учить или удивлять, чем напомнить о некоторых очевидных вещах. По ходу дела вы, конечно, спросили себя: так почему Фрейд все же заинтересовался психологией толп? Не отстоит ли она за тысячу миль от его занятий врача, лечащего неврозы? Однако, по размышлении, это представляется совершенно естественным по многим причинам. Все в возрастающей степени вело к тому, чтобы усилился его интерес к происходящему за пределами стен его кабинета. Как если бы, начиная с какого-то момента, вопрос, обращенный к пациенту, звучал не «как вы себя чувствуете?», а «как чувствует себя мир?».

Этот момент можно датировать концом первой мировой войны, и здесь первая причина его интереса к психологии толп. Конечно, во все времена происходили войны. Вместе с тем войны, следуя друг за другом, друг на друга не похожи. Страны, охваченные войной, подвергаются разрушениям не в равной мере. Война 1914–1918 гг. началась после долгого мирного периода. Достаточно долгого, чтобы поддерживать у большинства людей надежду, или иллюзию, что наука, промышленность и дух универсальности заставили отодвинуть страсти предыдущих веков. Они считали, что разрушительные противостояния и борьба между соседними нациями — принадлежность прошлого. Социалисты, как мы это видели, рассчитывали иметь возможность мобилизовать рабочих против войны. Философы и ученые думали, что прогресс знания и человеческого разума, разоблачая абсурдность войны, устранили ее. Сюда можно добавить всех тех, для кого войны не являются ни справедливыми, ни несправедливыми, а только ужасными. Они говорят, как Мопассан: «А самое поразительное в том, что народ не поднимается против таких правительств. Какая же тогда разница между монархиями и республиками? Самое ошеломляющее заключается в том, что все общество не возмущается уже одному только слову „война“»[5].

Ни оптимизм, ни пацифизм, ни возмущение не помешали вспыхнуть войне. С победой союзных стран она принесла падение двух империй, Германии и Австро-Венгрии. Так же, как цепь национальных и социальных революций. Одна удалась: революция в России. Все другие захлебнулись в крови. Фрейд со своей стороны, ощутил глубокое разочарование от всего этого. Его мир дал трещину. Война и революции, похоже, показали ему с ослепительной ясностью непобедимую силу масс, охваченных ненавистью.

Едва замолкли пушки и восстановился мир, и это вторая причина, вспыхнули другие движения угнетенных масс. Они не приблизили народ к правительству, ожидаемое демократическое общество уступило место тоталитарным движениям. Миллионы людей оказались захвачен-

ными речами демагогов, их идеологиями. Те же, кто надеялся на триумф разума и здравого смысла, были жестоко уничтожены. Сила разрушила право. Свободные люди приняли рабство, господство, навязанное насилием.[6] И среди всех этих брожений чуткие уши, навостренные, как у зайца, и по тем же причинам, навостренные уши евреев услышали сначала антисемитский ропот, затем топот сапог марширующих нацистов. Из подвала одной из самых цивилизованных стран мира, я имею в виду Германию со всем ее интеллектуальным богатством, переполненным научными, художественными и литературными гениями, всплыли остатки варварства. Их мощные удары подорвали основания хрупкой демократии. И последние надежды, которые могли бы быть возложены на либеральную политику, на разумное видение истории, оказались разрушенными этим диким разгулом. Шум и неистовство этих орд пробудили у Фрейда и ему подобных страхи, унаследованные от предков. Даже будучи плохими советчиками, эти страхи являются дурным предзнаменованием. Они оживляют воспоминания о возбужденных толпах, собиравшихся от погрома к погрому.

Фрейд был евреем. Нацисты — антисемитами. Он впитал страх с молоком матери. Как только он заглядывал в архивы своей памяти, он обнаруживал там одну из генеральных репетиций этой бойни. Память лишала его малейшей иллюзии относительно того, что касается надежды на исчезновение нацистской партии.[7] Как все интеллектуалы его закалки и его времени, он был пронизан немецкой культурой. Полностью доверяя силе разума и науки, он хотел ассимилироваться, погрузиться в окружающую культуру. Неуклонный подъем антисемитизма означал категорическое отторжение его во имя расы. Это ему доказывает, что он никогда не переставал быть евреем.

Это направление к Свану Фрейда ничего не объясняет с уверенностью. Кроме того, я не имею намерения этим удовлетвориться. Легче всего было бы остановиться на этом. Однако не заметить данный момент, обойти его молчанием под видом универсальности было бы хуже. Ни в один момент своей жизни Фрейд не отрицал своей принадлежности к особой истории и народу. Он не собирается, как Маркс, решать еврейский вопрос. Он не считает себя облеченным полномочиями выполнять особую миссию, как Эйнштейн, который однажды смог полушутливо-полусерьезно написать, что он стал «святым евреем». Фрейд признавал за этой принадлежностью факт своей биографии. Это судьба. С этим нужно согласиться без мистицизма. Если бы кто-нибудь попытался разорвать тысячу невидимых связей, он стал бы еще более зависимым.

В предисловии к изданию на иврите работы «Тотем и табу» Фрейд пишет: «Если бы у него спросили, что есть в тебе иудейского, когда ты покинул все, что имел общего (религию, национальное чувство) с соотечественниками, он бы ответил: еще многое, вероятно, самое главное».

Конечно, он сделал это не с легким сердцем, не по доброй воле. А кто бы так сделал? Но, принужденный к этому, носивший смерть в

душе, что очевидно, он отдался этому со всей энергией, которую ему оставила болезнь. Он признается в этом в письме 1930 г. к Цвейгу: «Я слишком мало знаю о воле людей к власти, потому что я в целом жил, как теоретик. Я также не перестаю удивляться буйству последних лет, которые меня вовлекли так далеко в современность».

А я сам, не был ли я поражен этой книгой? Не спрашивал ли я себя, почему Фрейд посвятил эти последние годы психологии толп, если наша сегодняшняя история, не повторяя этой, не создавала бы своей собственной?

Третья причина сугубо научного порядка. Как известно, великий поворот в карьере Фрейда был отмечен открытием гипноза во время его пребывания во Франции. Гипноз обнаруживает себя как единственный метод, эффективный в то время для лечения неврозов, в особенности истерии. Очарованный Шарко, впечатленный результатами, полученными Бернгеймом и Льебо, Фрейд становится их приверженцем и поборником. На самом деле медицинские круги в Германии были враждебно настроены по отношению к гипнозу. Они рассматривали его как чистой воды шарлатанство. Он же применяет гипнотическое внушение и отдает должное его изобретателям. Затем он делает свое собственное открытие: «лечение словом». Расположившись на диване, пациент рассказывает все, что ему приходит в голову. Этот метод свободных ассоциаций дает начало психоанализу как оригинальной методе терапии психических расстройств. Однако в борьбе, которую Фрейд ведет за то, чтобы внедрить свою теорию и свой метод, он отказывается от гипноза. Он хочет повсеместно заменить его приемом и понятиями, которые он сам открыл.

Однако он замечает, что в науке немалое место занимает очень популярная в то время психология толп, где объяснительным фактором продолжает быть внушение.[8] Ее понятия постоянно в ходу. Более, чем кто-либо иной, он знает, что психоанализ никогда не сводил счеты ни с гипнозом, ни с обольщением. Сегодня, как и тогда, достаточно посмотреть на обстановку психоаналитического приема, чтобы убедиться в этом: кабинет аналитика, ритуальность его речей, церемониальность его поведения и отношения с пациентом.

Вот и внушение, вернувшееся после двадцати, или тридцатилетнего забвения. Фрейд не может не отдавать себе в этом отчет. Он свидетельствует о ходе своих размышлений, напоминая, что точка зрения, которая сформировалась у него в 1889 г., остается в силе и в 1921 г.: «Таким образом, можно допустить (в этой психологии), что внушение или, точнее, внушаемость является первичным и ни к чему не сводимым явлением, основополагающим фактором психической жизни человека. Таково мнение Бернгейма, которого я сам видел в 1889 г., это необыкновенно впечатляло... И, снова касаясь сегодня, после тридцатилетнего перерыва, загадки внушения, я нахожу, что здесь ничего не изменилось, за исключением лишь того, что свидетельствует о влиянии, которое оказывал сам психоанализ»[9].

Итак, сражение возобновилось на новой территории. Это скорее способ обновиться, чем противостоять старым привычным демонам и иметь возможность еще раз столкнуться с ними. Способ показать в целом, что психоанализ является основанием и для психологии толп.[10]

Наконец, четвертая причина — личного порядка. Здесь мы располагаем свидетельством самого Фрейда. Бесспорно, он состарился. Но Бог знает, каким образом его старость дала не одному из ученых клеветников повод для дискредитации его трудов, появившихся после 1920 г. Одни приписывают его суждения о толпе общеизвестному консерватизму пожилых людей, а его пессимизм — страданиям, причиняемым раком. Все те, кто толкуют о пессимизме Фрейда, должны были бы, скорее, видеть в нем результат его объективности. О нем можно было бы сказать то, что Жак Ривьер говорил о Марселе Прусте: «Пруст подходит к жизни без малейшего метафизического интереса, без малейшей конструктивной склонности, без малейшей попытки утешать». Им бы стоило также вспомнить, что только суеверный обыватель убежден, что стоит закрыть глаза на реальность мира, как сразу все наладится. Политика страуса не могла быть свойственна Фрейду, не могла не идти вразрез с его настоящей точкой зрения. И его слова оказались трагически пророческими.[11]

Другие критики ссылаются на спад его интеллектуальных способностей. Ни первым, ни вторым неведом тот особый род свободы перед лицом социальных пут, спокойное безразличие к суждениям ныне живущих, которое дает образованным умам приближение смерти.

В любом возрасте устанавливается своего рода равновесие между интеллектуальными возможностями и нравственной силой противостоять нажиму и приманкам общества. С кокетством стариков, знающих, что они не уступают более молодым, Фрейд жалуется на затвердение своих научных артерий. А возраст ему приносит освобождение. Он многократно повторяет, надеясь быть понятым, что начало его медицинской карьеры, его клинические работы были ему навязаны извне. Он чувствовал себя порабощенным, связанным цепями, которые сдерживали его страсти, душили инстинктивные порывы его молодости.

Его прошлый мир рухнул. Сам он выполнил свою задачу и с успехом завершил свой труд. Ничто не мешало его возврату (все оковы сняты) к интересам и идеалам его молодости. Он в свое время предполагал стать адвокатом, устремиться в политику или же посвятить себя общественным и культурным вопросам.

Для благого дела никогда не бывает поздно. В послесловии, которое он добавляет в 1935 г. к своей «Автобиографии», Фрейд отмечает, что в течение последних лет в его трудах можно наблюдать «существенное отличие». Он его объясняет следующим образом: «Нити, запутавшиеся по ходу дела, начали распутываться, интересы, приобретенные мной в недавний период моей жизни, отступили, тогда как изначальные,

самые старые увлечения вновь становятся первостепенными... После поворота всей моей жизни к естественным наукам, медицине и психотерапии мой интерес переместился на проблемы культуры, которые завораживали меня давным-давно, когда я был юношей, в меру состарившимся, чтобы думать»[14].

Другими словами, проблемы, которые были в ведении психологии толп, модной в это время.

Каждая из этих причин — разочарование от войны, подъем тоталитарных и антисемитских партий, устойчивость модели гипноза и воскрешение личных интересов — объясняет, почему он обратился к этой науке. С другой стороны, к этому склоняло его буржуазное происхождение, факт слишком очевидный, чтобы на нем останавливаться. Нельзя было бы ссылаться исключительно на него в момент, когда ночь стала опускаться на народы, снова увязающие в войне.

IV

Если эти утверждения верны, то я не злоупотребляю именем Фрейда, связывая его, в своих интересах, с наукой, которая знала головокружительный успех и не менее внезапный упадок. Несмотря на все эти недомолвки, которые вы могли заметить, я хотел бы убедить вас принять следующую гипотезу: интерес Фрейда к психологии толп представляет собой радикальный поворот, настоящую революцию в его изысканиях, а значит, и в психоанализе. Взвесив все «за» и «против», я пришел к следующему выводу: этот поворот позади, и мы оказались перед двумя различными теориями, а не перед расширением той же самой теории, как это представляется обычно.

Мне кажется, достаточно сравнить эту гипотезу с обеими теориями Эйнштейна. Одна, частная относительность, несмотря на ее внешнюю революционность, на самом деле решает проблемы известные и венчает собой классическую науку. Другая, общая относительность, претендует на объяснение законов Вселенной, объединяя электричество и гравитацию. Она все еще остается взлетом мысли, который ничто не предвещало и мало что подкрепляет. Единственное ее следствие (но какое!) — обновление науки, утратившей блеск, — космологии и открытие для нее пространства звездного мира.

Точно так же *перед* упомянутым расхождением существовала частная психоаналитическая теория человека и семьи, невроза и снов, которая завершает развитие психиатрии и классической психологии. Со своей первой встречи с гипнозом она открывает три ключевых понятия: либидо, чтобы объяснить мир, заключенный в человеке, бессознательное, чтобы изучать его психическую жизнь и, наконец, эдипов комплекс, чтобы определить сферу конфликта, порожденного соперничеством мальчика с отцом и ответить на вопрос: как можно быть человеческим ребенком? А метод свободной ассоциации становится символом новой дисциплины.

После состоялась вторая встреча с гипнотическим внушением, на этот раз в психологии масс. Из этой встречи родилась общая психоаналитическая теория и возникает один достойный интереса вопрос: как можно быть отцом? А следовательно, как создать группу, управлять нацией? Каковы истоки культуры, даже человеческого рода? Она без предупреждения переключает внимание с мира индивида на мир масс. Этот переход открывает неизвестные и ужасные проявления человеческой психики.

И вот Фрейд освобождается от семейственности еще до всех торопливых философов. Он уже рисует профиль анти-Эдипа в масштабе цивилизации. То, что этот профиль был бы профилем пророка, не царя, назовем его Моисеем, составляет уже другую проблему, обширную и сложную. Любая домашняя драма, действующими лицами которой являются папа, мама и дитя, с этого времени имеет лишь значение образа, аналогии. И только политическая и культурная трагедия имеет значение образца: трагедия смерти вождя и беспощадной борьбы без настоящего примирения между ним и массой.

С того дня, когда Фрейд предлагает гипотезу убийства домашнего тирана, совершенного его сыновьями, все, что предшествовало, отодвигается и принимает другое направление. Он сам это понимает, когда пишет в «Ferenczi» своему любимому ученику: «Я не желал ничего, кроме маленькой связи, и вот меня заставляют в моем возрасте жениться на другой женщине». И какая женщина! Она заставляет его обратиться к религиям и к коллективным иллюзиям, применить к ним небесспорные понятия — идентификация, *сверх*-«Я». Понятия, которые ему подсказывает время, а время не внушает ему никакого доверия, и нет никакого желания его беречь. Он принимается за все, что попало, а попадается скорее плохое, чем хорошее: это только сомнительная революция, неудавшиеся свободы, китайские тени войны. Он не видит никакого просвета в многочисленных науках об обществе, которые, как и политические деятели, культивируют веймарские теории, обессилевшие идеи. Не утверждают ли они, что спасение поднимается из бездонного существа человечества, в то время как люди опускаются до варварства, чтобы в нем погибнуть?

Эти теории «как если бы» надолго удерживают его в «Будущем без иллюзий», в «Болезни цивилизации», в «Моисее и монотеизме». Чувствуется, что каждый раз, в каждой книге что-то кончается, что-то другое рождается. Только «Я» понимает, что за грубость и разочарование обитают вокруг. Здесь проявляется упрямое желание охватить тайны человеческой природы (несмотря на неприятные истины, которые нужно ожидать, открывая ее!). Гений Фрейда, терзаясь, предается беспощадному подсчету наших психических невзгод. Мы ускользаем от Харибды неврозов только для того, чтобы впасть в Сциллу религий. Конечно, он сомневается, идти ли вперед. По его собственному признанию: «Мы находимся на территории психологии толп, где не чувствуем себя в своей тарелке» [15].

В своей тарелке или нет, пространство духовной жизни становится пространством религиозной жизни, верований, которые ее ограничивают. Само время эйнштейнизируется. Это больше не абсолютное и линейное время первой теории, разделенное на фазы (от 0 до 5 лет, от 5 до 12 лет и т. д.), но время относительное и циклическое, время эволюции людей, которые то подчиняются своему повелителю и отцу, то восстают против него и так далее.

Не откладывая, сразу скажем, что, когда переходят от частной психоаналитической теории к теории общей, мир изменяется полностью. Создается впечатление, что мы оставили астрономию, науку об отдельных планетарных системах, ради космологии, науки о жизни и смерти звездных масс и галактик, которые мы видим звездной ночью. Нет ничего более интересного, чем проследить эту историческую параллель. Но история не единственный предмет этой книги.

ГЛАВА 2
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ МАСС К РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ МАСС

I

Все, в целом, способствует тому, чтобы с презрением отнестись к психологии масс и предать ее забвению. А вместе с ней и работы Фрейда. Мы их уже даже не понимаем. Они кажутся нам простыми и однообразными. И этому есть очевидная причина. В отличие от своих учеников и последователей, Фрейд пишет для публики, для мужчин и женщин, которые не только не принимают его, но и откровенно враждебно настроены. Отсюда порой элементарный характер его разборов, обилие простых и повседневных примеров, горячее желание убедить, которое ощущается на протяжении всех его рассуждений. Их новизна, их интерес от этого тем не менее не уменьшаются.

Эти качества утрачиваются. Ныне они кажутся бесполезными, потому что его ученики обращаются к посвященным. Они лишь стремятся укрепить уверенность публики, уже заведомо убежденной. Блеск языка, вычурность мысли, экзотичность выбранных для исследования ситуаций призваны обольстить уже убежденных. Намеки, эзотерические формулировки, обычные недомолвки перегружают труды психоаналитиков, написанные исключительно для использования психоаналитиками же и философами, которые их небрежно читают. Мне самому нужно будет вернуться к элементарному, к трудоемкой аналитической работе на повседневном языке. Сохранить простоту понятий и определенным образом подчеркнуть то, что обычно топится в художественной туманности. Поскольку психология толп Фрейда, как и психология толп его предшественников, все еще остается неизвестной. Причина такого сокрытия — главным образом недоверие. И только путь обращения к элементарному и близкому поможет нам ее понять. Это, однако, не мешает критически посмотреть на нее и увидеть то новое, что книга поможет нам обнаружить.

Для начала не будем отгораживаться от существенного факта: Фрейд разделяет с Ле Боном и Тардом убеждение, что все зависит от психических факторов и объясняется ими. Единственная наука, строго говоря, касается самой сути действительности: психология. Когда он размышляет над великими проблемами общества, над мировыми религиями и общественными движениями, он размышляет как раз над различными типами толп. А что же во всем этом социология? Не что иное, как прикладная психология. «Поскольку социология, изучая

по-своему тоже поведение людей в обществе, может быть лишь прикладной психологией. Строго говоря, существуют, две науки: чистая прикладная психология и наука о природе»[16].

Вот что ясно. Психология — это не та наука, которая делит пирог истины с другими науками, а старается заполучить самый большой кусок. Она охватывает всю человеческую реальность, включая историю и культуру, и ничто ей не чуждо. Отсюда вытекает, что вопреки широко распространенному мнению различные работы Фрейда нельзя считать вкладом в ту или иную науку: «Тотем и Табу» в антропологию, «Будущее одной иллюзии» в религиеведение, «Моисей и монотеизм» в историю, «Психология масс и анализ *Я*» в социологию и так далее. Конечно, он изучает материалы, собранные в этих различных областях. Он обсуждает существующие интерпретации. Но именно для того, чтобы притянуть их к психологии и, в частности, к психологии толп, гранью которой каждая из этих областей является.[17] «Вместе с Ницше, — делает вывод один американский историк, — Фрейд объявил, что господствующая наука будущего — это не история. А психология. История становится психологией масс». Что касается исторических феноменов религии, «единственная действительно удовлетворительная аналогия, — считал Фрейд, — находится в области психопатологии, в генезисе человеческого невроза, то есть в дисциплине, относящейся к индивидуальной психологии, в то время как религиозные феномены, естественно, считаются принадлежащими психологии масс»[18].

Все работы, которые я только что упомянул, исторически, а прежде всего логически принадлежат к этой психологии. Таинственные и великолепные, они повествуют о рождении творения, истории романа духа, который неоднократно начинается и, как «Finnergan's Wake», не получает завершения, которое в любом случае и не может быть получено. Но здесь, однако, как в последнем аккорде, как в заключительном фейерверке, можно услышать все основные темы психологии толп: растворение индивида в массе, власть вождей, истоки верований и религии, их сохранение в «бессознательном» народа, загадка подчинения людей и искусство ими управлять. Для нас, всех, кто интересуется этой психологией, их совокупность равноценна завершенному трактату. Именно с этой позиции нужно их рассматривать. Даже если речь идет о произведениях, созданных на закате жизни.

II

Задачей психологии масс является объяснение всех политических, исторических, культурных явлений прошлого и настоящего. Это было известно. Но впервые ее призвание оказывается так ясно определенным. До тех пор пока она оставалась в своей изначальной среде, ее единственными интересами были интересы политические. Либеральная и консервативная, она преследовала цель защиты общественного порядка. Не потому, что он был наилучшим, а потому, что он был

наиболее сносным. Несмотря на свою резкую критику притеснений, несмотря на свои разоблачения условий жизни большинства людей, самых униженных и ограбленных, Фрейд остается связанным с этой традицией. По-видимому, он доверил Цвейгу, своему почитателю той поры, суть своей мысли: «Несмотря на всю мою неудовлетворенность существующими экономическими системами, у меня нет надежды, что путь, избранный Советами, приведет к какому-то улучшению. По правде говоря, всякая надежда подобного рода, которую я питал, исчезла в течение этих десяти лет советского режима. Я остаюсь либералом старой школы».

Правда о его позиции, определявшейся исторической ситуацией, невольно вырывается у него. Наблюдая эту ситуацию, он видит, что люди на земле живут на самом деле в преисподней. Вполне естественно, что на этом этапе его мысль сосредоточивается на теориях и методах, нацеленных на то, чтобы заставить людей осознать этот ад. И на помощь им в их высвобождении. Не пробудить прежние иллюзии, всегда им сопутствовавшие и их как бы примирявшие с земными невзгодами, а раскрыть их. Пробудить людей от этого состояния сна наяву, привести их к пониманию, заставить их осознать собственные силы и возможности. Тогда они смогут переделать действительность так, чтобы иллюзии им больше не понадобились.

Именно в целях разоблачения иллюзий Фрейд делает из «Будущего одной иллюзии» безжалостное обвинение, в лучших атеистических традициях направленное против религии и мнимого разрешения тягот человеческого существования, предлагаемого ею. Он обнаруживает аналогии между религией и неврозом навязчивых состояний. Этот последний своими ритуалами и повторениями иссушает жизнь людей и отрывает их от реальной действительности. Вспомним, что для него, как для Ле Бона и Тарда, религия — это первейшая структура из всех коллективных верований. В этом следует видеть разоблачение любых форм мировоззрения, каким бы ни было их конкретное содержание.

Отчасти вскрыть реальное существо связи, объединяющей вождя с толпой — это то, чему, по всей видимости, посвящены многие тексты, начиная с «Психологии масс и анализа *Я*». В целом явление неблагоприятное, вождь оказывается силой одновременно многоплановой и полностью открытой, которая вырисовывается за гипнотизером, его прототипом. Гипноз — это насильственное соблазнение, совершаемое против воли человека. Регрессия толпы — расплата за это. По Фрейду, великие соблазнители — это не Дон Жуан или Казанова и их соперники. Несколько сотен соблазненных женщин, вот невидаль! Ничтожная добыча. Нет, истинные соблазнители, поднимающие целые толпы в порыве влюбленности, чтобы швыряться ими в своих интересах, как другие деньгами, — это вожди: Наполеон, Сталин, Мао. Огромные массы собираются вместе, чтобы им рукоплескать, теряют рассудок, слушая их, стремятся быть на них похожими, убивают или

дают себя убить ради них. Живые, они являются предметами обожания; мертвые, они продолжают вызывать страсти, оказывать губительное воздействие на эмоции и память каждого.[19] Фрейд прав. Если это не украденная любовь, тогда что же?

От всех текстов этого периода веет беспощадным фрондерством. Обработка идей и реалий производится здесь без всякой снисходительности. Из апологетической психология толп вдруг становится критической и заостренной. Фрейд является, быть может, «старым либералом», как все ее первопроходцы. Он таков именно в силу наиболее последовательного желания свергнуть всех идолов, которые засоряют дух века. Он переносит идеи психологии толп в иную социальную сферу, критикует общество, захваченное революцией.

Первое поколение, поколение Ле Бона и Тарда, настаивало на консервативном элементе масс как щите против революции. Новое поколение, близкое Фрейду, озабочено этим, потому что оно, напротив, видит в нем тормоз революции. Каковы причины этого, спрашивает данное поколение, почему массы не могут быть втянуты в революцию, когда экономические и социальные условия благоприятствуют ей? Препятствие находится в сфере психологии — вот вывод, на котором все сошлись.

С целью проанализировать это препятствие, здесь и там, а вначале с Федерном и Фроммом, зарождается революционная, или левая, психология масс.[20] Название книги Поля Федерна, ученика Фрейда, появившейся в 1919 г., уже является программным: «Вклад в психологию революции: общество без отца». Автор считает, что авторитарная и патриархальная структура, которая встречается даже в социалистических партиях, держится на рельсах буржуазного общества. Если эта структура, увековеченная в нас через семью, не разрушится, можно сомневаться в успехе истинной революции.

Этот труд является пламенным выступлением в защиту рабочих советов, «советов» вообще, которые создают новую братскую и сестринскую этику.[21] Все предыдущие массовые организации формировались сверху вниз, начиная с руководителя. Пирамидальная организация обеспечивала идеальную модель отношений отца и сына. Новая организация, совет, вырастает из масс. Она происходит из низов и из низов получает импульс и незримую психическую структуру: отношения между братьями. Но Федерн — пессимист, он считает, что семья составляет самое большое препятствие для устойчивой победы рабочих советов.

Итак, еще до того, как появляются работы Фрейда по психологии толп, она уже проникает в его круг. Она вносит в него некоторые абсолютно новые темы, которые в дальнейшем будут непрестанно развиваться. Часть учеников Фрейда, из самых изобретательных, обратились к психологии толп, озабоченные тем, как наилучшим образом подготовиться к кризисам политики и культуры. Их труды и деятельность

доказывают, что психоанализ имеет отношение к феноменам толп и не сможет остаться замкнутым лишь в клинических рамках.

Далеко от Европы, в Америке, а также в Англии, мыслители могут и не интересоваться этими явлениями. Но в Германии, в Австрии, на пороге социалистического режима и нацистской угрозы, эта дистанция сокращается.[22] Не только революция провалилась, но и грядет антиреволюция. Повсюду в старой Европе массы выражают свое одобрение, в то время как вожди их закабаляют. Вильгельм Рейх если не первый, то по крайней мере с усердием, достойным первого, прикладывает все силы для осуществления целей психоанализа в рамках левой политики. Он ставит важнейшие вопросы, те, что психология толп ставила уже по поводу других лидеров: «Как оказалось возможным, что какой-то Гитлер, какой-то Джугашвили (Сталин) могут царить над восьмьюстами миллионами человек? Как это стало возможным? Еще в 1927 г. я перенес этот вопрос в социологический план. Я долго говорил об этом с Фрейдом» [23].

И вот какая чехарда получается. Рейх (как Фромм, Брох или Адорно!) бросается в психологию толп, чтобы понять Гитлера и нацистское движение. Он, конечно, не знает, что Гитлер ассимилировал эту психологию, чтобы создать свое движение, стать Гитлером. Один интересуется ей, чтобы объяснить социальную реальность, другой — чтобы применить ее к той же самой реальности. Очень скоро Рейху становится очевидным, что союз психоанализа с экономической и политической теорией Маркса дал бы ответ, так как они дополняют друг друга: «Психология масс, — пишет он, — видит проблемы именно там. где непосредственное социоэкономическое объяснение оказывается недейственным. Психология масс, противопоставляется ли она социальной экономии? Никоим образом. Так как мышление и иррациональное поведение масс кажутся рассогласованными с социально-экономической ситуацией рассматриваемой эпохи, не вытекают ли они сами из более ранней экономической ситуации»[24].

Порвав с теорией своего учителя, он показывает, что семья, сама являющаяся продуктом экономических условий, через процесс воспитания детей создает структурный тип характера. Она создает тип, который сам поддерживает политический и экономический порядок общества в целом. Результат: подавление сексуальности, дисциплина тела, конформность по отношению к силам порядка. К концу детства каждый из нас готов склониться и ждет, чтобы вождь им командовал.

Признаем, что в некотором смысле то, что утверждает Рейх, так или иначе присутствует у Ле Бона и Тарда. А еще больше у Фрейда. Из этих составных элементов Рейх выделяет некий набор, энергично утверждая, что триумф нацизма в Германии не может объясняться только харизмой Гитлера или махинациями немецких капиталистов, а является также результатом психического склада немецких масс, которые способствуют тому, что эта смесь становится взрывоопасной.

Как бы ни было, возникает другой аспект, согласно которому нужно понимать и объяснять деспотические и авторитарные явления нашей эпохи. И его утверждение, что «фашизм должен рассматриваться как проблема, релевантная психологии масс. А не личности Гитлера или политике национал-социалистической партии»[25], осталось запечатленным в сознании нескольких поколений вплоть до наших дней. Здесь еще отражается красный отблеск пламени костров аутодафе и мрачных церемоний, на которых автор присутствовал. Действительно, большинство ближайших учеников Фрейда рассматривали сексуальное подавление как один из главных механизмов политического господства. Они видели в семье фабрику авторитарной идеологии и консервативный тип характера.[26]

Их идеи прокладывают путь Герберту Маркузе. Он вновь обращается к ним и обновляет эти темы. В противоположность Рейху он идет от марксизма к психоанализу, а именно, проходя через знаменитую франкфуртскую школу. Она поставила себе задачу соединить концепцию классового общества с концепцией массового общества. Она стремится критиковать классовое общество с точки зрения реалий анонимных и одиночных масс и критиковать массовое общество, разоблачая его эксплуатацию, его классовую суть так, как их представляет марксизм. Отсюда бесконечные вариации, но также и широкий горизонт. В любом случае, что касается «Психологии масс и анализа *Я*» Фрейда, она является произведением, «наиболее часто цитируемым франкфуртской школой»[27], и обеспечивает основу, на которой создаются тексты членов этой школы. Они все вместе выражают одну и ту же идею: психология масс — это один из важнейших моментов нашей эпохи.

Это критическое и революционное крыло выдвигает на первый план возможности освобождения и сопротивления масс власти. Они способны победить любое сексуальное и экономическое подавление, всякую власть, которая их не признавала. Они могут снести преграду, которая блокирует восстание против общественного порядка. Вождь — это не ответ на их психологическую нищету, особенно когда он называется Гитлером или Сталиным. Он сам является этой нищетой.

Следуя этой линии, психология толп меняет направление и утверждает себя слева. Утвердив в правах массовое общество, она становится его критиком и цензором. И если бы это было только так. Но благодаря объединенному влиянию этих изобретательных бестий, каковыми были ученики Фрейда, из которых Рейх оставался наиболее значительным, и вдохновленных им утонченных умов, среди которых Адорно и Маркузе кажутся наиболее сведущими, их воздействию на недавнее общественное движение в Европе и Соединенных Штатах психология толп сделала историю. Таким образом, она показала, что может послужить не только вождям, но и массам. Работы Фрейда лежат в основе этих перемен. «В конце, — пишет один из мастеровых этих изменений, — это была современная глубинная психология, которая

завершилась очисткой открытий психологии масс Ле Бона от их сомнительной политической позиции»[28].

Без желания Фрейда и даже против его воли. По большому счету, большинство наук о человеке — скажем, экономика, история, социология или антропология — претерпело аналогичные изменения. Рожденные как науки социального порядка, они свернули в сторону революции. Эти виражи прошли в каждой науке с сохранением стержня классических понятий. И когда хотят полностью очистить эти понятия в психологии толп, нужно вернуться к Фрейду. Это наш последний и самый длительный этап.

ГЛАВА 3
ТРИ ВОПРОСА ПСИХОЛОГИИ МАСС

I

Имена Ле Бона и Фрейда часто ассоциировались, и по праву. Что бы ни говорили, эти два ученых — две различные планеты, но они являются частями одной и той же солнечной системы. Сам Фрейд признал это с самого начала. Чтобы описать толпы, он берет палитру и цвета «книги господина Гюстава Ле Бона «Психология толп», по праву ставшей знаменитой». Вам уже знакомы основные черты этой картины. В толпе индивиды утрачивают свое собственное мнение, свои интеллектуальные способности. Господство над собственными чувствами и инстинктами ускользает от них. Они начинают думать и действовать неожиданным для них самих и для всех тех, кто их знает, образом. Основными признаками их превращения в человеческую массу, я это напоминаю, являются: исчезновение сознательной личности, ориентация их мыслей и чувств в одинаковом направлении посредством внушения и заражения, тенденция к реализации внушенных идей.

Эти феномены делают единодушными наблюдателей. Тем не менее они ставят перед нами три вопроса. Что такое масса? Как ей удается влиять на индивида в этом смысле? В чем состоит психическое превращение, которому он подвергается? Психология имеет своим объектом состояние духа и инстинкты человека. Исходя из его мотивов, она анализирует его действия; она интересуется его отношениями с другими. Этим обычно ее задача исчерпывается. Здесь начинается в нашем случае новая задача, еще не решенная, так как ей необходимо сейчас выяснить, какое представление имеют индивиды о себе самих в качестве индивидов-массы, что они чувствуют и думают, как они действуют — поскольку их психология полностью отличается от психологии индивида.

«В этом состоит теоретическая задача психологии толп — дать ответы на все три вопроса» [31]. Они касаются различия между отдельно взятым человеком и человеком, связанным с другими людьми. И психология толп, делая это, начинает с третьего вопроса: как человек изменяется? Ход размышлений очевиден. Нужно исходить из симптомов, из результатов, а затем подходить к их причинам. В заключение можно сказать, что все они выражают регрессию людей.

В недрах толпы подавление бессознательных тенденций уменьшается. Моральные запреты исчезают, господствуют инстинкт и эмоциональность. Человек-масса действует как автомат, лишенный

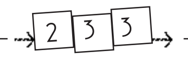
собственной воли. Он опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. Масса импульсивна, изменчива, легко возбудима. Будучи слишком доверчивой, она отличается недостатком критического ума. Ее поведение определяется почти исключительно бессознательным. Она думает образами, порождаемыми один из другого ассоциациями. Она не знает ни сомнений, ни колебаний, истинное и ложное не составляют для нее проблемы. Отсюда ее нетерпимое поведение, а также ее слепое доверие власти.

Консервативные по существу, массы имеют глубокое отвращение к новому, к прогрессу, безграничное уважение к традиции. Кроме того, они «никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, от которых не могут отказаться. Они всегда отдают предпочтение ирреальному, а не реальности; нереальное действует на них с той же силой, что и реальное. Они обнаруживают явную тенденцию не отличать одно от другого» [32].

Каждую фразу Фрейда нужно было бы комментировать и перечитывать, чтобы нарисовать полную картину социальной жизни. Прочитать фразу — значит потянуть за нить и раскрутить весь клубок. Отрывать их друг от друга — значит снижать их очевидность. Но не нужно вести аналогии Фрейда слишком далеко. С одной стороны, он нам говорит без обиняков, что (употребляя традиционный словарь) массы примитивны, инфантильны, ненормальны. С другой стороны, мы без большого труда понимаем, что примитивные люди, о которых он говорит, находятся не где-то там, далеко от нас. Это не индейцы, не африканцы, они находятся прямо здесь, люди, которые презирают творения цивилизации и законы разума. Примитивные люди, которых он изучает, которых он знает, — это мы сами.

Все эти аналогии, ясное дело, предназначены для того, чтобы показать нам, что массы свидетельствуют об эмоциональном и интеллектуальном, иногда даже моральном падении людей. По ту сторону сознания, когда барьеры уничтожены, существует темный мир, который сформировался в давние времена. Он оставил следы на нашем теле и в нашей памяти. Ему достаточно небольшого сдвига, чтобы взять реванш. Он переворачивает вверх дном представление о психической и социальной норме.

В большинстве случаев это потрясение происходит на пике праздника, мятежа, религиозной процессии, войны, патриотической церемонии. Во всех этих случаях, по крайней мере теоретически, возникает впечатление, что улицы наводняет бессознательное. А массы служат ему телом. С ними оно кричит, гневно размахивает руками, отбрасывает запреты, оскорбляет вышестоящих, сеет повсюду беспорядок и недовольство. Оно предается всякого рода крайним действиям, невиданным жестокостям. Реальность уничтожается, массы живут в диком сне. «Как во сне или под гипнозом, испытание реальностью в поведении толп не оказывает сопротивления силе желаний, отягощенных аффективностью» [33].



II

Трудно поверить, что Фрейд не знает, что он делает, когда пересказывает Ле Бона. Трудно поверить, что он не осознает связи, существующей между его теорией и суждениями о массах. Их сопоставление имеет лишь ограниченную значимость. Но Фрейд подчеркивает одно скрытое родство между двумя их дисциплинами, внешне чужими друг другу. И это родство заключается в их общем открытии бессознательного. Разве Ле Бон не писал: «Интеллектуальную жизнь можно сравнить с маленькими островками, вершинами невидимых огромных подводных гор. Огромные горы представляют собой бессознательное».

И Фрейд признает, что именно это является причиной их встречи: «Мы использовали в качестве отправной точки сочинение господина Ле Бона, потому что, судя по акценту, сделанному на роли бессознательного в психической жизни, психология этого автора значительно сближается с нашей»[35].

Но в соответствии с датами ему стоило бы сказать, что это его психология сближается с психологией французского психолога.

Отметив это сходство, он спешит добавить, что утверждения Ле Бона не вполне оригинальны. Многие государственные деятели, поэты и мыслители утверждали то же самое до него. Мы уже знаем это. Но ведь тем более неоригинально упрекать кого-то в том, что не у него первого возникла та или иная идея. Этот, скорее банальный, способ дискредитации использовался против всех исследователей, включая Фрейда. Когда их клеветники устают, называя их скандалистами, когда им надоедает повторять, что они наводят тень на солнце здравого смысла, их осмеивают, мол, нет ничего нового под этим солнцем. Все, что они говорят, было давно известно.

В действительности Фрейд расходится с Ле Боном в том же самом пункте, где он разошелся с Юнгом. Этот спорный пункт — коллективное бессознательное. Действительно, Фрейд отмечает, что бессознательное у французского психолога представляет собой по большей части унаследованный от предков субстрат нации или расы — мы отметим это в соответствующем месте. Источник его силы в наследии, аккумулированном длинной чередой поколений, каждое из которых нечто к нему добавило. Это коллективная память вида и культуры. Но бессознательное, такое, каким его понимает психоанализ, содержит преимущественно остатки вытеснения, подавления. «Я» прячет там инстинкты и аспекты индивидуального. Отсюда существенное различие между этими двумя классами реальности, обозначенными одним и тем же словом. И Фрейд старается исключить понятие бессознательного масс, а также покончить со смешением их психической жизни и жизни индивида.

Еще одно разногласие касается следующего. По Ле Бону, индивид не обладает той совокупностью особенностей толп, с которыми мы

уже познакомились. Он их приобретает, лишь смешиваясь с другими индивидами в массе. Однако Фрейд считает, что это не так — мы это только что видели. Такие черты существуют в каждом, но подавленные. Но, как только мы оказываемся в толпе, происходит общее уменьшение напряжения. Индивид регрессирует к массе. «Новые характерные черты, которые он (индивид) тогда обнаруживает, являются не более чем проявлениями этого бессознательного, где накоплены зародыши всего того, что есть плохого в человеческой душе, того, что голос совести молчит или что чувство ответственности исчезает в этих обстоятельствах, — именно здесь обнаруживается то, что нам совсем не трудно понять» [36].

Когда индивиды объединяются между собой, результат не является, как это предполагал Ле Бон, распадом их индивидуального сознания. Они возвращаются на более примитивную стадию их психической жизни, и каждый раз «этот зародыш всего того, что есть плохого в человеческой душе,» незаметно берет верх, и ничто не может ему противостоять. Именно этим объясняются интеллектуальная регрессия и аффективная преувеличенность, которые мы пространно описывали.

Наконец, последнее расхождение, скорее, имеет отношение к предвзятости. Ле Бон во многих отношениях считается психологом толп, который более всего настаивал на роли вождя и описал его с излишними подробностями. Целые главы его трудов посвящены ему. Без него толпа не может действовать. Трагическая ошибка, в которой французский психолог обвиняет современные общества, заключается в нехватке вождей. Они лишают толпы этого необходимого для их благополучия элемента. В этом пункте Фрейд также следует за Ле Боном, но с некоторыми недомолвками. Несмотря ни на что, анализ кажется ему неполным. Объяснения, касающиеся вождей толп, являются, на его взгляд, недостаточно ясными. Они почти не способствуют пониманию законов этого явления. Именно поэтому «трудно не признать, что то, что господин Ле Бон говорит о роли вождей и о природе авторитета, совершенно не согласуется с его блестящим живописанием души толп» [37].

Неточно назвать живописание толп буквально более блестящим, чем живописание вождей. Процесс, который Фрейд инициировал против Ле Бона, в сравнении с посредственной болтовней и оскорблениями, которыми его обычно осыпают в наши дни, может считаться данью уважения. Однако это не делает его более справедливым. Фрейд со всей очевидностью заявляет, каким будет основной стержень новой теории. В этом смысле такой процесс оправдан. В психологии толп, которую разрабатывает Фрейд, толпы достаточно быстро исчезнут из поля исследования. Вместо них на горизонте возникнет вождь. Он займет господствующую и центральную позицию, пока она не станет исключительной. Это вполне понятно: изучив семью и сделав из отца ее стержень, психоанализ должен был сказать о власти и о вожде больше, чем обо всем остальном.

III

Если Фрейд и критикует концепцию Ле Бона, то лишь с определенной целью: четко ограничить рамки собственного учения. Поэтому было бы неинтересно останавливаться на этом дольше и подробно перечислять его возражения. Кроме одного, позволяющего нам понять, каковы же эти рамки. Как и другие до него, Фрейд обращается к Ле Бону и спрашивает его: «Являются ли толпы менее интеллектуальными, чем индивид, и такими уж бесплодными, как вы полагаете?». Возможно, это так в том, что касается великих интеллектуальных творений, открытий искусства и науки. Здесь, полагает Фрейд, решающий вклад является единственно результатом работы одиночек. Но тем не менее и толпы сыграли созидательную роль — доказательством тому наш язык, наши ремесла, фольклор и т. д. Кроме того, неопровержимо, что коллективные произведения предшествуют во времени произведениям индивидуальным. Народная поэзия, устная традиция являются предшественницами и образцом обработанной, письменной поэзии. Народные религии также появились раньше религий, проповедуемых духовным человеком: Христом, Магометом, Моисеем, Буддой и т. д. Между тем, что утверждает Ле Бон, и тем, что наблюдается в действительности, имеется очевидное противоречие. Как его разрешить? Итак, являются ли толпы бесплодными или созидательными?

Чтобы преодолеть эту трудность, достаточно признать, что утверждения Ле Бона применяются в его психологии лишь к некоторым из толп. Между тем существуют и другие созидательные толпы, которые имеют очевидные интеллектуальные способности и психология которых отличается. Таким образом, Фрейд учитывает разграничение, которое нам уже известно, между естественными толпами и толпами искусственными. Предоставим ему слово: «Очевидно, в общем определении „толп“ смешаны разные образования, между которыми важно установить различия. Данные Сигеле, Ле Бона и других относятся к преходящим толпам, быстро образующимся благодаря скоплению некоторого количества людей, приведенных в движение общим интересом, но отличающихся один от другого во всех остальных отношениях. Несомненно, что эти авторы в своих описаниях находились под впечатлением революционных толп, особенно времен Великой французской революции. Что же касается противоположных утверждений, они являются результатом наблюдений над устойчивыми толпами, или постоянными объединениями, в которых люди проводят всю свою жизнь и которые воплощаются в социальных учреждениях. Толпы первой категории по отношению к толпам второй — это то же самое, что короткие, но высокие волны на широкой поверхности моря»[38].

Пересмотрев описание масс, данное Ле Боном, Фрейд принимается за их классификацию, данную Тардом. Как и последний, он приходит к выводу, что нужно разделять неорганизованные массы, с одной сторо-

ны, от организованных, с другой, изучение последних вызывает значительно больший интерес. Посредством ряда независимых суждений он присоединяется к французскому ученому в том, что касается функции иерархии, традиции и дисциплины, т. е. организации. «Речь идет о создании у толпы способностей, которые были характерны именно для индивида и которые он потерял вследствие его поглощения толпой» [39]. Это, конечно же, интеллектуальные способности.

Вот эта трудность и разрешена. Можно сказать, что стихийные, естественные толпы всегда оказываются бесплодными. Наоборот, искусственные, дисциплинированные толпы — село, партия и т. д. — проявляют себя плодотворными творцами культуры. Там, где одни регрессируют, другие прогрессируют. *Фрейд предлагает изучать в первую очередь психологию искусственных толп*. Они являются устойчивыми, длительно существующими. Обычно ими управляет видимый лидер. Черты, по которым они совпадают с семьей, позволяют установить аналогию между психоанализом и психологией толп, перейти от одного к другой. Такова истинная причина выбора Фрейда. Она не имеет ничего общего с мнимыми лакунами у Ле Бона.

Среди различных искусственных толп две наиболее близки к семье — это церковь и армия. Они ее принимают за идеал, имитируют до навязчивости и претендуют на то, чтобы реализовать в огромном масштабе то, чем семья является в малом: мир под покровительством отца и его сыновей. Совсем как в семье, они подчиняют ее членов внешнему принуждению. Те обязаны быть ее частью, хотят они этого или нет: «Они несвободны войти или выйти из нее по своему желанию, а попытки бегства строго наказываются или подчиняются некоторым четко определенным условиям. Эти попытки, помимо прочих, обозначаются как дезертирство, отступничество. Нас интересует именно то, что эти высокоорганизованные толпы, определенным образом защищенные от всякой возможности распада, раскрывают перед нами некоторые особенности, которые в других толпах остаются в скрытом состоянии» [40].

Благодаря сделанному им выбору Фрейд в конечном счете создает область психологии толп, равнообъемную области общества и культуры. Но мы не очень удивляемся этому. Скорее, нас удивило бы обратное. О реальном мире, таком, как его видит Фрейд, можно было бы сказать то, что говорил Борхес о воображаемом мире Тлёна: «Не будет преувеличением утверждать, что классическая культура Тлёна содержит одну-единственную дисциплину — психологию, другие подчиняются ей. Я же сказал, что люди этой планеты принимают мир как серию психических процессов, которые развиваются не в пространстве, а последовательно во времени» [41].

Намек на Фрейда прозрачен. И даже если это не намек, описание не становится от этого менее точным и достоверным. Мы сейчас и обратимся к тому, что Фрейд так упорно отстаивает.

ГЛАВА 4
ТОЛПЫ И ЛИБИДО

I

Замечания предыдущей главы носят предваряющий характер. Они означают, что большинство изменений, красочно описанных различными наблюдателями, сводятся к одному и тому же: упадку психической жизни в толпе. Я напоминаю некоторые его проявления. Сознательная личность каждого стирается, верх берет эмоциональность. Толпа имеет тенденцию переходить к действию, в действиях выражать идею, овладевшую умами. Идеи и чувства всех ориентированы в одном направлении: толпа обладает психическим единством.

Примем это. Теперь речь идет о том, чтобы это объяснить. Каковы причины, побуждающие людей претерпевать глубокие изменения, когда они окружены другими людьми или составляют часть группы? Почему мы делаем своими, не желая и не зная этого, мнения и чувства наших друзей, соседей, вождей, сограждан? Почему, будучи людьми, разными и несхожими, собравшись вместе, мы стремимся стать людьми-массой, единообразными и похожими?

До сих пор психология толп объясняла эти различные проявления регрессии внушением: «Как только массы образовались, — пишет русский психолог Бехтерев, — как только общий психический импульс их всех объединил, тогда внушение и взаимное внушение становятся решающим фактором для всех последующих событий»[42].

Но является ли внушение объясняющим понятием? Представляет ли оно собой явление первичное, ни к чему не сводимое, причину психических реакций любого человека? Мы с уверенностью можем сказать, что оно является определяющим фактором гипноза. Почему? Просто потому, что большинство людей более или менее внушаемы. Отсюда со всей очевидностью вытекает их естественная склонность к тому, чтобы позволять на себя влиять, выполнять данный им приказ и переходить от состояния бодрствования в состояние сна. Факты остаются фактами, о них говорят клинические наблюдения, лабораторные опыты или статистика. И эти факты позволяют нам утверждать одно: внушаемость — это свойство всех социальных существ, так же как тенденция падать вниз — это свойство тел, имеющих вес, или воспроизводство — это свойство живых существ.

Установить, что какое-то качество имеет общий характер — значит сделать важное открытие. Однако это означает лишь описать его, а не объяснить. Открыть, что все тела имеют тенденцию опускаться, а не

подниматься или ориентироваться влево или вправо — значит определить природу тел как имеющих вес. Это не объясняет, ни почему они падают, ни согласно какому закону. Нужно еще понять силу гравитации и сформулировать закон Ньютона. Приступая к разрешению загадки внушения, Фрейд верно замечает, что к этому моменту внушение уже было описано и показан его всеобщий характер. «Но мы все еще не располагаем объяснением относительно природы внушения, то есть условий, при которых можно подвергнуться воздействию без всякой логической причины»[43].

Я процитировал этот отрывок, чтобы напомнить, что с того времени, когда внушение было точно описано и доказана его эффективность, до той поры, когда Фрейд заинтересовался психологией масс, его применяли понемногу повсюду, не понимая механизма. Короче говоря, не было продвижения ни на йоту. А в научной сфере повторять одни и те же вещи — значит отступать. В этом случае внушение остается просто словом, скрытым свойством, как бы снотворным действием наркотика. Этого можно избежать. И для того, чтобы объяснить то, что связывает людей, составляющих толпу, а также те психические изменения, которым они подвергаются, Фрейд без лишних оговорок предлагает понятие «либидо».

В более конкретном варианте это понятие лучше известно в качестве ядра сексуальной любви. Оно охватывает и синтезирует все разновидности любви — любовь к самому себе, к детям, своим близким, своим идеям и так далее. Это слово, как и сам предмет, внушает страх. Особенно когда речь идет об определении природы связей, объединяющих людей в толпе, и цемента этих социальных отношений. Тард, как известно, тоже предчувствовал это. Он признавал, что в основе любой ассоциации лежит любовь, сексуальная или нет, симпатия одного человека к другому. Но Фрейд подходит к этому систематически. Он делает из либидо объяснительный принцип коллективной психологии.

Он не намерен отступать перед противодействием, которое он ожидает встретить. Тем более он не принимает сомнительного компромисса, заменяющего те откровенные слова, которые обозначают это явление, на слова «с душком» или, наоборот, изящные. В этом и состоит установка других ученых, избегающих подлинного термина и ему советующих поступать также: «Я и сам мог бы с самого начала делать то же самое, — поясняет он, — благодаря чему избежал бы немалого числа возражений. Но я не сделал этого, так как не люблю малодушно отступать: сначала поступаются словами, а кончают тем, что поступаются делами... и, наконец, тому, кто умеет ждать, не надо идти на уступки».

Приходится думать, что большинство не умеет ждать, когда видишь, с какой стремительностью слово «либидо» испарилось из языка сегодняшнего психоанализа, потерявшись и растворившись в облаке парафраз, от латинских до математических.

Продолжим мысль Фрейда: именно под воздействием импульса любви образуются связи между людьми. В любых отношениях, с виду нейтральных, абстрактных и безличных, как те, что связывают солдата и офицера, верующего и священника, студента и преподавателя, одного работника с другим, кроются сильные и, разумеется, очень смутные эмоции, действующие без нашего ведома. Они наиболее могущественны там, где мы меньше всего это осознаем. Либидо образует суть души толп. Это сила, поддерживающая единство толпы и укрепляющая ее сплоченность, поскольку необходимо, чтобы такая сила существовала.

Именно либидо действует и в отношениях между гипнотизером и гипнотизируемым как причина внушения. Врачи и психологи предпочитают ее игнорировать, стыдливо прикрывать вуалью науки. «То, что могло бы соответствовать любовным отношениям, скрыто у них за ширмой внушения»[45].

Мы и в самом деле присутствуем здесь при очень странном повороте. На протяжении целого века, начиная с Месмера, вначале враги животного магнетизма и затем гипноза уверяли, что в действительности существуют лишь ловкие трюки, фокусы, шарлатанство. И что под прикрытием терапии пытаются скрыть сексуальные отношения между врачами и пациентами или пациентками. Что это злоупотребление влюбленной доверчивостью женщин. Тогда как сами приемы гипноза ничуть не эффективны. Магнитизеры и гипнотизеры яростно опровергали эти обвинения. Они, напротив, подчеркивали безличный, объективный и несексуальный характер своих методов.

Вот что, с одной стороны, говорит Фрейд: противники животного магнетизма и гипноза правы. Внушение не играет никакой роли, любовные отношения — это все. Пусть же спадут маски и прикрытия. Прекратим подвергать цензуре действительность, чтобы узнать ее немного лучше, чем прежде. А с другой стороны, сам Фрейд возражает своим противникам, заявляя: вместо того, чтобы подвергать цензуре либидо или просить меня сделать это, признайте лучше, что это вещь необходимая, фундаментальная и имеющая научное значение. И только благодаря ему врач или психолог могут действовать. В этом отношении, как и в любых других, оно позволяет устанавливать социальную связь.

II

Чтобы понять действие либидо, нужно переместиться в строгий научный контекст. Обычно допускается, что человек по сути своей — существо общественное. Ему приписывают естественную склонность объединяться с другими людьми, чтобы удовлетворять свои нужды, работать и созидать. Но психология толп так не считает. Согласно ей, люди, напротив, имеют антисоциальные наклонности, которые препятствуют объединению. Любая группа или любая толпа, чтобы установить длительную социальную связь, должна преодолеть эти наклонности. Существуют две антисоциальные тенденции.

Во-первых, нарциссизм, привязанность к себе, исключительная любовь к собственному телу и к собственному «Я». Он делает человека нечувствительным к желаниям других, нетерпимым ко всему, что не есть он сам. Как это можно интерпретировать? Индивидуум хранит свое либидо для себя. Он отказывается делить его, переносить на другой объект. Самовосхищение и самоуважение не прекращают раздуваться и превращаются в тщеславие. В широком смысле этот культ тела и собственного «Я» становится исключительной любовью жителей к своему городу, членов футбольной команды к своему клубу, граждан к своей стране, французов к Франции, активистов к их партии и вождю и т. п. Действенная и восторженная симпатия к своим соотечественникам, к своему классу или к приверженцам одной идеи может обернуться антипатией, не менее действенной и восторженной по отношению к национальностям других стран, обитателям другого города, к тем, кто исповедует другую религию. Или к иностранцам, неграм, евреям.

Соединение симпатий к тем, кто составляет часть одной массы, нашей, и антипатий к чужакам имеет определенные следствия: мы считаем себя лучшими, в чем-то превосходящими других. Почему так часто мы согласны обращаться, как с людьми, лишь с теми индивидами, которые принадлежат к нашей группе, этносу, языковому сообществу, нации? Того, кто к ним не принадлежит, мы считаем меньше, чем человеком. Названия, которые дают себе многочисленные индейские племена Америки, означают лишь *люди, тело, народ* (навайос, апачи, юты). А греки награждали всех неэллинов именем варвары.

Безмерная гордость, с одной стороны, местничество, расизм, враждебность к чужому, классовые предрассудки, с другой, суть отравленные плоды, которые дает дерево нарциссизма. Эти плоды, имеющие вкус неприязни и презрения, мешают нам завязывать социальные отношения. Если любишь что-то с исключительной силой, уже не можешь не отбросить все отличающееся: «Это объясняет неприязнь галлов к германцам, арийцев к семитам, белых к цветным»[46].

Там, где любовь останавливается на себе, находит себе место ненависть к другому.

Немедленное удовлетворение желаний и инстинктов, особенно сексуальных, является вторым препятствием на пути создания общественных связей. В самом деле, эротическое влечение привлекает одних людей к другим и соединяет их. Но, как только желание удовлетворено, они снова разделяются. А, разделившись, они меняют партнера. Проблема вам ясна. Если менять объект, то есть мужчину или женщину, каждый раз, когда желание удовлетворено, то никакая стабильная связь не была бы возможной. Толпа, получившаяся в результате этого, имела бы лишь недолгое существование: «Непосредственные сексуальные стремления, — отмечает Фрейд, — испытывают значительное понижение уровня после каждого удовлетворения и требуют нового накопления сексуального либидо, а объект, который ранее привлекал, может быть заменен другим»[47].

Колебания желания мешают стабильности, которой требуют социальные установления и коллективная жизнь. Лишь поворот от этих тенденций, отказ от их удовлетворения могут уменьшить амплитуду колебаний. И, стало быть, побудить людей создать постоянную толпу, базирующуюся на организации и высшем идеале. Таково логическое заключение, которое можно вывести из этих наблюдений.

III

Нарциссизм и прямое удовлетворение влечений являются двумя главными помехами при рождении коллектива, достойного этого наименования. Попытаемся понять, как они могут быть преодолены, начиная с первого. Для этого вспомним вкратце природу либидо. Гипотеза о его главенствующей роли заставляет думать о двойственности, которая обнаруживается почти повсеместно. Очевидно, что, с одной стороны, мы обладаем *нарциссическим либидо,* направленным полностью на нас самих, привязанным к одному объекту — нашему телу и нашему «Я», как к нашей тени, не имея возможности от него избавиться. Оно возникает посреди *либидо эротического*. Второе либидо находится в беспрестанных поисках другого человека, оно постоянно меняет объект, чтобы самоудовлетвориться. Любовь оплачивается любовью, говорит испанская поговорка. Таково и его правило. Оно развивается только благодаря последовательной смене объектов, то есть партнеров. Ему случается перейти границы конкретного и распространиться на всех женщин и всех мужчин, на кинозвезду, фанатиками которой становятся, или на вождя, за которым следуют. Человек, объявляющий, что готов отдать свою жизнь за кого-то другого, пожертвовать собой ради своего руководителя, декларирует и выполняет акт любви. Много признаков указывают на эту способность отдавать себя все время меняющимся объектам. Они составляют часть любовного потока, первоначалом которого является сексуальное ядро.

Если просыпается желание соединяться, эротическое либидо побеждает либидо нарциссическое. Здесь, как и при многих других обстоятельствах, любовь позволяет преодолеть препятствие нарциссизма, подавить антисоциальные, эгоистические тенденции индивидуумов: «При добавлении эротических элементов, — пишет Фрейд, — эгоистические наклонности преобразуются в наклонности социальные. Незамедлительно устанавливается, что быть любимым — это преимущество, ради которого можно и нужно пожертвовать множеством других»[48].

Впрочем, для него любовь — это не то чувство, которое переживается просто и естественно. Любовь не может быть так легко разделяемой, как здравый смысл. Мы очень живо сопротивляемся чувствам другого человека. Мы или презираем тех, кто свидетельствует нам свою привязанность, или презираем себя, считая недостойными их любви. Большинство человеческих существ требует от подобных им того, чего они не умеют и не могут получить. Эта неспособность делает

отношения между ними очень хрупкими. Однако другого решения не существует. Любовное стремление обязывает людей преодолевать самих себя. Оно формирует первую частицу способности жить в обществе: «В развитии человечества, как и в развитии одного индивида, именно любовь раскрылась как основной, если не единственный, фактор цивилизации, определяя переход от эгоизма к альтруизму. И это верно как для сексуальной любви к женщине, с вытекающей отсюда необходимостью заботиться о том, кто дорог, так и для любви несексуальной, гомосексуальной и сублимированной на других людей, рождающейся в процессе общего труда. Также и в толпе мы наблюдаем ограничения нарциссического эгоизма, которые не проявляются вне толпы, и это настойчивое указание на то, что сущность формирования массы заключается в либидозных связях нового типа между членами массы»[49].

Вот заявление, достаточно странное под пером Фрейда, поскольку известно, как мало он доверял спонтанному великодушию, «молоку человеческой нежности». Но не нужно обманываться словами: в конечном итоге любовь означает сексуальность. Все изменения, которые происходят внутри человека и в отношениях между людьми, носят печать сексуальности. Они не связаны, как это полагали ранее, с таинственным и ни к чему не сводимым внушением, причина их — в состоянии влюбленности, которое отрывает нас от одинокого созерцания собственной персоны в зеркале, к которому нас склоняют наше тело и наше «Я». Это же состояние определяет и толпу: «Когда человек, поглощенный толпой, отказывается от личного и особенного в себе и позволяет воздействовать на себя другим, создается впечатление, что он делает это потому, что испытывает необходимость в согласии с другими членами толпы больше, чем в разногласии с ними: следовательно, он, возможно, делает это „из любви к другим“»[50].

Мораль истории проста: люди живут в обществе не потому, что они сомнамбулы, а потому, что они влюблены. В обоих этих случаях, однако, они теряют голову. Мы хорошо видели результаты. Но до сих пор мы ошибались в причине.

IV

Наблюдения, которыми мы располагаем, больше подходят для выявления роли либидо в искусственных толпах, в церкви и армии, например, чем в естественных. Существует, однако, некоторая сложность в составлении окончательного суждения о важности этой роли. Другие факторы материального порядка, власть и интерес — вмешиваются сюда, и ими не следовало бы пренебрегать. Но прелесть исследования, психологического, в частности, состоит в том, что не существует ничего окончательного. Речь идет лишь о воображаемой реконструкции на основе относительно небольшого количества фактов, подобно тому, как это делают палеонтологи, воскрешая доисторическую цивилизацию на основе анализа нескольких костей, орудий и стратиграфического обзора местности.

Искусственные толпы предстают перед нами как дисциплинированные человеческие сообщества. На одном полюсе — глава (или группа предводителей), на другом полюсе — масса. Они обнаруживают то, что нас здесь интересует, — распределение, согласно иерархии, двух категорий любовных чувств: любви к себе и любви к другим. Предводитель, согласно намечающемуся здесь объяснению, — это человек, который не любит и до определенного предела не может любить никого, кроме самого себя. Причиной этого может быть исключительная вера в свои способности, идеи и чувство превосходства. Нарциссизм у него не сдает позиций перед любыми трудностями. Его огромная любовь к самому себе, если она не проявляется явно, может даже сойти за любовь к другим. То, что Фрейд писал о вожде архаических толп, верно и для вождя в целом: «Даже в одиночестве его интеллектуальные действия были сильны и независимы, его воля не нуждалась в подкреплении волей других. И кажется вполне логичным, что его «Я» не было слишком ограничено либидозными связями, что он никого не любил, кроме себя, и уважал других в той мере, в какой они служили удовлетворению его потребностей»[51].

Независимый индивид, существо особенное, предводитель не нуждается ни в одобрении других, чтобы действовать, ни в их оценках, чтобы восхищаться собой. Он не нуждается в подстраховке, которую мы постоянно ждем от своих близких. Если нам нужно принять важное решение или мы просто колеблемся, выбирая фильм, чтобы провести вечер, то нам очень трудно обойтись без мнения другого человека. Вождь не пребывает в страхе потерять любовь других: друзей, коллег, сограждан. Перефразируя выражение поэта Раймона Радиге, можно сказать, что вожди — это «нарциссы, любящие и ненавидящие свой образ, а любой другой им безразличен».

Толпа, напротив, теоретически формируется из индивидов, для которых привязанность себе подобных и необходимость чувствовать себя любимыми так же, как и любить самим, — это главное. По правде говоря, они восхищаются собой и ладят с собой лишь в той мере, в какой ими восхищаются и с ними ладят. Они постоянно зависят от проявлений эротического либидо, общего для них. Если же довести это противопоставление до предельного выражения, то можно сказать, что вожди любят себя, не любя других, а люди-масса любят других, не имея возможности любить себя.

Когда государственные деятели говорят с другими о трагическом одиночестве власти, о необходимой дистанции с народом, они преподносят это как жертву, совершенную во имя всеобщего блага. Но они опрокидывают порядок вещей. Ведь именно потому, что они обладали этой способностью самодовольствоваться, обходиться без других, даже презирать их, они и достигли вершины пирамиды. И там они самоизолируются, сохраняют дистанцию в любых обстоятельствах — все это для того, чтобы еще больше насладиться этим эмоциональным изоби-

лием в своем привилегированном положении. Югославский писатель Джилас, бывший соратник Тито, близко наблюдал его отношения со своим окружением. Они весьма показательны: «И, однако, в опасных ситуациях, как и в моменты передышки — в опасности даже меньше, чем в моменты отдыха — Тито оставался сдержанным, непроницаемым, отстраненным. Между ним и его товарищами, и даже между ним и его супругами, особенно последними, присутствовал непреодолимый барьер. Не ров, а барьер. Он устанавливал этот барьер, существовавший у него на инстинктивном уровне и в сознании, и когда кто-нибудь приближался или угрожал ему, барьер становился заметным в немного более жестком выражении лица, в изменении глаз, выражавших презрение или раздражение, в резком ответе»[52].

Мы знаем или думаем, что знаем, почему Тито отказывался от разделенности эмоций, от любых взаимных чувств, от риска видеть других приближающимися к нему. Его собственный нарциссизм требовал этого. В самом деле, как поставить себя на их уровень, как их любить? Ведь он был способен любить только самого себя. В этом барьере нет ничего исключительного. Мы сталкиваемся с этим каждый день, когда имеем дело с людьми нарциссического типа, или, как их называют в обыденной речи, с эгоцентриками, эгоистами.

Мы возвращаемся к идее распространенной, но следствия которой, по-видимому, остаются непризнанными. Потому что, если эта идея приемлема, мы сталкиваемся со следующим парадоксом. В принципе толпы формируются из индивидов, которые, чтобы участвовать в толпе, победили свои антисоциальные наклонности или пожертвовали любовью к себе. Однако в центре находится единственная личность, сохранившая эти наклонности даже в преувеличенном виде. По странному, но объяснимому воздействию связи, которая их объединяет, массы не расположены признавать, что они отказались от того, что их предводитель сохраняет нетронутым и что становится центром их внимания, то есть любовь к себе.

Одним словом, они не хотят признать, что здесь находится источник их зависимости, который иссяк бы, если бы они умели сохранять то, в чем привыкли себе отказывать. Не правда ли, есть глубокий смысл в следующем утверждении Робеспьера: «Чтобы любить справедливость и равенство, народ не нуждается в великой добродетели, ему достаточно полюбить самого себя!». Все вожди символизируют собой этот парадокс присутствия антиобщественной личности на вершине общества — у кого нет нарциссизма, у того нет и власти.

V

Все эти замечания дополняют то, что мы уже знаем из психологии масс: вождь — основа искусственных толп. Члены этих толп влюбленно относятся к нему. Согласно Фрейду, в армии и церкви каждый индивид связан либидозными отношениями с руководителем: Христос,

высший руководитель, с одной стороны, и все члены группы — с другой. Но эти отношения находятся под постоянной угрозой, и мы знаем почему. Во-первых, из-за риска, что будет раскрыт парадокс, на который мы только что указали, из-за разоблачения того, что эти связи не взаимны. Во-вторых, среди членов толпы распространяется подозрение, что вождь благосклонен к одним в ущерб другим, что он любит одних больше других. Мораль, которая является сладкой помадкой, вылитой на реальность, недостаточна, чтобы успокоить эти страхи. Люди считают себя равными между собой и хотят, чтобы с ними обращались, как с равными. Это разделяемое всеми стремление порождает иллюзию, что их будут любить взаимно, не делая различий.

Каждый любит вождя, вождь любит их всех и не покровительствует никому в особенности: «В церкви (мы берем в качестве модели прежде всего католическую церковь) как и в армии, имеющих, впрочем, некоторые различия, царит одна и та же иллюзия, иллюзия присутствия видимого или невидимого лидера (Христос в католической церкви, главнокомандующий в армии), который любит равным образом всех членов этого сообщества. Все остальное увязывается с этой иллюзией; если бы она исчезла, армия и церковь не замедлили бы распасться в той мере, в какой это допускалось бы внешними ограничениями»[53].

Любовь, либидозная связь — это их цемент, фактор их соединения и жизнеспособности. Церковь сознает это. Она представляет христианскую общность как обширную семью. Верующие в ней — братья в любви, оживляющей Христа, и взамен он сам или его представители свидетельствуют им эту любовь. По отношению к каждому христианину, составляющему толпу, он находится в позиции старшего брата: он заменяет им отца. Именно это объединяет верующих между собой. В армии также предполагается, что командир представляет собой отца, который одинаково любит всех своих солдат. Так оправдываются их товарищеские отношения. То же, бесспорно, можно сказать и о партии: связь, которая соединяет каждого ее члена с вождем, с Лениным или с Де Голлем, например, служит для связи этих членов между собой.

Итак, можно утверждать, что либидо указывает путь для объяснения великих феноменов психологии толп. Мы его проследили. Это, во-первых, единство, объединяющее и удерживающее людей вместе. Единство эротического порядка, существующее на разных уровнях. Во-вторых, подчинение толпы вождю, вызванное тем фактом, что она отказывается от любви к себе и обнаруживает преобладание любви к другим. Но это подчинение остается хрупким и подверженным угрозе, так как вождь даром получает от толпы ту привязанность, в которой он ей отказывает или которую неспособен дать взамен. Чтобы сгладить это несоответствие, действительную невзаимность между обоими полюсами социальной иерархии превращают в иллюзорную взаимность. Тогда люди воображают себе, что получают взамен эквивалент того, что отдают. В эмоциональной экономике общества, как и просто в экономи-

ке, неравный обмен приобретает видимость равного. Каждый думает, что получает плату за свои чувства, что ему платят за его любовь, тогда как на деле ничего этого нет. Но иллюзия справедливого распределения эмоций поддерживается самой природой либидо, которое имеет этот взаимный характер: «И сегодня людям, составляющим толпу, необходимо знать, что самому вождю нет нужды никого любить — он наделен природой властелина, его нарциссизм абсолютен, но он полон уверенности в себе и независим. Мы знаем, что любовь сдерживает нарциссизм, и нам было бы легко показать, что благодаря этому она способствует прогрессу цивилизации»[54].

Двойная и единая природа либидо, то есть любви, бесконечно увеличивает ее возможности. В толпе люди, можно сказать, переполнены обилием эмоциональных связей между собой и своим вождем. Когда они в одиночестве наслаждаются спокойствием и безопасностью, распоряжаясь своими чувствами, они могут рассуждать, доказывая независимость суждения. Как только кто-то захватывает их эмоции, их интеллектуальная деятельность снижается. Тогда наблюдаются чрезмерная доверчивость, экстремальные порывы. Их переменчивость материализует интенсивный и заразительный характер любовных импульсов. Всякое неуместное излияние этих последних приобретает вид насилия. Оно пугает. И толпы внушают страх, в этом нет почти ничего удивительного, так как они вновь воскрешают перед нами архаическое прошлое. «Все эти свойства, — пишет Фрейд, — и другие, аналогичные им, которым господин Ле Бон дал столь впечатляющее описание, представляют собой, без сомнения, регрессию психической деятельности к предшествующей фазе, которая не удивляет нас, когда мы ее находим у ребенка или у дикаря»[55].

Явно наметилось продвижение вперед. Чтобы понять это описание, мы располагаем теперь объяснением. После того, как мы узнали «как», мы получили представление о «почему», как бы приблизительно оно ни было. Сексуальность, более или менее непосредственная, кажется причиной, которая легко затмевает сознание, играет с его засовами, открывает дверь самым древним и самым антисоциальным импульсам. Но в конечном итоге она также оказывается единственной силой, способной победить эгоизм, намагнитить противостоящих друг другу индивидов. Она собирает их в толпу, где, как в ссоре влюбленных, все кончается объятием.

ГЛАВА 5
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

I

В предыдущей главе мы отметили, что немедленное удовлетворение потребностей и влечений является вторым препятствием при создании длительной социальной связи в толпе. В частности, любовь, более или менее десексуализированная, представляет силу, способную оторвать индивидов от их нарциссического эгоизма так же, как большое количество энергии отрывает электроны от атома и соединяет их вместе. Эта сила не смогла бы, однако, гарантировать стабильность социальных атомов. Что же ей препятствует? Просто-напросто ее собственная природа, которой свойственны взлеты и падения до и после сексуального акта, эмоциональные нагрузки и облегчения. Сюда же добавим возможный хоровод партнеров от раза к разу. Эрос — враг повторения, а повторение — враг эроса. Это доказывается опытом. Теории надлежит сделать из этого вывод.

Но никакое общество, никакая культура не смогли бы установиться на столь непрочном фундаменте, на базе настроений и на зыбкой основе любовных переживаний людей. Между тем, одни общества уже установились, другие продолжают это делать. Причина в том, что они открыли определенные способы отвлекать людей от немедленного удовлетворения эротической склонности, сосредоточивать их на стабильных связях. Памятники, которые воздвигает культура, суть также и алтари, на которые она приносит в жертву любовь. Скажем в ее оправдание, что она и не пытается предоставить замену.

Каковы же эти способы, используемые обществом? Один из них — подавление. Оно отрицает существование либидо и относится к нему так, как если бы его не существовало. Подавление строится вначале на запретах. Они предписывают, как объединяться и с кем: с кузиной, но не с дочерью, с кем-нибудь одной религии или одного и того же общественного класса, а не с кем-то другой религии или иного общественного класса.

Другой способ ведет к отказу от удовлетворения желания, каков бы ни был его объект, мать или отец, например, — во имя высших доводов. Предполагается, что индивид интериоризировал запрет или внешнее подавление. Он, таким образом, добровольно принимает то, что раньше выполнялось невольно. Другими словами, правило, навязанное в общественной жизни, отныне инкорпорируется в жизнь психическую.

Такую эмоциональную привязанность к кому-то — к отцу, другу, учителю обозначают понятием идентификации. Она замещает любовное желание по отношению к этому лицу. Желание интериоризируется, и человек, который любит, становится как тот, кого он любит. Подражая ему, он овладевает им. Принесенная жертва позволяет властвовать над собой и властвовать над отношением с другим, согласно завету Гете: «Обладают лишь тем, от чего отказываются». Суровый завет, применение которого имеет следствием установление стабильности социальных атомов. Нужно проникнуться идеей, что либидо, ограничивающее нарциссический эгоизм, и *мимезис*, укрепляющий эмоциональную связь, — они оба необходимы для формирования человеческой массы. В одном из своих восхитительных комментариев к Библии Моисей Маймонид утверждал, что «две меры. безопасности лучше, чем одна». И каждая выполняет свою миссию по-своему: одна зажигает огонь, другая поддерживает его и не дает погаснуть или сжечь дом.

II

Каким образом приобретены эти способы? Вот что нам нужно теперь уяснить. Я и здесь последую за Фрейдом. Но то, что он писал по этому поводу, осталось незавершенным. Мне придется продолжить, следуя его указаниям. И, кроме того, я должен буду удалить лишнее, чтобы представить предмет более точным. Я приступлю к этому с учетом преемственности между понятиями идентификации и подражания, преемственности, которую один швейцарский автор оценил такими словами: «Разительна родственная связь теорий Тарда и Фрейда»[56].

Слово «идентификация» имело успех. Но суть тем не менее ускользает от нас, и мы оказываемся перед самой сложной тайной глубинной психологии. Она приучила нас к смутным понятиям, иллюзия понимания которых создается у нас только по недоразумению, из любопытства или в силу ассоциации идей. В этом отношении понятие идентификации бьет все рекорды. Ни клинические уточнения, ни многочисленные комментарии, упускающие ее роль в психологии толп, не могут рассеять этот густой туман.

Несмотря ни на что, моей целью остается по возможности выделить это понятие из неопределенного контекста, даже ценой досадных упрощений. Его последующее применение оправдывает такую процедуру. Труднее всего решить, с чего начать. Чтобы внести ясность в идеи, я предлагаю различать общую идентификацию, свободную от всякой привязки к либидо и инстинктивным импульсам любого рода, и частную идентификацию, связанную с либидо и импульсами. Первая обнаруживает себя в больших человеческих массах, в их совокупности, вторая относится к семье. До определенного момента в этом различении можно сослаться на Фрейда, который полагает, что в случае, «часто встречающемся и особенно значительном», «идентификация

осуществляется вне и независимо от всякого либидозного отношения к копируемому лицу»[57]. Она «может иметь место каждый раз, когда лицо открывает в себе какую-то черту, общую с другим лицом, не являющуюся объектом либидозного желания для первого лица. Чем более общие черты важны и многочисленны, тем более полной будет идентификация и тем больше, следовательно, она будет соответствовать началу новой привязанности»[58].

Если вы принимаете различение, которое я предлагаю, мы можем перейти к сути вопроса. Начнем с наиболее явного: с того, о чем говорят теории и факты. Общая идентификация, мы знаем это интуитивно, выражается в акте подражания, в воспроизведении образца. Кроме того, она предполагает чувство привязанности, общности с тем, кому подражают и кого воспроизводят. В основе привязанности и находится то, что называют «идентификацией», то есть «ассимиляция одного „Я“ другим, в результате которой первое „Я“ ведет себя в определенном отношении так же, как и второе, имитирует его и в некотором смысле вбирает его в себя»[59].

В то же время эта ассимиляция расширяет нашу сенсорную палитру от зон тактильных к зонам зрительным, так как взгляд играет здесь основную роль. Имитатор прощупывает, выслеживает и рассматривает во всех деталях свою модель. Он следует по ее стопам, чтобы пропитаться ею. И как актер смотрит на себя в зеркало, так и он проверяет на самом себе, хорошо ли он усвоил подмеченные черты, удачна ли его имитация, стал ли он двойником. В конце концов, этот взгляд, брошенный на себя в зеркало, доставляет ему удовольствие. Зрительный образ — смысл имитации, смысл общественный и в высшей степени артистический. «Видеть» и «желать имитировать» было бы для него одним и тем же, написал Марсель Пруст об этой идентификации посредством взгляда.

Рассмотрим более подробно ее различные грани. Возьмем сначала ясное и простое повторение жестов, слов и действий другого человека. Мы обладаем бессознательным стремлением воспроизводить движение, звук и т. д., как только индивид или группа индивидов делает это движение или произносит этот звук в нашем присутствии. «Подражание, — пишет русский психолог Бехтерев, — которое так удачно было освещено Тардом, есть естественное следствие воспроизведения какого-то своего действия или чужого, выполнение действия, оставляющего в нервных путях следы, которые облегчают повторение и побуждают его повторять»[60].

Тард верно описал стремление преступников вновь пережить в воображении свое преступление или вернуться на место преступления и повторить свое злодеяние. Он видит в этом частный случай более общей тенденции сознательно или нет повторять действия и ситуации, почерпнутые из нашей собственной истории.[61] В письме от 1907 г., адресованном Юнгу, Фрейд говорит об «общем стремлении людей беспрерывно извлекать новые копии и клише, которые они носят в

себе». Таков один из стержней его теории, и он будет часто к нему возвращаться [62].

В действительности через повторение звука или движения, произведенного другим, даже через повторение идеи воспроизведение призвано восстановить нарушенную гармонию. Оно нацелено на возвращение в прежнее состояние, реальное или воображаемое, в котором находился субъект. Разница между ним и другими стирается. Он делает своим то, что было их особенностью, и у него создается впечатление овладения ими. Когда группа детей играет в «воспроизведение» отношений, «странных» слов вновь прибывший — знаменитое «Шар Бовари!» Флобера — подбирает повторение к предыдущей ситуации. В ней они все вместе испытывали и делали одно и то же.

Повторение, впрочем, всегда имеет значение подтверждения какой-то связи и ее усовершенствования. Таковы праздники, годовщины и чествования: из года в год повторяются слова, песни, жесты, шествия и т. д., утверждая незыблемость Республики или какой-то местной традиции. Приверженцы какой-нибудь научной школы повторяют одну и ту же идею. Толпы тысячу раз выкрикивают один лозунг. Это способ утверждения преемственности, упрочения своей принадлежности к группе, защиты себя от всегда существующей опасности разъединения. Настойчивое неустанное повторение, которое наблюдается у взрослых, многократно усиленное отмечается уже у детей: «...ребенок, — пишет Фрейд, — не устает повторять их (события) и воспроизводить их, упорно стараясь достичь идеальной идентичности всех повторений и воспроизведений какого-то впечатления»[63].

Таким образом он его фиксирует. Это доставляет ему многократное наслаждение. Кроме того, он чувствует, что избегает ловушек расхождений. Он открывает единообразие порядка среди переменчивости беспорядка. Мир носит печать его стереотипов, и поэтому он признает его своим. Когда он взрослеет, на смену приходят ритуалы общества. Они еще больше углубляют колеи, след которых уже заметен.

Идентификация раскрывается также как прием притворства. Ее цель — предотвращение опасности, враждебности людей или чего-то другого. Вы часто замечали, что человек, входящий в салон или на собрание, ищет глазами, а затем присоединяется к определенной группе: к тем, кто одного с ним возраста, одной профессии или кто придерживается тех же убеждений. Поговорки это утверждают, а лабораторные исследования удостоверяют: те, кто собирается вместе, походят друг на друга. Почему же люди ведут себя таким образом, а не подходят к кому угодно? С одной стороны, отыскивая знакомые лица, выполняя ритуальные жесты признания, индивид явно стремится экономить свои усилия. С другой стороны, он предохраняет себя от возможных отказов, враждебности неизвестных лиц, даже от своей собственной враждебности по отношению к этим незнакомцам. Он надевает защитную маску похожести, идентичности с группой.

Искусство камуфляжа используется во всем животном царстве: некоторые насекомые походят на ветки, ящерицы приспосабливают свою окраску к цвету мест, где они обитают, есть млекопитающие, которые имеют такую пятнистую шкуру, что теряются в зонах контрастной светотени. Существуют крабы, которые так «рядятся» или «украшают» себя таким образом, что наблюдатель замечает их присутствие, лишь однажды сев на них сверху. Люди также бывают скрытны, потому что, имея на то основания или нет, они рассматривают другого как опасность. Она всегда дамокловым мечом нависает над головой подчиненного, ребенка или чужеземца.

Стремление иностранца усвоить, даже преувеличить черты, речевые выражения или привычки национальности, в среде которой он живет, быть более французом, чем французы, более американцем, чем американцы, короче говоря, большим роялистом, чем сам король, отвечает потребности защиты. Оно ограждает от боязни быть исключением. Это та же видимость социального: в идентификации с другими индивид всегда ищет способ обезоружить их и дезориентировать. Он хочет отвести от своей личности враждебность, происходящую от их любви к себе самим, от обостренного нарциссизма.

Пойдем дальше. Каждая серия миметизмов, имитационных игр выполняет аналогичную функцию. Клоун — а кто из нас не клоун в какой-то момент своего существования? — превращает в комическую ситуацию напряженную, даже трагическую. Шут разрушает недоверие. Шутовским тоном он произносит истины, о которых любимцы не смеют даже шептать. Карикатура жестко воспроизводит что-то смешное, идею или персонаж, над которым не посмели бы смеяться в иных обстоятельствах. «Человек, который смеется — сильный среди сильных», — подчеркивает Сартр, имея в виду персонаж Мальчика, тоже клоуна, изобретенного и воплощенного Флобером, чтобы реагировать на презрение семьи, делая себя более гротескным, чем на самом деле.[64]

Все формы масок, пародий, травести, переодеваний и весь юмор входят в эту категорию. Они направлены против людей, обладающих властью в группе. Как в детских играх. «Миметизм, — пишет Фрейд, — лучшее искусство ребенка, мотив, направляющий большинство его игр. Честолюбию ребенка больше льстит подражать взрослым, чем быть первым среди равных. Отношение детей к взрослым — это также основа снижающего комизма, который соответствует снисходительности взрослых по отношению к жизни детей»[65].

Эти примеры, взятые среди многих других, позволяют видеть, в какой мере идентификация избавляет от опасности отвержения или агрессии, исходящей от группы, вышестоящих или близких. Возможность быть, как другие, анонимным и подобным часто придает уверенность в жизни. Иногда таким образом мы спасаем видимость. Иногда мы ее создаем. Неважно. Главное, чтобы эта видимость существовала. Без нее жизнь в обществе невозможна.

Наконец, идентификация принимает форму настоящего присвоения другого человека. Тогда она служит для того, чтобы завладеть им, овладеть отношением с ним. Наиболее непосредственное, наиболее живое ее выражение — желание слиться с другим, растворить его в себе. Одним словом, поглотить его, чтобы иметь возможность заявить: «Другой? Это я!», «Я отец, я чрево, я правая рука». Людовик XIV уже говорил «Государство — это я!». Здесь мы достигаем абсолютной идентификации. Иногда любовь создает из нее иллюзию. Иногда это ненависть; и много убийств, публичных или частных, не имели другого мотива, кроме этой невероятной подмены. Есть современный пример. Убийца Джона Леннона сначала старался стать похожим на эту звезду, занимаясь музыкой и коллекционируя его диски. Он написал имя Леннона на своей рабочей одежде вместо своего имени. Как Леннон, он женится на японке. Но однажды вечером он подстерегает его и убивает.[66]

Менее непосредственным, менее резко выраженным было бы обладание вещами другого, его женой, машиной, домом и т. п. В своем стремлении завладеть его желаниями мы желаем того, чего желает он. Становясь подобными ему, обладая тем, чем обладает он, мы и есть он. Или мы воображаем, что мы есть он. Так же тот, кто имеет богатый дом или спортивную машину, считает себя богачом или спортсменом. По крайней мере до той поры, пока ничто не разрушит его иллюзию. Пока он не возжелает еще более роскошный дом, еще более мощную машину.

Этот аспект отношений между человеческими существами является основным. Он определяет наш выбор объекта. В большинстве случаев мы предпочитаем один объект другому потому, что один из наших друзей уже его предпочитает, или потому, что предпочтение представляет заметное социальное значение. Как и дети, взрослые, когда они голодны, ищут те продукты, которые ищут другие. В своих любовных связях они ищут женщину или мужчину, которых любят другие. Они отвергают того или ту, кто нелюбим. Когда говорят о мужчине или женщине, что они желанны, это значит, что другие их желают. Не потому, что они одарены каким-то особым качеством, а потому, что они отвечают образцу, соответствуют моде этого момента.

Никто из писателей не сумел показать лучше, чем Марсель Пруст, «сердечные перебои», чередование порывов и охлаждений, потребность в любимой женщине или в той, которая кажется любимой, муки подозрений, раздирающую ревность, когда видишь, что другие на нее смотрят, касаются ее, любят ее, и это ужасное безразличие, которое чувствуешь в ее присутствии. Лавируешь, унижаешься, чтобы заставить ее прийти к себе, а когда она уже здесь, не хочешь больше ни видеть ее, ни говорить и скучаешь в ее обществе. Выпроводить ее? Но тут же вновь начинается страдание... Вспомните следующее признание Свана: «Подумать только, что я впустую потратил годы моей жизни, что я хотел умереть, что моей самой большой любовью была женщина, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе»[67].

Нужно ли из этого заключить, что мы ревнуем потому, что любим? Нет, как раз наоборот, мы любим потому, что ревнуем.

Под другим углом зрения миметизм, как воспроизведение с помощью иных средств, жестов или ситуаций, осуществленных другом, родственниками, школьным товарищем, также представляет собой способ присвоения и контроля над лицом или объектом, который избегает нас. В связи с этим Фрейд приводит пример ребенка, который отбрасывает бобину, затем подтягивает ее к себе и повторяет эту игру много раз. Ребенок таким образом инсценирует и имитирует отъезд и возвращение матери с помощью предмета, простой бобины, которая у него есть под рукой. Он действует как фокусник, который воображает, что с помощью песни или танца он заставит пойти дождь. Благодаря игре отсутствие любимой матери становится переносимым. «В том, что касается детской игры. — пишет Фрейд, — мы думаем, что, если ребенок воспроизводит и повторяет событие, даже очень неприятное, это для того, чтобы иметь возможность посредством своих действий подчинить себе сильное впечатление, которое он получает от этого события, а не ограничивать себя переживанием его, сохраняя чисто пассивное отношение»[68].

Стараясь овладеть другим человеком более примитивным или более изощренным способом, приходят к тому, что становятся, как он. Но копиями никогда долго не довольствуются. Эти копии быстро становятся нашей второй натурой, то есть нашей истинной социальной натурой.

Эти различные грани — повторение, имитация, присвоение — присутствуют в любой идентификации с человеком, группой или идеей. Каковы их последствия? Идентификация дает нам возможность наверняка избежать ситуаций напряжения или недовольства. В той степени, в какой нам приятно повторение жеста, имитирование чувства или цели, признание каких-то черт общими с другими людьми и обычными, идентификация преобразует огорчение в удовольствие: «Кажется, — пишет Фрейд, — в целом можно допустить, что открытие заново чего-то уже знакомого, „узнавание“ ощущается как приятное»[69].

Вергилий знал это: даже воскрешение прошлых горестей сладко. *Haec quoque meminisse juvabit (лат.)*: эти события также станут приятным воспоминанием, говорит он устами героя «Энеиды». Можно предположить, что это удовольствие способно занять место других, сексуального удовольствия, например, и успешно конкурировать с ними. Если принцип замещения основан на схожести с общим объектом, не удивительно, что все подвержены давлению идентичности. Каждый побуждается копировать модель настолько точно, насколько возможно, желать того, что желает другой, и так, как этого желает другой. В конечном итоге каждый освобождается от объекта желания. Этот объект перестает быть целью, вызывающей поступок или потребность, и становится средством связи с человеком, с группой.

Как в экономике, выбор объекта определяется его стоимостью на рынке, меновой стоимостью, то есть тем, насколько этот объект или человек ценен для других. Это не его потребительская стоимость, не подлинное удовлетворение от потребности в этой вещи или в этом существе. Перенимая вкусы, желания, мнения у своей модели, мы избираем те же предметы, что и он. Как следствие мы имеем те же вкусы, любим те же вещи и тех же людей. Мы ждем, чтобы нам сказали, что нужно ценить или любить, чтобы желать и приобретать эти предметы — большие американские машины или маленькие английские, отпуск у моря или в горах, стройных женщин или дородных и т. п.

Можно резюмировать это утверждением, что идентификация ведет нас к ситуации, аналогичной той, в которой мы находились до того, как научились распознавать наши желания и выбирать предметы сами, до того, как мы приобрели индивидуальность и стали отличаться от других. В этом смысле она борется против любого изменения, любого изобретения, которое может нарушить коллективное однообразие. Индивидуальность преобразует любой импульс в рефлекс. Таким образом, она обнаруживает существование внутренней силы, которая в результате долгого окольного пути заставляет существо индивидуальное регрессировать к существу социальному и обязывает его соединяться с другими, победить свою отделенность от них. В итоге идентификация приходит к абсолютной конформности: каждый любит только то, что любят другие, никто не имеет своих собственных вкусов или страстей. Никто и ничем не отличается от общей модели: хорошего — сына, больного, писателя, солдата, верующего. Индивиды походят друг на друга, как две капли воды. Существует только толпа лиц, носящих одно и то же имя, выставивших напоказ одно и то же лицо, одинаково одетых.

Если, как мы только что видели, идентификация стремится вернуть нас в состояние, предшествующее отделению, индивидуальному самовыражению, можно также предположить, что она возвращает нас к прежнему партнеру, объекту наших желаний, которого некогда мы стремились поменять. Она возвращает нас к нему потому, что он нам уже знаком, и, значит, является источником удовольствия. Даже если мы хотим поменять его, идентификация заставляет нас воспроизвести наш начальный выбор, то есть искать нового партнера, похожего на первого. В конце концов, если мы ничего не можем сделать против взлетов и падений, напряжения и облегчения либидо — кроме как подавить его, — можно быть уверенным в постоянстве его объекта и найти дополнительное удовлетворение в регулярности отношений с ним. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать стабильную социальную связь.

Конечно, существует постоянное напряжение между либидо и мимесисом. Первое не признает возвращения к прежнему. Второй желает найти это прежнее и восстановить предшествующее состояние. Каждый индивид, каждая группа хитрят, лавируют между ними. С тече-

нием времени между ними происходит разделение и устанавливается сотрудничество. Разделение проявляется в том, что либидо характеризует, если можно так сказать, субъект желания и определяет его интенсивность. Идентификация характеризует объект и определяет то, что желаемо. Например, потребность любовного порядка толкает нас к женщине или мужчине. Однако то, что мы предпочитаем женщину материнского типа или мужчину отцовского типа женщине-ребенку или юноше, полностью зависит от силы идентификации с фигурой матери или отца, наследием нашего детства. И этот род союзов всегда имеет благоприятные последствия. Так, Фрейд пишет по поводу женитьбы американского президента Вильсона: «Чем больше его жена будет походить на его мать, тем богаче будет поток его либидо в этом браке»[70].

Теперь мы имеем если и не до конца ясное, то достаточное представление об общей идентификации, благодаря которой формируются стабильные социальные связи. Размышляя о ее свойствах, можно заметить, что они имеют много общего не только с подражанием, без обращения к гипнозу, но также и с инстинктом смерти, описанным Фрейдом в его знаменитом эссе «По ту сторону принципа удовольствия». Это не должно нас удивлять. В самом деле, почти все то, что Фрейд излагает по поводу этого инстинкта, было уже изложено относительно имитации. Можно было бы просто заменить в этом эссе одно слово другим, не нарушая смысла целого.

Можно предположить, что смерть, на которую он ссылается, — это смерть человека, вернувшегося к жизни социальной, а не к неорганической. Стремление к разрушению, к агрессии есть следствие этого. Так, начиная с идентификации с отцом, учителем или начальником, у ребенка, ученика, подчиненного может зародиться искушение уничтожить его, полностью заменить его собой. Но не будем предвосхищать то, что должно последовать. Запомним только это сходство. Оно не случайно, вскоре я сделаю из этого выводы.

III

Идентификация состоит в выборе модели. В обществе это может стать проблемой. В самом деле, выбор может идти между множеством лиц, множеством объектов. Более того, каждый человек принадлежит ко множеству групп и в разной степени связан с каждой. Так, молодой человек, входящий в жизнь, может идентифицировать себя со своей возрастной группой, со своим классом, идеалы, образ жизни и мышления которых он усваивает, с нацией, становясь шовинистом и даже расистом в своих отношениях с другими молодыми людьми. В частности, из-за этой неопределенности, из-за этой проблемы общая идентификация оказывается автономной от чисто любовных желаний, о которых я упоминал.

В семье все иначе. Неопределенность исчезает, выбор установлен заранее. Частная идентификация существует в рамках семьи и не созда-

ет проблемы. Она прививается на любовные чувства ребенка к своему отцу и своей матери. Будем придерживаться Фрейда еще точнее, чем делали до этого. Войдем вместе с ним в одну из ячеек общества, где каждый начинает свое существование. Забудем о девочках и останемся в компании мальчика. Занавес рождения поднят. Достаточно скоро можно заметить, насколько дискомфортно его положение. С одной стороны, он желает свою мать. С другой стороны, очень привязан к своему отцу. Он восхищается им, хочет подражать ему и стать таким, как он. Это рождает в нем стремление делать то, что он не должен делать: например, иметь интимные отношения со своей матерью. В то же время его отец представляет собой такой же сексуальный объект, который женская часть его либидо желает, скорее, пассивно. Таким образом, мальчик хочет того, что невозможно. Его желания окружены и ограничены со всех сторон. Он находится между двумя ветвями дилеммы: привязанность к отцу и смутное любовное чувство по отношению к нему. «В первом случае отец тот, кем хотелось бы быть, во втором тот, кого хотелось бы иметь. В первом случае затронут субъект «Я», во втором — его объект»[71].

Мальчик на собственном опыте познает, что его соперник-отец мешает ему найти выход его кровосмесительной склонности к матери, и отказывается отделиться от нее. Он даже противоречит сам себе. Выступая в качестве примера для подражания, отец говорит ему повелительно: «Подражай мне». В качестве всемогущего человека, старшего соперника, он шепчет интимно: «Не подражай мне». Самое меньшее, что можно было бы сказать: между тем, что приказывает отец и что запрещает этот отец, огромное разногласие. Ребенок постоянно наказывается, когда ждет вознаграждения, и вознаграждается за то, за что его стоило бы наказать. Такая несправедливость вносит в отношения с отцом враждебность. Если бы у мальчика была возможность, он бы убил его. Тогда он смог бы заменить его, «даже около матери». С самого рождения наши отношения с родителями отмечены амбивалентностью. Эти отношения есть смесь притягательного и отталкивающего, любви и ненависти. Ни одно чувство не существует само по себе, всегда в нем прячется другое, противоположное ему, его тень.

Но если наш мальчик развивается нормально, как и миллионы других, он находит способы выйти из дилеммы, в которой заперт: соблазн и отказ. С одной стороны, потерпев неудачу в своих попытках любовного обладания, он меняет тактику. Мальчик (или девочка) пытается обольстить своих родителей. В эротических текстах Востока подражание рассматривается как средство вызвать влечение. Например, в трудах на санскрите особое место уделяется игре, в которой женщина копирует одежду, выражения, слова своего возлюбленного. Этот род мимодрамы рекомендовался любовнице, которая «не имея возможности соединиться со своим возлюбленным, имитирует его, чтобы рассеяться».

Ребенок тоже благодаря уловкам имитации отношений, одежды и т. п. пытается, с магическими намерениями, соблазнить отца или мать, чтобы «рассеяться». Идентификация означает: в одно и то же время отказываются и не отказываются от удовлетворения своих любовных желаний. Она — приманка, на которую ребенок хочет поймать своих родителей. И они действительно поддаются. Так же происходит и с массами, которые имитируют своего лидера, носят его имя и повторяют его жесты. Они преклоняются перед ним. И в то же время они бессознательно заманивают его, пока он не попадает в ловушку. Большие церемонии и пышные манифестации суть скорее сцены обольщения вождя массой, чем наоборот.

С другой стороны, осознав соотношение сил, их пределы, ребенок понемногу отказывается иметь этого *отца* (или эту *мать*), чтобы иметь отца, интериоризировать его и стать, как он. Для этого он старается приобрести как можно больше сходства с ним. Он пытается быть похожим на него как две капли воды. Модель отца заменяется отцом, объектом любви и ненависти. Идентификация замещает реальных родителей на родителей идеальных, какие они должны быть внутри, а не снаружи.

Она становится также наиболее важной связью, которую индивид завязывает в период своего существования. Она побуждает его инкорпорировать лицо, навязанное ему как прототип. Путем идентификации он учится усваивать и подчиняться любым вариантам этого прототипа, всем «местоблюстителям» отца (или матери), которых он встретит в течение своей жизни.

Идентификация в семье взаимна. Именно это придает ей такую силу и делает ее следы столь глубокими. Фрейд обошел стороной реакции родителей и интересовался лишь реакциями ребенка. Но в конце концов, если родители дали ребенку жизнь, то именно потому, что они стремились воспроизвести и продолжить себя в детях. Воспроизводство было их общей целью, так как оно является целью человеческого рода. Они стремятся сделать из ребенка копию во плоти, соответствующую модели, которая существует в их сознании и которую общество требует от них. Еще до того, как он откроет глаза, они спрашивают себя: «На кого он похож?» и уже никогда не перестают задавать себе этот вопрос.

Если мальчик во всем подражает своему отцу, если он привязан к нему изо всех сил — это значит, что цель его родителей стала его целью. Тогда всякая сексуальная связь может иметь результатом лишь неловкость, которая ужасает Родителей. Она происходит из неясности желаний. В самом деле, родители, по крайней мере сознательно, желают воспроизводиться не с ребенком, а в ребенке. А это совсем не одно и то же.

Итак, идентифицируясь, ребенок заставляет себя лишь отказаться от своих желаний. Он также выполняет желание своих родителей увековечить себя. Если он перенимает их черты, одного, другого или

обоих вместе, то только потому, что верит: чем лучше он будет отвечать их желаниям, тем лучше его примут в семье. Например, когда отец говорит ему «Подражай мне», он выражает этим нечто большее. Чтобы быть уверенным в повиновении, он готов изолировать ребенка от всего остального мира. Таков отец Стендаля. В самом деле, Стендаль говорит, что был любим лишь «как сын, который должен продолжить фамилию», и страдал от этого. Поэтому, замечает писатель, «в этот период жизни, столь веселый для других детей, я был злым, сумрачным, неразумным, рабом, одним словом, в самом худшем смысле этого слова, и понемногу усвоил чувства, свойственные этому состоянию»[73].

До современной эпохи многие дети испытали строгости подобного заточения. Некоторые познают их и в наши дни. Я выдвинул на первый план этот аспект идентификации, так как следует заметить, что она не только заместитель подавляемого желания ребенка, но и проявление обостренного желания родителей. Она, без сомнения, является наиболее ранней и наиболее примитивной привязанностью, учитывая ее глубокую связь с воспроизводством социальной ячейки и человеческого рода. Все действия и реакции, которые я только что описал, сводятся к единственному результату: любовные желания в отношении кого-то регрессируют, чтобы появилась возможность идентифицироваться с ним.

IV

Нетрудно показать, что ход развития ребенка ставит его в ситуацию неуверенного и колеблющегося Гамлета, который спрашивает себя: «Быть или не быть как мой отец (или моя мать), вот вопрос». И призрак отца ему шепчет «Будь, как я» и «Не будь, как я», — вот ответы. Вся его личность точно определена тем, что существуют два ответа на один вопрос, и нет единого решения, как в загадке Сфинкса, которую Эдип смог разгадать. По ходу своих колебаний и сомнений мальчик усваивает свойства, мнения, приказы своего отца.

Отец оказывается в глубинных слоях психики как инстанция которая его представляет, идеал «Я» или «*сверх*-Я». По всей очевидности, Фрейд определяет ему функцию быть моральной инстанцией, судьей и постоянным критиком наших дел и поступков, взглядом и голосом наших родителей и руководителей, даже общества в душе каждого из нас.

«Я» раскалывается на две противоположные стороны, которые терзают одна другую. Первая была сформирована усвоенными суждениями и запретами тех, с кем мы себя идентифицируем. Она преследует вторую своими суровыми и нелицеприятными комментариями. Она говорит с ней всегда жестким и строгим тоном прокурора, даже мстительного бога, который заставляет людей оставаться на праведном пути. Он отчитывает их, как только они рискнут отклониться от этого пути: «Не делайте этого», «Все, что вы делаете, — плохо» и так далее. Этот голос совести побуждает нас усмирять свои стихийные порывы

и оставаться в подчинении образцам, которые были нам вдолблены. Время от времени он одобряет нас, говоря, что мы сделали что-то, как положено. Это потому, что мы действовали соответственно его приказам. Тогда и только тогда мы находим удовлетворение в глазах нашего идеала «Я». «Мало-помалу, — пишет Фрейд, — он заимствует из воздействий внешней среды все требования, которые она предъявляет к «Я» и которым «Я» не всегда способно соответствовать, чтобы в случае, когда человек считает, что он имеет причины быть недовольным собой, он не мог найти удовлетворения в идеале «Я», которое отличается от «Я» как такового»[74].

Представляя наших родителей, оно одобряет, поощряет нас и доставляет нам такое же удовольствие, как если бы мы удовлетворяли наши эротические инстинкты. В нашем сознании мы, должно быть, подменяем всех подобными персонажами; призовите на помощь ваш опыт в этом вопросе, и вы убедитесь в этом. Увы, когда это не отцы, матери или братья, их место часто занимают вожди. Их деспотическая роль заставляла достойного жалости, но все же жуткого Геринга говорить: «У меня нет совести, моя совесть — это фюрер». Я не могу сказать, что это заявление меня на самом деле удивляет. Оно не ново, его повторения часты в ходе истории.

Иметь такое *сверх*-«Я» означает, согласно Цицерону, «установить над нами учителя». Как и всякий учитель, он беспрестанно ругает нас, а время от времени подбадривает, как родители. Когда он силен, он подталкивает нас, тормошит. Он без конца внушает нам: «Нужно, чтобы ты сделал невозможное возможным! Ты можешь совершить невозможное! Ты же любимый сын отца! Ты и сам отец! Ты — Бог!» [75].

Или, по крайней мере, как родители тех, кто уже в возрасте. Ведь традиции утрачиваются и некоторые описания психоанализа блекнут и устаревают. Они походят на те фотографии минувшей эпохи, которые открываются, когда перелистывают семейный альбом. В нем можно увидеть маленького мальчика с робкой улыбкой в матросском костюме, потерянно выглядящего рядом с высоким господином в шляпе и с тростью, с усами и строгими глазами. К счастью, отцы теперь не те, что были раньше, не *сверх*-«Я». Когда оно снисходительно, менее требовательно, оно позволяет нам жить, как остальным людям, простым смертным, каковыми мы и являемся.

Здесь мы касаемся самого главного. *Сверх*-«Я» покровительствует нам и угнетает нас, как наш отец, бог нашего детства. Как и провидение, бог нашей зрелости, оно держит в своих руках нити судьбы. Отсюда вытекает любая мораль и любая политика, что божественный Аполлон высказал следующим образом: «Пойми свое человеческое положение; делай то, что говорит тебе Отец; и ты в безопасности завтра». Завтра, когда ты вырастешь, когда ты откажешься наслаждаться. Или когда ты сам станешь отцом и будешь обладать властью навязывать свою волю твоему сыну.

V

По поводу этой частной идентификации можно было бы еще поспорить, так как она слишком быстро стала общим местом в глубинной психологии. Это правда, что Фрейд многое изменил в этой области, многое перевернул. Это огорчает умы, влюбленные в точные гипотезы, которые можно проиллюстрировать тремя конкретными фактами. Как и его предшественники, он повторял, что ребенок должен следовать за своим отцом и подражать ему. Это избитое утверждение его не удовлетворяло. Он модифицировал идею и придал ей драматический характер. Но он остался верен представлению о простой идентификации, будь то с отцом или с матерью.[76]

Только что приведенное напоминание указывает, однако, на то, что идентификация с отцом осуществляется посредством другой идентификации — с матерью. Обе они играют одинаково важную роль в психическом развитии ребенка. Он стремится к двойной идентификации как с одним, так и с другим. Он пересматривает в своей голове и в своем сердце отношения между ними, являясь и судьей, и частью пары, которая уже имела какую-то историю до того, как он вмешался в нее. Одним словом, он строит «семейные романы», более или менее соответствующие реальности. В процессе этого его «Я» расширяется и выделяется, включаясь в семейную группу и беря на себя заботу о ней с психологической точки зрения. Это и приводит к утверждению, что *сверх*-«Я» или идеальное «Я» формируется не по образцу господствующего человека — отца, а по образцу социальной мини-группы, которая включает в себя, по меньшей мере, две родительские фигуры. Когда мы слушаем голос нашей совести, мы слышим диалог множества голосов, смесь прошлых мнений и суждений, а не монолог одного. [77] Возможно, что голос отца часто оказывается более громким, но он не единственный.

Таким образом, можно было бы объяснить, почему в дальнейшем индивиды могут принадлежать к множеству масс, идентифицировать себя с их идеалами, не испытывая при этом значительных коллективных проблем. Возможно, они ищут эти многочисленные связи, чтобы комбинировать их и играть с ними. «Каждый индивид, — пишет Фрейд о современном человеке, — это составная часть многочисленных масс, множественным образом связанных посредством идентификации, он построил свой идеал «Я» по различным образцам. Таким образом, каждый человек обладает частицей многочисленных душ масс, души своей расы, своего круга, своего вероисповедания, гражданского состояния и т. п. и, преодолевая их, может подняться до некоторого уровня независимости и оригинальности»[78].

Подведем итог этих рассуждений. В истоках социальной связи лежат очень взыскательные идентификации, оставляющие след в жизни людей. С одной стороны, они приводят к регрессии желания

в отношении сексуального объекта. С другой стороны, они влекут за собой дифференциацию психического аппарата, инкорпорируя в него внешние влияния. Он разделяется на собственно *индивидуальное* «Я» и «Я» *социальное*, или *сверх*-«Я», которое доминирует над ним. Эти понятия важны и послужат нам в дальнейшем. Эта особая структура личности представляет интерес тем более, что она одновременно может объяснить и уподобление, замечаемое в толпах, и подчинение вождю. «Мы признаем, — заявляет Фрейд, — что то, чем мы могли способствовать прояснению либидозной структуры массы, отсылает к разграничению от *Я* и идеала *Я* и к двойному типу связи, который становится возможным: идентификации и замещению объекта на месте идеала *Я*»[79].

Конечно, *сверх*-«Я» становится отныне стержнем теории. [80] Оно представляет собой наивысшую инстанцию эволюции человека и является гарантом всех его социальных функций, религии и идеологии. Именно этот голос напоминает нам, что мы всегда ответственны за выживание нашей культуры, и именно он отказывается свалить на козлов отпущения — окружение, власть, эксплуатацию — то, чем дорожит наша натура. Как Эдмунд в «Короле Лире», *сверх*-«Я» запрещает нам возлагать «ответственность за наши бедствия на солнце, луну и звезды; как если бы мы были злодеями по необходимости, дураками по воле неба, мошенниками, ворами и предателями из-за преобладания каких-то сфер, пьяницами, лгунами и прелюбодеями из-за подчинения планетному влиянию и виновными во всем по божьему принуждению. Восхитительная отговорка для развратного человека: возложить на звезды ответственность за свои козлиные инстинкты».

Это человек, который отказывается карабкаться по крутому склону разума.

ГЛАВА 6
ЭРОС И МИМЕСИС

I

Предыдущие главы показали нам совокупность отношений между людьми, которые заключены в словах «любовь» и «идентификация». Они относятся к двум группам желаний. Нам известно к каким: желания влюбленности, которые стремятся отвлечь личность от самой себя, чтобы объединить ее с другими, и миметические желания, представляющие собой стремление к идентичности, исключительной привязанности к другому, к четкой модели. Первые подталкивают нас объединяться с людьми, которыми мы желали бы обладать, вторые — с людьми, воплощающими то, какими мы хотели бы быть. В принципе, этих двух понятий достаточно, чтобы объяснить симптомы психологии толп.

Предвижу ваш вопрос: что же это меняет по отношению к тому, что мы видели до сих пор? С точки зрения содержания очень мало, но с точки зрения теории очень много. До сих пор полагали, что все можно объяснить одним лишь динамическим фактором, желанием влюбленности. Идентификация была лишь механизмом отвлечения от нее, внутренним подавлением инстинкта. Именно недостаток возможности любить кого-то — своего отца, начальника и т. д. — заставляет нас идентифицироваться с ним. Впредь мы будем рассматривать ее как второй динамический фактор, автономный и несводимый к другим. Эрос не зависит от миметической модели, как Мимесис не зависит от эротической модели — вот постулат, которым мы руководствуемся.[80] Любое человеческое существо пытается разрешать конфликты, вытекающие из этого: между многочисленными желаниями либидо и между либидо и требованиями миметических желаний, связанных с реалиями социального мира.

Такая двойственность между Эросом и Мимесисом, по-моему, существенно рационализирует наши объяснения психологии толп. Коллективные отношения могут поворачиваться к людям со стороны любовной страсти. Тогда они связывают их и объединяют. Они могут обнаруживать себя в виде повторений и подражаний. Тогда они принуждают людей становиться похожими друг на друга или противостоять друг другу в соответствии с тем, похожи или нет они на образец.

Эта двойственность отдаляет нас от теории Фрейда, в строгом смысле. Однако мы продолжаем сверяться с ней. В его трактовке эти две психические силы, два инстинкта всегда противопоставлялись для

объяснения важнейших феноменов. Уточнения, которые я хотел бы сделать, следующие. Действительно, всегда и повсюду мы находимся перед лицом этих двух динамических факторов. Но с одной разницей: что касается индивида, эротическая тенденция преобладает над миметической; в том, что касается массы — наоборот.

От этих общих рассуждений перейдем к вопросам специфическим, чтобы показать их значение. Каким образом люди в толпе становятся равными? Почему толпы нестабильны, переходя от паники к немыслимой жестокости? Почему они цикличны, переходя от экзальтации к депрессии? Эти феномены часто описываются, но редко объясняются. Именно это нас и занимает.

Все объяснения, к которым мы придем, я сразу отмечаю это, вращаются вокруг единственной формулы: прогрессия миметических желаний уравновешивается регрессией желаний влюбленности. В конечном счете мы всегда имитируем вместо того, чтобы любить. Мы отказываемся от удовольствия быть с кем-то ради чувства удовлетворения, что мы становимся, как он. Императив психологии толп всегда и повсюду выражается следующим образом: то, что начинает Эрос, заканчивает Мимесис.

Я опасаюсь того, что объяснения, которые я представлю вам, опираясь на эту формулу, вас разочаруют. Ведь они полностью оставляют в тени исторические и экономические условия масс. Они пренебрегают их принадлежностью к социальному классу, рабочему или буржуазному, сельскому или городскому. Они предполагают наблюдения, которые никогда не производились с достаточной строгостью. Это недостатки, которые подрывают изнутри все, что было написано до сих пор, и все, что будет написано. Тогда к чему продолжать? Зачем стремиться к объяснению так мало изученных фактов? Чтобы подогреть любопытство по отношению к столь сенсационным явлениям? Да, есть и это. Но мое единственное извинение, на которое я мог бы сослаться, предлагая вам эти объяснения, — это то, что у нас нет других. Если только закрыть глаза на эти социальные реалии и отодвинуть их в разряд безумств, возникших в ходе истории — таково отношение большинства исследователей, — нельзя позволить себе ни этих гипотез, иногда надуманных, ни этих решений.

II

В толпах проявляется сильное принуждение к равенству, равенство — одна из их безусловно признанных черт. Какова причина этого? В общественной и семейной жизни мы знаем множество людей, с которыми мы хотели бы иметь исключительную связь — женщина, наш отец, знаменитый художник и так далее. Достаточно того, чтобы друг, брат, сосед поддерживали подобные отношения, чтобы они стали желанны нам. Почему он, а не я? Таков вопрос, который мучает большинство из нас на протяжении всей жизни. Неуверенность душит нас с детства.

Мы беспрестанно спрашиваем себя, любят ли нас наши родители, наши учителя так же, как других своих детей, других своих учеников. Но в то же время мы хотели бы быть единственными любимыми. Когда кто-то говорит «я очень люблю Такого-то» или «Такой-то умен», мы испытываем укол ревности, как если бы этот человек сказал «Я люблю Такого-то больше, чем вас», «Такой-то умнее вас», даже если бы у него не было абсолютно никакого намерения сравнивать нас. Никогда не ослабевает напряжение между стремлением к исключительному и несравнимому отношению и стремлением к отношению идентичному и сравнимому. Мы не хотели бы быть, как кто-то другой. И в то же время хотелось бы, чтобы никто не выделялся, не представлял собой нечто большее, чем мы сами.

Перейдем от этих общих описаний к более конкретной ситуации. Представим себе первого ребенка в семье, который переживает появление второго ребенка. Его стихийная реакция будет реакцией ревности и враждебности по отношению к новорожденному. Этот последний нарушает его тет-а-тет с родителями. Он отвлекает их исключительное внимание. Он заставляет поделиться любовью, которая доставалась только старшему. Не говоря уже о почти чувственном желании, которое он испытывает, видя, как мать кормит младенца. Представим себе теперь первых «фанов» эстрадной звезды, которая поднимается по ступеням славы и становится все более и более знаменитой. Они также испытывают лишь ревность и враждебность по отношению к новым фанатам, которые похищают у них любовь их идола. В этих двух ситуациях ребенок или фан хотели бы устранить незнакомца, нарушителя счастья, остаться один на один с любимым существом. Бросить этого новорожденного в мусорное ведро? Обстрелять этих «фанов»? Невозможно, это противоречило бы желанию родителей иметь много детей, желанию звезды иметь много поклонников. Каковы бы ни были их предпочтения, родители чувствуют себя в долгу перед всеми своими детьми, а звезды — перед всеми своими почитателями, не выделяя никого.

Итак, из-за невозможности убрать со своего пути навязчивых людей и устранить соперников, а также дать волю своей ревности и враждебности, не угрожая собственным отношениям с теми, кого они любят и кто бы не сумел этого вынести, дети и «фаны» вынуждены отступить. Мы наблюдаем регрессию взаимной враждебности, привязанность к соперникам берет верх. Конфликт преобразуется в альянс. Одни отказываются от привилегии, от прошлой исключительности, другие — от идеи получить ее в будущем. По ходу дела дистанция недоверия и ненависти сокращается, все идентифицируются друг с другом, копируют и повторяют друг друга, занимаются одинаковой деятельностью, успокоенные в какой-то мере тем, что находят удовольствие в имитации. «Только все вместе, — пишет Канетти, — они могут освободиться от бремени дистанции. Именно это происходит в

массе. Вместе с этим бременем они отбрасывают то, что их разделяет, и все чувствуют себя равными... Огромное облегчение. Именно для того, чтобы наслаждаться этим счастливым моментом, когда никто не выше и не лучше, чем другие, люди становятся массой»[82].

При этом они продолжают следить друг за другом с тем, чтобы никто не добился ни большей милости, ни какого-то особого покровительства.

Это освобождение от бремени есть знак того, что любовная склонность заменяется взаимной идентификацией этих индивидов, которая представляет собой наилучшее связующее звено отношений внутри толпы. Доказательством этого будет рождение чувства общей судьбы, духа сообщества, первое требование которого есть «требование справедливости, равного обращения со всеми. Известно, с какой силой и с какой солидарностью это требование утверждается в школе. Поскольку мы не можем сами быть любимчиками и привилегированными, надо, чтобы все были поставлены в равные условия и никто не пользовался особыми привилегиями»[83].

Оно проявляется также у поклонниц какого-нибудь киноидола или эстрадной звезды: «Вначале они были соперницами, в конце концов им удалось идентифицироваться друг с другом, объединившись в одной и той же любви к одному и тому же объекту»[84].

Толпы подчинялись бы в этом случае принципу негативной демократии, уравновешиванию по нижнему уровню. При виде удачи другого, его радости задается вопрос: «Почему он? Почему они? Почему не я?». Зависть всегда находит что-нибудь, к чему придраться. Никто никогда не может ни иметь все, ни получить все, что желает. Тогда как в соответствии с желаниями всех каждый имеет то же, что и другие. Зависть провоцирует соперничество. Равенство позволяет избежать этого, если оно должно осуществиться в лишениях всех и всеобщем дефиците.

В основе корпоративного духа, общественного духа лежит этот резкий поворот: мы отказываемся от своих желаний, ставим крест на самых дорогих амбициях, чтобы всех обязать совершить подобное жертвоприношение. Это часто выражается в лицемерии и в том, что нас водят за нос. Счастливы мы или нет, главное — быть вместе, да так, чтобы никто не знал иной судьбы, чем судьба согражданина, соседа или друга. «Именно это требование равноправия лежит в основе социального сознания и чувства долга. Именно оно совершенно неожиданно для нас оказывается в фундаменте того, что психоанализ открыл нам как «страх заражения» сифилитиков, страх, который сопутствует борьбе этих несчастных против бсссознательного желания заразить своей болезнью других: почему лишь они одни должны оставаться зараженными и отказывать себе во многом, тогда как другие чувствуют себя хорошо и могут участвовать во всех утехах?»[85].

Давление конформности становится таким сильным, конденсируется до такой степени, что малейшее отклонение или шаг в сторону

становятся угрозой, направленной против группы. Она видит в этом разрыв негласного договора между ее членами, искру, которая вызывает неожиданный взрыв враждебности, долгое время затаенной. Не забудем, что это по принуждению. Мы отреклись от своей индивидуальности, чтобы стать похожими на наших соперников. Равенство и справедливость вознаграждают за этот тяжкий труд ограничения. Любое нарушение представляет собой вызов и ставит под сомнение его пользу. Вот почему равенство и справедливость совершают над нами в каком-то роде насилие, а демократия предполагает строгую внутреннюю дисциплину: каждый амбивалентен по отношению к себе и готов поставить ее под сомнение. И, несмотря ни на что, некоторые хотели бы, по словам Оруэлла, быть более равными, чем другие.

С другой стороны, равенство толпы — это что-то вроде тихой гавани. Это убежище, окрашенное чувством обретения себя. Индивиды испытывают ощущение освобождения. У них создается впечатление, что они сбросили тяжесть, бремя социальных и психологических барьеров, обнаружив, что люди равны. С другими они чувствуют себя, как с самими собой. Отсюда и некоторый беспорядок. Толпа кажется пронизанной бесконечным броуновским движением. Она предается вечному волнению, которое называют «кишением» массы (*milling*, по-английски).

В этом смысле можно сказать, что массы анархичны. Их равенство питает анархию. Такая позитивная демократия обладает удивительной силой притяжения. Каждая революция, как и каждое сообщество, освежает ее и обещает претворить ее в жизнь на земле. Какова же ее психологическая движущая сила? Я сказал бы, что она в удовольствии, которое извлекается из миметического желания идентифицировать себя со своими близкими, родителями, детьми, в воображаемом отсутствии всякого различия. Обычно это желание навязывается борьбой. Оно вынуждает нас к жертвам и провоцирует затруднения. Теперь же мы считаем возможным беспрепятственно наслаждаться им.

Речь идет об имитационном наслаждении, которое аналогично сексуальному. Но существует различие. Если имитационное наслаждение заставляет как бы исчезать индивидов в толпе, сексуальное изолирует их парами. «Два человека, объединившиеся с целью сексуального удовлетворения, представляют собой, своим поиском одиночества, наглядное доказательство против стадного инстинкта, против коллективного чувства. Чем больше они влюблены., тем легче они обходятся без посторонней помощи»[86].

Наложение обеих версий равенства делает так, что толпа предстает одновременно как средство крайнего принуждения по отношению к человеческой личности и как поле свободы, крайнего индивидуализма, который ничто не ограничивает. Одни ретируются, чтобы не поддаваться ей. Они замыкаются в себе. Другие, наоборот, стремятся к ней, чтобы в ней потеряться, вести жизнь, о которой они мечтали. Вечное недоразумение. Некоторые восхваляют возвращение к сообществу

в старое село. Но именно жители того же самого села покидают его, чтобы укрыться в городской и анонимной массе. Здесь они избавляются от надзора со стороны соседей, от контроля семьи — от ревностной тирании всех этих людей, которые желают им добра, а причиняют зло.

Обе эти версии допускают исключение: вождь. Иначе говоря, группа требует от своих членов быть идентичными, вести один и тот же образ жизни и иметь одинаковую судьбу. От всех, кроме одного. «Однако, — пишет Фрейд, — не надо забывать, что требование равенства, выдвигаемое толпами, относится только к индивидам, которые ее составляют, а не к вождю. Все индивиды хотят быть равными, но руководимыми главой. Много равных, способных идентифицироваться друг с другом и единственный высший: такова ситуация, которая реализуется в любой жизнеспособной толпе»[87].

Толпа тем самым аналогична солнечной системе: множество планет вращаются вокруг Солнца, их очага. Но, чтобы описать их движение, надо определить отношение между любовью и идентификацией, так же, как во Вселенной устанавливается отношение между притяжением и отталкиванием.

III

Теперь мы опишем другой класс явлений: переход от паники к террору, или колебания между страхом и насилием. Их основная причина: на одном полюсе деидентификация, а на другом — сверхидентификации индивидов, растворенных в толпе. Ограничимся искусственными толпами. Чтобы сделать наше изложение более ясным, нужно рассмотреть вождя как краеугольный камень всей системы отношений. Что же происходит, когда этот камень больше не держит и свод угрожает рухнуть? Проявляются две крайние реакции, я бы сказал, не соответствующие реальности — паника и террор.

В армии, одной из наших образцовых толп, каждый солдат идентифицирует себя со своими товарищами и с вышестоящими. Войска высказывают главнокомандующему свою любовь и разделяют иллюзию, что они любимы им. Но вот возникает ослабление, изъяны в стиле командования. Это может произойти в случае поражения, которое само по себе еще не вызывает паники. Паника имеет место лишь тогда, когда уходит лидер. Разгромленная в ходе русской кампании французская армия начинает терять самообладание лишь тогда, когда Наполеон ее торопливо покидает, чтобы возвратиться в Париж. «Он покинул Великую армию в ужасном состоянии, — пишет один из его биографов. — Это была армия, полная энергии и надежды. Император ушел, и началось беспорядочное бегство, „спасайся, кто может“. Каждый думает о своем спасении. Повиновение прекращается. Нет дисциплины даже в руководстве ее»[88].

Вы хорошо знаете симптомы этого. Индивиды уединяются, занимаются собой. Они пренебрегают самыми элементарными приказами

и правилами. Страх охватывает всех. Он выражает разочарование, иначе говоря, выясняется, что мы не любимы, взаимной связи не существует. Страх выражает также дезидентификацию, может быть, мгновенную, с толпой. В ответ это и возникают чувство заброшенности, реакция ухода, подобные поведению ребенка в состоянии анорексии, не знающего, против кого направить свою враждебность. «Он спас свою шкуру, а я?» — говорит себе каждый. Тогда пробуждается ненависть к себе. Или же агрессивность обращается против других, с которыми объединялись лишь на основе общего образца. Стремление к саморазрушению индивидуальному или коллективному, к самоубийству витает в воздухе. Золя великолепно описывает это в романе «Разгром», посвященном войне 1870–1871 гг., роковой исход которой во многом был предрешен из-за растерянности Наполеона III и военачальников. «Тогда среди солдат, — пишет Золя. — царило настоящее отчаяние. Многие хотели сесть на свои мешки прямо в грязи размокшего плоскогорья и ждать смерти под дождем. Они высмеивали, оскорбляли своих командиров: ха-ха. Знаменитые командиры, безмозглые, вечером уничтожающие то, что они сделали утром, прохлаждающиеся, когда врага здесь не было, удирающие, как только он появился! Окончательная деморализация довершила дело превращения этой армии в стадо, без веры, без дисциплины, которое вели к мяснику по непредсказуемой дороге»[89].

Разрыв идентичности со своей группой, со своими товарищами или согражданами превращает их в чужаков, то есть во врагов. И страхи, до того момента укрощенные, всплывают. Это не раз подтверждалось на полях сражений, во время уличных беспорядков, пожаров в зрительных залах, прототипом которых остается пожар на Благотворительном Базаре. Даже если опасность не столь велика, каждый становится чувствительным к малейшему шуму. Любое движение толпы беспокоит. Нарастает чувство покинутости. Рождается общее недоверие, которое выражается во взаимной враждебности, тенденции не признавать более себе подобного и никому не доверять.[90]

Это доказывают многие сцены массового бегства в 1940 г. в Бельгии и Франции. Так, перед лицом вторжения немцев и почти полного исчезновения политической и военной власти у населения рождается взаимное недоверие. Повсюду видели шпионов, эту знаменитую Пятую колонну, которую боялись и страх перед которой еще долго сохранялся. «Я не знаю, благодаря какой ассоциации идей, — рассказывает Треппер, организатор службы антифашисткой контрразведки, — психиатры и специалисты по коллективной психологии могли бы, быть может, объяснить это нам — родилось подозрение, что гитлеровские шпионы переодевались в священников. 11 мая на площади Брукэр в Брюсселе я был свидетелем невероятного зрелища: истеричная оголтелая толпа бросается на молодого священника и срывает с него сутану, чтобы удостовериться, нет ли под ней немецкого мундира»[91].

Настоящий шпион вряд ли носил бы мундир. Но, раздевая этого безобидного кюре, каждый, по-видимому, мысленно раздевал своего соседа, своих начальников, чтобы увидеть, не скрывается ли за ними враг.

По правде говоря, паника ничего нового не создает. Она лишь позволяет проявиться страхам, враждебности, которые есть в каждом. Ослабление идентификаций преобразует обычное окружение в чужой и угрожающий мир, подобно тому, как наступление ночи повергает ребенка в ужас. Это удручающее зрелище и крайнее проявление „психологической нищеты масс“. Фрейд описал ее следующим образом: «Кроме задач подавления влечений, к которым мы подготовлены, перед нами возникает опасность состояния, которое можно назвать «психологической нищетой масс». Эта опасность сильнее всего грозит там, где социальная связь сформирована главным образом на основе идентификации участников друг с другом, в то время как личность вождей не достигла еще той значимости, которую должна была бы обрести в ходе формирования массы»[92].

В случае, когда индивидуальности уже утвердились, но затем спасовали, как в случае с Наполеоном или военачальниками войны 1870–1871 гг., воздействие идентификации ослабевает. Социальные связи разорваны, и масса доходит до разложения на элементы, на нарциссические атомы.

«Когда индивид, охваченный паническим страхом, начинает думать лишь о себе, — пишет Фрейд, — он тем самым обнаруживает разрыв эмоциональных связей, которые до сих пор уменьшали опасность в его глазах. Тогда у него создается впечатление, что он один перед лицом опасности, и это заставляет его преувеличивать ее серьезность»[93].

В условиях коллективного разложения перед лицом краха желания влюбленности индивида и миметического желания он сосредоточивается на самом себе. Он ищет спасения в исключительной любви к самому себе, которая, как он думает, позволит ему выжить.

Самая стойкая из антисоциальных сил сразу и неминуемо берет верх. Она распространяется как вирус и никто не может ей препятствовать. «Каждый за себя!», — этот возглас множится и заглушает все другие голоса, идущие извне и изнутри. Занятый исключительно своим телом, своим благополучием, индивид становится аутичным, слепым и глухим к нуждам других.

Я думаю, это вовсе не случайность, что во времена сильной паники, вследствие катастроф или эпидемий, люди, бессильные противостоять им, возмущенные сдачей позиций властями, позволяют себе невиданную, отчаянную разнузданность. Дезидентификация настолько велика, что Эрос занимает все свободное место. История чумы в средние века тому пример. У тех, кто избежал оссуария, зараженных мест, желание жить обостряется. Их тяга к наслаждению ищет удовлетворения в пиршествах, танцах, любовных объятиях — когда смерть зачастую сопровождает бал. Другие не могут оторваться от опустошения забро-

шенных домов, находясь под гипнозом костров и общих могил. Этот эротический шедевр, «Декамерон», был рассказан людьми, которые верили в возможность обмануть панику с помощью любви.

В редкие моменты масса снова берет верх. Идентификация возобновляется, каждый ищет виновника своей нищеты. Каждый стремится найти того, кто породил панику, или автора преступления. Вместо ослабевшего вождя клеймят позором его активного двойника и недоброжелателя. Беспомощность всех замещают всесилием кого-то ответственного: еврея, черного, бедного, богатого, большевика и так далее.

Живопись средних веков представляет нам эти сцены Апокалипсиса: преследования евреев, обвиняемых в отравлении колодцев. Их мучают, сжигают их жилища под громкое ликование толпы, наблюдающей, как мучители заталкивают с помощью оружия в костер беглецов, надеявшихся ускользнуть. Вторая мировая война принесла нам вновь повторившиеся сцены ужаса, порожденные всегда присутствующим страхом, одним из признаков которого является жертвоприношение.

Все это заставляет думать, что паника, быстрота, с которой она распространяется, представляет собой по существу нарциссическую инфекцию. Так же, как во всех инфекциях, здесь присутствуют в скрытом виде вирусы и микробы. Но, когда мы здоровы, когда наше психологическое состояние удовлетворительно, ничего не случается. Однако при скудном питании, чрезмерной усталости, плохих условиях жизни состояние здоровья ухудшается, вирусы и микробы выявляются и размножаются. Именно поэтому так трудно сдерживать панику. Не стоит думать, что достаточно успокоить людей, дать им «ясные» указания, чтобы заставить их вести себя разумно. Только восстановление идентичности, воссоздание структуры толпы с помощью твердого управления поможет достичь этого.

* * *

В религиозной толпе, которая идентифицируется насколько с верой, настолько и с личностью, реакции иные. Уверенная в любви вождя, например Христа, на угрозу потери идентичности она отвечает обновлением и усилением идентичности. Вместо страха у нее наблюдается экзальтированное подчеркивание общности и отторжение всего, что ей не отвечает, например неверных, совсем как во время войны интернируют иностранцев. Терпимость превращается в нетерпимость. Преследуют людей, которые подвергают опасности связь, объединяющую верующих. «По сути дела, — пишет Фрейд, — каждая религия — это религия любви лишь для тех, кого она объединяет, и каждая религия готова обернуться жестокой и нетерпимой к тем, кто ее не признает»[95].

Нетерпимость приобретает форму террора, направленного против тех, кого она считает «врагами», то есть людей, не принадлежащих к их вере, против приверженцев другой религии. И, если их не существует, надо их выдумать, для того чтобы восстановить разрушенную сплоченность, как Сталин выдумал когда-то врагов народа. Агрессив-

ность, которую вызывают эти так называемые враги, обладает всеми атрибутами кровопролития. Но только обстоятельства мешают им проявиться в полной мере. Несомненно, общество страдает от этого разгула насилия, роста нетерпимости, которое сопровождается неприкрытой демонстрацией силы — повешениями, четвертованиями, кострами, аутодафе, пытками всех видов, а также судебными процессами, грабежами, конфискациями. И вообще всем, что можно сделать, чтобы отделить зерна от плевел, используя знамя Христа, Лютера и других святых религий. Инквизиция и Контрреформация создали в Европе эталон для многократного подражания.

Но нужно полагать, что церкви всех типов, которые господствуют в обществах, не могут без этого обойтись. Согласно Фрейду, они никогда без этого не обойдутся. То, что сегодня они стали более терпимыми, не должно вводить нас в заблуждение, предупреждает он. Не нужно в этом усматривать особенно глубокого изменения психологии толп. Это всего лишь показатель временного ослабления религиозных верований и связей с церквью. Нравы не стали мягче. Это верования ослабели. «Когда другая массовая формация займет место религиозной формации, как, кажется, это удалось социалистической формации, она проявит такую же нетерпимость к тем, кто находится вовне, как в эпоху религиозных войн, и, если бы различия между научными концепциями смогли некогда приобрести похожую значимость для масс, результат был бы подобным, по тем же самым причинам»[95].

Вот поистине поразительный вывод, датированный 1921 г., если учесть, что в тот момент ничто не могло предвещать ни идеологических войн марксизма, ни того, что Сталин станет Наполеоном концентрационных лагерей. В любом случае Фрейд дает понять, что мы имели бы больше шансов правильно предвидеть будущее, если бы выдвинули гипотезу, что все общественные движения подчиняются психологии масс, вместо того, чтобы строить предположения, поверив в их заявления о намерениях, что они станут исключением из этих законов. Возвращаясь к теме нашего разговора, заметим, что нетерпимость (и террор), которые Ле Бон относит к потребности толпы в определенности, объясняется фактором привязанности, большей частью эмоциональной, людей, составляющих толпу.

Какая связь существует между паникой и террором? В панике индивид обращает свой страх против толпы и слепо ее разрушает. Это можно видеть в отдельных частях коллектива, малочисленных группах, вырванных из их изначальной среды. Они воображают, что им угрожает опасность, и делают вид, что убегают. В действительности они спешат убежать со смешанным чувством страха и ярости. При терроре же именно толпа направляет свой страх против человека. Она высматривает малейший изъян, подвергает насилию всех и вся, кто ей сопротивляется. Такая толпа в экзальтации приносит в жертву всех, кто не разделяет ее рвения, прежде уничтожив тех, кто до сих пор ее опекал.

Была ли эта реакция насилием против себя или других людей, она всегда происходит от психологической нищеты масс, когда под угрозой либо их любовь, либо идентичность. Только избавление от такой нищеты может остановить жестокость и удержать людей вместе. Надолго ли?

IV

Говорят, что толпы — это женщины. Их объединяют в общем осуждении: одинаковые непостоянство, скачки настроения, переходы от одной крайности к другой. Действительно, толпы цикличны. Им свойственны чередования радости и грусти. Их настроение меняется так же неожиданно, как и людей. Ленин, например, был очень чуток к колебаниям в общественных настроениях масс, он часто об этом говорил.[96] В дальнейшем мы оставим сомнительную аналогию с причудами женщины, чтобы заменить ее более точной: аналогией с меланхолией и манией.

Отправной точкой, конечно, будет служить разделение на «Я» и *сверх*-«Я». Обычно *сверх*-«Я» надзирает, делает внушение. Оно устанавливает дисциплину. Запрещена любая шалость и ограничены инстинктивные наслаждения «Я». Конформизм, предсказуемость, побуждение идентифицировать себя с идеалами коллектива дают определенное удовлетворение. Однако никто не может долго выносить столько жертв, разделение на «Я» и *сверх*-«Я» с постоянным давлением, оказываемым вторым на первое. Другими словами, уничтожение эротических склонностей миметическим желанием, обязанность всегда желать того же, что и другие, неизбежно приводят к затруднениям, вплоть до депрессии.

Когда одна из точек насыщения достигнута, стремятся найти выход. Намечается резкая перемена. «Я», которое испытывало ностальгию по единству, стремится к примирению со *сверх*-«Я». Если эти обе инстанции соединятся, как ребенок, который находит своих родителей после долгой разлуки, они проводят вместе медовый месяц, в течение которого царит ликование. *Сверх*-«Я» перестает терзать «Я». Оно позволяет ему одновременно любить себя и идентифицироваться непосредственно со всеми другими «Я» толпы, слиться с ними. Это настоящий праздник. Опьяненные таким освобождением, они нарушают все запреты, пренебрегая ими, буйствуют, как человек в маниакальном состоянии. Карнавалы, а порой митинги представляют собой такие буйства. Присутствуешь при почти полном разрушении барьеров между людьми, классами, полами. Промискуитет терпим, если не является надлежащим. Мир окрашивается в цвета насилия. Различные модальности любви и агрессии дают себе волю. Предусмотрительные, заботящиеся о благополучии своих членов общества, даже создают для этой цели соответствующие промежутки времени, они закрепляют для этого календарные периоды, как, например, Сатурналии у римлян. Распутство и протест, переходящие всякие границы и разбазаривающие добро, терпеливо собранное, вот цена, которая платится за душевное

спокойствие каждого. Они дают способ довести следующую за всем этим терпимость до степени рутины и скуки.

Но могут возникнуть и другие проявления, непредусмотренные календарем. Они развиваются аналогичным образом. Это — бунты, мятежи, грабежи. Карнавальные элементы и элементы агрессивные смешиваются в них во взрывчатую смесь, способную поднять на воздух любые ограничения и стереть в порошок существующие законы. Многочисленные наблюдатели заметили, что в мае 1968 г. имела место подобная экзальтация толп. Каждый был свободен говорить когда, где и как он хотел. Самые разные общественные группы, обычно игнорирующие друг друга, встречались, узнавая друг друга с глубоким чувством вновь обретенной общности. «Все позволено», «Запрещено запрещать» — эти лозунги стали жизненными девизами.

На месяц нормальное общество прекратило существование. Другое общество, необычное, воцарилось на его месте. Все казалось неразумным, но не беспричинным. «Итак, — пишет Фрейд, — поскольку идеал «Я» соответствует сумме всех ограничений, которым индивид должен подчиниться, возвращение от идеала к «Я», его примирение с «Я» для человека, который таким образом снова обретает удовлетворенность собой, должно быть равносильно чудесному празднику»[97].

Но, как гласит народная мудрость, все самое лучшее имеет конец. Тонус начинает падать. Разочарование бродит вокруг. Музыка смолкает. Мир возвращается в колею повторения, монотонной рутины. Берет верх идентификация со своей группой, профессией, семьей, классом. *Сверх*-«Я» отделяется от «Я». Оно восстанавливает свои дистанции и свою оппозицию. Оно снова начинает свою работу крота, подтачивающего удовольствие. Нищета депрессий распространяется, как эпидемия. Ее вирус вгрызается в толпу, разгоняет ее, рассеивает. «На смену экзальтации вскоре приходит депрессия, тем более ярко выраженная, чем более бурной была коллективная лихорадка, и эта депрессия неизбежно приводит к пробуждению индивидуальных инстинктов самозащиты и самосохранения»[98].

Все эти так называемые инстинкты поднимают голову и заставляют индивидов вернуться к порядку повседневности и скуки.

Таким должно было быть объяснение цикла, которому подчинены естественные толпы. Они переходят от дионисийской экзальтации к аполлоническому спокойствию. Цикл повторяется с регулярностью морских приливов и отливов: сияющие дни, залитые солнцем, сменяются пасмурными днями с моросящим дождем, иллюстрирующими возвратно-поступательное движение коллективных настроений. Большим упущением с нашей стороны было бы, увлекшись той мощной аналогией, которую Фрейд провел с манией и меланхолией, не учесть одного элементарного факта. А именно, что временное прекращение действия правил, далее их переворачивание во время праздников, тех дней, когда нижестоящие оскорбляют вышестоящих, когда дети

перестают слушаться родителей, а слуги своих хозяев, — весь этот беспорядок управляется порядком. Он следует предписанным правилам, вполне устоявшимся обычаям. Это повторяется с фиксированными интервалами, то есть в соответствии с требованиями *сверх*-«Я». Никто не сумел бы уклониться от него. Никто не помышляет о возможности спрятаться от этого, не подвергая себя риску серьезных санкций. Праздники обязательны, как и воскресный отдых.

Ничто из этого не опровергает объяснения чередования периодов силы и слабости в борьбе между Эросом и Мимесисом. Более того, мы можем видеть, что некоторые общества поняли ее важность и решили превратить в метод то, что было стихийно.

Можно рассмотреть другие объяснения феноменов, которые я вспоминал, придав им практическую значимость. Нужно попытаться проверить их наблюдениями, настолько многочисленными и разнообразными, насколько это возможно (экономическими, политическими и т. д.). Но важно признать, что психология толп способствовала прогрессу уже тем, что изобрела подобное объяснение. Кроме того, она может представить свойства толпы так, как их описали Ле Бон и Тард. Несмотря на возможные оговорки, мы имеем сейчас более логичный взгляд на этот вопрос, чем вначале.

ГЛАВА 7
КОНЕЦ ГИПНОЗА

I

Наше объяснение становится более ясным и емким. Оно позволяет уловить такие свойства толпы, как регулярность или изменения, паника или террор, как результирующая конфликта между двумя желаниями. Мы увидим в дальнейшем, что именно это объяснение в расширенном варианте многое объясняет в психологии вождей в целом и в деталях.

Какая же, однако, роль приписывается гипнозу? До сих пор он слыл механизмом объединения людей в толпу. Мы уже знаем из первых глав, что он основан на непосредственной вакцинации гипнотизируемого мыслями и приказами гипнотизера. Гипнозу, обоснованному сомнительной теорией, но поддерживаемому признанным авторитетом практиков, приписывается могущественная способность воздействовать на кого бы то ни было, чтобы заставить делать все что угодно. Гипнотизм впечатлял настолько, что Мопассан, будучи свидетелем его воздействия, говорил о врачах-гипнотизерах: «Они играли с этим оружием нового Господа, с владычеством таинственной власти над человеческой душой, оказывающейся в рабстве. Они называли это магнетизмом, гипнотизмом, внушением… откуда мне знать? Я видел, как они забавлялись этой страшной силой как неблагоразумные дети. Горе нам. Горе человеку!»[99].

Что бы он написал, если бы вернулся к нам пятьдесят лет спустя, когда все в нашей цивилизации подтверждает его тревоги? Он увидел бы, что в тот момент, когда гипноз начинает приносить большие результаты в практике, он становится бесполезным в психологии толп.

II

Родство между состоянием влюбленности и гипнозом бросается в глаза. То же подчинение гипнотизеру-соблазнителю, тот же отказ от всякого суждения, та же переоценка со стороны пациента. Пациент исполняет все, что ему приказывают сделать, сохраняя при этом впечатление, что он действует и думает сам, в то время как он подчиняется внушению. Ничего нет более естественного. Он ведет себя, как влюбленный, который впитывает в себя чувства, суждения, приказы любимого человека. Он отказывается от своих собственных суждений и чувств, чтобы соответствовать чувствам и суждениям другого. Ничего удивительного, если, кроме того, этот самый индивид находится

в состоянии сна, сомнамбулизма. В самом деле, гипнотизер руководит его доступом к реальности и направляет его конкретный опыт. Он ничего не видит, ничего не чувствует. Ничего, кроме того, что идеал «Я», воплощенный в гипнотизере, ему приказывает видеть и чувствовать. Этот идеал «Я» становится единственным объектом его внимания. Волнующий объект, который просит смотреть ему прямо в глаза.

Взгляд передает власть человека. Слово очаровывает, скрывает, лукавит для своей выгоды. Оно — слуга, а не хозяин. Взгляд обращается к личности, здесь и теперь, копается в ее сознании. Безмолвно он затрагивает «прежние и привычные чувства, желания и стремления»[100]. И это также «облик вождя, самый примитивный, полный угрозы и нестерпимый, как и позднее, смертный, не сможет без опаски переносить облик божества. Моисей принужден был служить посредником между своим народом и Иеговой, так как его народ не мог выносить вида Бога; и когда он спускается с Синая, его лицо озаряется сиянием, потому что, как у посредников первобытных людей, какая-то часть Мапа (лат.) остается на нем»[101].

Можно также индуцировать гипноз, прося испытуемого зафиксировать взгляд на блестящей точке или заставляя его слушать монотонный звук. Этот метод рассеивает сознательное внимание, отвлекает его от разнообразия внешнего мира и намерений гипнотизера. Он перемещает все мысли и эмоции на него, как ранее на родителей. «Именно так, этими приемами гипнотизер пробуждает у субъекта часть его архаического наследия, которое уже проявилось в его отношении к родителям и особенно в представлении об отце: представлении о личности всемогущей и опасной, с которой можно было общаться пассивно или мазохистски, перед которой нужно было полностью отказаться от своей собственной воли и чей взгляд невозможно было встретить, не проявив непростительной отваги»[102].

Перед столькими объединенными силами, силой любовных чувств и идентификации с гипнотизером и пробуждающимся представлением об отце «Я» отступает. Все-таки оно не прекращает сопротивления и остается зрителем игры, в которой занято. Следовательно, оно стремится достигнуть одобрения *сверх*-«Я», разделяя его желания и восприятия. Насколько исключено любое действительное сексуальное отношение, настолько стремление к идеализации врача и к пассивному подчинению ему обостряется: «Гипнотическая зависимость, — заключает Фрейд, — состоит в полном любовном отступлении, в исключении любого сексуального удовлетворения, тогда как в состоянии влюбленности это удовлетворение вытесняется лишь на короткое время и всегда существует на заднем плане в виде возможной цели»[103].

Подобная зависимость аналогична медицинской, педагогической, религиозной и, конечно, политической зависимости. Эта обольщающая связь описана и Ле Боном. Теперь мы понимаем ее причины и знаем, что делает ее эффективной. Если аналогия верна, можно предполо-

жить, что во всех этих случаях предводителю запрещено вступать в сексуальные отношения со своими последователями, с людьми, на которых он хочет влиять.[104]

Если предположить, что он поддерживает подобные отношения или допускает их возможность, то его влияние уменьшится и престиж упадет. Это рассуждение подходит для учителей, священников, врачей и, очевидно, для политических вождей. Такова цена, которую они платят, когда используют свое превосходство, чтобы преобразовать любовное восхищение в эротическое завоевание. Истинный смысл пословицы «Никто не может быть героем для своего слуги», возможно, заключается в следующем: никто не может быть ни идеалом, ни руководителем для своего любовника.

III

Фрейд не прекращает накапливать аргументы, и хотя он уже приближается к концу своего предприятия и к концу своей жизни, он серьезнейшим образом продолжает объяснять, что он все более и более убеждается в том, что никогда, увы, не удастся раскрыть тайну гипноза. Он прав, когда видит в предшествующих гипотезах самое большее второй план науки, который лишь позволяет осмыслить явления гипноза менее мистическим образом. Гипноз лежит в основе любого воздействия человека на человека, будь то в психиатрии или в политике. И он приносит большую пользу, но при условии не применять его в корыстных целях. С психологической точки зрения гипноз, оставляя в стороне вопрос количества, идентичен толпе.

Можно сказать, что он представляет собой отдельный фрагмент, поведение каждого индивида, составляющего толпу по отношению к вождю: «Гипноз по праву может быть обозначен как масса вдвоем; внушение можно было бы определить как убеждение, но лишь основанное не на восприятии, не на умственной работе, а на эротической связи»[105].

Теперь вообразим десять, сто, тысячу фрагментов одного порядка, очень большое число связей, похожих на спицы одного колеса, которые соединяют с одной ступицей каждую точку обода. Таким образом, ситуация вдвоем множится с приходом в массу нового пополнения. Центральная фигура остается той же. Зато отношения между периферическими фигурами, между точками, к которым примыкают спицы социального колеса, меняются. Если мы перейдем от индивидуального гипноза к гипнозу коллективному, получим образ толпы, имеющей центральной фигурой вождя, который занимает позицию, идентичную позиции гипнотизера по отношению к своим пациентам. «Это множество, — с полным основанием говорил Тард, — по существу, всего лишь гигантское единоборство, и, как бы многочисленна ни была корпорация или толпа, она является неким подобием пары, где либо каждый подвергается внушению совокупности всех других, коллективного

внушающего, включая господствующего предводителя, либо целая группа подвергается внушению с его стороны»[106].

Однако миметическое желание берет верх над первичным эротическим желанием и интенсифицируется. Каждый хочет походить на соседа и на собирательный образ. Все заканчивается взаимной идентификацией, как среди приверженцев одного культа и поклонников одной знаменитости. Копируя друг друга и их идола, они приобретают единообразный облик и манеру говорить, по которым узнают друг друга между собой и которые позволяют классифицировать их в ту или иную социальную группу.

Отныне легко понять психический строй толпы. По вертикали — любовный порыв каждого индивида к вождю. По горизонтали — множество людей, которые имеют один и тот же объект в качестве идеала «Я» и, следовательно, идентифицируются друг с другом. У них идентификация заменяет либидозные привязанности посредством регрессии. В толпе сексуальные отношения, даже замаскированные, отсутствуют, и их важность сведена к минимуму: «Любовные отношения, — пишет Фрейд, — остаются вне этих организаций (церковь и армия). Даже в толпах, составленных из мужчин и женщин, сексуальные различия не играют никакой роли»[107].

Такова картина, которую нам предлагает сплоченная толпа: все любят вождя, и каждый идентифицирует себя со своим соседом. Запомним эту асимметрию распределения человеческих привязанностей. Каждое желание обнаруживает тяготение к одному из полюсов — Эрос к вождю, Мимесис к толпе. Вождь любит себя и любим, толпа любит и имитирует его вместо того, чтобы любить себя. Это общее явление. Единственное исключение — это католическая, то есть религиозная, толпа. Даже если христианин любит Христа и идентифицирует себя с другими христианами, Церковь требует от него намного больше. А именно, любить других христиан так, как их любил Христос. Но, отмечает Фрейд, здесь существует отклонение, которое «явно выходит за пределы конституции толпы»[108]. Картина, на которой мы остановились, достаточно верна, она отображает суть явления.

IV

В этой картине отсутствует гипноз, так как он стал бесполезной гипотезой. Даже если он останется обидной загадкой, отныне это загадка, которую можно обойти, объясняя динамику масс. Его сменяет психоанализ. Он одновременно дает необходимые представления и понятия. Мы больше не имеем дела с галлюцинацией, сомнамбулизмом, с вереницей грезящих наяву, с автоматическими умами в психологии толп. Мы теперь встречаемся с реалиями желания, с влюбленными и подражающими индивидами, собравшимися вокруг вождя. Играя по отношению к каждому из них роль совести, он провоцирует их регрессию к примитивному состоянию, например, к детству.

Принцип бесконечного конфликта между Эросом и Мимесисом изложен очень точно. Недостаточно объяснен — с этим я согласен. Но изменения капитальны. Магический элемент, с готовностью культивировавшийся, исключен из психологии толп, так же, как и сила тяжести некогда устранила картезианские вихри из механики. На место гипноза приходят более вразумительные и легче наблюдаемые понятия. Эта наука благодаря Фрейду способствует прогрессу. Я употребляю это слово здесь с большой долей колебания, вплоть до того, что множество предыдущих работ и сочинений устарела.[109] Демонстрируя свою неприязнь к идеям, которые противоречат разуму, он отклоняет их или свободно комбинирует с другими. Принимая к сведению описания Ле Бона и разборы Тарда, он опрокидывает существовавшее до сих пор представление о массах. Их иррациональность, то есть подчиняемость и странное безразличие к реальности, проникает по каналам символической мысли, «мысли слепой или же символической» (cogitatio caeca vel symbolica), о которой говорит Лейбниц.

Это верно, но кто не видит, что отныне вопрос совсем в другом, нежели автоматическая мысль? Почти любовное почитание вождя, тот факт, что индивиды, составляющие толпу, идентифицируют себя благодаря ему — вот что выражает эта мысль. С этой точки зрения, он не кажется больше просто существующей данностью, каким-то придатком. Наоборот, он выступает важнейшим параметром толпы. Он в ней слывет подстрекателем, но в реальности сливается с ней. Теперь мы знаем, почему массы царят, но не правят.

В психологии толп вождь — общий элемент, *сверх*-«Я» и социальное «Я» каждого, без которого люди не смогли бы обойтись и вокруг которого они объединяются. Она не говорит ничего другого, кроме того, что говорил Мао Цзе Дун: «В самом деле, всегда необходимо, чтобы были вожди».

Конечно, выбирать между слабостью масс и силой вождя — то есть партии, церкви, армии и так далее — не значит выбирать между раем и адом, истиной и ложью. Это значит выбирать между двух зол, из которых ни одно не назовешь меньшим — чумой и холерой, потому что по отношению к свободе индивида любая масса иррациональна и любой вождь деспотичен. Но по здравому размышлению понятно, что это свойственно любому выбору. Выбирая то, что дает сила, одерживают победу над слабостью и обеспечивают выживание общества, к которому принадлежат. Эту философию разделяли все классики психологии толп, включая и Фрейда. Но, в отличие от других, он кладет в основу ее логичные гипотезы. Отсюда его упрек «авторам в том, что они не учитывают важности руководителя в психологии толп, тогда как выбор основного объекта наших исследований (в психоанализе — С.М.) поставил нас в более выгодные условия»[110].

Уместно добавить, что, поскольку все отныне объясняется с точки зрения любви и идентификации, в психологии толп закрепляется субъ-

ективность. Конец внушаемым марионеткам Льебо и Тарда. Их упрятали в чулан вместе с гипнозом. На их месте появляются неистовые орды, персонажи античных трагедий и герои Шекспира — мы увидим их через некоторое время. Современное, я бы сказал американское, отвращение к эмоциональному и субъективному замаскировало эти изменения.[111] Их влияние на реальность, однако, гораздо глубже, чем все мудреные расчеты. Но зачем беспокоиться об этом?

В такт этому изменению естественно решается политическое уравнение, если так можно выразиться, способом рациональной эксплуатации иррациональной сущности масс. Иначе и быть не могло. Именно стратегии, предназначенные управлять обоими основными желаниями, отдают власть то одному, то другому.

ЧАСТЬ 7
ПСИХОЛОГИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ВОЖДЯ

ГЛАВА 1

АВТОРИТЕТ И ХАРИЗМА

I

В психологии толп вождь — это квадратура круга. Все, кто пытался разгадать его загадку, оказывались непонятыми или нерешительными. Некоторые даже этим прославились, относя к себе слова Паскаля: «Не упрекайте нас в том, что мы непонятны, это наша профессия». Позиция пагубная и достойная осуждения, так как они не стремились прояснить природу явлений, за которые они брались, нагромождая одну сложность на другую. Я указывал на некоторые из них по мере нашего продвижения. Пришло время приняться за самую сложную из всех.

Анализируя портрет вождя, который рисуют Ле Бон, Тард и Фрейд, испытываешь странное ощущение. Под одним углом зрения этот портрет кажется правдоподобным. Он соответствует фактам, описанным историей. Под другим углом зрения — это всего лишь лубочная картинка, доведенная до крайности, карикатурная. Она скорее отражает предрассудки той эпохи, чем обезличенное наблюдение нашей. В самом деле, разнообразие лидеров таково и соответствует столь различным формам власти — сравните Рузвельта и Робеспьера, Ганди и Мао, Шарля Де Голля и Валери Жискар д'Эстена или же Леона Блюма с Марше или Миттераном, — что невозможно их свалить в одну кучу. Как отнести их к одному классу, если не найдена общая для них черта, но предполагается, что она существует?

Поразмыслим. Соответствуют ли вожди, которых описывает психология толп, социологической реальности или это лишь вымысел, собранный из каких-то фрагментов? Если бы невозможно было ответить на этот вопрос, не стоило бы И продолжать нашу работу. Неизвестно было бы, к чему относятся данные объяснения, поскольку невозможно объяснять то, чего не существует, неважно, монстр это или химера.

Теория может быть истинной или ложной, и большинство теорий то истинны, то ложны. Но без конкретного предмета она не является ни тем, ни другим. Она лишь миф, а невозможно строить науку только на мифах.

II

Однако в социальном мире существует тип власти, который позволяет представить себе, что в психическом мире есть господство, осуществляемое не столько на основе физической, анонимной силы, сколько на основе духовного, личного влияния: это харизматическая власть. В традиционном смысле, слово «харизма» относится к священной личности. Оно определяет догмы религии и связано с благодатью, той, которая облегчает страдание; со светом, который нисходит на измученное сознание верующего; с живым словом пророка, которое трогает сердца; наконец, с внутренней гармонией учителя и его учеников.

В наше время, по мысли немецкого социолога Макса Вебера, эта благодать присуща вождям, которые очаровывают массы и становятся объектами их обожания. Черчилль обладал ею так же, как и Мао Цзе Дун, Сталин, Де Голль, Тито. Она свойственна и папе Иоанну Павлу II, влияние которого на миллионы верующих, ждущих его и слушающих его с восхищением, поражает наблюдателей. Репортер газеты *Фигаро*, писавший о его путешествии в Польшу, отмечает: «Великая сила Иоанна Павла II заключается как в ясности его речей, так и в его харизме». А обозреватель достаточно жесткого английского еженедельника «Экономист» идет дальше: «Such magnetism is power» (такой магнетизм — это сила).

Сегодня слово «харизма» стало столь популярным, что его используют даже газеты с большим тиражом, полагая, что их читатели понимают его. Этот успех во многом обязан его неясности и неточности. Он будит в нас таинственные отзвуки. Идеи Макса Вебера, его создателя, гораздо яснее: этот тип власти особым образом отличен от экономической. Он представляет собой там, где он появляется, «призвание свыше», в высоком смысле слова, как миссию или внутреннюю «работу».[1]

Другими словами, воздействие харизматического лидера на массы не зависит ни от богатства, ни от промышленности, ни от армии — они представляются всего лишь вспомогательными средствами повседневного управления, с этой точки зрения. Собственно говоря, харизма означает дар, некое качество отношения между верующими или последователями и учителем, в которого они верят, которому подчиняются. Этот дар, это качество — способность излечивать, которую раньше приписывали королям, например, — определяются верой, обыденными представлениями.

Будучи однажды признанным, этот дар действует, как *символическое плацебо*. Он производит желаемый эффект на того, кто входит в контакт с его носителем. В точности, как безобидное лекарство, кото-

рое гасит боль, лечит потому, что оно прописано врачом, в то время как оно не обладает ни соответствующими физическими, ни химическими свойствами. Несмотря на прогресс науки, постоянно убеждаешься, что лекарством для одного человека является другой человек, это самый универсальный наркотик. Несомненно, харизма основывается в большей степени на верованиях массы, нежели на личных талантах человека. Но и они играют не последнюю роль. Не всякий может быть шаманом или вождем! Ведь почему так много призванных и так мало избранных? Как бы ни было трудно определить эти таланты, каждый, по-видимому, сразу понимает, что они обозначают вождя. Шекспир показал это в примечательном диалоге:

Лир: Ты узнаешь меня, приятель?
Кент: Нет, господин, но в вашей наружности есть нечто, что заставляет меня назвать вас господином.
Лир: Что же?
Кент: Власть.

Как всякая первичная иррациональная власть, харизма одновременно и благодать, и стигмат. Она придает ее обладателю знак чрезвычайной значимости и отметину исключительности, неистовой силы. Она вызывает аналогии с необычайной способностью африканских вождей к излучению и с «триумфальным талисманом» царей Гомера, Kudos[1], которое, как предполагалось, придавало им абсолютную магическую силу.

Все эти признаки одновременно привлекательны и угрожающи. Они защищают и пугают. Неподвластная разуму харизма вызывает, как и способности, которые я только что перечислил, противоречивые чувства любви и ненависти, вызова и отвращения. С незапамятных времен она порождает эмоциональный подъем. Она пробуждает толпы от спячки, возбуждает их и приводит в движение. Я вернусь к этой двойственности чувств, так как она является основополагающей.

III

Считается, что харизматический вождь обладает особыми качествами, выходящими за пределы обычного. Но отношения, которые устанавливают с ним, личного порядка, отношения субъективные и, разумеется, основанные на иллюзии взаимности. Они позволяют каждому индивиду в толпе представить себе, что он находится в непосредственном контакте с человеком, которым он восхищается. Чтобы убедиться в этом, ему достаточно однажды увидеть его, приблизиться, дотронуться до него, может быть, где-нибудь на поле сражения или, когда тот общается с народом. И человек возвращается, говоря: «Я Его видел, я до Него дотронулся», «Он со мной говорил», совсем, как солдаты наполеоновской гвардии рассказывали: «Я был возле пирамид, в Аустерлице или на Березине с Ним». Макс Вебер подчеркивает это:

[1] Величие *(греч.)* — *Прим. ред.*

«В своей истинной форме харизматическая власть является крайне необычным свойством и представляет собой чисто личное социальное отношение, связанное с харизматической ценностью личных качеств и их подтверждением»[2].

Другими словами, власть вождя распространяется поверх всех промежуточных образований, организаций, партий, масс-медиа и всех учреждений, которые в каждом государстве превращают это государство в холодное и безличное чудовище. Вокруг личности вождя создается некая общность верности и надежды, неподвластная иерархии. Каждый может объявить себя учеником, приверженцем, сторонником, не чувствуя себя униженным или ущемленным, «властное объединение — это эмоциональная общность»[3].

Кажется, что вождь и его последователи выбирают друг Друга взаимно. Под сердечным пристрастием скрывается одобрение вождя. Он создает связи, которые объединяют его с людьми. Они доверяют ему и отдают свою судьбу в его руки, полностью отождествляясь с ним. Они сами не знают, почему они это делают. Они оправдывают свое самозабвение обдуманным решением, внутренним откровением или обоими сразу, по примеру кардиналов, входящих в конклав, чтобы выбрать папу. Исход всегда один: харизма одного признается всеми. Немецкий социолог так описывает эту ситуацию: «Признание теми, над которыми властвуют, свободное, гарантированное подтверждением (в начале, всегда предзнаменованием), созданное самозабвением в откровении, в почитании героя, в доверии к личности вождя, определяет достоверность харизмы»[4].

Легко представить обратную сторону медали: подчинение. Подчинение, которое начинается, вероятно, с общей веры, поскольку она заключается в чистом и целостном приношении личности. Подчиненное существо не ждет ни награды, ни оплаты. Дар вождя распространяется еще дальше: на возможность располагать личностью, на ее отказ, тем самым, от собственной воли в пользу воли другого, что делает из того настоящего властелина.

IV

Обстоятельства, в которых рождается такая власть, тоже исключительны. Ей предшествуют явный слом существующего социального уклада, значительное разрушение верований, разочарование в установлениях, теряющих свою жизнеспособность. Тогда массам кажется, что все вокруг рушится. Бессмысленные силы грозят смести их, шторм может унести их к неизвестным берегам. Общественная жизнь не течет в обычном русле — не мир, не война, а нечто среднее. Повседневность, похоже, разрушается этим. Люди готовы отдаться волне энтузиазма, ярости. Они склонны одним ударом решать проблемы, застаревшие от компромиссов и беспрерывных обсуждений. За серым дождем мерещится радуга.

Абсолютно ясно, что это кризис, скрытое или явное неблагополучие. Массы ищут, сами того не понимая, человека, способного оказать влияние на ход вещей, связать идеальное и реальное, невозможное и возможное. В общем, перевернуть существующий порядок, ощущаемый как беспорядок, и привести все общество к настоящей цели. Тогда и возникает необходимость в таком типе власти, которая способна изменить ситуацию изнутри. И лидеры, обладающие харизмой, отвечают этой необходимости. Кто же они?

Узурпаторы с отклонениями в поведении, иностранцы или приехавшие с периферии — Наполеон с Корсики, Гитлер из Австрии, Сталин из Грузии. Часто это узурпация власти, сопровождающаяся цареубийством — Робеспьер, Кромвель, Ленин, великие деятели Сопротивления, Де Голль или Тито, принуждающие законного властелина уйти в изгнание, отправляющие его на гильотину, в тюрьму. Или теперешний папа, который был избран вопреки традиции, согласно которой папа должен быть итальянцем. Так или иначе, они кладут конец власти старых лидеров, закостеневших в своих старых привычках, обесцветивших и рационализировавших власть, которая может существовать только в ярких красках и возбуждая воображение. Итак, условием харизмы является брешь в ткани общества и признание авторитета вождя теми, кто ему подчиняется.

По Веберу, харизма, в самом прямом смысле слова, — это власть пророка. Может быть, некоторых героических воинов. Пророки создают новые правила для общества. Их почитают и им подчиняются, признавая их исключительные заслуги. Каждый клянется в верноподданнических чувствах к этим историческим личностям, о которых Гегель писал: «Можно всех их назвать героями, поскольку они нашли свою цель и призвание не в обычном ходе вещей, не в существующем порядке, но в источнике, в этом внутреннем духе, всегда спрятанном и который всегда сталкивается с внешним миром и разбивает его на куски, как цыпленок скорлупу. Такими были Александр, Цезарь, Наполеон».

Как я уже говорил. Макс Вебер имеет в виду, скорее, пророков, тех, кто смог повести народы и дать им новую веру, новую идеологию. Вот, в частности, о еврейских пророках. «Даже в религиозной области, — пишет один американский ученый по этому поводу, — где существует самая непосредственная преемственность с израильским прорицательством, которому это понятие (харизмы) так обязано, обнаруживают свое появление новые стили лидерства»[5].

Можно возразить, что определение такого типа власти не принимает во внимание экономические интересы, реальные, отнюдь не пророческие. Они были использованы вождями, те ими распорядились и их навязали. Ответ уже готов. Конечно, нужно принимать их во внимание. Нет сомнения в том, что массе, по причине экономических, военных и т. п. интересов, потребовался, чтобы придти к цели, Наполеон, а не

Фуше, Цезарь, а не Помпей — то есть обладатель особого дара, властитель психологии масс.

V

Я продолжаю свою мысль. Снедаемый сомнениями, я спрашивал себя, соответствует ли вождь, описанный психологией масс, определенной социальной реальности. Было много причин считать, что нет. Но, вопреки всяким ожиданиям, мы увидели, что харизматическая власть относится именно к такой реальности. Все, что мы сказали об авторитете, о его личном и символическом характере, о магнетизме, который он распространяет на массы, о безусловной вере, о подчинении, о восхищении, с которым она относится к вождю, все это укладывается в харизму. Между этими двумя понятиями нет большой разницы, разве что у харизмы больше выражена пророческая сторона, а у авторитета — эмоциональная, что кладет его в основу всякой формы власти. Теория авторитета предшествовала, даже вдохновила теорию харизмы. Во всяком случае, появившись приблизительно в одно время, они попытались решить одну политическую проблему: проблему государства и демократии в массовом обществе. [6]

Эта похожесть позволяет нам обрести более твердую почву и иметь более широкое поле для наблюдения. Вернемся теперь к нашему основному предмету: объяснению того, что означает харизматический элемент. Почему он соблазняет толпы? Почему они соглашаются идти за вождем? Что заставляет их отказаться от части своих денег, времени, свободы, разорвать обещания и социальные связи, чтобы победила его идея? Каковы пружины его психологии? И когда люди наиболее склонны следовать за ним?

Это вопросы одновременно и теоретические, и практические. Ведь все более и более, вместо того, чтобы искать харизму у тех, кто ею и так обладает, масс-медиа, реклама, журналисты и другие пытаются ее создавать. И иногда им это удается.

При ближайшем рассмотрении я, однако, вижу трудность. Этот тип вождя не только исключителен, но он кажется архаичным по существу. Похоже, он свойственен обществам прошлых веков, а в наше время интерес к нему скорее исторический. Но не видим ли мы, что он сохранился и распространяется, вопреки ожиданиям? Речь не идет о создании ореола, о неком свойстве, предохраняющем его от времени. Надо принять предводителя толп как реальность, направить на него твердый взгляд знания. Я упоминаю об этом, так как, на заре эры толп и массовых партий, психология толп предвидела это восхождение и подтвердила вместе с Ле Боном, что «тип героя, которого любят толпы, всегда будет типом Цезаря. Его блеск соблазняет их, его авторитет им импонирует, а его меч внушает страх»[7].

В противоположность этому, большинство ученых считало и продолжает считать, что в настоящее время харизматический вождь

появляется только в период *no man's land*[1] между стабильными социальными фазами, в узкие исторические периоды кризисов, когда царят стихийная вера и безграничное восхищение. И что распространение демократии и, особенно, массовых партий, имеющих очень близкую связь с экономической жизнью, влекут за собой его исчезновение. Философ и лидер итальянской коммунистической партии Грамши был уверен, что «в отношении управления коллективные организации (партии) заменят отдельных людей, персональных вождей (или харизматических, как говорит Михельс)»[8].

Эти доблестные слова были опровергнуты коммунистическими партиями, на которые делался намек. Когда Грамши их писал в фашистской тюрьме, которую он покинул только чтобы умереть, эти самые партии приводят к власти «персональных вождей», которые должны были служить противоядием. Если их роль заключалась в том, чтобы уменьшаться с развитием современного общества, то этот прогноз был полностью опровергнут фактами. И самое удивительное, что это никого не удивило. Надеемся, что в будущем ученые и, особенно, политики будут уделять большее внимание причинам, по которым психология толп в этом отношении оказалась права. С их стороны это было бы использованием элементарных научных правил.

[1] Безвременья *(англ.)*. — *Прим. пер.*

ГЛАВА 2
ПОСТУЛАТ ПСИХОЛОГИИ МАСС

I

Мы лишь бросили взгляд на наш предмет, чтобы представить себе его сложность. Мы согласились вывести на первый план отношения между харизмой и психологией масс. Теперь следует спросить себя: что делает возможным эти отношения. Только после этого мы можем попытаться объяснить их. Заметим следующее: харизма обладает свойствами воскрешения прошлого, пробуждения чувств и образов, погребенных в памяти, авторитетом традиции. Благодаря этому сговору с миром воспоминаний, вождь вызывает немедленную реакцию повиновения. Можно сказать, что достаточно ему появиться, чтобы масса признала в нем другого вождя, который играл роль на другой сцене, в других обстоятельствах. Кажется, что он будит в ней своего рода внутреннего демона, как гипнотизер пробуждает в своем подопечном наследие архаического прошлого. Единственного настоящего демона людей — память. Впрочем, эта связь харизмы и следов прошлого уже была установлена самим Максом Вебером: «Харизма, — пишет он, — есть великая революционная сила эпох, связанных с традицией»[9].

Все было бы хорошо, если бы нам удалось представить, каким образом становится возможной эта связь и каковы ее психические проявления. На самом деле, это чрезвычайно трудно. Чтобы преодолеть это препятствие, нужно для начала допустить один постулат, затем предположить механизм, третий, который, вкупе с эротическим влечением и идентификацией, мог бы позволить нам объяснить феномены психологии масс. Механизм, который, в отличие от двух предыдущих, касается эволюции коллективных отношений и времени.

II

Уточним. Одна из причин, на которые ссылаются, чтобы объяснить преувеличенные реакции толп, несоразмерные с объективными фактами, и их безрассудства, — это устойчивость прошлых мыслей и чувств, возвращение которых затуманивает ум людей. Мнения мертвых вмешиваются в дела живых, часто дорогой ценой для последних. Речь идет лишь о той старой доброй истине, что «прошлое, более или менее фантастическое, — как очень верно сказал Поль Валери, — воздействует на будущее с мощью, сравнимой с самим настоящим».

Надо полагать, что в психической жизни ничто не теряется, все может возвратиться в тот или иной момент. Принято говорить, что

у народа короткая память. Герои и необычайные события быстро забываются. На самом деле, все наоборот. Память у народа долгая, он никогда не отводит взгляда от зеркала прошлого. Ле Бон и Тард были согласны с этим и принимали это без труда. Фрейд тоже, но он испытывал трудность с объяснением этого. Двойную трудность, которая имеет отношение к сверхживучести воспоминаний и к механизму их передачи.

Это факт: все, что происходит в жизни индивидов, оставляет мнестический след, записывается в их мозге. Но как говорить о мнестических следах у масс? Проблема становится неразрешимой в том, что касается передачи воспоминаний от поколения к поколению. Индивид или масса, неважно: нет наследственности приобретенных свойств, нет групповой или родовой памяти. Всякая спекуляция в этом вопросе наталкивается со времен Дарвина на вето генетики. В этом случае, невозможно установление корректной аналогии между психологией индивидов и психологией масс, перенесение понятия первой на вторую. Согласно Фрейду, «эта вторая трудность, касающаяся перенесения на психологию масс, — издавна наиболее важная, так как поднимает новую проблему, имеющую отношение к принципам. Вопрос состоит в том, чтобы узнать, в какой форме действительная традиция представлена в жизни народов; вопрос, который не ставится в отношении индивида, так как здесь он решается наличием мнестических следов прошлого в бессознательном»[10].

Но определенные очевидности позволяют избежать этого препятствия, выйти из дилеммы. Язык кажется превосходным средством передачи мнестических следов из поколения в поколение. Символы, которые он несет, незамедлительно узнаются и понимаются, начиная с раннего детства. Более того, мы располагаем мифами и религиями, которые лежат у истоков языка и которые сосредоточивают и сохраняют в течение тысячелетий очень древние идеи и ритуалы. Ниже можно заметить обширную групповую среду, которая включает в себя все празднования великих событий (рождение Христа, революция, победа над врагами и т. п.) и годовщины самой группы. От поколения к поколению эта среда сохраняет одинаковую эмоциональную нагрузку. Живые архивы, называемые Землей, представляют собой воображаемые географию и биографию. Они создают иллюзию длительности, связи, объединяющей всех, кто населял планету с незапамятных времен. То, что опирается на подобные очевидности, не может быть доказано, а лишь постулируется.

Постулат гласит, что *впечатления прошлого сохраняются в психической жизни масс равным образом в форме мнестических следов*. При определенных благоприятных условиях их можно восстановить и оживить. Впрочем, чем более они древние, тем лучше они сохраняются.

Этот постулат определенно не приемлем с научной точки зрения. Он означает, что все, что происходит в нашей настоящей жизни, определено смутными воспоминаниями прошлого. И что внутренние

психические причины наших поступков имеют больше важности, чем причины физические и социальные. Но каким бы неприемлемым он ни был, его нужно принять: «Если мы поступим по-другому, то не сможем, сделать ни шагу больше по дороге, по которой начали двигаться, ни шагу в анализе и в психологии масс. Это неизбежная дерзость»[11].

III

Сделаем одно очень простое, но важное замечание. Подписаться под этим постулатом нас обязывает не столько возможность того, что это прошлое сохраняется в ментальной жизни, сколько его последствия. И особенно самое поразительное: история есть движение циклическое. И толпы тоже проходят циклы. Они возвращаются в места, уже посещавшиеся, повторяют прежние действия, не отдавая себе в этом отчета. Харизма из их числа. В ней можно видеть одну из тех материй, что существовали в архаические времена. Периодически она возрождается, когда колесо общества выносит ее на вольный воздух, а потом исчезает вновь. Забудем же наши колебания и спросим себя: каков механизм этого явления. Лица и ситуации прошлого принимают в нашей психике форму *imago* — наглядных представлений. По аналогии с картинками Эпиналя[1], они дают эффект присутствия отсутствующему, упрощая его черты. В основном, речь идет о лицах и ситуациях, с которыми мы идентифицируем себя, о наших родителях, нашей нации, о войне или революции, с которыми связываются наши особенно сильные эмоции: «Имаго, — пишут Лапланш и Понталис, — может равно объективироваться как в чувствах и поведении, так и в образах»[12].

Большинство имаго, запрещенные по моральным, политическим или культурным причинам, хранят след факта, которым они некогда были. Это следствие отбора, который пытался стереть их из истории народа. Осуждение Галилея или казнь Людовика XVI, преследование евреев или распятие Христа имели определенное предназначение: помешать народу идентифицировать себя с ними или с их идеалами. Эти акции преследовали цель уничтожить их раз и навсегда. Однако, не торопясь исчезнуть, эти запрещенные и отобранные элементы перегруппировываются и восстанавливаются в памяти. В душераздирающих сценах «Сельского врача» Бальзак с прозорливостью гения показывает, как разрозненные бывшие солдаты великой армии тайно и с любовью в сердце собирают обрывки воспоминаний о Наполеоне и создают легенду о человеке, чье имя в период Реставрации было запрещено произносить.

Да, с ужасным упорством память сначала *конвенционализирует* малейшую мысль, малейшую данность реальности, равно как и любой персонаж. Я имею в виду, что она освобождает их от контрастов, от их комплексов, превращает их в стереотипы, чтобы воспроизводить согласно определенным типическим схемам. Смерть героев всегда

[1] Эпиналь — город во Франции, прславившийся народными картинками. — *Прим. пер.*

будет трагической и грандиозной, великие вожди будут иметь величественное лицо строгого и беспристрастного отца, пророки — длинную бороду и нотки гнева и справедливости в голосе и т. д. Они стали нам близкими и привычными, похожими одни на других. Работа идентификации автоматически замораживает персонажи и оправляет их в рамки. И те доблестно все это выносят.

Затем память снабжает их поглощающей эмоциональной силой. Назовем ее, за неимением лучшего, соблазном ностальгии. С помощью игры контрастов между настоящим и прошлым наша память противопоставляет лицам и реалиям, которые у нас перед глазами, имаго их эквивалентов, восстановленных нашим сознанием. Избегая всего, что неприятно, отрицательно или невыносимо, мы стремимся запомнить приятные, положительные, выигрышные аспекты. И даже если речь идет о самых кровавых тиранах истории или если мы вызываем в памяти плачевные периоды нашей жизни, мы всегда возрождаем воспоминания в более удовлетворительном виде, более соответствующим нашим желаниям. Чаще всего этот соблазн ностальгии делает менее резкими конфликты прошлого, все равно, думаем ли мы о нашем детстве или об истории нашей страны. Он совмещает вещи несовместимые, делает правдоподобным неправдоподобное. Он рисует имаго, следуя принципу *coincidentia oppositorum*, слияния противоположных идей, чувств и персонажей. События прошлого, таким образом, никогда не кажутся нам такими, какими были на самом деле. Но, профильтрованные через великие темы нашей собственной истории или культуры, к которой мы принадлежим, они кажутся всегда более блистательными или более мрачными, чем были. Памяти не существует. Существует множество памятей, похожих на памяти авторов, которые создают их, оправдывая свое существование и стремясь очаровать читателя рассказом о своей жизни, будучи уверенными, что говорят чистую правду.

Соблазн ностальгии тем более непреодолим, что речь идет о наиболее эфемерных и наиболее удаленных периодах: «Отдаленные эпохи, — констатирует Фрейд, — окутаны в воображении живым и таинственным очарованием. Как только люди становятся недовольны настоящим, что бывает достаточно часто, они обращаются к прошлому и в очередной раз надеются найти никогда не забываемую мечту о золотом веке. Без сомнения, они продолжают испытывать магическое очарование их детства, которое пристрастное воспоминание представляет как эпоху безмятежного блаженства»[13].

То, что передается от поколения к поколению с идолопоклоннической верностью, есть продукт воображения, привитый на стволе неизменной психической реальности.

IV

Эти запрещенные и отобранные имаго сохраняются в форме мнестических следов. Время от времени они достигают уровня сознания. Согласно Фрейду, мысли, имаго, воспоминания, связанные с

влечением, запрещаются, деформируются, душатся волей индивида, его стремлением держать их в области бессознательного. Однако, несмотря на это вытеснение, они имеют тенденцию возвращаться, выбирая окольные дороги снов, невротических симптомов и недомоганий, названных психосоматическими. Возвратившись без ведома сознания, бессознательное содержание оказывает на «Я» навязчивое влияние, которого оно не может избежать. Этот волнующий процесс именуется возвращением вытесненного. Но, строго говоря, он свойственен психологии индивида и плохо применим к психологии толп.

Прежде всего, он предполагает существование фонда бессознательного. Этот фонд не существует у масс. Психоанализ отказывается его признать.[14] К тому же возвращение вытесненного касается большей частью подавления эротических влечений. Именно к этой области относится по большей части забытое и подавляемое содержание бессознательного. Но психические остатки отдаленных эпох, наследие масс, имеют скорее миметическую природу. Они имеют отношение к идентификации с нашими предками, с великим человеком, Эйнштейном или Наполеоном, с нашим родным городом и т. д. Они возвращаются с каждым поколением. Когда Фрейд на заключительных страницах «Моисея и монотеизма» принимается в последний раз излагать эволюцию человечества, он утверждает, что эта эволюция могла бы быть описана как медленное «возвращение вытесненного». Но он тут же добавляет: «Я не употребляю термина „вытесненное“ в его прямом смысле. Речь идет о чем-то в жизни народа, что прошло, потерялось из вида, и что мы пытаемся сравнить с вытесненным в психической жизни индивида»[15].

Чтобы избежать подобного неопределенного переноса из одной психологии в другую, мы можем предположить следующую специфическую конструкцию: *воскресение имаго*. Оно проявляется во внезапном и почти сценическом, но, в любом случае, глобальном, оживлении ситуаций и персонажей прошлого. Этому известно много аналогий. Когда стимулируют височную кору больного эпилепсией, наблюдают внезапный полный возврат пережитого ранее: образов и ситуаций, поступков и чувств. Также, когда некто переживает эмоциональный шок, он начинает говорить на забытом языке, реагирует на архаический образ, уже давно вышедший из употребления. Наконец, то, что некогда происходило и относится к первичной групповой идентификации, стремится к неустанному повторению, к навязыванию определенной принудительной модели. Например, все происходит так, как будто участники одной революции воспроизвели и пережили другую: Французская революция просматривается сквозь Советскую революцию. Или же как будто во всех императорах непрерывно возрождается один-единственный, Цезарь или Наполеон.

Отметим важное следствие: во всем, что принадлежит настоящему, мы не просто видим копию прошлого, но мы переживаем его, испытывая

чувства, связанными с источником. Так, можно в будущем обществе видеть претворение совершенного архаического сообщества или в папе — Христа, в Де Голле — Наполеона или Людовика XIV и т. д. Вспоминаются слова великого арабского философа Саади: «Велико число женщин, которые кажутся прекрасными в тени шатров и под покровом вуали. Но подними вуаль, и ты увидишь мать своей матери».

Я называю это воскресением, поскольку сама идея очень древняя. Во всех культурах есть верования, имеющие к нему отношения, церемонии, облегчающие его осуществление и обозначающие его результаты. В особенности, когда речь идет о харизматическом вожде. «Обладание магической харизмой, — пишет Макс Вебер, — всегда предполагает возрождение. Возрождение образа, который масса узнает».

Кроме того, в подобном случае вспоминают идентичность с другим персонажем. Главным образом мертвым. Ученики Пифагора представляли его похожим на шамана Гермотима, позже в Сталине находили Ленина. Римляне сделали из этого механизма политическую формулу. В каждом императоре воскресала личность основателя. Он и носил титул *redivivus*[1]. Октавиан Ромул *redivivus*. С той поры эта практика не прекращалась. Когда советские люди объявляли: «Сталин — это сегодняшний Ленин», они делали это под давлением все той же социальной и психологической необходимости. Все вожди поддерживают свою власть, взывая к имаго прошлого, которые, однажды воскреснув, зажигают былые чувства. Бодлер это очень точно заметил: «Феномены и идеи, которые периодически, через годы, воспроизводятся, при каждом воскресении заимствуют дополнительную черту варианта и обстоятельства».

Все эти замечания должны показаться вам тяжеловесными и лишенными правдоподобия. Нелегко поверить, что персонажи и события консервируются нематериальным образом в памяти поколений. Что после какого-то промежутка времени они неизбежно возвращаются, воплощенные в новом физическом и социальном существе. И, наконец, что причины даже самого незначительного события, самого легкого волнения масс лежат в их прошлом, а их результаты в будущем, в котором воссоздается прошлое. Короче говоря, что будущее всегда из прошлого. Итак, мы представляем воскресение имаго как гипотетический и даже условный механизм, сравнимый с фантомными полями в физике. Он дает нам возможность рассматривать преемственность идентификаций в ходе истории, ничего более.

[1] Воскресший, обновленный *(лат.)*. — *Прим. пер.*

ГЛАВА 3
ПЕРВОБЫТНЫЙ СЕКРЕТ

I

Массы, не желая этого, хранят следы своей древней жизни и первобытных времен. Они повторяют их. Важно, прежде всего, уточнить, что именно возвращается и повторяется: связь харизматического вождя с народом. В искусственных толпах — церквях, корпорациях, античных римских *collegia*[1] — можно наблюдать одни и те же церемонии, знаменующие уход и возвращение привязанностей в казну верований и общих чувств к членам толп. О каких церемониях идет речь? Согласно Тарду, «это, в особенности, акт совместной еды и общий культ по отношению к одному предку. Запомните эти оба явления, так как они объясняют нам, почему касты, корпорации, античные города придают такое важное значение комменсализму[2], периодическим товарищеским братским банкетам и выполнению погребальных ритуалов».

Эта трапеза, называемая некоторыми тотемической, несомненно чествует отца-основателя толпы, которого его последователи имитируют и с кем они себя идентифицируют. Канонизированный после смерти, он живет в их сознании, как Христос в сознании священнослужителей и Пифагор в сознании всех вождей его секты. Мы можем допустить это без большой натяжки. Но тотчас же возникает множество вопросов. Почему мертвый основатель сливается с харизмой его последователей? Как может он оказывать на них столь сильное влияние, когда в действительности он уже не существует? Что же беспрестанно обновляет его могущество и не дает ему исчерпать себя? Даже сегодня, в век науки и техники!

Решение Фрейда просто. Я резюмирую его несколькими словами. Трапеза, вкушаемая сообща, и погребальные обряды отмечают первостепенное событие: убийство первобытного отца его сыновьями-заговорщиками. Всякая человеческая эволюция начинается этим доисторическим событием, которое она продолжает искупать и воспоминание о котором периодически возвращается. В конечном счете, это единственное, что обнаруживается в нашей психической жизни. Оно образует ядро психологии масс. «После этого объяснения, — заявляет Фрейд, — я не замедлю сказать, что люди — особым образом — всегда знали, что у них был первобытный отец и что они убили его» [16].

[1] коллегиях (лат.). — *Прим. пер.*
[2] сотрапезничество. — *Прим. пер.*

Вот этот первобытный секрет. Мы скрываем его, маскируем его в наших религиях, в харизме наших вождей и в церемониях чествований. Таково точное содержание постулата психологии масс. Вопреки, а может быть, и по причине резкого отпора со стороны ученого мира, Фрейд до конца своей жизни был убежден в его истинности и последние страницы, опубликованные им, были посвящены этому.

II

Почему это преступление было совершено? Согласно Фрейду, в доисторические времена люди жили в орде, образованной всемогущим отцом, окруженным сыновьями и женщинами. Благодаря своему могуществу он наводил на них постоянный ужас. Он не выносил никаких, даже робких, попыток автономии, никакого утверждения индивидуальности, соперничающей с его собственной. Не заботясь об их нуждах, об их чувствах, об их мнениях, он требовал от своих сыновей и женщин полного подчинения. Его мнение и персональное желание имели смысл приказа для всех. Единоличный произвол был возведен в систему социальных обычаев.

В то же время, отец был любим, даже обожаем своими детьми по вполне очевидным причинам. Он представлял собой все, что было наиболее могущественного, и воплощал в себе идеал для каждого. Он должен был обладать, по словам Кафки, «тем таинственным свойством, присущим всем тиранам, право которых основано не на идее, а на их личности».

Его царство было царством деспотизма и жестокости одного в отношении всех. Этот отец, вероятно, охотник, просто и однозначно подавлял путем внешнего физического насилия всякую попытку удовлетворения эротических желаний у всех, кроме него. Не трудно вообразить, что в подобных условиях накапливалась ненависть. За спиной архаического деспота назревал мятеж. В союзе, придающем им силу, сыновья объединились против него, чтобы его убить. Но, несомненно, их подбадривали, им покровительствовали униженные матери, которые с детства разжигали их враждебность. Нужно было, чтобы их коалиция включала и их, потому что они тоже желали определенной свободы. Тем более, что именно к этому времени женщины изобрели земледелие.[17]

Результат всего этого заговора очевиден: один из братьев, вероятно, самый младший, от которого меньше всего этого ожидали, довел до конца неблагодарную задачу. Отец, должно быть, упал под ударами, вскричав, как Цезарь «И ты тоже, мой сын!» В нашей истории Брут хорошо представляет образ сына, который замышляет и совершает преступление во имя освобождения. Убив своего отца, сыновья съели его вместе, скрепив свой союз его кровью, поскольку ничто так не связывает людей, как преступление, совершенное сообща. С того времени пища, принимаемая вместе тотемическими собратьями, корпорациями

и другими искусственными толпами, возрождает эту первобытную трапезу. Но они заменяют тело отца животным, их тотемом.

Так рождается первая ассоциация, сформированная из свободных и равных индивидов, не имеющих ни бога, ни повелителя: братство.

Можно было бы опасаться, что однажды, преодолев запоры отцовского подавления, каждый даст свободный ход своим инстинктам, брат станет волком для брата. Но тайный заговор уже подготовил их к кооперации, к созданию других связей между ними. С другой стороны, они наделали долгов сотрудничества по отношению к женщинам, их матерям. Еще один довод не возвращаться к прошлым отношениям. По этим двум причинам сыновья обязаны ограничить свои инстинкты и соединяться с женщинами только при определенных условиях.

Так то, что было ставкой в борьбе между полами и поколениями, центром раздора, короче говоря, сексуальное обладание, трансформируется в род союза между мужчинами и женщинами. Одни оставляют всякие поползновения стать коллективными тиранами. Другие перестают быть объектами и становятся партнерами. На месте первобытного коммунизма в отношении женщин появляется экзогамия. Она дает свободу изменения и возможность выбора. Если инцест и исключается, то не из-за репрессий отца, а по причине внутреннего отказа, необходимого для коллективной жизни. Знак соперничества с отцом преобразуется в союзническое соглашение с матерью. Сыновья могут открыто идентифицировать себя с ней вместо того, чтобы обладать ей так же, как они идентифицировали себя с архаическим отцом вместо того, чтобы бороться с ним. Как бы то ни было, братский союз изменился. Инстинктивные и жестокие отношения уступают место отношениям ценности и права. Таким образом, выводим, что «право есть власть сообщества» [18].

Закон кладет конец произволу и деспотизму, которые свирепствовали во времена господства отца. Закон дает каждому долю самостоятельности. Но тотчас же обязывает братьев снова передать эту часть сообществу, так как, по словам Робеспьера, брат как гражданин «должен передать общей массе часть публичной власти и самостоятельности народа, которой он владеет, или же должен быть исключен из общественного договора». Именно в этих условиях родилась первая форма социальной организации, основанная на признании взаимных обязательств, отказе от инстинктов и установлении закона и морали. Они требуют глубокого взаимопонимания и добровольного согласия.

Можно видеть, как на месте коллектива, базировавшегося на господстве, устанавливается другой, основанный на дисциплине. Она включает запрещение инцеста, допуская союз мужчин и женщин и идентификацию с кланом, с братством, подготавливая объединение людей, поколений. Предположим, что понятие закона было изобретено матерями, чтобы направить в нужное русло инстинкты их сыновей, положить конец стремлению к тирании и узаконить борьбу с ней. В самом

деле, кто больше чем женщины был заинтересован в прекращении бесконечного насилия, в ограничении физической власти психологической и социальной контр-властью? И, вероятно, освоив сельскохозяйственные ресурсы сообщества, они нашли способы заставить уважать себя.

Закон, как вы видите, есть признак отсутствия отца. И каждый раз, когда отец вновь возникает в качестве вождя, он лишает его содержания и подчиняет своему собственному произволу. Все же я вижу здесь дополнительное доказательство того, что первый кодекс, установленный после мятежа сыновей, — это кодекс матриархальный. Фрейд пишет: «Большая часть могущества, высвобожденного в результате смерти отца, перешла к женщинам, и это было время матриархата» [19].

III

Революционные массы записали на своих знаменах: Свобода, Равенство, Братство или Смерть. Отец, ненавидимый и любимый деспот, однажды раз убитый, но не исчезнувший, тревожит сознание своих убийц. Перестав быть *над* толпой, он стремится вернуться в нее. Никто из сыновей не выполняет его функции. Но каждый, если можно так сказать, усвоил вместе с частицей его тела часть его власти. Теперь никто не является отцом, но все стали им. Отцовство из индивидуального превратилось в коллективное. Со временем забылась грубость отца, вспоминались лишь его позитивные черты, хорошие стороны прежней жизни. Ностальгия детства, смешанная с чувством вины, успокаивает ненависть и умеряет недовольство. Понемногу появляется тяга к исчезнувшему. Начинают любить образ и память того, кого ненавидели, когда он был живым.

В конце концов, его обожествляют. Вокруг него рождается какая-нибудь религия, точнее, *определенная* религия. Она таит убийство и, добавлю я, его провал. Так как, если сыновья убили своего отца, чтобы заменить его около женщин, радоваться той же свободе инстинктов, как и он, то они не достигали своей цели. Не должны ли они были отказаться от того же, что он им запрещал, — от промискуитета? И они оказались вынужденными заменить жестокость, порожденную силой одного, на жестокость, порожденную законом всех. Так сыновья одновременно пытаются замаскировать убийство отца и бесполезность своего восстания, любого кровавого восстания, призванного удовлетворить их желание.

В итоге к этому приходит любая религия. Теперь она создает имаго идеального отца, бога, которого любили все сыновья и которому, после сопротивления, они подчинились. Живой, он был тираном. Мертвый — становится символом сообщества, гарантом морали и закона. «То, чему мешал отец, теперь сами же сыновья и защищают в силу этого „ретроспективного повиновения“, характеризующего ситуацию, которую психоанализ сделал обычной» [20].

Отец становится (голосом совести, пронизанным угрозами и воспоминаниями о виновности, которые ничто не может стереть. Когда они

провозглашают, как шотландские горцы Шиллера, только что убившие своего тирана: «Мы хотим быть единым братским народом», голос отвечает им как эхо: «Вы народ сыновей-заговорщиков и убийц своего отца».

Таково возможное объяснение свойств, которые Тард и Фрейд приписывают искусственным толпам, причина их подчинения высокочтимому и богоподобному вождю. Отсюда следует, что отношения между членами толпы, братства опираются, с одной стороны, на фундамент матриархата, на цоколь закона, с другой стороны, на религию, мирскую или сакральную, созданную сыновьями вокруг отца, чтобы скрыть свое преступление и успокоить совесть. Двойственность мира реальности и мира иллюзий, обычаев и мифов, закона и власти отражает двойственность двух полюсов, между которыми бьет ключом культура: полюс матриархальный и полюс патриархальный. Все организованные массы — церковь, армия и т. д. — эволюционируют от одного полюса к другому. Они находят необходимые способы, чтобы переносить давление этой двойной лояльности.

Мы только что подошли к одному важному наблюдению: убийство вождя — цареубийство, человекоубийство — это механизм перехода от естественной толпы к толпе искусственной, так же, как убийство отца есть механизм перехода от первобытной орды к организованному обществу. Другими словами, это предыстория истории. Нам остается увидеть, почему воскресение имаго отца раскрывает перед нами природу харизмы. Третий, и последний, эпизод пробуждения человечества объяснит нам это.

IV

Стоит предположить, что общество не переносит отсутствия отца так же, как природа не терпит пустоты материи. После его свержения сыновья сожалеют о нем, и каждый помышляет заменить его. С течением времени силы раздора берут верх над силами единения. Это превращает заговорщиков в братьев-врагов, а их соперничество — в скрытую войну. До тех пор, пока один из них не осмелится потребовать возвращения отца и не возьмет на себя его защиту с апломбом Марка Антония, напомнившего римлянам, собравшимся вокруг останков Цезаря, о его добродетелях. Обращаясь скорее к сердцу, чем к разуму, он пробуждает у всех чувство привязанности к покойнику. Он возрождает сыновнее почтение их детства. В то же время, он провозглашает необходимость возвращения отца в лице его наследника. И с тем большей силой, чем больше чувствуется его отсутствие. Это верный признак воскрешения имаго: после своей смерти предок, воспоминание и представление о котором определенное время сохранялись в тайниках памяти, возвращается, чтобы занять свое место и вернуть свои права. Но в лице одного из своих сыновей, участвовавшего в его убийстве и ставшего поэтому героем. Каждый признает его и видит в нем хранителя места отца. Однажды в те далекие времена он заставляет своих братьев искупить общее убийство; с упорством Марка Антония,

преследующего Брута и других заговорщиков, с жестокостью Сталина, унижающего, а затем истребляющего своих соратников по революции. Таким образом, он освобождается от чувства вины, которую теперь возлагает на них. Он уничтожает в зародыше любое поползновение его убить, как они убили настоящего отца. «Надо сказать, что отец, — пишет Фрейд, — восстановившись в своих правах после того, как его свергли, жестоко мстит за свое давнее поражение и устанавливает власть, которую никто не осмеливается оспаривать, подчиненные же сыновья используют новые условия, чтобы ещё вернее снять с себя ответственность за совершенное преступление»[21].

Связанные союзом, который обязывает одного играть против всех остальных, они склоняют головы, некоторые теряют их. Став властелином равных, отцом ровни, как Цезарь, Сталин или Мао, он делает им внушение: «Вы так же хорошо, как и я, знаете, что произошло. Если бы мы стали ворошить старые истории, то к чему бы это привело? Думаете ли вы, что толпа хотела бы их знать? Вовсе нет! Ей нужна вера в наше отцовство, нужно повиновение отцу, которого я представляю». И он провозглашает перед всеми: «Знаете ли вы, что наш общий предок возродился во мне?». Таким образом, он заявляет о себе и присваивает себе черты несравненного и незабвенного основателя сообщества: Моисея, Христа, Ленина — гаранта прошлого и прокладывающего путь в будущее. Отныне новый вождь может сосредоточить в своих руках власть, распределенную на всех. Он выполняет свою задачу, утверждая неравенство в массе людей, которая только что выдержала свой самый жестокий бой за равенство. Задача, аналогичная задаче Наполеона, вскоре после Французской революции восстановившего титулы и ранги Старого режима, и задаче Сталина, восстановившего привилегии и почести, которые незадолго до того были отданы на поругание гегемонам истории. Эти примеры не имеют целью что-либо доказать, а лишь иллюстрируют мои слова. Несмотря ни на что, эволюция никогда не поворачивает вспять, и ничто не возвращается назад. Каковы бы ни были его козыри, занимающий отцовское место — узурпатор, укравший власть основателя и власть своих братьев. Он должен принимать закон братского клана, сообразовать с его требованиями свои поступки и свою власть. Чтобы достичь этого, он сохраняет форму клана, но изменяет его содержание. В самом деле, уважая равноправный характер клана, одинаковый для всех, он добавляет к нему запрещение и внешние санкции, которые принимают в расчет относительную силу каждого. Равные перед законом люди больше не равны перед наградами и наказаниями. То, что позволено высшим, запрещено низшим. Перейдя в руки нового отца, ставшего судьей и обвинителем, закон трансформируется. Он больше не власть, а лишь инструмент власти. Отныне он включает два веса и две меры: одни — для господствующих, другие — для подчиненных. Другими словами, женское изобретение закона превратилось в матрицу мужского творения, в порядок, то есть

в право, ограниченное властью, в патриархальный порядок. «В промежутке между ними, — пишет Фрейд, — произошла великая социальная революция. Материнское право было заменено установлением патриархального порядка»[22].

Фрейд ясно говорит об этом: за правом матерей следует порядок отцов. Как следствие этого, общество разделяется на семьи, во главе каждой из которых стоит отец, имеющий над ней власть, уравновешенную небольшим числом моральных предписаний и социальных правил. Безусловный вождь, домашний тиран своей жены и детей, он воссоздает первобытную орду в другом виде. Все происходило так, как если бы в процессе эволюции индивиды и исчезнувшие массы воскресали, чтобы взять реванш над мятежом и изменениями. Как если бы отмена материнского права и возвращение патриархального порядка определили истинную судьбу общества. Рано или поздно то, что началось убийством отца, заканчивается резней сыновей. Революция уничтожает их, как некогда они уничтожили его. Никто не избежит этого: «Даже если, — по словам Проперция, — этот ловкий малый прячется под железом и бронзой, смерть заставит его высунуть голову». В конце концов порядок побеждает.

V

Как харизма заставляет признать себя? Носителем какого свойства является человек, привязывающий к себе других людей? Каков инструмент его могущества? Харизма должна была бы представлять отца, воскрешенного и перевоплощенного в личность одного из своих убийц. Но это также и сам убийца в образе героя, то есть один из сыновей, воспротивившихся тирану и победивший его. Итак, есть два персонажа в одном: обожествленное имаго отца и след героического индивида, его сына. Вождя, который обладает подобной харизмой, массы признают. Он притягивает к себе чувства влюбленного восхищения к умершему отцу и страх перед неистовством жестокости, насилием с пугающими последствиями, на которые способен, как известно, тот, кто убил отца и подчинил соперничающих братьев.

Самая большая сила исходит от его двойственности. Он одновременно производит впечатление того, кто «над другими» и того, кто «как другие». Держатель места отца, который оживает в нем, redivivus, он в то же время занимает место массы братьев-заговорщиков, которые вверили ему свою власть. Так появлялись — и мы знаем теперь почему — римские императоры, отцы для патрициев, трибуны для плебса. Таковы в большинстве своем современные лидеры, держатели всей власти и избранные представители народа. В общем, единство противоположностей в личности одного человека. Вот почему его притяжение непреодолимо. Здесь возникает настоящая трудность. Такая реконструкция эволюции, а в ней действительно можно сомневаться, не соответствует научным наблюдениям, и не я первый, кто это сказал.

Самое странное, на мой взгляд, заключается не в том, что она была изобретена в гениальном порыве. Не в том, что придирчивые ученые не оставили в ней камня на камне. А в том, что, вместо того, чтобы исчезнуть среди руин и отбросов разума, как должно бы по бы быть, она все живет и продолжает нас интересовать. Мне нужно доказать, почему она имеет к нам отношение и почему мы сохраняем ее в качестве центральной гипотезы на протяжении нашего повествования.

Можно было бы сказать, что она «rings a bell»[1] как говорят англичане. Она заставляет вибрировать в нас струну, которая не позволяет нам о ней каким-то образом забыть. Эта струна настойчиво звучит в стихах Шекспира: каждый в его трагическом мире говорит нам об умерщвлении короля одним из его сыновей и о его возрождении в лице другого человека, когда времена изменились. Она вибрирует в сердце нашей культуры, когда Ницше яростно взывает к нам: «Бог умер! Бога нет! Мы его убили!». На что Фрейд возражает: «Бог, которого мы убили, — это отец! И уже давно, на заре веков. Теперь мы только повторяем первоначальное преступление и вспоминаем о нем». Всякий мятеж и всякая революция в современную эпоху, которая не поскупилась на них, напоминают об этом. И эта неизменная пара смерти и воскресения вновь и вновь встречается в каждой культуре. Как если бы она выражала неоспоримую психологическую истину, которую эта гипотеза отражает в нашей. Одна из причин, по которой я предложил различать механизм воскресения имаго и механизм возвращения подавленного, заключается в этом особом содержании, убийстве отца, и в предустановленности цикличности.

Наконец, эволюция, определенная гипотезой тотемического цикла, — такое название ей следовало бы дать — пытается объяснить природу влияния харизмы на психологию толп, которая без этого продолжала бы выступать «как что-то бесплотное, чудесное и иррациональное»[23].

Итак, плодотворна ли эта гипотеза? Продолжение исследования нам это покажет. По крайней мере, на этой стадии мы видим, что она ставит проблемы, касающиеся психологии толп в таком ключе, как никакая другая гипотеза их не ставила. Именно по этой причине она и занимает основное место в исследованиях Фрейда в этой области. Точнее, она — их лейтмотив. Эта эволюция человечества от эпохи толпы к эпохе закона и права и от нее к эпохе порядка (орда, матриархат, патриархат) — буквально перекликается с восхитительно прочерченной Вико эволюцией, от эпохи богов к эпохе героев и затем к эпохе человека. Но одновременно она стремится обрисовать историю с психологической точки зрения, как результат *работы идеализации*.

Вначале принуждение навязывается людям с силой грубой реальности, которую они переоценивают, так же, как тирания отца,

[1] Звонит колокол *(англ.)*. — *Прим. пер.*

подавляет физическими способами желание сыновей соединиться с женщинами. Затем приходит время испытаний и коалиций между ними. Они создают социальную контрдействительность, чтобы объявить сначала о своем отказе покориться, чтобы затем победить. Ведь убийство отца имеет именно этот смысл. Но сила, побежденная во всех, в конце концов возвращается к каждому, преображенная в психическую реальность, состоящую из воспоминаний и символов. Ей, конечно, повинуются, как повиновались физической реальности, тираническому отцу, но уже в качестве идеала, представляющего ее противоположность: идеал «Я» или идеал группы. Теперь уже реагируют не на явления, непосредственно существующие в реальности, даже не на собственный опыт, а на явления, идеализированные мыслью, на имаго мира. Отныне человек должен преодолеть не силу реальности, действующую на него, а силу идеала. Это сила идеала в нем. Освободившись от первой, он становится рабом второй.

Тотемическая гипотеза придает смысл работе идеализации. Она определяет прогресс, который происходит в культуре, как и в политике, от внешнего мира к миру внутреннему. С течением времени люди создают в самих себе как психическую инстанцию некое *сверх*-«Я», отказ от инстинктов, навязанное им извне. Напротив, в экономике и технике прогресс идет от внутреннего к внешнему и выполняет работу материализации. Он всегда стремится воспроизвести во внешнем мире в виде физических протезов (роботов, инструментов, машин) части тела, руки, ноги, глаза, также как внутренние идеи и ощущения. С одной стороны, из мира вещей хотят сделать мир людей, а с другой, наоборот, — из мира людей мир вещей. Было бы слишком большим упрощением утверждать, что эта эволюция имеет своим источником отцеубийство, воспоминание о котором мы храним. Никто не помышлял построить на этом гипотезу и ввести ее в науку. Теперь это сделано.

ЧАСТЬ 8
ГИПОТЕЗЫ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ

ГЛАВА 1
ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ

I[1]

Чтобы осветить дорогу, по которой мы двинемся, достаточно одного факта. Каждый раз, когда происходит крупное потрясение и рождается новый тип политической власти, доктрина и образ этой власти выражаются в мифе. Самая абстрактная мысль запечатлевается, таким образом, в живой материи культуры. Вспомним о «Левиафане» Гоббса или о «Государе» Макиавелли, которые и сегодня в глазах всех олицетворяют монолитность государства и вождя. «Фундаментальный характер «Государя», — пишет Грамши. — не представляет собой систематическое изложение, но это „живая" книга, в которой политическая идеология и политическая наука сливаются в драматической форме мифа»[1].

Нужен был бы миф и для нашего времени. Разумеется, вожди эпохи толп имеют общую черту с вождями всех времен — это люди властвующие и правящие. Но, чтобы увлекать и направлять современные народы, они должны обладать специфическими свойствами, которые отличают их от всех остальных. Мы знаем, почему: основное место их деятельности теперь не парламент, не канцелярия, церковь, кабинет или Двор. Они действуют на улицах, форумах и в публичных местах. Власть их не дана парламентом и не освящена церковью. Они получили ее не из рук верховной власти, а в соответствии с логикой идеи, разделяемой толпой. Союзники или враги, от которых все зависит для них, теперь не вожди, представители, монархи, министры, а массы, избирающие их или нет. Почти все решается на встречах с массами. Так, власть вождей, даже если они находятся в господствующем положении, не может искусственно поддерживаться силой или законом, если только она не связывается с верованием, формирующим поступки, мысли и чувства. Если такое верование ослабевает или связь распадается, власть вождей не более жизнеспособна, чем лист, сорвавшийся с дерева.

---

[1] Текст данного раздела переработан автором специально для русского издания. — *Прим. пер.*

Нужно, чтобы вождь был одновременно человеком власти, идеи и убеждения, или веры. Только такое счастливое соединение в одной личности дает возможность триумфа. Что может значить для него такой триумф? В основном способность переплавить индивидов в массу, которая может предстать в форме партии или движения и, в более широком смысле, в наше время в форме нации. Он внушает им чувство принадлежности к особенной человеческой группе, имеющей определенную миссию и обладающей специфическим образом жизни. Он убеждает их, что каждый индивид может раскрыться только в лоне группы, характеризующейся общими обычаями и верованиями, языком, художественным и философским содержанием, включая родственные, классовые и этнические связи. Индивид существует, только если обладает этими признаками и чертами, если он разделяет ценности и цели группы. По мысли Ле Бона, в свое время мы ее приводили, всякий вождь должен сочетать страстную убежденность Робеспьера, человека, создавшего идею, с обольстительным могуществом Наполеона, человека, созданного идеей. Он — та душа мира, перед которой склоняются народы, объект восхищения в равной мере для философа и для старых солдат Империи.

Можно было бы добавить еще много других воодушевляющих или ужасающих примеров. Однако невозможно не видеть их родства с тем типом авторитета, который Макс Вебер связывает с харизмой. Харизматический лидер выпускает верования из их логова, чтобы с их помощью овладеть рассудком. Его способности сливаются с материей власти. И тогда мы можем безоговорочно заявить: вождь господствует. Но он господствует потому, что вера, его и масс, сделала его вождем. Все эти данные позволяют нам сформировать образ пророчества и пророка. Точнее, израильского пророка, который служит образцом, созданным немецким мыслителем на основе истории, подобно тому, как Микеланджело слепил его по памяти. И кто лучше, чем Моисей, послужил бы превосходной моделью, если, согласно Писанию, с тех пор «не рождалось пророка, подобного ему»[2]? Традиции, относящиеся к его талантам и деяниями, теряются в неопределенности, и маловероятно, что обнаружатся новые документы. Впрочем, неважно, знаем ли мы о нем достоверно или нет. О нем, как и о других великих людях, нам достаточно узнать главное из легенд, кристаллизованных вокруг него. Основной факт состоит в том, что он никогда не сходил со сцены истории и культуры.

Ле Бону, Веберу и другим принадлежит заслуга создания в первом приближении концепции вождя применительно к веку толп. Труд необходимый, но недостаточный. Оставалась задача придать этой концепции живое лицо, драматическую достоверность, выраженные в какой-либо фигуре. Выполнить эту задачу было предназначено Фрейду. Я хочу остановиться на работе, которую он первоначально озаглавил «Человек Моисей». Как «Государь», шедевр Ренессанса, как все те

книги, которые очерчивают взгляд на политику их эпохи, эта книга делает подобное для своей эпохи, эпохи толп. Таков ее фундаментальный смысл. Этим объясняются довольно странные на первый взгляд детали ее композиции. Выходящие за границы реального содержания отступления, которые кажутся нам лишними или ошибочными, на деле ясно свидетельствуют, что изучение великого пророка доведено до конца. Вместо того, чтобы недоумевать по поводу моего утверждения, что «Человек Моисей» — это, применительно к современной эпохе, версия «Государя», следовало бы его принять. Подобное сопоставление может показаться шокирующим, но оно имеет необычайные возможности.

Я не стал бы утверждать, что Фрейд избрал своего героя преднамеренно. Его ум в течение всей его жизни занимали другие персонажи. Но, углубившись в психологию масс и обнаружив в вожде разгадку их нищеты, он был с необходимостью подведен к Моисею самой логикой исследования. Изобразив его при помощи простых и достойных выражений, с цельной жизненностью, Фрейд сделался эхом исчезнувшего мира, который воскресает на страницах его труда. Огромная популярность Фрейда среди образованных людей, равно как и среди людей простых, происходит оттого, что он сумел выразить вечные реалии бытия, используя самые конкретные понятия, как это делали Декарт, Галилей, Макиавелли, Дарвин. Нет никакого сомнения: в наше время «Человек Моисей» предстает как тип предводителя масс. Это объясняет, почему он возник из прошлого, почему стал внутренним тираном Фрейда. Фрейд обращается с ним, как со своей собственной тайной. И рискует в этом предприятии своей жизнью так же, как и репутацией.

Все элементы, которые входят в анализ и композицию этого типа предводителя, заимствованы у *человека власти, человека идеи* и создателя народа: у пророка, но не только у высокочтимого религиозного пророка. Фрейд предупреждает нас: «Мы не должны забывать, что Моисей был не только политическим лидером евреев, находящихся в Египте, он был также их законодателем, их воспитателем, и это он принудил их следовать новой религии, которая еще сегодня по его имени называется моисеевой»[3].

Какой-то инстинкт вел Фрейда к великим основам, к фундаментальным проблемам. Оглядывая трезвым и беспощадным взором современную жизнь, где фигурирует столько лидеров наций и толп, он обнаруживает их суетность и недолговечность. Восходя к корням их психологии и ее искажений, которым она подвергается в исторической реальности, Фрейд создает блестящий образец, идеал, рядом с которым они — лишь плохие копии. И он дает пример этого идеала.

Он вовсе не становится в позу учителя нравственности или поборника справедливости. Слишком хорошо знающий, как жестоки сердца честолюбцев и сух их разум, Фрейд понимает, что обладание исключительной властью под оркестр одних приветственных возгласов, когда больше не слышен скрипучий смычок шута, которого терпели даже

монархи, не приводит ни к справедливости, ни к уважению людей. Но он убежден, что действительные психические нужды масс вовсе не те, что предполагаются и эксплуатируются вождями. А Моисей — это зеркало, в котором массы могут созерцать свою истинную сущность.

Для того, кто держит в руках судьбу народа, нет лучшего примера. Внушение и уважение этики обеспечило верность толп, их поддержку в политической деятельности. Желание верить словам вождя сыграло большую роль. Оно позволило Моисею не питать их иллюзиями, но распространять истину. Эта этика помогла выковать и сохранить хорошо закаленный человеческий характер, который смог победно выстоять в бурях Истории. Жестокость, презрение людей, силу и магию — все это он отбрасывает. Более того, он возобновляет запрет на них. Несколько простых правил, высеченных в сознании народа, привели к очень широким последствиям. В сравнении с подобной метеору судьбой каких-то Гитлера, Муссолини, Сталина, постоянное присутствие Моисея на арене истории является доказательством тому. [4] И Фрейд, без сомнения, подписался бы под тем, что написал Эйнштейн в 1935 г.: «В конце концов все человеческие ценности основаны на нравственном принципе. Уникальность величия нашего Моисея в том, что его признали безоговорочно в древние времена. Посмотри теперь на сегодняшних людей».

Может быть, по этой причине книга, которую ему посвятил Фрейд, единственная из его работ, которую можно открыть на любой странице. Диалог уже начат, но вы чувствуете, что вы — желанный гость. И если, несмотря на все возобновления, она остается понятной, то потому, что автор отвел своему размышлению то время, которое ему надлежало. И даже смерть вынуждена была терпеть, пока работа не будет закончена.

II

Великие люди не делают истории — это верная мысль. Но история не делается без великих людей — вот неоспоримая реальность. В психологии масс они — закваска, активный и созидательный фермент, тогда как массы представляют собой тесто, вещество, в котором сохраняется их дело. «Человечество испытывает потребность в героях, — заявляет Фрейд, — и как герой, верный своей миссии, поднимает целый пласт человеческой жизни, так герой, предающий свою миссию, понижает уровень человеческой жизни»[5].

Это заявление не укладывается в имеющиеся исторические и социологические представления. Оно в какой-то степени выходит за пределы тех представлений и взглядов, которые мы разделяем, кажется вызовом, брошенный здравому смыслу. В самом деле, все современные теории отказались от мысли, что великие люди играют какую-нибудь роль в судьбе народов и достойны внимания. В конечном счете, утверждают они, наибольшее значение имеют действия масс и определенные

события. Есть течение истории, которому нельзя противиться. И те, кто хочет приписать заслуги и ответственность определенным людям, совершают серьезную ошибку.

Наш вопрос таков: какова позиция психологии масс в этой проблеме? Она признает без колебаний, что внешние объективные факторы, то есть технический прогресс, экономические условия и демографический подъем, определяют эволюцию человеческих обществ. Но она добавляет, что внутренние, субъективные факторы, то есть исключительные личности, также вмешиваются в этот процесс. Эти выдающиеся люди не просто статисты исторической драмы, для большинства людей они представляют в ней героев. Можно отбросить теорию «великого человека» в истории, но нужно, однако, признать, что человечество в целом верило в него и продолжает верить. Желание верить во вдохновенного вождя, в человека исключительного, способного исправить положение вещей, которому толпа может совершенно спокойно повиноваться, обильно и документально подтверждено в древних и современных обществах. Элементарное желание верить в него и в его необыкновенные возможности имело и, вероятно, продолжает иметь значительное влияние на общественную жизнь. С уверенностью можно сказать, что этот фактор изменений не единственный. В любом случае он добавляется к общим и безличным факторам. «В принципе, есть место для обоих... Так мы сохраняем место „великим людям“ в цепи или, вернее, в сети причин»[6].

Таков взгляд психологии толп. Он мог бы свестись к одной фразе: великий человек — отец, а массы — мать истории. Без сомнения, эта квалификация приложима в основном лишь к кучке индивидов, занимающих вершины, к тем, кто действует на уровне всего человечества в целом: к одному Наполеону, Цезарю, Де Голлю, Рузвельту, Мао, Магомету. Но она имеет ценность и для других. Каждая нация, каждое племя, каждое селение имеет своих великих людей, своих «больших людей», как говорят африканцы. Они создают коллективное вещество, объединяя индивидов и группы, и форму, пропитывая их своим характером и своей судьбой на долгое время. Нет ни одного народа, который не имел бы своего Пантеона, ни одного, кто не заполнил бы его. Даже если всемирные анналы не указывают имени этих персонажей, местная хроника сохраняет их и почтительно воскрешает. Ассоциации увековечивают их память, эрудиты составляют их биографии. Статуи и таблички на углах улиц или на родном доме знаменуют память о них и выражают коллективное восхищение.

Все эти явления доказывают, что великие люди с различным ореолом составляют один общий класс. Они обладают общей способностью быть творцами, центрами внимания человеческой массы и *сверх*-«Я» ее культуры: «Можно сказать, — пишет Фрейд, — что великий человек и является тем авторитетом, из преданности к которому совершаются подвиги; и, так как сам великий человек действует на основании своего

сходства с отцом, не стоит удивляться, если в психологии масс роль *сверх*-«Я» вернется к нему. Так же, как это было применительно к Человеку Моисею в отношениях с еврейским народом»[7].

Даже если это применяется к нему и к еврейскому народу, это нисколько не умаляет его положения человека, не имеющего себе равных и единственного в истории, который после своей смерти стал живой легендой. Он всегда остается человеком-образцом этого типа людей. В нашей культуре он одновременно и архетип того, кто они есть, и символ того, чем они должны быть. Поэтому узнать, каков был его путь, как он сформировал характер своего народа на тысячи лет вперед, как сам он стал великим для своего народа — это значит одновременно определить его масштаб и роль в истории. Однако не нужно метить слишком высоко. Научное знание дает нам доступ к относительной истине в этом вопросе. Но оно не означает ни необходимости, ни возможности всеобщей истины.

ГЛАВА 2
СЕМЕЙНЫЙ РОМАН ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

I

Напрашивается один вопрос: чем психология великих людей отличается от психологии людей обычных? Все сравнения, к которым обращались в течение долгого времени, ни к чему не привели, и это почти не удивляет. Ни ум, ни дар слова, ни сила не отличают их от большинства смертных. Мы прибегнем к указанию менее точному и более социальному. Им воспользовался антрополог Марсель Мосс, чтобы противопоставить *homo duplex*, человека разделенного, *homo simplex*, человеку единому и тотальному. Первому его сепарированное сознание позволяет овладеть своими инстинктами И встретить лицом к лицу внешний мир. У второго разум и чувства остаются спаянными, и он реагирует обобщенно во всех ситуациях.

С одной стороны, «это в самом деле единственный, — пишет Марсель Мосс, — цивилизованный человек из высших каст наших цивилизаций и малого числа других, предшествующих, восточных и отсталых, который умеет контролировать различные сферы своего сознания. Он отличается от остальных людей. Он специализирован, часто отличен наследственно благодаря разделению труда, которое тоже часто наследуется. Но особенно он разделен в своем собственном сознании, он сознателен. Он умеет сопротивляться инстинкту, он может благодаря своему воспитанию, взглядам и обдуманному выбору контролировать каждый из своих поступков».

И, с другой стороны, «человек обычный, который уже развернут и чувствует себя единой душой: но он не хозяин самому себе. Средний человек наших дней — а это особенно верно для женщин — и почти все люди архаических и отсталых обществ являются „тотальными“: все его существо становится жертвой малейшего из впечатлений или малейшего психического потрясения»[8].

Вот портреты двух классов людей. Первый соответствует представлениям, которые мы имеем о человеке-индивиде в нашей цивилизации. Фауст, раздираемый своими двумя «душами», — пример этому. Второй представляет человека-массу; так, как его описывает психология. На данный момент кажется почти невозможным определить их лучше. Стоит дополнить их антропологические черты несколькими чертами психологическими. Можно предположить, что человек разделенный обладает очень отчетливым *сверх*-«Я» и «Я», очень любящим себя.

Его основной интерес направлен на разговор с самим собой, а его умственная жизнь доставляет ему удовлетворение. Кроме того, он служит доказательством независимости и позволяет смутить себя. Это то, что мы слышим, когда говорят о ком-то обладающем волей и смелостью суждений. Подобный индивид, в частности, способен «быть поддержкой для других, взять на себя роль лидера и дать новый импульс культурному развитию или подвергнуть опасности существующий порядок вещей»[9]. У него есть черты фанатизма и упорство, которое выражает преобладание *сверх*-«Я». Отсюда смысл миссии, которая его характеризует и определяет как человека действия[10].

Рассмотрим теперь человека тотального. Определенно, он же должен обладать любовью к себе, эгоизмом, достаточным, чтобы занять свое место в обществе, где царит соперничество, где каждый должен уметь сопротивляться давлению, которое оказывается на него. Но у него доминирует эротическая составляющая либидо. Любовь других для него главное, потеря этой любви — его огромная забота. Она делает его зависимым от тех, кто мог бы ему предложить свою любовь или, напротив, похитить ее. И он готов склониться перед требованиями своих влечений. Поиск удовлетворения тем самым окрашивает его существование. Эта комбинация любви к себе и любви к другим, нарциссического либидо и эротического «может быть именно той комбинацией, которую мы должны рассматривать как наиболее общую из всех. Она объединяет противоположности, которые могут взаимно уравновеситься в ней»[11].

По этой причине, даже если этот тип людей и понимает разницу между сознанием и аффектами, он тем не менее не разделяет и не противопоставляет их.

Мы также можем дополнить портрет этих двух категорий людей общей гипотезой, касающейся их психической конституции. Если бы мы захотели коротко охарактеризовать человека разделенного по Марселю Моссу, можно было бы сказать, что он разделен двумя противоположными силами: любовью и идентификацией, Эросом и Мимесисом. Он испытывает напряжение между крайним индивидуализмом и крайней общительностью, причем один стремится господствовать над другой. Это напряжение происходит оттого, что он полностью идентифицировал себя с какой-то идеей, с группой, с идеальной личностью и как следствие загипнотизирован ею, сказал бы Ле Бон. Голос сознания ему постоянно напоминает это и просит его отказаться от инстинкта. Он заклинает его стремиться исключительно к своей цели. Такой голос «порождает нескольких великих людей, много психопатов и много невротиков»[12].

Фрейд так объясняет свою мысль: «Ясновидцы, мистики, люди, подверженные иллюзиям, невротики и сумасшедшие во все времена играли великую роль в истории человечества, и не только когда случайности рождения законно наделяли их властью. В основном они становились

причиной бедствий, но не всегда. Подобные личности оказали глубокое влияние на свое время и на последующие времена, они дали импульс значительным культурным движениям и сделали великие открытия. Они сумели совершить подобные подвиги, с одной стороны, благодаря незатронутой части их личности, то есть, несмотря на их аномалию, но, с другой стороны, часто именно патологические черты их характера, их одностороннее развитие, аномальная гипертрофия определенных желаний, устремленность без критики и без тормозов к одной-единственной цели дают им возможность увлечь других по своим стопам и победить сопротивление мира»[13].

Этот портрет напрасно кажется вам преувеличенным и шокирующим, его стоит иметь в виду. Он обычен в психологии толп — мы его уже встречали у Ле Бона и Тарда. И невозможно понять его, не признав этого. Даже если он представляет собой вымысел, то вымысел не без связи с реальностью. Иначе он не обладал бы такой эффективностью и не присутствовал бы в культурах. Как бы там ни было, этот портрет отчасти проливает свет на психологию толп, которые бывают безгранично преданны человеку подобного склада.

Напротив, человек тотальный соединяет в себе два аспекта одинаковой силы: нарциссическое либидо и эротическое так же, как притяжение и отталкивание выявляют в одном и том же теле два аспекта силы тяжести. Именно в этом смысле он прост: он сделан, если можно так сказать, из одного материала. Он повинуется законам единственной силы: любви. Другая сила, а именно — идентификация с какой-то личностью, с коллективной целью оказывает на него умеренное давление. Так что голос совести — *сверх*-«Я» в целом — требует от него лишь любви к себе и не обязывает его в отношении других. Это милосердный голос «для личности, которая дает ему приют, но он имеет то неудобство, что допускает развитие существа очень обычного»[14]. Но не думайте, что этот человек должен быть примитивным, его ум простым, а его внутренняя жизнь — бедной.

Такова линия разделения, которую мы разыскали. Она предполагает, что у человека разделенного Эрос и Мимесис обосабливаются и противопоставляются. В случае конфликта последнее слово всегда принадлежит Мимесису. Напротив, у человека тотального царит гармония. Мимесис всегда уважает суверенитет Эроса, помогает избежать всякой крайности и чрезмерности. Поэтому такой человек может согласиться повиноваться в толпе лишь в той степени, в какой он получает от нее любовь. Но нам остается сделать самое трудное, а именно — объяснить генезис обсуждаемого разделения.

II

С этой целью я хочу заняться понятием — но действительно ли это понятие? — *семейного романа*. Обычно к нему проявляют мало интереса. Но так как кажется, что оно играет большую роль в психо-

логии толп, чем в психологии индивидов, я, не колеблясь, приступаю к нему. О чем же идет речь?

Согласно психоанализу, ребенок, а точнее мальчик, желает свою мать и противопоставляет себя отцу. Его отец — соперник в любви, и он доходит до того, что желает его смерти. Это соперничество отмечает его жизнь и определяет эволюцию его личности. Поиск разрешения конфликта с родителями накладывает отпечаток на семейный, или Эдипов, комплекс и определяет их последующие отношения. В то же время ребенок пытается бежать от этой ужасной напряженности. Это ему не удается в реальности, и он пытается сделать это в воображении. Поэтому он фабрикует себе другую семью. Он дает себе другого отца и другую мать, если не привязывается к своим бабушке и дедушке (как было в случае Стендаля, ненавидевшего своего отца и обожавшего деда). Но разве множество взрослых не бегут также из их реального окружения, воздвигая себе идеальное окружение, населенное созданиями по сердцу?

Ребенок тоже создает себе другой мир, чтобы сопротивляться тому, в котором он заперт. Он черпает в нем силы, чтобы противиться приказам авторитета, который сам первый пренебрегает ими. В своем знаменитом «Письме к отцу» Франц Кафка рассказывает, что мир его детства был разделен на множество провинций, среди которых была одна, «где я, раб, жил по законам, изобретенным для меня одного, и которым я, не знаю почему, никогда не мог удовлетворять».

Когда он становится юношей, чувство несправедливости усиливается. Оно заставляет ребенка еще больше отвергать свое истинное родство и предпочесть ему родство заимствованное, своих химерических матерей и отцов. Раз уж так, то лучше, чтобы это были могущественные персонажи, способные оказать покровительство: короли, знаменитые художники, гении, признанные ученые. Но, помимо их роли бегства и покровительства, эти заимствованные родители, заменяющие в его сознании истинных, служат ему защитой против дилемм, выдвигаемых желаниями, которые он вынашивает по отношению к индивидам противоположного пола и которые ему запрещены: «Все невротики, — пишет Фрейд в 1898 г., — придумывают себе то, что называется семейным романом (который становится осознанным в паранойе). С одной стороны, этот роман потворствует мегаломании и образует защиту против инцеста. Если ваша сестра не дитя вашей матери, то существует больше поводов для упрека вам (то же самое, когда вы сами — ребенок других родственников)».

У ребенка существует тенденция к изобретению такого семейного романа, который идет из глубины его самого. Он разворачивается параллельно. Он дублирует семейный комплекс, ткань, которая служит завязкой и развязкой его действительной истории. Так же эпопея, воспетая поэтами, дублировала действия и поступки воинов и королей и превращала их в героев. И он тоже продолжает борьбу на два фронта, реальности и вымысла, соединяет две жизни в одну единственную.

Наше понятие уточняется и становится более конкретным. Оно позволяет отыскать рядом с каждой *коренной* семьей, семьей реальных родителей, семью *благородную*, чужеземную и часто знатную, которую воображает ребенок и которой он себя уподобляет. Первая представляет место любви и ненависти к своему отцу, матери, братьям и сестрам. Андре Жид рисует атмосферу такой семьи в знаменитом обращении: «Семьи, я ненавижу вас, замкнутые очаги, закрытие двери, ревнивое обладание счастьем». Другая, наоборот, полностью состоит из людей, которыми восхищаются и которым подражают. Отношения с ними, скорее, отстраненны и абстрактны.

Большей частью она отвечает желанию ребенка иметь того же отца и ту же мать, что и дети, с которыми он себя идентифицирует и которые принадлежат к более высокому социальному кругу, чем его собственный. Он сравнивает своих родителей с родителями своих товарищей и обнаруживает, что его родители меньше преуспели, что они иностранцы, негры, евреи или бедняки, то есть не такие, «как положено», не похожие на таких, как положено, родителей, родителей его маленьких товарищей. По этой единственной причине подросток может стать критичным, даже враждебным и готовым пожертвовать своей родной семьей в пользу семьи благородной, которую он выбирает и наделяет всеми совершенствами.

Тем самым он расширяет свой семейный горизонт, интериоризирует масштаб отношений между социальными группами. Изобретение, иногда безудержное, романтической череды отцов развивает одновременно воображение, вскормленное ежедневными мечтами, и критическое чувство маленького человека в отношении взрослых. «Но, по мере того как осуществляется интеллектуальный рост, ребенок не. может удержаться, чтобы не обнаружить, к какому социальному слою принадлежат его родители. Он учится узнавать других родителей и сравнивать их со своими, получая, таким образом, право ставить под сомнение уникальные и несравненные качества, которые он им приписывал. Небольшие инциденты в жизни ребенка, заставляющие его испытывать неудовлетворенность, с самого начала провоцируют его критиковать своих родителей, позволяя ему использовать, чтобы укрепить свое критически отношение, знание, которое он получил о других родителях, более предпочтительных в определенных отношениях»[15].

Точно так же, как взрослые, которые много путешествовали по различным странам, возвращаясь домой, критически оценивают свою страну, открывая ее недостатки и ограничения. Некоторые доходят до того, что делают из страны, которой восхищаются, мерку для своей. Например, они восхищаются тем, что является американским, английским или немецким и становятся как бы гражданами Великобритании, Соединенных Штатов или Германии.

Подводя итог, скажем, что каждый ребенок проводит часть своей жизни между двух семей: первая — коренная, в которой господствуют

Эрос, любовь; другая — благородная, основанная на идентификации с какой-нибудь группой, личностью, масштабом социальных ценностей, с идеей, которая его волнует. Конечно, не все фиктивно в этой последней; как и в любом романе, элементы пережитого опыта служат ей материалом. Первая находится рядом с реальностью, с историей ребенка, какова она есть на самом деле. Другая — рядом с идеалом, с историей ребенка, какой она должна была бы быть, согласно его желаниям.

В своем письме к Флиессу Фрейд говорит в связи с этим о «романтизации происхождения у параноиков — героев-основателей религий». Но никто не описал этих отношений тоньше, чем Пруст. В начале «Поиска» юный Марсель относится к Шарлю Свану с враждебностью: придя на ужин к родителям Свана, он мешает матери поцеловать сына. Потом Жильберта становится подругой его игр, а Сван для него — воображаемый отец. У Сванов все прекрасно — дом, еда, слуги; все, что они делают, хорошо, тогда как у родителей Марселя все ему кажется ниже качеством, старомодным, ничтожным. Затем его любовь к Жильберте и Сванам идет к упадку. Тогда Марсель переносит свое восхищение на герцога и герцогиню Германтов. Он создает себе новых родителей, вводящих его в мир, к которому он всегда стремился.

III

Генезис психологии великого человека — предположим, что она особая, — вписывается в эти рамки. Две истории входят в конфликт. Они поддерживают в каждом подобие гражданской войны между данным семейным комплексом и придуманным семейным романом. Пытаясь примирить их и обрести внутренний мир, большинство из нас, возможно, выберет в качестве решения самое легкое, больше всего соответствующее реальности. Оно заключается в уподоблении семейного романа семейному комплексу — в конце концов роман всего лишь роман — то есть в предпочтении одного двум, когда любовь настоящих родителей уподобляется признанию отдаленных и, кроме того, вымышленных личностей.

Но меньшинство детей, мы можем это предположить, достаточно нарциссических, даже асоциальных, чтобы верить в свою силу, упорствуют в своем стремлении во что бы то ни стало жить в своем романе, реализовывать свою мечту. Либо потому, что они считают свою истинную семью слишком невыносимой, каковой была семья для Флобера, либо потому, что иметь заимствованную семью — это единственный способ психического выживания — для Кафки, например. У них в пользу семейного романа устанавливался очень нестабильный союз, образованный персонажами, с которыми они себя идентифицировали. Конкретно это проявляется, с одной стороны, в ослаблении любовной привязанности к родителям. С другой, в интериоризации вымышленного родства, которое включает великих людей, национальных героев,

гениев науки или искусства и так далее. На самом деле разрешение конфликта генеалогий повинуется одной формуле, которая нам известна: либидо регрессирует, когда идентификация прогрессирует.[16]

Преувеличивая, можно сказать, что, в отличие от большинства, такой индивид жертвует семейным комплексом, своими симпатиями в пользу честолюбивого желания царить, открывать, писать. Вспомните необычайную способность государственных деятелей, например, однажды отказаться от своих самых дорогих друзей, чтобы связать себя с другими лицами, или способность гениальных людей заниматься своим творчеством в ущерб всем семейным привязанностям (перечитайте «Поиски абсолюта» Бальзака!), повторяя и возобновляя, таким образом, жертву, очень рано принесенную в жизни. Главное для них — быть похожими на высших существ, уравнять себя с их образцами.

Они хотят войти в мир элиты и отрываются от всего остального с решимостью выскочки, который прячет своих скромных родителей, потому что стыдится их. Однажды и навсегда эта категория людей заменила коренную семью, которой они были зачаты, на семью избранную, или благородную, которую они зачали сами. Некогда на заре своего существования эта семья была лишь средством критики и бегства от реальности. У взрослого она становится мотивом действия, источником создания реальности. Тогда человек живет как бы в своем романе.

В этом выборе решающую роль играют биографии исключительных людей: Ленина или Наполеона, Маркса или Эйнштейна, Моисея или Христа. Эти биографии предоставляют интриги, эпизоды, примеры того, что могло бы быть удавшимся семейным романом, — роман человека, преуспевшего в жизни, того, кем хотели бы быть. Они стимулирую будущих революционеров, пророков, ученых и художников! Они побуждают их покинуть свое обычное окружение и вообразить окружение престижное, чтобы в нем жить и работать. Они побуждают их рассматривать себя как сыновей этих духовных отцов, отвергая своих родных отцов, которые не выдерживают сравнения.

Таким образом, каждый очень рано строит свой меркантильный Пантеон, в котором он надеется занять однажды избранное место. Это очень наглядно выражено у художников, которые воздвигают себе музей еще при жизни, например Пикассо, Вазарели или Шагал, или у политических вождей: в каждом поступке, в каждой речи просматривается забота о том, что скажут о них историки будущего. Еще при жизни они готовят место, могилу и церемониал своего погребения. Эти люди живут с мыслью о памяти и некрологе; идентифицируют себя, с заранее установленной моделью, создают свою легенду — все это показывает силу семейного романа и доказывает, какую решающую роль он сыграл в их карьере. Их усилия направлены, и весьма успешно, на то, чтобы превратить этот семейный роман в реальность, создать из него исторический роман.[17]

Признаем, что в конечном счете психология «великих людей», вождей толп, хранит свои секреты. Однако мы все ж продвинулись вперед, поскольку в состоянии по меньшей мере изучить ее. Эта психология предполагает, и мы это видели, внутреннее разделение и овладение противоположными силами *сверх*-«Я» и «Я», идентификации и любви. Она связана с разделением семейного романа и семейного комплекса, с раздвоением истории ребенка, а затем юноши. Когда первый полностью господствует над вторым, способность идентифицировать себя с персонажем или идеей получает исключительное развитие. Сын своих родителей превращается в сына своих творений. Он получает еще одну душу. Удалось ли нам прояснить столько фактов, оставшихся без объяснения? Я только осмеливаюсь предположить, в чем состояло бы подобное объяснение, уповая на снисходительность читателей. Ведь в знании, если вспомнить слова Жореса, «человеческий прогресс измеряется снисхождением разумных к мечтам безумцев».

IV

«Если, с одной стороны, мы, таким образом, видим фигуру великого человека, которая увеличивается до невиданных пропорций, то, с другой стороны, мы все же должны вспомнить, что отец тоже когда-то был ребенком»[18]. Легенды нам рассказывают об этом детстве. Нас поражает то, что они следуют по пути, который мы только что обнаружили. Они проецируют на экран психологии толп эпизоды семейного романа, которые восхваляют величие героя и объясняют, как он стал таким, каков он есть. Итак, Моисей.

Каково его происхождение? Библия, как мы знаем, говорит о том, что он родился у родителей-евреев, рабов. Но Фрейд утверждает, что он появился на свет в семье египетских фараонов, то есть, что он не еврей. В связи с этим он ссылается на само имя Моисея, бесспорно, египетского происхождения. Но его основной аргумент опирается на анализ легенды о его рождении. Первое, что мы можем сделать, — констатировать, что эта легенда соответствует типичной канве, одинаковой для всех народов. Герой описывается как сын знатной или королевской четы. Его рождению предшествовало состояние кризиса, голода, войны. Тогда отец, чувствуя угрозу в связи с приходом наследника, который мог бы воспользоваться ситуацией или оказать услугу его противникам, приказывает бросить, подкинуть или убить его. Как к последнему из способов, он прибегает к детоубийству, чтобы предотвратить судьбу, которой он все же не сможет избежать.

Среди тех, кто был, согласно легендам, брошен, фигурируют Кир, Ромул, Геракл и, разумеется, Моисей. Но новорожденного, осужденного на смерть, счастливо спасает человек из народа. И он выживает, вскормленный бедной женщиной или самкой животного (волчица у Ромула). Доброта обездоленных мешает преступлению власть имущих и приходит на помощь судьбе.

Воспитанный этой заимствованной семьей, ребенок вырастает, становится сильным и смелым. Затем начинается жизнь, полная опасностей и рискованных приключений, в процессе которых раскрывается его героическая натура. В итоге он заставляет истинную благородную семью признать себя. Потом он мстит своему отцу и вновь воссоединяется со своей родиной. Он поднимается на трон, который ему принадлежал с самого рождения. Именно потому, что сын бросает вызов отцу и побеждает его, он и становится героем. Его генеалогия одинакова во всех легендах: «первая из двух семей, та, где рождается ребенок, — это семья знатная, обычно королевская; вторая семья, та, что принимает ребенка, — скромная и бесправная, смотря по обстоятельствам, которые выдвигает интерпретация»[19].

Однако столь типичный сценарий имеет два исключения: Эдип и Моисей. Согласно эллинской традиции, Эдип, брошенный своими царственными родителями, попадает в семью также царственную. Все эпизоды его трагической жизни — инцест со своей матерью, изгнание своих детей — разворачиваются в этом золоченом кругу полубогов. Но идентичность двух семей лишает его всех испытаний, которые раскрывают исключительный характер, воспламеняют воображение и подчеркивают героическую природу великого человека.

В библейском тексте контраст между двумя семьями существует, но обратный. Моисей рождается в семье рабов, сыном презренных евреев. Не имея средств содержать его, семья делает то, что всегда делали бедняки: она бросает его. Новорожденного спасает египетская принцесса и воспитывает как своего собственного сына. Таково искажение легенды: вместо того, что первая семья была знатной, а вторая — скромной, мы видим обратное. Моисей растет в кругу детей египетских фараонов. Становясь взрослым, он находит своих родителей. Вместо того, чтобы мстить им, он их спасает вместе со все еврейским народом, становясь его пророком и вождем. Все это хорошо известно.

Рождение и жизнь Моисея представляют собой исключение из правила: порядок вещей описан так, как если бы развивался наоборот. Достаточно вернуть их к правилу, поставить на место, чтобы найти истину, распыленную в легенде. Это рассуждение Фрейда. Перемещая библейский мотив, серию аналогичных рассказов, он заключает: как все великие люди, Моисей должен родиться у царственных родителей, быть египтянином. Чтобы сделать из этого египтянина еврея, Библия прибегла к уловке инверсии: «Тогда как обычно герой, — пишет Фрейд, — в течение своей жизни поднимается над своими скромными истоками, героическая жизнь человека Моисея началась с того, что он спустился со своего высокого положения на уровень детей Израиля»[20].

В сущности, израильтяне не бунтовали, они были освобождены. Их бунт пришел сверху, а не снизу. Придерживаясь мысли о том, что Моисей был египетским принцем, Фрейд говорит евреям: «На самом деле вы никогда не восставали против авторитета, это иллюзия. Вы

просто последовали за египетским принцем и выполнили замысел фараона, вашего властелина. Вы реализовали идеал, перед которым его собственный народ потерпел поражение: приняли монотеистическую религию».

Бесполезно настаивать в очередной раз на хрупкости рассуждений Фрейда и данных, на которые он опирается. Переиначивая смысл библейского рассказа, который имеет исторический характер, не раскрывая истинности легенды, он создает другую легенду для двадцатого века: «В каждом поколении еврейского народа, — писал Ahad Haam, — пробуждается Моисей»[21]. На долю Фрейда выпало дать сигнал к пробуждению великого человека в своем поколении.

Наступил момент представить наше предварительное заключение. Сначала мы констатировали, что для объяснения формирования героя легенда следует единому пути рождения и юности, отмеченных существованием двух семей, коренной и благородной, и испытаниями при переходе от одной к другой. Как машина, которая работает лишь тогда, когда есть разница между теплым и холодным источниками энергии, так и индивид выковывает свои качества, которые сделают из него исключительное существо, но только при условии существования разницы между социальными уровнями двух семей. Все должно разворачиваться таким образом. В истинной семье он рождается, в заимствованной семье он рождается вновь или заставляет себя рождаться в воображении. Не утверждают ли индийцы, что индивиды, принадлежащие к высшим кастам, «рождены дважды»?

То же мы можем сказать об исключительных индивидах. Только они рождаются дважды, но в разной среде. Двойное родство делает из ребенка большого человека в его глазах и в глазах других. «Одна из семей, — пишет Фрейд, — истинная, в ней действительно рождается великий человек, в ней он растет. Другая — вымышленная, изобретенная мифом для потребностей в новации. Вообще скромная семья должна быть истинной, а благородная — воображаемой[22]».

Приближение ограничено, но оно высвечивает то, чем отличается этот человек и что делает из него человека разделенного.

Затем нужно поинтересоваться теми двумя исключениями, которые были указаны в типичной схеме легенды: об Эдипе и Моисее. Первый рождается и взрослеет в двух семьях, между которыми нет никакой разницы в уровне: одна, как и другая, королевская. Напротив, второй, согласно Ветхому завету, рождается у бедных родителей, а затем его усыновляют высокопоставленные родители. Сын рабов возрождается в мире своих властелинов.

Оба эти исключения предлагают нам в воображаемой форме (поскольку они касались уникальных людей) решения, которым мы придаем общий психологический смысл. Вот они. В самом деле, каждое из этих решений может рассматриваться как аналогия одного из исходов, которые я наметил выше по отношению к семейному роману. С одной сто-

роны, роман поглощается семейным комплексом, идеальный вымысел сведен к реальности. С другой стороны происходит обратное: вымысел человеку навязывается, формирует его реальную жизнь и стремится стать правдой. Аналогия делает из Эдипа пример человека тотального, *simplex*, а из Моисея — пример человека разделенного, *duplex*.

Первому известен риск нарушения социальных запретов, инцеста, отцеубийства, но он не знает драмы разрыва, противостояния между двумя человеческими мирами. Эдип — наследник: он восстанавливает и продолжает. Второй живет в этом разрыве, он формирует себя сквозь напряжение двух противоречивых миров, верхов и низов общества. Принадлежит ли он к знатной семье или нет, он будет мятежником, узурпатором, чужим среди своих. А всякая узурпация есть подмена: молодой мстит и заменяет старика, раб — хозяина. Чтобы узаконить себя, он должен изобрести себе надлежащее родство, стать избранником богов, если он пророк, сыном короля или императора, если он политический вождь, и так далее. Моисей — основатель народов и символических структур. Эдип — это другое. Сюда добавляется новый элемент. Развязка в пользу семейного романа, торжествующего над семейным комплексом, равноценна сдвигу от духовности к чувственности. Эдип известен очевидностью чувств, а Моисей — созданием духа, основанного на дедукции и наблюдении.

Легенды и исключения из них обеспечивают различным народам именно то, в чем они нуждаются, чтобы объяснить, почему они состоят из двух классов людей, и оправдать различия между ними.

ГЛАВА 3
СОЗДАНИЕ НАРОДА

I

Семейный роман должен был объяснить «что-то необычное», что есть у великих людей. В этой гипотезе нет ничего, что могло бы шокировать разум. Не предрешая заранее ничего, что анализ мог бы реально нам предоставить, мы убеждаемся в том, что гипотеза эта относится к факту культуры. Когда это уже установлено, наши вопросы ведут нас еще дальше: благодаря какому стечению обстоятельств индивид становится великим человеком для одного народа? Каким образом он оказывает влияние на народ? Почему народ следует за ним и делает из него своего героя?

Все эти вопросы подразумевают тот факт, что «великий человек» обладает властью превращать естественную массу в массу искусственную и дисциплинированную. То есть в них заложен смысл, сформулированный Фрейдом: «Как становится возможным, чтобы один человек достиг такой необычайной силы воздействия, что он может сформировать народ из индивидов и семей, придать ему его окончательный характер и определить его судьбу на тысячелетия?» [23].

Вопрос этот можно отнести к Ленину так же, как к Моисею, Магомету, Франклину, Мао или Христу. Здесь мы на более привычной территории. Так как гипотеза, представленная, чтобы ответить на этот вопрос, — это гипотеза тотемического цикла, открытого убийством отца и завершенного его воскресением в сыне, который занимает его место. Мы достаточно уже поработали с ней, чтобы понять, к чему она может нас привести. Эта гипотеза служит нам для того, чтобы упорядочить наши представления о реальности. Она не обеспечивает нам детального знания о том, что происходит. Признаем раз и навсегда: в этом предположении не больше эмпирического содержания, чем в вихрях Декарта. Тем не менее, оно все-таки соответствует определенной психологической правде действия масс и действия на массы. А именно тем, что видимая сила живых не имеет никакого эффекта без невидимой силы мертвых. Как для того, чтобы стать историей, любая реальность должна действовать в форме воспоминания отпечатков, от которых не избавиться. По крайней мере, это верно в отношении Моисея и создания им еврейского народа.

II

Обратимся к нему снова и согласимся с Фрейдом, что он был египтянином. Он родился в эпоху египетского фараона Аменхотепа IV в XIV в. до н. э. Этот фараон принял монотеистический культ Атона. К чести его надо сказать, что он сменил свое имя на Эхнатон. И он принялся искоренять политеизм, древние культы, божества и идолопоклонство. Он дошел до того, что упразднил слово «боги» во множественном числе. Для него, вдали от Фив, от традиционного святилища Амона, была построена новая столица, которая называлась Ахетатон. Множество других святынь было построено в Египте и империи. Но после кратковременного успеха его попытка провалилась, так как его последователь Тутанхамон восстановил во всей своей бьющей в глаза роскоши культ Амона, имя которого он носил, и авторитет жрецов. Но один из приверженцев Эхнатона, Моисей, — идентифицирует его Фрейд — человек глубокой веры, преданный своему учителю, не уступает, отказывается возвратиться к богам большинства. Этим поступком он ставит себя вне своего класса и своей страны. «Он мог оставаться в Египте лишь как отступник и будучи вне закона»[24].

Он представляет меньшинство среди своих и, в конечно итоге, меньшинство одного. Но это был человек настойчивый и упрямый, непреклонный в своих мыслях так же, как и в своих поступках. Качества, которых недоставало изобретателю монотеизма. В своем исследовании о влиянии активных меньшинств я показал, что их влияние зависит от двух условий: их способности занимать позицию, запрещенную в обществе, и манеры их поведения в любых обстоятельствах.[25] Так, как его описывает современный хроникер, Моисей полностью удовлетворяет этим двум условиям: «Он занимал, — пишет Фрейд, — высокое положение, но, в противоположность королю-созерцателю, он был энергичен и страстен.

Став чужим среди своих, он ищет другой народ, в котором он мог бы распространять свою религию, восстанавливая таким образом понесенную потерю. Тот народ, к которому он обратился, был чужеземным: семитские племена древних евреев, эмигрировавшие в Египет много поколений назад и жившие в рабстве на задворках империи.

Этим изгоям Моисей, сам изгой, открывает содержание новой религии. С ними он сговаривается и завязывает союз, чтобы покинуть негостеприимный Египет в поисках страны, где можно жить свободно. Вместе они принимают путь исхода. Короче говоря, Моисей преуспел там, где потерпел поражение фараон. Без сомнения, древние евреи возлагали на этого чужого принца и на эту не менее чужую религию свою надежду обрести свободу. Они нашли в нем вождя, а в его вере — доктрину, которая оправдывала их мятеж. Так же, как и ему, им «пришелся по душе замысел основания нового царства, обретения нового народа, к восхищению которого он подарил бы новую религию, которой пренебрег Египет»[27].

Нужно почувствовать здесь логику. Основание новой нации подразумевает союз человека изгнанного, не такого как все, и угнетенного сообщества, готового объединиться вокруг одной доктрины, новой идеи. Именно эти ингредиенты, комбинируясь, формируют меньшинство, разумеется, активное. Это меньшинство увлекает массы и реализует идею. Все великие творения, великие превращения в Истории суть создания таких меньшинств, таких исключительных или девиантных людей в существующих обществах.[28]

Но, согласно Фрейду, эти составляющие объясняют причину смерти фараона. Сначала настойчивый и фанатичный вождь. Затем открытие этой монотеистической религии, неслыханной до тех пор. Наконец, цепь бунтующих племен на границах империи. Это, несомненно, причина, по которой Моисей избрал их, чтобы создать свой народ: «Моисей, — пишет Фрейд, — опустился к евреям. Он сделал из них свой народ: они были его избранным народом»[29]. В союзе с ними он смог объединить эти разрозненные факторы.

Я особенно настаиваю на этой логике действующих меньшинств, благодаря которой меняется история и создаются народы. Можно было бы свести ее единственно к убийству отца, и часто видят только это. Напротив, убийство само по себе вписывается в эту логику, как одно из ее последствий. В конце концов, отец сам был мятежником и, в данном случае, именно он научил народ своих сыновей бунтовать. На этом первом этапе вождь, или группа вождей, сосредоточивается на задаче распространения и внедрения в сообществе небывалой доктрины. Назовем эту фазу *откровением*.

Моисей открыл евреям религию, которая сделала из них народ единого бога. Но каков хозяин, таков и слуга. Евреи не были сделаны из более благородного металла, чем египтяне. Они не могли безропотно переносить строгую мораль и запреты монотеизма. И так легко не отказывались от своих идолов и магии. Тем более, они не понимали, почему их вождь считал нужным отделять их от других народов, например, обрезанием, и внушать им более требовательное толкование, чем его учитель Эхнатон. Моисей оборвал все связи между Атоном и Богом-Солнцем. Все их существо — тела, эмоции, мысли — взбунтовалось против заповедей религии, которая придавала мало значения человеческой природе. Против такого бога, каким описывает его композитор Шёнберг в своей опере «Моисей и Аарон»: «Непостижимый, потому что невидимый, потому что неизменный, потому что постоянный, потому что вечный, потому что вездесущий, потому что всемогущий».

И если бы только это. Ведь, когда доктрина находится в стадии откровения, я подчеркиваю, приносится извне скоплению людей, она затрагивает исключительно их интеллект. Она навязывается путем своего рода принуждения, по-настоящему глубоко не убеждая их. Они не только сопротивляются ей, но им не стоит большого труда отбросить ее, избавиться от нее под давлением аффектов верований,

которые противопоставляются ей. Кстати, Моисей, «выходец из школы Эхнатона, не использовал иных методов, кроме королевских: он приказывал, навязывал свою веру народу»[30]. Точно также, как две тысячи лет спустя будет поступать Ленин, считая, что необходимо внедрить извне социалистическое сознание в массы трудящихся. Моисей считал возможным привести евреев к монотеистической вере путем принуждения. Однако строгости религии и ограничения ее распространения благоприятствуют целой серии мятежей, отразившихся в Библии — золотой телец, разбитые скрижали закона и т. д. Во время одного из этих мятежей еврейский народ, сговорившись против него, мог бы убить Моисея. Фрейд описывает это просто: «Моисей и Эхнатон встретили одну судьбу, которая ждала любого просвещенного деспота»[31].

Евреи также имели отца, и убили его. Этим поступком они думали все остановить. Но этим поступком они лишь положили начало долгой, слишком долгой истории.

III

В самом деле, как некогда примитивный отец, Моисей мертвый раскрывается еще в большем могуществе, чем Моисей живой. Этот жестокий конец возлагает на его голову ореол мученичества. Какое большее доказательство своей идентификации с доктриной может дать человек, чем пожертвовать ей жизнь? Сама жертва воспринимается всеми как свидетельство ценности его веры. По правде говоря, масса людей ничего не понимает в идеях Бруно и Галилея. Но смерть на костре первого и осуждение церковью второго придали их идеям силу назидания. Так и с Моисеем, ведь «все, что в боге заслуживало восхищения Моисея, намного превосходило понимание масс»[32].

Предание смерти того, кто верил, свидетельствовало в его пользу и в пользу его величия. В более общем смысле, действие меньшинства, будь это группа или один индивид, имеет целью развязать конфликт с большинством и довести его до конца.[33] Преследования, страдания, переносимые таким политическим или религиозным меньшинством или одним человеком: художником, создателем нового искусства, ученым, носителем новой истины, — свойственны этому конфликту. Они необходимы, чтобы эти люди смогли преодолеть эмоциональное сопротивление, на которое они наталкиваются. Больше, чем слова, говорят поступки. «Аналогия идет еще дальше, — пишет Фрейд по поводу героев культуры, — до того, что при их жизни, над ними часто, если не всегда, насмехались, третировали их и даже предавали их жестокой казни. Так и архаический отец достиг божественного величия много времени спустя после своей жестокой смерти»[34].

И Моисей тоже.

Однажды совершается убийство, и древние евреи отворачиваются от монотеистической религии. «Моисей умер, кто не умирает» — таково заключение литургической элегии, которая превращает преступление в естественное событие. Они реформируют племенное общество,

поклоняющееся многим богам, из которых Яхве был наиболее значительным и перенимают магическую практику своих соседей. Возможно, они даже возвращаются к матриархату. В любом случае, у них больше нет заметного вождя, облеченного властью отца. Ими руководят представители, то есть старшие братья, призванные решать общие задачи, миротворцы, которые говорят лишь то, что их просят сказать, что от них хотят услышать. В течение этого периода фигура и учение Моисея сходят со сцены. Они отступают на задний план. Создается впечатление, что все о них забыли. Кажется, что полнейшая тишина воцаряется над тем, что имело такую важность при исходе из Египта: «...Был долгий период отказа от религии Моисея, — пишет Фрейд, — во время которого не обнаруживается ни малейшего признака монотеистической идеи, презрения к церемониалу, сильного акцента на этике» [35].

Согласно ему, массы находятся в ситуации, сходной с ситуацией индивида, выходящего из детства. Он проходит латентный период. Большинство событий и желаний первых лет его жизни вытеснены в память и как бы забыты. На самом деле, они пребывают в бессознательном. Там они ждут возвращения в сознание, как подводная лодка в состоянии погружения, которая выходит на поверхность после долгого путешествия. Но в очередной раз постараемся избежать риска несоответствия, которое могло бы возникнуть из возможного смешения индивидуального плана с планом социальным, перехода от аналогии к идентичности.

Скажем, что после долгого периода, прошедшего с ее открытия, личность и религия Моисея проходят фазу *инкубации*. Эта фаза хорошо известна всем исследователям. Он представляет собой необходимый момент изобретения. Математики, которые первыми ее определили, описывают ее как период, в течение которого идея решения проблемы, над которой они работают, готовится подспудно, без их ведома, не проявляясь явно, чтобы внезапно взорваться в момент, когда меньше все этого ждут. Иногда они отмечают, что эта мысль уже посещала их, они забыли ее, чтобы вновь открыть позднее. Точно таким же образом религия и личность Моисея проникают, распыляются в ментальной жизни древних евреев, тогда как они не отдают себе в этом отчет и не желают этого.

Идеи, посеянные в их умах, вовсе не стираются, а остаются вписанными в архивы народа, выгравированными в сердцах их сыновей: они неуничтожимы. Идеи и воспоминания обусловливаются чем-то вроде коллективной памяти, те есть комбинируются с другими, более обычными понятиям и образами, переведенными на народный язык. Самое замечательное не в том, что эта инкубация длится долго — это в порядке вещей. Не в том, что происходит скрытая работа отбора и упорядочения религии Моисея, чтобы обойти идеологическое и эмоциональное сопротивление евреев. Не в том, что она в течение поколений распространяется в узком кругу *Левитов*.

Нет, эта инкубация имеет куда более примечательное следствие: правила и идеи пророка преобразуются в верования, в традицию. «И это была традиция великого прошлого, которая продолжала созидаться на заднем плане и завоевывала все большую и большую власть над умами людей, и, в конце концов, ей удалось преобразовать бога Яхве в бога Моисея и вызвать к жизни религию Моисея, которая была учреждена, а затем на долгие века забыта»[36].

Мы знаем, почему это чистилище традиции было так важно. Чисто этическое и интеллектуальное содержание доктрины, каково бы оно ни было, не влияет на толпы, но во время периода инкубации любая доктрина приобретает психическую и эмоциональную плотность. Без ведома людей она становится частью их конкретного опыта, их мнений. Она приобретает внутреннюю очевидность, ясную, как дважды два четыре. Укоренившись в коллективной памяти, она превращается в веру в строгом смысле слова. И она тем более могущественна, чем она более древняя и чем больше времени у нее было, чтобы смешаться с другими доктринами, которые всегда живут в сознательной ментальной жизни людей.

В действительности, доктрина никогда полностью не предается забвению. Некоторые продолжают ее распространять. Меньшинство приверженцев продолжает существовать, что напоминает о ней и свидетельствует в ее пользу; это меньшинство готово возобновить жертву своего учителя. Несмотря на отсутствие немедленного отклика, явного влияния на народ, они, как и все меньшинства, оказывают, однако, скрытое воздействие, которого никто не осознает. У евреев эту неустанную работу вели пророки. Они «оживили традицию, которая истощалась, обновили призывы и требования Моисея и не отступали до тех пор, пока утраченное не было восстановлено»[38].

Их усилия постоянно встречали резкий отпор. Но в итоге они увенчались полным и долговременным успехом. Обобщая, можно сказать: любое нововведение, любая доктрина, и доктрина Моисея не составляет исключения, начинает с того, что «умирает», наподобие зерна, зарытого в землю. Заброшенная и наполовину забытая, она прорастает и внезапно появляется в форме традиции, возрождается в форме верования. То, что разум поначалу отказывается допустить и чем эмоциональность пренебрегает, память сохраняет, а вера, конце концов, принимает.

IV

После отлива приходит прилив. Ностальгия начинает оказывать свое пленяющее воздействие. Она приукрашивает прошлое. Образ Моисея украшается тысячью добродетелей и возвращается к евреям в качестве освободителя, непреклонного в своем упорстве, который открыл им веру и их — самим себе. Это привилегия каждого отца, каждого основателя, каждого прародителя генеалогии — определять

перспективы. До него не было ничего, после него все становится возможным. Как изобретатель искусства или науки, создатель народа или, по меньшей мере, его восстановитель, представляют собой исходную точку. Таковы Ромул, Робеспьер, Ленин и Де Голль. Можно отдаляться, бежать от нее, но рано или поздно приходится к ней вернуться. Особенно когда, как евреев, подталкивает чувство вины и когда хотят искупить совершенное преступление.

С течением веков фигура Моисея становится все более и более величественной в их памяти, все больше занимает воображение. Более настойчивыми становятся угрызения совести, что его забыли. Так создаются условия, чтобы какой-то человек поднялся и воплотил в себе ушедшего, собрал всевозможную любовь. Надеть новые маски на старые лица — это способен далеко не каждый. Тем не менее, нашелся человек, сам еврей, который в достаточной мере обладал этим даром, чтобы осмелиться заменить Моисея-египтянина. Он решился довести до конца его дело. Это должен был быть человек огромной гордости, от которого исходила необычная сила и который внушал огромное доверие в эпоху, очень бедную на исключительные личности. Подчеркнем здесь одно из последствий гипотезы убийства отца: первый вождь «чужак», который выбирает массу; второй — «коренной», выходец из нее. Мысли и чувства этой массы зрели в нем в течение всей его жизни. В атмосфере, которой она дышит, он узнает то, что его занимает, трогает, волнует. Нужно также думать, что эти идеи стали достаточно ясными, простыми и глубокими, чтобы он мог напомнить о них, не встретив такого же сопротивления, как в прошлом. Если эти условия сходятся, образ отца-основателя может воскреситься в лице сына, который воплощает его и заменяет.

Предположим, что у евреев первый Моисей, египетский принц, возродился в облике второго Моисея, древнееврейского жреца. Много времени спустя Библия создает объединенную фигуру, в которой соединились двое. Таким образом, она удаляет следы убийства отца, возрождая его в занимающем его место, как если бы это был единственный Моисей. Также она стирает основания виновности евреев по отношению к нему и освобождает их от угрызений совести. Вот что скрывает Ветхий Завет и что Фрейд надеется раскрыть.

Впрочем, мы знаем, что любое воскрешение имаго включает работу старого, забытого над новым. Эта работа выполняется согласно принципу *coincidentia oppositorum,* который смешивает и соединяет два верования, два чувства, два персонажа или двух противоречивых богов, родившихся при совершенно различных обстоятельствах и связанных с двумя различными формами социальной жизни. Точнее, все, что определялось безграничной властью отца и что было установлено союзом братьев и правом матерей, с которыми они объединились.

Нет ничего удивительного в том, что монотеистическая доктрина Моисея, возрождаясь, включает в себя определенное число элемен-

тов культа Яхве, который евреи приняли после убийства и в течение долгого периода упадка. Фрейд выражает твердое убеждение в том, что двойственность, которая обнаруживается в воссозданном союзе религии и еврейского народа, составляет решающее доказательство в пользу его интерпретации: «Наши результаты могут быть выражены самой краткой формулировкой. Мы уже знаем проявления дуализма еврейской истории: две группы людей, которые вместе пришли создать нацию; два царства, между которыми эта нация разделилась; два имени богов в документальных источниках Библии. Мы можем прибавить к ним два новых: основание двух религий — первая, подавленная второй, но, однако, позднее победно воскрешенная у нее за спиной, — и два основателя религий, которые оба носили имя Моисея и личности которых нам следует различать»[39].

Какая твердая уверенность положена в основу столь хрупкой конструкции! Очевидно, именно второй Моисей, покончивший с идолопоклонством, объединяет народ вокруг своего вождя и утверждает, если можно так сказать, официальное существование подрывных учений, проложивших себе путь подпольным образом. Без страха, боязни угрызений совести и выдающегося авторитета его личности ему никогда не удалось бы то, в чем первый потерпел поражение. Все же, чтобы преуспеть в этом, он должен был опираться на учение, ставшее теперь традицией. Ему больше не нужно было побеждать эмоциональное сопротивление народа религии Моисея. Напротив, ему нужно было овладеть подъемом этой традиции, направить в нужное русло силу, с которой она навязывала себя каждому, силу, превосходящую логику аргументов и требования Моисея. И заставить каждого осознать, что его истинная вера изменилась в какой-то отрезок времени. «Стоит, — пишет Фрейд по этому поводу, — специально подчеркнуть тот факт, что каждая порция, возвращаемая из забытого, утверждается с особой силой, оказывает несравнимо большее влияние на людей из массы и выдвигает неоспоримое притязание на истину, против которого возражения логики бессильны: что-то вроде credo quia absurdum[1]»[40].

Масса евреев, как и всякая другая, сопротивляется этому тем меньше, чем больше она терзается своими тяжелыми воспоминаниями, этими пагубными и расслабляющими вирусами души. Она уступает безропотно, она со страстью принимает то, от чего вначале резко отказывалась. Весь народ переходит от веры во многих богов, имеющей репутацию ложной, к вере, которая подразумевается истинной, — в единственного бога. Это третья и последняя фаза эволюции: *обращение*. Религия, навязанная одним человеком извне, принимается меньшинством и в итоге возрождается изнутри.

В течение некоторого времени она существует подспудно как идея в сознании ученого или художника. Она изменяет умы скрытым образом,

[1] Верую, ибо абсурдно — слова христианского апологета Тертуллиана (*лат.*). — *Прим. пер.*

никак себя не обнаруживая. Возрождаясь, она действует явно и оказывает сильное влияние на всех. Каждый еврей открыто идентифицирует себя с отцом, вернувшимся к ним, с Моисеем. Он объявляет себя его сыном и его сторонником. Когда говорят о народе, что он возродился из собственного пепла, нужно бы сказать — из своей памяти. Более точно, народ освобождается от воспоминаний о преступлении, которое полностью перевернуло его. Но без этого преступления ничего бы не было. Слова русского писателе Чехова здесь как нельзя кстати: «Нет ничего хорошего на этой земле, что не имело бы первоисточником какую-то низость». В психологии масс низость всегда была одна и та же: убийство своего отца.

V

С возвращением Моисея и обращением массы евреев в его религию заканчивается их доисторический цикл. Начинается время истории. В своем порыве они отказываются от инстинктов и перестают стремиться творить из человека кумира для человека, эту основу рабства. Бог, которого они почитают, царит в умах: невидимый, без образа, без имени. Это овладение инстинктами становится предметом гордости евреев. Из-за жертвы, которую они принесли — золотой телец, образы, другие опоры религии — они считают себя избранным народом. По наследству и в результате повиновения этому богу они с тех времен остерегаются чрезмерного благоговения перед символами власти. Если этот народ имеет «окостенелый затылок», согласно формуле Библии, то это для того, чтобы идентифицировать себя с непреклонным характером Моисея и из боязни упасть в его глазах.

Нужно остановиться на некоторых выводах. В самом деле, важно вспомнить, что, следуя нашей гипотезе тотемического цикла, мы наметили концепцию того, как меняется История и как происходят изменения в нас самих. Точнее, того, каким образом народ творит себя и вождь творит его. Эта задача возлагается, в основном, на «великих людей» и на действующие меньшинства. Сотворение еврейского народа, пример которого у нас есть, благодаря Фрейду, совершается в три этапа.

Первый этап — это время появления новой доктрины, нового видения и энергичного, надежного, решительного человека, скажем, Моисея. Он выбирает массу людей, изгоев, как и он, так же, как Мао выбрал китайских рабочих и крестьян, которые рассматривали его как иноземца. Он открывает им свое видение и внушает его. Он становится их вождем, и они предпринимают путь мятежа. Закон страны, делающий из них людей вне закона или отступников, обрекает их на изгнание. Но всякое нововведение вызывает сопротивление в недрах самой массы, которую оно должно покорить. В конце концов, его отбрасывают, как и того, из-за кого происходит скандал. И евреи не исключение. Они избавляются от Моисея, убивая его, и от его доктрины, возвращаясь к идолопоклонству.

На втором этапе евреи, отныне объединенные своим преступлением, как первобытные братья своим, становятся с виду таким же народом, как и другие. Конечно, будучи кочевым, он перемещается, выковывает себе обычаи, обновляет свой кодекс, возможно, матриархальный, и добавляет к своей религии некоторых местных богов, среди которых Яхве. В действительности, он разделен и даже разделен вдвойне. С одной стороны, большинство возвратилось к убеждениям и магической практике древних евреев. Меньшинство осталось верным Моисею. Беря с него пример, оно продолжает распространять монотеизм и противопоставлять его господствующему политеизму. И, по образцу любого меньшинства, вместе того, чтобы избегать конфликтов, оно провоцирует и поддерживает их. Пророки доказывают это. С другой стороны, даже если большая масса разделяет общее мнение и выполняет акты установленной религии, то идеи Моисея проникают и внедряются в коллективную память и, в конце концов, становятся традицией. Индивиды меняются в своем существе: политеисты снаружи, они становятся монотеистами внутри. И стремятся вновь обрести утраченное единство, внушенное Моисеем, и восполнить понесенную потерю.

Третий этап отмечен воскресением его образа во втором Моисее. Взволнованная своим разделением, терзаемая угрызениями совести, толпа полностью присоединяется к нему. Она принимает его религию и подчиняется запретам, которые налагает на нее вождь. Большинство идентифицирует себя с меньшинством, верования и образ жизни которого она принимает и, прежде всего, единого бога. Вместе они становятся одним народом, полностью присоединяясь к одной религии, признавая одного великого человека, или отца-основателя.

Можно сказать, что для начала этот человек выбрал евреев, как художник выбирает первичный материал: земля или дерево, железо или бумагу. Он придал им форму до того, как объявить их своим народом, своим шедевром. «Итак, как мы знаем, — пишет Фрейд, — за богом, который избрал евреев и вывел их из Египта, стоит фигура Моисея, который сделал это явно по повелению Бога, и мы рискуем заявить, что это был именно тот человек, который создал евреев. Именно ему еврейский народ обязан своим жизненным упорством, но также и хорошей долей враждебности, которую он испытал и продолжает испытывать»[42].

Моисей как бы создал евреев, можно сказать, так же как Робеспьер создал якобинцев, Ленин — советских людей, Вашингтон и Франклин — американцев. Но почему евреи ответили ему такой мерой враждебности? Моисей представлял собой особый случай. Поскольку он потребовал от евреев принятия глубоко рациональной этики и запретил им и их вождям прибегать к идолам и магическим соблазнам. Все это определяет весьма своеобразную ситуацию власти. «На самом деле, — пишет Макс Вебер, — отказ от магии означал, что, вопреки тому, как происходило когда-то, жрецы не должны были прибегать к ней систематически, чтобы воздействовать на массы»[44].

В то же время он приказал им оставаться отдельными, добровольно держаться в стороне от других народов. Подчиняясь его требованиям, они прониклись этим свойством, свойством меньшинства, парии, как сказали бы некоторые, подчинились своему внутреннему тирану (своей цели, своему идеалу) и стали безразличны к страстям существующего большинства. Они не боялись дойти до конфликта, когда это было нужно. Другими словами, он выковал в них психологию действующего меньшинства, которая так же является психологией вождя, как психология вождя должна быть аналогичной психологии меньшинств: настойчивость, непреклонность, умение сказать «нет». О еврее в течение тысячелетий говорят то, что Сталин говорил о Де Голле: «Человек очень жесткий и упрямый».

В общем, если он смог наделить их этим характером, то потому, что они вместе познали изгнание и выбрали свою страну — как американцы в наше время. И там они создали традицию из своей собственной религии в противоположность другим народам, которые создали религию, соответствующую традиции. Однако часть евреев, я хочу сказать о христианах, не смогли выносить этой требовательности, терпеть эту враждебность. Из добрых побуждений они решили раствориться в массе людей, разбавиться, как чернила в воде, изменить религию таким образом, чтобы получить любовь, которой им недоставало. Эти изменения устранили «особенные черты этики Ветхого завета, особенно те, которые... определяли специфическое положение евреев как народа-парии»[44].

Это была трудная, обременительная задача, которая потребовала от них много жертв. В той мере, в какой она обратила народы у них дома, чтобы стать религией языческих царей и широких масс, христианская религия должна была принять сумму политеистических верований, магических и идолопоклоннических обрядов. Так же, как в аналогичных обстоятельствах социализм присоединил религиозные и националистические идеологии. Так что христианская религия противопоставляется моисеевой религии, как массовый монотеизм — монотеизму меньшинств, со всем, что это включает. В цивилизации, пронизанной христианизмом, такого антагонизма достаточно, чтобы раздувать огонь всех смертельных ненавистей в течение тысячелетий.

История Моисея и сотворение им еврейского народа, несомненно, занимает особое место, отличное от других. В течение долгого времени она пренебрегает доводами разума. Однако она не до такой степени уникальна, чтобы то, чему она нас учит, не было применимо к другим предметам. Что касается фаз, которые переживает доктрина, от откровения народу до его обращения, проходя через инкубацию, чтобы стать религией, они достаточно общие, чтобы соответствовать любой истории. Но нет необходимости уделять еще больше времени защите и описанию гипотезы, о хрупкости которой я не устаю напоминать. И которая почти бесполезна вне психологии масс.[45]

ГЛАВА 4
ВОЖДИ ТИПА МОИСЕЯ И ВОЖДИ ТОТЕМИЧЕСКИЕ

I

Вожди осуществляют свою власть в силу исключительных дарований и идеи видения мира, которое они провозглашают. Оно становится господствующей страстью одного класса, партии или одного народа. Присутствие этих дарований, в самом деле харизматических, поражает нас в индивиде, особенно когда слова, которые показались бы смешными в устах кого-нибудь, жесты, которые казались бы фальшивыми у других, абсолютно не смешны и не неуместны у него. Напротив, они производят на всех сильное впечатление. Мы видим в них признаки сильного убеждения у человека, слившегося со своей мыслью и со своей миссией.

Но посмотрим на различных современных вождей. Можно заметить, что они делятся на две основные категории: вожди типа Моисея и вожди тотемические. С одной стороны, тут же вспоминаются пророки, основатели республик (таких как Соединенные Штаты, например), создатели общественных и религиозных течений: Магомет, Маркс, Ганди. С другой стороны — тираны, демагогические риторы, магические короли или шаманы обществ, называемых примитивными.

Однако недостаточно разделить их на категории. Нужно еще знать, каков в свете психологии толп критерий этого разделения. Без всякого сомнения, главный, часто остающийся незамеченным и резюмирующий все остальные критерии — это запрет на сотворение образов. Он сводится к борьбе против обращения к ритуалам, к магическим процедурам, доктринам, которые создают конкретные изображения своих богов и вождей. Для Моисея речь идет о принципе власти: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».

Тот, кто применяет и уважает эту заповедь, отводит взгляд от лиц, которые приходят и уходят, чтобы обратить его на невидимые реалии. Его уши стараются уловить смысл, а не звучание слов. Так как главным остается то, что говорят, а не то, как это говорят. В конце концов, то, чем люди должны восхищаться и что должны уважать, — это высшие идеи, а не люди, их воплощающие. Одним словом, кумиры во плоти. Этой заповедью Моисей хотел помешать возвращению тех, кого он изгнал: магов, фетишистов — создателей иллюзий, тех, кто гипнотизирует людей: «Среди предписаний религии Моисея есть одно, важность которого более велика, чем кажется вначале. Это запрещение созда-

вать образ Бога, обязанность обожать Бога, которого нельзя увидеть. Может быть, это была новая мера против злоупотреблений магии. Но если предположить, что запрещение было принято, оно должно было иметь глубокие последствия. Поскольку это означало, что сенсорное восприятие было отодвинуто на задний план в пользу того, что можно назвать абстрактной идеей — победа духовности над чувственностью или, строго говоря, отказ от инстинктов со всеми психологическими последствиями, которые из этого вытекают»[46].

Рассматривая запрещение изображать как меру прогресса культуры и мышления, Фрейд делает из их тяги к образам, к лести, к пышным почестям признак регрессии и возвращения к рабству инстинктов. Регрессия обнаруживает себя в происходящей подмене: вместо безличного повиновения тому, что представляет вождь — богу, религии, социальной доктрине и т. д., — личное повиновение ему самому и его имени. Таковы приманки, которые вожди и массы должны отбросить, отказаться от них, чтобы вновь обрести часть потерянного поля разума. Только при этом условии они могут надеяться когда-нибудь жить в таком мире, каким он должен быть, в мире, о котором книга Зогар говорит, что «это будет мир без образов, в котором не будет сравнения между образом и тем, что он представляет».

II

Я предполагаю теперь развить этот краткий эскиз разделения двух категорий вождей. Я намереваюсь лучше выявить его конкретный характер и придать более общее значение его противоречиям. Первое, и наиболее важное, заключается в их стремлении изгнать или поощрить свое собственное представление в образах, отказаться от него или сделать из него орудие своей власти. Воздерживаясь или почти воздерживаясь от его использования, вожди Моисеева типа стремятся обрести лучезарную силу «великого человека». Они сдерживают стремление других подражать им, видеть реальность их глазами. Они также надеются избежать того, чтобы вера превратилась в суеверие, харизма — в амулет, а их личность — в псевдобога, объект обожания. И не случайно, что запрет Моисея многократно возрождался в ходе истории. Еще недавно это сделал Маркс, который писал одному из своих товарищей: «Когда мы, Энгельс и я, вступили в союз коммунистов, это было при том условии, что из его устава будет изгнано все, что относится к чрезмерному преклонению перед авторитетом».

Тотемические вожди, напротив, делают все, чтобы поддержать культ их личности. Они всегда стремятся создать вокруг себя и вокруг идеи, на которую они опираются, иллюстрированную легенду, наполненную метафорами. Они черпают их, что легче всего, в обычаях и традиционном образе мысли. Все это позволяет им сохранять под видимостью нового старое и обычное содержание, «золотого тельца» воображения, которому толпа очень быстро поддается.

Так поступали отцы христианской религии, которые, чтобы покорить народы, усвоили весь багаж языческих обычаев, местных богов, перекрещенных святых. И, чтобы упрочить свою власть, церковь учредила пышные, блестящие церемонии и магические ритуалы покоренного мира, приобретая возможность твердо держать его в руках. Она подчинилась закону, для отвержения которого она, казалось, была создана. «Массовая религия, — замечает Макс Вебер, — особенно часто и напрямую зависит от использования художественных приемов ради достижения должной силы своего воздействия, так как она склонна делать уступки потребности масс, которые повсюду стремятся к магии и идолопоклонству» [47].

Намного раньше шевалье де Жанкур уже сделал то же замечание: «Те, кто управляли народами во все времена, всегда применяли живопись и статуи, чтобы надежнее внушить те чувства, которые они хотели бы внедрить, будь то в религии или в политике».

Как только вожди вступают на этот путь, они строят живой пантеон, в котором располагают знаки своей власти. Сами они там занимают центральное место. Они делают из себя кумиров, чтобы снискать внимание толп, они режиссеры своей личности и своей деятельности, что помогает легче подчинять толпы. «Создавайте образ, мой образ, и гордитесь им», — заявляют они, как бы ни к кому не обращаясь. Множество портретов и эмблем, носимых массами, навязывают их личность, и ее можно найти повсюду, как в домах, так и в публичных местах.

Если только они не пользуются необычайной привилегией изменять саму толпу в соответствии со своим образом, как это было несколько лет назад, когда толпа, собравшаяся на Красной площади в Пекине, изобразила собой портрет Мао, который смотрел на нее с трибуны и видел себя в ней. Находясь во власти миража, индивиды, отражающие со всех сторон как в зеркале вождя, ведомые чувством, теряют способность критически мыслить. Лидер, который сумеет стать кумиром, обладает абсолютным господством одного человека над людьми, поскольку он царит прямо в их памяти.

Второе различие между вождями типа Моисея и вождями тотемическими состоит в том, что одни хотят идентифицировать массу с религией, с идеей, а сами отходят на второй план, другие же хотят идентифицировать массу с самим собой, выдвинуться в ее центр. Первые стараются уничтожить внешние атрибуты власти. Скромностью своего поведения они пытаются утвердить свою принадлежность к множеству обычных людей, как если бы они боялись бросить тень на идеал, которому они служат. В любых обстоятельствах их поведение остается сдержанным, а их власть незаметной. Они стремятся умалить себя, осознавая непрочность выполняемой ими работы, не строя иллюзий относительно успеха любой человеческой деятельности. Библия говорит о Моисее: «Человек был очень смиренный, больше, чем любой другой человек на земле».

Эта черта характера стала критерием, по которому судят о свойствах великого человека. Являясь выражением зрелости, отказа от радостей власти, он ободряет и отвечает стремлению толп к безупречности. Он примиряет их с властью. Это подчеркнуто даже в знаменитом закрытом докладе Хрущева о злоупотреблениях культа личности: «Великая скромность гения революции, Владимира Ильича Ленина, известна». В самом деле, все свидетельства подтверждают это: он разговаривал, не кичась, жил скромно и вел себя очень обходительно. Троцкий рассказывает, что однажды во время массовых манифестаций, после окончания речи «Ленин уже собрал свои заметки и быстро покидал трибуну, чтобы избежать неизбежного. Но крики и аплодисменты усиливались и шум нарастал набегавшими волнами». Ничего общего с его наследниками, которые заставляли и заставляют аплодировать себе по команде.

Применительно к вождю слова о смирении и скромности напоминают одну простую мысль: человек смирил свои амбиции перед делом, а не наоборот. Каждый признает здесь проявление истинной веры, подлинного богатства. «Так, — пел поэт Руми, — ветка, несущая много плодов, склоняется к земле, ветка без плодов высоко держит голову, как тополь. Когда плоды в изобилии, их поддерживают, чтобы ветка не ложилась на землю. Пророк (поклон ему) был очень скромен, так как все плоды мира, от начала и до конца, были собраны в нем. Итак, был он самым скромным».

Тотемические вожди постоянно выставляют напоказ свои необыкновенные качества. Чтобы привлечь к себе внимание сообщества, они создают ауру всемогущества личности и непогрешимости действий. Все, что они делают и чем являются, они считают несравненным и беспрерывно напоминают об этом. Их несокрушимая вера в себя, которую они постоянно доказывают, заразительна. Убеждаемая ими толпа в конце концов начинает действительно считать их выше, чем средние люди. Наш вождь способен вершить великие дела, даже чудеса, — говорит она себе. Такой выдающийся человек кажется предназначенным к этому Богом, Историей или природой. Таким образом он доходит до того, что становится, как Сталин, образцом этой категории вождей, «сверхчеловеком, одаренным сверхъестественными качествами, равным богу. Предполагается, что такой человек должен все знать, думать за всех, делать все и быть непогрешимым» [48].

Не стоит говорить о том, что две категории вождей могут быть поняты лишь в сравнении одна с другой. Определенно мы не можем ни судить об их значимости в жизни общества, ни сказать, какому типу толп один подходит лучше, чем другой. Это вопросы, которые однажды найдут свое решение, если оно будет необходимо. Но мы без труда обнаруживаем, что лидеры типа Моисея выбирают трудные пути. Так как они требуют от масс, прежде всего и в особенности, отречения, отказа от любого немедленного удовлетворения их желаний и инстинктов.

Не из интересов власти и воздержания, но лишь как способ встретить лицом к лицу внешний мир, вынужденный характер труда и социальной жизни. Только познавая ограничения мира, интериоризируя их в качестве идеала, каждый становится хозяином самому себе потому, что он становится хозяином своих инстинктов и своих желаний. То есть он идентифицирует себя большей частью со своим сообществом и своей целью, так как он ими ради них пожертвовал.

Одним словом, эти вожди требуют от других того, что они требуют от себя самих, они господствуют над ними, в такой же степени, как они господствуют над собой. Их авторитет, тем самым, имеет этическое происхождение, поскольку, пишет Фрейд, «этика есть ограничение инстинктов. Пророки не устают утверждать, что Бог не просит у своего народа ничего, кроме ведения праведной и добродетельной жизни, то есть воздержания от любого удовлетворения инстинктов, которую наша сегодняшняя мораль осуждает в качестве порочной» [49].

Однако эта жертва, с психологической точки зрения, вовсе не принижает индивидов, она возвышает их, придает им уверенность в себе. Почему? А потому, что вожди, которые требуют этого от них, выполняют, прежде всего, роль строгого, но справедливого *сверх*-«Я», как если бы это были родители. А тот факт, что нужно отвечать их требованиям, соответствовать их идеалам и быть одобренными, составляет для большинства людей источник удовлетворения. Их «Я» чувствует себя перенесенным и укрепленным, что является главным.

«Когда «Я» принесло жертву *сверх*-«Я», отказавшись от инстинкта, оно надеется компенсировать себе это, получив от него больше любви. Сознание того, что эта любовь заслужена, ощущается с гордостью» [50].

Самооценка тем самым возрастает, так как человек чувствует себя превосходящим других людей, которые остались в плену инстинктов и желаний, потерпели неудачу там, где он преуспел. Они чувствуют себя особенными и испытывают живое стремление быть народом, избранным для исключительной миссии, как первые христиане, французы времен Революции и, недавно, социалисты.

Неудивительно, что тотемические вожди подчиняют себе массы такими, какие они есть. Они избегают требовать от них того, что могло бы их задеть или что они отказались бы понять. Напротив, они всегда стремятся уверить их в обоснованности их инстинктов и их потребностей, обещая полное их удовлетворение. Даже если придется, с другой стороны, ограничить их, используя приемы внешнего подавления, армию и полицию, как самыми грозные. Но этот вид перестраховки имеет две серии последствий. С одной стороны, индивиды, как и масса, ожидают чудес. Они вновь обретают детскую веру во всемогущество какой-то личности или какой-то магической формулы. Вера оправдывает эти безмерные преувеличения, как это обычно делает реклама. Таким образом, она замыкает массы в мире иллюзий, обилия утопий или безграничной справедливости, который как раз и является миром магическим.

Можно сказать, что власть этих вождей имеет экономический характер в той мере, в какой они рассматривают идеи, например, христианство или социализм, как средства удовлетворения определенных желаний и инстинктов: желания бессмертия, счастья, что касается первого; и желания комфорта, радости обладания земными благами для второго. Из этого обязательно вытекает снижение уважения к себе у индивида и массы по причинам, противоположным тем, что мы только что рассматривали. То есть, потому что ожидаемые удовольствия исходят не от *сверх*-«Я». И что оно, напротив, подвергает суровой критике противоречащие ему поступки каждого. «Я» ослаблено, и люди чувствуют себя ущербно по сравнению с лидерами и другими людьми, согласившись на отказ, который примиряет их с идеалами «Я». В двух словах, вожди типа Моисея могут править не иначе, как укрепляя это «Я», а вожди тотемические — растаптывая его. По меньшей мере, это было бы логично. Но реальность редко позволяет свести себя к логике.

Наконец, фактом является и то, что психология толп начала именно с описания тотемических вождей, прототипом которых послужил Наполеон. А закончила тем, что в лице Фрейда предложила разработку идеи вождей Моисеева типа, имеющих прототипом пророка Израиля, Моисея. То, что противопоставляет одних другим, можно подытожить запретом массам на сотворение себе образов и запретом вождям на обольщение масс. Переход от первых ко вторым представлял бы собой прогресс, аналогичный прогрессу при переходе от слегка окрашенной магией техники к научной технике, от тотального общества, не знающего антиномии частной и публичной жизни, к обществу разделенному, которое их признает и скрепляет их этическими нормами. «Возвращаясь к этике, — писал Фрейд, — мы можем сказать в заключение, что часть ее правил рационально оправдывается необходимостью разграничить права общества и права индивида, права индивида по отношению к обществу и права одних индивидов по отношению к другим» [51].

Но в массовых обществах чаще всего наблюдается обратный переход. Остается неизвестным одно: а именно, почему то, что кажется исторически прогрессивным, представляет собой в психологическом отношении регрессию? Сам факт, что мы не можем этого понять, показывает, что мы подошли к границе гипотез, которые мы были обязаны выдвинуть, чтобы придать хоть немного смысла реальности, которая нуждается в значительно большем.

III

Могло создаться впечатление, что эти гипотезы почти не имеют точного и особенно современного приложения. Чтобы такое впечатление рассеять, я выбрал в качестве иллюстрации историю социалистического движения. С первых своих шагов оно познало последовательную смену Моисеевых и тотемических вождей. А также споры по их поводу, которые и сейчас не окончены. Я, желая быть кратким, ограничусь в

общих чертах уже намеченным сравнением между Марксом и Лассалем, затем — между Лениным и Сталиным.

Мы знаем, что Маркс одновременно выполнял работу теоретика социализма и руководителя Международного Товарищества Рабочих, стоял у истоков зарождения социал-демократических партий в Европе. Не стоит рассказывать о его жизни, скромность и бедность которой хорошо известны. Как революционер он нажил себе много врагов, ведя резкую полемику, чтобы защитить свои идеи и сразить своих противников. Но его значимость была вскоре признана, и еще при жизни он приобрел много последователей. Его труды, как и его корреспонденция, свидетельствуют о безоговорочном отказе от любого смешения теории и мифа. Он решительно отверг тип политической организации, подчиненной авторитету одного человека, деспота, пусть даже и просвещенного, и в своих размышлениях в Готской программе высказался против болтливой дребедени и скудных обобщений, которые обманывают рассудок, адресуясь к предрассудку.

С другой стороны, и свидетельства этого неоспоримы, Маркс решительно объявил о своем категорическом неприятии любых форм возвеличивания его личности, отвергая страстные обращения, адресованные его гению, и обескураживая хор льстецов, готовых восхвалять его. Его занимала исключительно работа, разработка и обсуждение его теории; он был убежден, что ее нужно пропагандировать лишь с помощью книг, воспитания рабочих и практики революции. Маркс доверил это только немецкому социалисту Блоссу, затем Лассаль сделал совершенно противоположное.

Этот последний, в самом деле, рассматривал социализм как разновидность религии и видел товарищество рабочих построенным по модели церкви. Сам он фигурировал бы в роли вождя, который ведет массу к свободе. Так, он предлагал, чтобы личная диктатура, существующая на деле, получила теоретическое оправдание и была провозглашена необходимой в практике. Он открыто требовал, чтобы объединившиеся рабочие слепо следовали за вождем. Товарищество должно походить на молот в руках вождя. Приводя свои замыслы в исполнение, Лассаль окружил себя двором почитателей и позволил исступленной массе делать из себя идола. Переходя от митинга к митингу, встречаемый повсюду с энтузиазмом, он являл доказательство неоспоримых талантов агитатора и организатора грандиозно инсценированных собраний. «Депутация приходила встречать Лассаля на вокзале, — рассказывает историк, — объединенные хоры давали концерт под окнами его отеля. Он прибывал к залу собрания с эскортом машин, украшенных цветами, и также часто сопровождаемых хором. В некоторых местах кортеж проходил под триумфальными арками, которые перекрывали улицу. Но кульминационным моментом каждого собрания была речь, которая могла длиться более двух часов, и в этом случае оратор или содержание его послания имели решающее значение, литургия этих собраний превращала оратора в символ»[52].

Точнее, в гипнотизера, который умел завораживать массы своим магическим глаголом. Борьба между соперничающими социалистическими партиями, марксистами и лассальянцами, с 1863 по 1875 г. оставила глубокий след в немецком рабочем движении. Она особенно сконцентрировалась на форме власти и воздействия на массы. «Чтобы составить эпоху, — заявлял Гете, — необходимы, как известно, две вещи: во-первых, иметь хорошую голову и, во-вторых, получить большое наследие. Наполеон — наследник Французской революции, Фридрих Великий — войны в Силезии и т. д».

Ленин составил эпоху, получив двойное наследие: первой мировой войны и социалистической революции, объявленной, но так и не реализованной. Его жизнь изгнанника и руководителя большевистской партии напоминает жизнь Маркса. Оба получили традиционное воспитание и жили в аналогичной среде, варясь в котле похожих идей и трудностей. Долго их практическая деятельность делилась между библиотеками и собраниями. Это доказывает, что государство должно было бы с большим недоверием относиться к одиночкам, отгороженным стенами рабочих кабинетов, полных книг, чем к вождям-экстравертам, перебегающим от толпы к толпе и жертвующим своей личностью. Влияние первых проникает вглубь и нет никакого спасения от заражения их примером и их идеями.

Вернемся к Ленину. Конечно, в течение короткого периода, тричетыре года или более, он должен был выдержать испытания, столкнувшись с жестокостью и властью. Он встретил их с решимостью действовать вплоть до жестокого уничтожения своих противников. Впрочем, несмотря ни на что, и это реальность Истории, достаточно щедрой на потоки пролитой крови, запечатленной в памяти народа, и на предательства, совершенные во имя него, казалось, что Ленин остался верен своему принципу преобразовать идею социализма в действенную силу путем работы партии, пропаганды и ожесточенных дискуссий. Он отказался от всякой помпы, от всякой литургии власти, от чрезмерных признаков власти. «В Кремле, — пишет Виктор Серж, — он занимал маленькое помещение, выстроенное для одного дворцового служащего. В течение прошедшей зимы, как и у любого другого, у него не было отопления. Когда он ходил к парикмахеру, он ждал своей очереди. считая недостойным, чтобы кто-нибудь ему уступил свою. Старая домработница занималась его хозяйством и починкой его одежды. Он знал, что он первый ум партии и недавно, в одной сложной ситуации, он, для того, чтобы воззвать к основам, не использовал угрозы более серьезной, чем угроза выйти из Центрального Комитета»[53].

Его интеллектуальные способности, несомненно, не были на высоте его политического гения. Он не воспользовался ни одними, ни другими, чтобы занять вакантное место кумира русского народа, место царя, кумира, который только что пал после веков привычного существования. Напротив, «сознавая тягу вождей подниматься на пьедестал и тягу масс легко возводить их в культ, он постоянно стремился избежать этого»[54].

Конечно, эти идеи чужды марксизму. Но они не чужды ни реальности, ни психологии толп. А те, в свою очередь, привели к тому, что после его смерти наследники объявили его имя священным, набальзамировали и выставили его тело перед Кремлем как святую реликвию и бессмертного бога. Известно, что его вдова и часть руководителей воспротивились этому шагу, имеющему отношение скорее к религии царей и фараонов, чем к науке Карла Маркса. Но его последователи поняли то, что Горький распознал задолго до них: образ человека, которого все боготворят, замыкает мысль и чувство, чтобы принести согласие. Одним словом, они решили обращаться с толпой, как с толпой: «Ленин, — писал Горький уже в 1920 г., — становится легендарной личностью, и это хорошо. Я говорю, что это хорошо, так как большинству людей совершенно необходимо верить, чтобы иметь возможность начать действовать. Пришлось бы слишком долго ждать, пока они начнут думать и понимать, а тем временем злой гений капитала очень быстро задушил бы их нищетой, алкоголизмом и истощением».

Хороший политический ход — использовать мертвого против живых, подчинить восхищению человеком уважение к его миссии и, в конце концов, повернуть восхищение в свою пользу. Вот Ленин на катафалке, завернутый в саван своей легенды, и его место свободно. Множество соратников вступило в борьбу, из них Троцкий наиболее авторитетен, а Бухарин наиболее вероятен. Но лишь один имел волю в сердце победить любой ценой — Сталин. В дальнейшем он их устраняет, одного за другим, и становится героем неблагодарной борьбы против врагов, которых он создал в глазах покоренного народа. Таким образом, мавзолей Ленина приобретает свое истинное предназначение: служить трамплином и пьедесталом. Толпа, которая совершает паломничество, чтобы поклониться мертвому богу, простирается у ног живого и грозного вождя.

Остальное содержится в любом современном сочинении. На мой взгляд, наиболее подлинным остается доклад Хрущева, так как он проникнут живым интересом и составляет политический документ. Там есть все: определение этой личности, его ощущение всемогущества, его жестокость без угрызений совести и его мстительный дух. Эти черты, однако, вторичны: черты личности Сталина. Главное — организация совокупности приемов, предназначенных вызвать преданность и любовь к нему, к его отцовской фигуре, постоянно окруженной детьми, счастливым и покорным народом.

Присвоив себе все гражданские и военные звания, на которые мог претендовать человек, «Вождь» и «Учитель» иллюстрирует концентрацию в одном лице власти, еще недавно разделенной между многими армейскими и партийными «братьями». Одновременное крещение улиц, городов, институтов его именем устанавливает прямую связь между предводителем и массой, которая восхваляет его, исполняя гимны в его честь: «Сталин воспитал нас в духе верности народу. Он воспитал нас для осуществления нашей грандиозной работы и наших свершений».

Он требовал от всех, чтобы они участвовали в постоянном поддержании его культа почестями, ссылками на его гений и собственным самоотречением. Включая и тех, кого он позже убьет, как Кирова, или втянет в унизительные процессы, как Бухарина. Первый на XVII съезде объявляет Сталина «величайшим вождем всех времен и народов», а второй провозглашает его «победоносным маршалом пролетарских сил, лучшим из лучших революционеров».

Страны, и прежде всего его страна, наводнены миллионами и миллионами портретов, которые делают вездесущими личность и его образ, отшлифованный пропагандой. И он держит под присмотром удаленные народы так же, как бдительным оком он следит за своими близкими. Как страстный гипнотизер, Сталин сам верил в то, что он может воздействовать на них и над ними господствовать. Эта черта достаточно впечатляла, чтобы Хрущев подчеркнул ее: «Он был способен посмотреть на кого-нибудь и сказать ему: «Почему вы прячете глаза?» Или «Почему вы сегодня отворачиваетесь и не смотрите мне прямо в глаза? »[55].

Если отвлечься от его болезненной подозрительности, эти вопросы в порядке вещей. Они как раз и имеют целью подчинить взгляд — власти взгляда и проявить его могущество. Виктор Гюго знал об этом, когда писал: «Заставить толпу рассматривать вас — значит совершить акт власти». Мало-помалу устраняя тех, кто ему не нравился, или тех, кто ему сопротивлялся, вождь собирает вокруг себя обширное зеркало, которое отсылает ему его мысли, его волю и отражает его всемогущество.[56]

Этот комментарий покажется вам несколько кратким, поскольку известно, насколько этому человеку покорялись, обожали его и почитали массы людей разной социальной принадлежности в разных странах. Но этот комментарий достигнет своей цели, если он немного лучше зафиксирует наши идеи, касающиеся природы тотемических вождей. Никогда не стоит позволять себя обескуражить громадностью явлений: объяснение их всегда относительно просто и даже несколько разочаровывает. Настолько, что спрашиваешь себя: «И это все?». Да, в случае Сталина, возможно, это все. Без сомнения, нужно еще учитывать состояние советского общества и советской экономики, чтобы лучше понять обстоятельства, при которых он достиг власти, которой мало кто из людей достигал. Но расцвет тотемических вождей и их современная морфология начались не с него. Во всяком случае, это не было новшеством ни в социалистическом движении, ни в Советском Союзе. Известно много наследников, как и имитаторов. И несмотря на все, что было написано в эти последние годы, я не верю, что мы увидели конец этому.

Двойственность обоих типов вождей должна быть проиллюстрирована в других исторических контекстах.[57] Главное состоит не в том, что она существует, так как все можно представить в двойственном виде, и не в том, что противоположности являются именно такими, как я их описал. Дело в том, что она вытекает из основополагающего запрета превращать человека в бога, который формирует цивилизацию вне нас и наиболее интимное «Я» внутри нас.

ЧАСТЬ 9
СВЕТСКИЕ РЕЛИГИИ

ГЛАВА 1
ТАЙНА РЕЛИГИИ

I

До сих пор мы рассматривали вождей постольку, поскольку они обладают харизмой. Мы их определили как объединенный образ двух персонажей: тень отца-основателя и героического сына. Но эти тени привязаны к доктрине, к цели, достижение которой является их миссией. Все это ясно, даже если само данное определение удивляет.

С другой стороны, психология масс показывает нам, что вожди не могут выполнить свою миссию, не набирая индивидов, временно оторванных от их обычной группы. Они и составляют зародыш толпы. Они испытывают на себе влияние вождя, который превращает их случайную встречу в стабильную организацию. Церковь и армия, со стороны Тарда и особенно Фрейда было смелостью признать это, представляют собой модель любой толпы такой природы. Партия — это выражение и той и другой в обществе, подобном нашему, которым не правят больше семейная, местная или аристократическая традиции. Одним словом, партии — это одновременно и церкви, и армии в век толп.[1]

Их общим характером всегда и везде является система верований. Она их цементирует, держит вместе и позволяет мобилизовать людей вплоть до требования пожертвовать своей жизнью. Вождь не смог бы основать и руководить такой партией, необходимой для выполнения своей задачи, если бы он не владел этой системой. Поскольку массы действуют лишь ведомые верованиями, а верования существуют только благодаря массам. Именно поэтому пророк стал архетипом современного лидера: нужно, чтобы он создавал твердую веру вокруг себя.

Итак, образец и наиболее завершенная форма системы верований — это религия. Здесь существует парадокс. Под влиянием науки люди отвернулись от религии именно в тот момент, когда политический демиург практически уже не мог собрать сторонников научными и рациональным средствами. Грамши, теоретик марксизма, если он им был, выражает это таким образом: «Важная часть современного

„Государя“ должна быть посвящена вопросу морального или интеллектуального преобразования, то есть вопросу религиозному или мировоззренческому»[2].

Очевидно, массы не могут жить под открытым небом.

II

Я говорю, разумеется, о светской религии. Прежде всего она не предполагает ни бога, ни жизни после смерти. Можно быть атеистом и следовать ей. Каждая нация создала себе такую. И именно как светские религии, различные ее социалистические мировоззрения подняли и вдохновили угнетенные массы во всем мире и продолжают это делать. Их действия включает в себя этот «приступ безумия веры», описанный Золя в «Жерминале». Они содержат в себе догму, священные тексты, которыми руководствуются, и героев в качестве святых.

Более того, такая светская религия точно отвечает определенным психологическим нуждам — потребности в определенности, регрессии индивидов в массе и так далее — и ни чему другому. Ни в коем случае она не основана на так называемом религиозном чувстве, присущем человеческой природе. Она не полагается на вмешательство, пусть даже скрытое, божественного существа в человеческие дела. Как раз наоборот: она считает себя чем-то — природой, историей, родиной, индустрией и так далее, что, как считается, объективно влияет на нашу судьбу. Главное, ее считают способной мобилизовать людей, обращаясь к их преданности ценностям — свободе, справедливости, революции и так далее, или сообществам — французов, трудящихся и так далее, поскольку «религия — это огромная власть, на службе у которой состоят самые сильные человеческие эмоции»[3].

Проникая в поры массового общества, она становится сутью человеческой жизни, энергией свободной веры, без которой все умирает. Понятие такой религии — одно из открытий Французской революции. Робеспьер первым признал в ней самое мощное средство возрождения нации. Он увидел в ней инструмент, позволяющий установить Республику вместо и на месте монархии. Гражданские праздники Разума и Высшего существа узаконили это открытие.

Присмотримся к такой религии, оставив в стороне ее спекулятивные проявления, которые мы уже описали.[4] Каковы ее функции? Первая — создать единую картину мира, которая сглаживает фрагментарный и частный характер каждой науки, каждой технической отрасли и знания вообще. В недрах человеческой натуры существует изначальное желание гармонизировать в рамках некой совершенной системы все то, что нам кажется противоречивым и необъяснимым с точки зрения нашего опыта. Когда у нас нет простых принципов, единой модели, чтобы объяснить то, что происходит внутри и вокруг нас, появляется ощущение опасности. Более того, мы чувствуем себя бессильными перед разнообразием экономических сил, психологичес-

ких проблем и массой неконтролируемых событий. Этот недостаток связности мешает нам участвовать в поддающемся определению общественном действии. Нет ни порядка, ни возможной безопасности для людей в обществе, где число вопросов превышает число ответов.

Конечно, ученый или техник может свыкнуться с этой фрагментарностью, принять постоянное колебание между противоречивыми решениями и неопределенностью эфемерных истин. Но человек в обыденной жизни этого не принимает. Ему нужны твердая уверенность, неоспоримые истины. Только они позволяют укротить силы настоящего и строить планы на будущее. Ему нужна целостная картина, имеющая единое основание — общественный класс, нация и т. п., универсальный принцип — борьба классов, естественный отбор и т. д., и определенное ведение мира — человеческого и не человеческого. По существу, светские религии обеспечивают ему такое всеобъемлющее видение. Они предлагают мировоззрение, где для каждой проблемы есть решение. Таковы либеральная доктрина, националистические доктрины или же марксистская теория, которая, по Фрейду, в Советской России «получила энергию, автономный и исключительный характер *Weltanschauung,* но в то же время стала опасно походить на то, с чем она борется»[5].

Можно утверждать, что непрерывный прогресс современных наук, усиливая их фрагментарность, множа вопросы без ответов, изгнал Бога из умов. В то же время он увеличил весомость, пользу и необходимость мировоззрения, оставляющего от науки только словарь, аргументы и образы, которые оно тасует на свой лад. Заметим, однако, принципиальную разницу. Любые сакральные религии предлагают физическую концепцию мира. Они объясняют происхождение мира и предсказывают будущее. Светские религии, напротив, строятся вокруг социального мировоззрения. Они объясняют происхождение общества (нации, расы, класса и т. д.) и тщательно описывают этапы его становления вплоть до состояния совершенства, которое, как ожидается, будет бесповоротным. Это изменение объясняется, вероятно, самим прогрессом, о котором я уже упомянул: мы изгнали божество из природы и оно нашло укрытие в обществе.

Другая функция светской религии состоит в гармонизации отношений между человеком и обществом, примирение в нем социальных и антисоциальных тенденций. Ей это удается, заменяя внешние силы внутренними, замещая принуждение путем грубого подавления индивидуальной совестью. Это требует терпеливой работы, работы всей цивилизации. Она позволяет достичь через преданность к человеку и через принятие его ценностей того, что достигалось угрозами и насильственным подчинением. Это происходит единственно, как мы знаем, посредством идентификации. Альтернатива ясна: «Мы узнали, — пишет Фрейд, — что есть две вещи, удерживающие сообщество в единстве — силовое принуждение и эмоциональные привязанности (технически их называют идентификациями) его членов»[6].

Несомненно, можно установить такие привязанности многими способами: системой родства, принадлежностью к военному корпусу или профессии и так далее. Но в массовом обществе все эти средства потеряли свой авторитет, а значит, свою действенность. Одни религии (их миссионерские подразделения) могут еще создавать такие привязанности. Они заставляют индивидов внутренне принимать то, что сообщество требует от них. В более общем случае они учитывают и контролируют страхи каждого по поводу своего тела, болезни смерти, а также работы, несправедливости, эксплуатации, объектом которой он становится в своей земной жизни. Религии признают стремление к счастью, потребность в защите, которые людям присущи с детства. Нарисовав в самых мрачных тонах силы, которые им угрожают, они предлагают решение. Они указывают, как и почему наступит ясный и безоблачный мир: тело без болезней, общество без конфликтов и классов, сообщество всеобщей любви, демократия без бога и повелителя и так далее.

Это — религии надежды. Они гарантируют людям, что те в конце концов выйдут победителями из борьбы при условии, что они идентифицируют себя с идеалом, который их превосходит, и будут следовать исходящим от него предписаниям. Это дает им возможность предложить ценностную шкалу, которая четко разделяет две категории поступков, мыслей, эмоций: одни «разрешены», другие «запрещены». Следуя правилам, каждый избегает конфликта, который может противопоставить его обществу. Он избавлен от бремени выбора и не рискует отклониться по отношению к другим. Это избавляет от множества моральных и психических страданий. «Религия, — утверждает Фрейд, — сужает возможность выбора и адаптации, поскольку она навязывает всем в одинаковой степени свой путь к достижению счастья и защита от страданий»[7].

Тем самым она примиряет непримиримое. Она придает общественный смысл индивидуальному существованию, составляет цель жизни, только при условии отказа от своих желаний и видения своей собственной действительности глазами других. Это глаза коллективного *сверх*-«Я», которое отныне составляет часть индивида и которому тот подчиняется.

Понимание обеих этих функций светских религий — предлагать социальное мировоззрение и идентифицировать людей с сообществом — совершенно не означает их превознесения. А также того, что мы узнаем что-то новое об этом. Но необходимо было обозначить эти идеи.

III

А вот их третья функция, их великое деяние: спрятать тайну. Каждая религия имеет свою. Своим именем она навязывает правила и провозглашает истины, которых не объясняет. Напротив, она на них накладывает плотные тени и прячет их так, что никому их не различить.

Делается все, чтобы не было даже случайного контакта. Все пускается в ход, чтобы не позволить обнаружить секрет, скрытый от взглядов верующей публики. Этот секрет представляется то как нечто благоприятное, то как нечто пагубное. Только чрезвычайные обстоятельства позволяют его открыть. Тот, кто проникает в тайну, платит иногда за это своей жизнью. Как поплатился греческий математик, открывший секрет прямоугольного треугольника, ревниво охранявшийся сектой пифагорейцев. Все сообщество, которое разделяет эту религию, в подобном случае кажется объятым гневом и пребывает в паническом и несоразмерном страхе разоблачения.

Можно утверждать, что большинство искусственных толп — армии, церкви, партии — связаны с такой тайной.

Они используют совокупность церемоний, эмблем, паролей (вспомните франкмасонов!), которые ее защищают и пресекают всякую попытку ее раскрыть. Она служит для оправдания иерархии. Индивид, который поднимается по ее ступеням, приближается к этому священному пункту, другие остаются на дистанции. Откуда происходит ее значимость, сила запрета? Почему риск ее обнаружения вызывает такие бурные реакции?

Можно было бы вспомнить социальное основание, защиту против враждебного внешнего мира, против врагов и преследователей. Большинство общественных движений знакомо с такими преследованиями. Часть их существования проходит в подполье. Вспомним о христианах, укрывавшихся в катакомбах, чтобы выжить в негостеприимном обществе. Все они заплатили мученичеством, доказывая свое нежелание отказаться от своей веры, признаться, в чем состояла их связь и кто ее поддерживал. Тайна здесь — это тайна веры, из любви к которой люди идут на любые мучения. Верно также, что каждое движение, от христиан до социалистов, сохраняет остатки страха внешней опасности — быть обнаруженными, внутренней опасности — быть преданными. Они продолжали вести себя так, как если бы они все принадлежали к одном и тому же типу общества — к тайному обществу. В наши дни такие черты сохраняются еще во многих партиях, в церкви, обществах масонского типа. Я имею в виду черты тайного общества, спрятанного в открытом обществе[8].

В этом есть доля истины. Она, однако, не объясняет ни упорства такого сговора, когда эта двойная опасность исчезает, ни чрезмерных реакций, когда обнародовано то, что тщательно скрывалось. Можно сказать, что в этом случае историческая почва разверзается под основаниями и поглощает все политическое и общественное здание. Признание кажется такой тревожащей возможностью, что даже, когда тайна частично известна, ее продолжают игнорировать. Например, как коммунистические партии трактовали разоблачение культа личности Сталина. Даже когда Хрущев решил снять запрет, он предпочел ограничить круг посвященных. В основную массу членов партии и для

советского народа ничто не просочилось, кроме: «Мы должны рассмотреть, — заявил он очень серьезно, — вопрос о культе личности. Никакие сведения об этом не должны проникнуть вовне; в особенности не должна быть документирована пресса. Именно по этой причине мы рассматриваем этот вопрос здесь, на закрытом заседании съезда».

Все было предпринято для того, чтобы признание ошибок и губительной лжи не преодолело стены молчания и чтобы само существование доклада превратить в тайну: закрытое заседание, молчание прессы, сообщение только руководящим кругам, запрет делегатам записывать и передавать вовне содержание заседания. До такой степени, что Морис Торез смог ответить члену Центрального Комитета, который спрашивал его о достоверности доклада: «Видишь ли, для меня этот доклад не существует, и скоро его вообще не будет существовать»[10].

IV

Что касается этого пункта, читатель, возможно, склонен считать, что я питаю забавные иллюзии по поводу возможностей психологии толп осветить эти странные и общие факты. Он скоро увидит, что его опасения подтверждаются. Все, что мы говорим, выходит за рамки доступных исторических и социологических данных. Это не должно, однако, помешать нам продолжить поиск, который может однажды подкрепиться другими данными. Без таких приключений в романе идей не было бы ни астрономии, ни космологии, ни химии. Вас не удивит, что это предисловие предназначено подготовить вас к возвращению к гипотезе тотемического цикла, открывшегося убийством первобытного отца. Каждый раз, обращаясь к ней, мы рассматриваем ее под новым углом зрения, принимая другую точку отсчета.

Если жертвы отцовского угнетения восстают, то именно потому, что они на основе собственного опыта начали формировать видение лучшего общества. Можно предположить, что это общество по своим целям мыслилось как общество равноправия и принимало разумно открытую мораль. Но, чтобы осуществить замысел, братьям нужно было устроить заговор. Инструментом их заговора во имя свободы и стало убийство тирана. Легко представить себе происшедшее: все отцеубийства, убийства королей и порой даже геноциды сходны.

Что же произошло потом? По Фрейду, заговорщики, мучимые угрызениями совести и страхом, решили сделать из своей жертвы бога. Они надеялись таким образом замести следы преступления. Но можно спросить себя, разве не нашли они в угрызениях своей совести оправдание обожествления себя самих, средство, позволяющее им, узурпаторам, превратиться в последователей. Одним словом, так сыновья узаконили себя. Они замаскировали насильственную смерть в естественную. Не забудем, что возглас «Король умер, да здравствует король!» часто скрывает другой: «Король убит, да здравствуют убий-

цы!». Исходя из этих и некоторых других наблюдений, можно высказать следующее соображение. Всякая религия, по определению, является делом рук сыновей-заговорщиков, а не отцов-основателей. У них есть психологическое и политическое основание плести сеть историй относительно происхождения нового общества и роли в нем каждого из них.

Далее, каков результат преступления? Оно установило связь между братьями, но связь социальную, которая содержит в себе две. Я поясню. Совершив убийство, они отказываются от сексуальных отношений со своими матерьми и сестрами, берут на себя обязательства уважать право каждого и учреждают соответствующие институты. Это есть первая связь. В то же время нельзя забывать, что они сообщники. Их заговор объединяет их общей тайной, которую невозможно открыть кому бы то ни было, начиная с них самих. Они об этом говорят только намеками, в определенных местах, чтобы не вызвать тяжкого воспоминания, а также из страха выдать подробности содеянного. Это вторая связь — связь сообщников. «Общество, — пишет Фрейд, — теперь основывалось на их участии в общем преступлении: религия основывалась на чувстве вины и угрызениях совести, которые с ним связаны, в то время как мораль основывалась частично на требованиях этого общества и частично на раскаянии, вызванном чувством вины»[11].

В каждом обществе есть слепое пятно, подобное слепому пятну глаза. Его трудно определить как в глазу, так и в обществе. Мы знаем теперь, что оно имеет очертания заговора, того сговора, который осуществился, чтобы опрокинуть порядок вещей, и вылился в ужасное преступление, невыносимое для самих преступников. Без страха, без пролитой крови их восстание было бы безрезультатным. Оно бы не ознаменовало одновременно конец и начало. Как только кровь пролилась, каждый оказывается связанным сообщничеством. Именно оно, общее ядро, и представляет силу, объединяющую членов общества больше, чем интересы или законы товарищества. Добавим, что такой заговор, который сохраняется постольку, поскольку есть необходимость его утаивать, находится, возможно, в фундаменте большинства институтов.

По завершении обеих серий наблюдений мы можем быстро закрыть эту главу. Религии являются делом рук «сыновей», последователей отца-основателя народа или какого-то определенного общества. Религии снимают с них обвинение и дают им законную власть одновременно, скрывая их преступление так, что никто больше не видит в них его исполнителей.

Главным, однако, мне кажется следующее. Скрывая следы их преступления и заговора, религии поддерживают, обновляют и прославляют связь, которая существует между ними, продлевают сговор, существующий за фасадом законного общества. Так как ничто не сближает людей и не удерживает их вместе лучше, чем соучастие в серии преступлений, в которых никто из них не хочет сознаться. Обратить внимание на то, что видишь, разоблачить то, что знаешь — значит

навлечь на себя гнев братьев, рисковать отлучением и потерей их навсегда. Так молчание становится доказательством солидарности друг с другом: каждый отказывается от правды, чтобы остаться в сообществе. Нужна религия, чтобы придать ему смысл и оправдать жертву разума. Религия делает из молчания знак полного соучастия, так сказать, знак крови. Их объединяет эта формула; «Надо верить, ибо это абсурдно». Истина была бы источником беспокойства и яблоком раздора. Только общая вера может положить ей конец.

ГЛАВА 2
ЗАПРЕТ ДУМАТЬ

I

Теперь обратимся к современному примеру, чтобы придать более конкретный вид этим размышлениям. В самом деле, не стоило бы думать, что они имеют отношение только к религиям другой эпохи и неприложимы к нашей. Иллюстрацией нам послужит Советская революция. Когда она совершилась, все думали, что новое социалистическое общество будет прозрачным и, в противоположность предшествующим, широко откроет книгу правды. Каждый сможет в нее заглянуть, изучить факты и выразить свое мнение. На это рассчитывали, по-видимому, не учитывая исторический опыт и психологию толп.[12]

Поскольку очень скоро становится очевидным зарождение механизма, предназначенного скрывать события, подлинные взаимоотношения вождей революции. В то же время они вмешивают массы сторонников в действия, часть которых являются преступными (аресты, пытки, убийства) даже в их глазах. И, так как марксизм начинает в то же самое время приобретать черты светской религии, которая еще не отделяется от науки, именно на него отныне возлагается обязанность упрочивать всеобщее пособничество и делать его непроницаемым в обществе. Перейдем на суждения, которые можно вынести или которые уже вынесены по поводу этого хода вещей. Признаем же, что наиболее грандиозные предприятия, те, которые представляют собой наиболее заметные деяния человеческого рода, если в них всмотреться, обнаруживают изобилие не слишком вдохновляющих деталей: несправедливости, жестокости, эгоистические страсти, даже подлости.

В событиях, которые нас занимают, знаменитые московские процессы (1936–1938 гг.) представляют собой кульминационный момент. Они инсценируют заговор, подготовленный против нового общества или же против партии, с целью открыть тайны, которые должны были храниться. Представление, сделанное из этого, воссоздает типические персонажи: с одной стороны, предатели, которые должны умереть, с другой стороны, верные хранители тайны, герои революции. Судебный церемониал и используемая речь предназначены для того, чтобы вызвать эмоциональную реакцию: страх и народную ненависть против внутреннего врага. Выдвигаемые аргументы апеллируют уже не к истине или лжи, а к тому, что их маскирует, к добру или злу, их вечному конфликту. Китайский философ Лао Цзы уже знал это: «Тот, кто хочет достичь полной правды, не должен заниматься добром и злом. Конфликт добра и зла — это болезнь разума».

Эти процессы надолго превращают политический мир в мир религиозный. Поскольку их участники призваны признать ошибку и требовать от невиновных ее искупления. Каждый по-своему оказывается мучеником: и тот, кто берет на себя преступление, которого он не совершал, и тот, кто обвиняет его в мнимых злодеяниях во имя сохранения общих ценностей революции, которую они совершили вместе. Величественное жертвоприношение, скажут, естественно, одни. Гибельная репрессия, возразят другие. Но почему же тогда невиновные подсудимые признают себя виновными? Чего они боятся? Очевидно, что они не боятся ни расправ со сторон карательных органов, ни высшей меры, как иногда утверждают.

Все эти люди (Бухарин, Каменев, Зиновьев и другие) подвергались тюремному заключению, ссылкам, некоторые пыткам. Перед царскими судьями они представали суровыми обвинителями, превращая судебный процесс в процесс политический. Они не надеялись, прийдя с повинной, добиться милосердия своих обвинителей. Они сознавали себя ложно изобличенными. Их арестовали, хотя они не сделали ничего плохого. С самого начала и до конца процесса ни сами они, ни кто-либо другой не задают себе очевидного вопроса: в чем виновны эти ветераны революции?

Сущность и состав суда, созданного для осуждения этих действующих лиц истории, также остаются туманными. Постоянно подразумевается, что обвиняемые виновны не в том, что они совершили, а в их собственном существовании. И приговор, вынесенный не за их якобы проступки, а за само их существование, может быть только радикальным — как если бы они были осуждены богом. Это смертный приговор. Этот приговор кажется не праведным, а продиктованным необходимостью. Если они чего-то и боятся, так это плохо сыграть свою роль, раскрыть то, о чем должны молчать, скомпрометировать партию, которую они создали и которой преданы всей душей.

Другими словами, все связаны групповой и доктринальной солидарностью, которая есть не что иное, как сообщничество. Здесь каждый несет ответственность за другого. Никто не хозяин самому себе. Признания и обвинения, в силу своего публичного характера, одновременно скрывают соучастие и увековечивают его. Даже избежавшие смерти, отбывавшие ссылку осужденные считали, что «партия, отринувшая нас, бросившая нас в тюрьму и начавшая уничтожать нас, остается нашей партией и мы ей обязаны всем; мы должны жить только ради нее, потому что через нее мы сможем служить революции. Мы были побеждены нашей лояльностью по отношению к партии, она толкала нас к бунту и, тем самым, против самих себя»[13].

Если бы кто-то из этих людей, Бухарин, Радек, Зиновьев, и тысяча других, второстепенных лиц, вступили в сговор — не с Гитлером, с капитализмом или, я не знаю, с какой-то шпионской службой, как это предполагало обвинительное заключение. Но они вступили в сговор

со своими палачами, своими братьями, со своими всегдашними единомышленниками: Сталиными, Молотовыми, Вышинскими. Они готовы на инсценировку, предназначенную для сокрытия правды, которая им отлично известна. Запутанная правда, полная недомолвок и раскаяний, парализованная сомнениями и угрызениями совести. И когда этих старых революционеров третируют, как агентов на службе у полиции, обзывают хитрыми изменниками, подонками, похотливыми гадами, они идут еще дальше в своей преданности, уверяют и сами укрепляются в своей безупречной солидарности. На московских процессах, утверждает один историк, «коммунисты долго терзались безысходным конфликтом между ужасом перед методами сталинского руководства и их твердой солидарностью со сталинским режимом»[14]. Выбирая последнюю, они почерпнули в ней способность унижаться, ползать в грязи истории, куда они вошли чистыми, с высоко поднятой головой, а вышли с опущенной головой и навсегда запятнанными.

Но их признания были необходимы для создания тайны общей и основополагающей: тайны революции и истоков нового общества. Разумеется, судьи и прокуроры отмечали тысячи несуразностей, насколько их разоблачения, касающиеся этих истоков, были произвольны и искажены. Но, начиная с момента, когда те, кто был действующим лицом и взял на себя вину, это подтвердили, а ошеломленная партия с этим согласилась, эти разоблачения приобретают силу правды, узаконенной сговором главных заинтересованных лиц. Все эти процессы, которые не представляются чем-то особенным в советской революции, поворачивают заговор, первоначально направленный вовне, против ненавистного режима российских императоров, и обращают его внутрь, я это подчеркиваю, на партию и общество, порожденное ею.

В то же время практика подполья и секретности, созданная для защиты от врагов и изменников, превращается в практику секретности по отношению к самим себе, к свои друзьям и приверженцам. Каждый больше боится выдать себя правдой, чем выдать правду. До революции она была подавлена и запрещена. Теперь от нее отказываются и отрешаются. Также и до мятежа своих сыновей: отец обязывал не иметь кровосмесительных отношений с женщинами; потом они сами себя обязали запретом на кровосмешение. Наконец эти процессы определили некую закрытую сферу, которая включает все то, что должно быть скрыто — но на виду всех. Уважая эту сферу, каждый входит в сговор и становится сообщником. Находящиеся на посту руководители партии, интеллигенция, призванная это оправдать, — все вовлечены в эту спираль сообщничества, первым витком которой стали отцеубийцы, цареубийцы, богоубийцы, с которых начинается история.

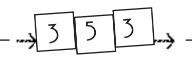
Этими процессами, не только публичными, но и массовыми, они демонстрируют свое горячее желание вовлечь в них весь народ. Газеты и громкоговорители передавали в то время обвинительные речи на всю страну. На улицах, в казармах, на заводах эхом отдавались возгласы:

«Смерть предателям!», «Уничтожьте змею!». Никогда не было большего осознания, большей осведомленности об этих несуразностях. И никогда это так мало не учитывалось. Чтобы народы так бурно восхваляли и превозносили, чтобы революционеры-социалисты, партийные руководители смогли допустить и в конце концов сами прийти к идолопоклонству в отношении человека, а именно Сталина, который внушал им, как правду, как раз отсутствие и забвение правды, — это может показаться чудом с точки зрения индивидуальной психологии.

Психология же масс охотно это допускает. Для нее, в действительности, все эти явления составляют часть логики воссоздания тайны. Эта тайна имеет отношение к роли тех, кто возбудил мятеж против деспотической власти отца, с которым они себя идентифицировали, а также к природе неразрывной связи, возникшей между ними в достижении этой цели. Она поддерживается искупительным жертвоприношением людей, предназначенных для этого, и принимающих видимость изменников. С другой стороны, из-за взятой ими на себя доли ответственности за эту иллюзию, объединяющая их связь крепнет и постепенно расширяется.

Если эти процессы являются вершиной марксистского пыла, это значит, что они покрывают свинцовым колпаком время истоков: оно становится черной дырой коллективной памяти. Они тем самым совершают разрыв этой доктрины с наукой об истории. Она не сможет больше быть поиском запретной правды. Отныне она приобретает устойчивость системы верований, в которой забвение прошлого и его мнимое воссоздание, только что проделанное где-нибудь на многолюдной площади, представляют собой догмы. К ним присоединяются любые представления, возникшие в этой лихорадочной атмосфере, как и ценности абсолютного подчинения. Каждое прикосновение к доктрине необходимым образом превращается в акт веры.

Ничего удивительного, как вы видите, в том, что доктрина сближается с религией, где партии играют миссионерскую роль. Религией двойственной природы между тайным обществом и обществом открытым. Ничего удивительного, если те же самые партии демонстрируют отрицание этого положения вещей и даже попытки дать ему объективное объяснение. Поскольку, если они вершат историю, они не понимают ни истории, совершаемой ими, ни всех сил, оказывающих на них воздействие. Но у нас больше нет подобного оправдания. Вот уже десять лет мы присутствуем при реальном подъеме масс. Мы наблюдаем разрастающееся ослепление, коснувшееся всех. Один за другим исчезают доводы тех, кто соглашался, тех, кто хотел быть обманутым. Эти великолепные эпизоды из жизни мира странным образом соответствуют основным положениям психологии толп. До такой степени, что можно было бы подумать, будто данные положения именно с этой целью специально сфабрикованы, и их стоило бы отбросить, если бы они не были выдвинуты много времени тому назад.



II

Люди, стоя аплодировавшие ожидаемым приговорам и те, которые покорялись признаниям, знали, что первые были принуждены, а вторые пойманы в ловушку. Все вместе они одобряли то, с чем шла борьба на протяжении столетий — пытки, экзекуции, неправедных судей и неправедные суды. Также они сообща прославляли рождение новой тайны, которая становится узловым пунктом их истории и рычагом власти. Тем самым устанавливается некий запрет, существующий и в Церкви, и в религии, который является тем же, чем запрет инцеста в семье и в супружестве — основой. Я имею в виду запрет думать. Он имеет значение блокировки примата разума в психической жизни толп: «Как же мы можем ожидать, — удивляется Фрейд, — чтобы люди, находящиеся под гнетом запрета на мысль, достигли психологического идеала, главенства разума?»[15].

Исторически требования подобного запрета почти всеми признавались недопустимыми. На протяжении тысячелетий все документы свидетельствуют о бунтах, о судорожных, но постоянно повторяющихся возвратах к прежним свободам! Маркс перевернулся бы в своей могиле, если бы узнал, что люди с его именем на устах не только не вернулись к этим свободам, но и восстановили запрет, превратив его идеи в «опиум для народа». Дело не в том, что они тем самым хотели избежать искажений метода или объяснения. Без погрешностей, заблуждений, без барахтания в ошибках правда никогда не откроется. Но в глазах тех, кто ее запрещает, ошибка становится преступлением. Она — *нарушение* запрета. Из-за нее миллионы людей приговорены к смерти. Такая истина не может быть ничем иным, как иллюзией.

Нельзя было бы сказать, что логика отныне бессильна. Но логика ставится на службу чему-то более могущественному, чем она сама, — вере. Как если бы цикл, который начался утопическим, эмоциональным и эмпирическим социализмом и был продолжен социализмом научным, интеллектуальным, теоретическим, пришел к религиозному, в полной мере политическому и культурному социализму. Это развитие, похоже, повторяет другие, и Фрейд так описывает его: «Итак, мы оказываемся перед тем фактом, что в ходе развития человечества чувственность, активизированная этим развитием, мало-помалу побеждается духовностью. Но мы не в состоянии сказать, почему. Впоследствии получается, что и сама духовность побеждается очень загадочным эмоциональным феноменом веры. Мы имеем здесь знаменитое credo quia absurdum, и более того, для всякого, кто преуспел на таком пути, это высшее свершение»[16].

Попытаемся все же последовать нашей главной гипотезе. Она дает нам некоторую свободу действий, если мы вновь обратимся к убийству первобытного отца. Самое существенное заключается в том, что сыновья приняли на деле и в душе запрет инцеста, запрет, который он им

внушил. Они научились отказываться от своих инстинктов, и не только от сексуальных. Примат чувств уступает место примату разума, ума, необходимого для того, чтобы их идеализировать и сублимировать. Но затем им необходимо еще и утаить убийство, обожествляя отца и скрывая свое собственное преступление. Это требует их реальной солидарности: будучи соучастниками злодеяния, они продолжают быть соучастниками его утаивания. Чтобы осуществить это, они запрещают друг другу и всему клану о нем думать, требуя от всех присоединиться к тотемическому вымыслу, который они отстаивают.

Этот отказ от истины и будет, таким образом, причиной перехода от примата духовности к примату веры, от знания к верованию. Готовность пойти на такую жертву ради сохранения единства клана (сегодня можно было бы сказать ради единства церкви, партии и т. п.) наполняет людей чувством гордости, которое заставляет их предпочитать страдание отречению. Московские обвиняемые послужили в этом смысле примером: подобный отказ от очевидностей мысли возможен. Он даже необходим.

По-видимому, отказ от инстинктов является стержнем сакральных религий, в то время как отказ от истины и от разума был бы специфичен для мирских религий. Если наше предположение верно, то без труда объясняется, как из «нужно верить, потому что это абсурдно», являвшегося позитивным аспектом, запрет думать становится аспектом негативным, исключающим любой вопрос, любое размышление, любой поиск. Я считаю первый аспект позитивным в той мере, в какой мы, с готовностью присоединяясь к утверждению, безоговорочно сформулированному от имени всех, и считая рациональным и доказанным то, что таковым никак не является, способствуем сохранению нашего сообщества и нашего собственного места внутри его. Если аксиомой науки, согласно Хайдеггеру, является «никогда ничему не верить, все нуждается в доказательстве», то религия основывается на обратной аксиоме: «Всегда всему верить, ничего не нужно доказывать». Фрейд отлично видел опасность этого: «Запрет мысли, утверждаемый религией, чтобы способствовать ее самосохранению, — предупреждал он, — вовсе не избавляет от опасности ни человека, ни человеческое общество»[17].

Я не отважусь утверждать, что примеры, которыми я пользовался в этой главе и которые были рассмотрены многими квалифицированными исследователями, есть доказательства проявлений психологии толп. И еще меньше они были объяснены. Было бы недоразумением видеть здесь иллюстрации идей, подобно тому, как иллюстрируют иногда с помощью диапозитивов, рисунков или фильмов идеи, которые без этого остались бы абстрактными, лишенными плоти. Но ведь существуют идеи, которые навязывают себя с помощью силы простого заключения. Если любая религия действительно подчиняется запрету думать, тогда она должна быть скроена по образцу логики «как если бы», логики на-

ших иллюзий. С того момента, как люди ей подчиняются, они должны поступать так, как если бы мир вымыслов и условностей представлял собой высшую реальность. Как если бы они были ответственны за свои действия или те, которые им приписывают. Как если бы невиновные были виновными, и тогда каждый из них мог бы ответить своему обвинителю, который его клеймит «ты виновен», тем, чем Тиресий отвечает Эдипу: «Ты, обвиняющий меня и считающий себя невиновным, это ты, о чудо, виновен. Тот, кого ты преследуешь, не кто иной, как ты сам».

Подобная логика дает решение проблем, которые каждый ставит перед собой. Она обеспечивает интерпретации событий только с одной точки зрения и на основе тщательно отобранных фактов, без учета оставшихся. И тем не менее она, не колеблясь, придает им общую значимость, как если бы она их установила, исходя из тщательных наблюдений и непредвзятой точки зрения. Она призывает считать доказанной чистую рассудочную конструкцию, относящуюся к воображаемому миру. Употребляя туманные и двусмысленные понятия — экзотерические и эзотерические, — маскируя и открывая в одно и то же время, ее знатоки передают их массам, которые призваны реагировать стереотипным образом. «Она подтверждает, — пишет Фрейд по поводу подобной логики, — что мыслительная активность включает большое число гипотез, необоснованность и полную абсурдность которых мы прекрасно понимаем. Они могут именоваться „вымыслами“, но в силу различных практических причин нам следует себя вести так, „как если бы“ мы верили в эти вымыслы. Это и есть случай религиозных доктрин, поскольку они имеют несравненную важность для сохранения человеческого общества. Такая линия рассуждений недалеко ушла от credo quia absurdum»[18].

ГЛАВА 3
КУЛЬТ ОТЦА

I

В любой религии, светской и политической, заложена одна и та же идея, подразумеваемая, но первостепенная. Единство и активность массы основываются на соучастии всех в тайне, которая ее отличает и укрепляет ее идентичность. Их истина находится за пределами юрисдикции разума, даже за пределами самого разума. Не соучастие, а именно ослабление его действия открывает свободу соперничеству между фракциями одной и той же партии или между диссидентскими движениями одной и той же нации. Это оно побуждает людей отстраняться от общества и питает их разочарования перед лицом коллективных верований.

В предыдущей главе мы установили, что *форма* этих верований, их логика, предопределена необходимостью скрыть такое соучастие в основах общества. Теперь, в свете тотемической гипотезы, я утверждаю, что их *содержание* обусловлено двумя фактами: обожествлением отца и воскресением его имени. Превращенный в настоящего бога масс, непогрешимого, легендарного, он им покровительствует, и они перед ним падают ниц. В то же время он возрождает все привязанности: идентификации, которые имели место в прошлом, возрождает тех, на кого каждый смотрит с мучительной ностальгией. Де Голль возродил не только фигуру Наполеона, но и фигуры всех королей Франции, так, что заставил всех опасаться, впрочем, не без тени надежды со стороны некоторых, как бы он не реставрировал монархию.

В ходе этого обожествления — надо ли об этом напоминать? — один из «братьев-заговорщиков» отделяется от других, чтобы заменить «отца» и воплотить в себе его харизму. Но в глазах народа они составляют единое целое: двух вождей, мертвого и живого, в одном лице. Странный эффект. Мы с удивлением наблюдаем, как он приобретает огромный размах в развитом обществе, оснащенном прогрессивной экономикой и техникой. А причина в том, что он воскрешает первичный прототип вождя, окруженного толпой, которая им восхищается и верит, что он ее любит. Модель культа человека в итоге.

Ошибочным был путь, когда это явление старались объяснить монополией государственной власти. Во многих странах Азии или Латинской Америки существуют неограниченные военные диктатуры, причем массы не боготворят диктатора и не разделяют его убеждений. Не менее ошибочным был путь, когда в этом усматривалось следствие

террора, осуществляемого полицией и специальными подразделениями. Это объяснение безосновательно, поскольку такая власть была задумана как нечто относительно демократическое. Оно, например, не учитывает того обстоятельства, что культ Сталина распространялся далеко за пределами Советского Союза. У Хрущева были основания утверждать: «Я отдал бы справедливость Сталину в одном: он завоевал наш разум и наше тело не клинком. Нет, он обладал чрезвычайными способностями подчинять людей и манипулировать ими — что является качеством, важным и необходимым великому вождю»[19].

С точки зрения психологии масс культ представляет собой ряд преобразований какой-либо теории — например, марксизма — в мировоззрение, имеющее силу веры, а значит, в светскую религию. Он бывает посвящен определенному человеку, Мао или Сталину, но это момент второстепенный. Повсюду, где религия распространилась и овладела нацией, можно видеть регулярно повторяющийся культ. Большинство наблюдателей связывают эти два момента, Хрущев был первым: «Культ личности немного напоминает религию. Веками люди причитали: “Господи, пожалей нас; Господи, помоги нам и защити нас“. А все ли эти молитвы помогали? Конечно, нет. Но люди косны в своих отношениях и продолжают верить в Бога, несмотря на доказательства обратного»[20].

Бог или отец. Следует сразу заметить, что этот культ, подверженный большой вариативности, является в первую очередь и в особенности культом отеческим: отцы церкви, отец нации, отец партии и так далее. Это действительное содержание так называемого культа человека или личности. Разве не обращались к Сталину, называя его «Дорогой отец советского народа»? Роскошь, которой окружает себя вождь, утрированный блеск церемоний, организованных вокруг его персоны, его непомерное право присваивать все титулы и все привилегии имеют целью подчеркнуть жирной чертой, что он представляет собой обожествленного отца. Не влияет ли он на жизнь масс? Итак, примем этот факт: такой культ, который рождается и живет вопреки всем правилам здравого смысла, является практическим аналогом знаменитого *credo quia absurdum*. Как бы он ни тускнел и ни исчезал, зерна его заложены в почву, на которой они произрастут, сохраняя все, как прежде.

II

Культ человека прогрессирует по мере того, как психология индивида отделяется от психологии масс. Последуем нашей гипотезе. После длительного пребывания в состоянии однообразия и полного равенства отношения между братьями портятся. Один из них воссоздает себя в качестве особого человека, обладающего исключительными и соответствующими этому качествами: самолюбием, властным взглядом, способностью преодолевать конфликты и так далее. С этой целью с рассветом человечества он начинает служить одной вере, одному мифу: «Миф, — пишет Фрейд, — это... таким образом, шаг, сделанный человеком, который выходит из массовой психологии»[22].

Инструмент всеобщего единообразия, религия или миф, ее провозвестник, — это посредник освобождения одного-единственного. Две тенденции постоянно направляют ее формирование. Одна ведет к *обожествлению* отца, в полного смысле этого слова. Каким образом? Путем возвышения его личности над уровнем обычного. Его учение вне какой-либо критики, его личность не подлежит обсуждению. Полностью дематериализованный, он стал бессмертным, превращенным в легендарную личность, совершенную, непогрешимую. И именно сыновья-заговорщики вместе берутся за эту метаморфозу. Они окружают отца набожным чувством и почитают его, как если бы он еще был среди них. Еще до того, как он стал бессмертным, его уже причисляют к ментальному пантеону толп, среди создателей народов, авторов верований, делают объектом культа, которому он был чужд при своей жизни. «Архаический отец орды, — утверждает Фрейд, — еще не был бессмертным, каковым он становится позднее через обожествление» [23].

Перед лицом такого естественного изменения, которое на протяжении долгого периода делает из индивида великого человека, нельзя быть уверенным, существовал ли он в действительности. Относительно Маркса и Ленина, Наполеона и Мао мы уверены, — но на какое время? — что они были исторической реальностью. Что касается Христа, Моисея или Лао Цзы, мы сомневаемся. У нас были примеры того, каким образом все это происходит, еще совсем недавно.

Остановимся на примере Ленина. При его жизни все его близкие, соратники и последователи признавали в нем одного из вождей партии и советской революции. Он сам считал себя одним из них. Известно, что он противился любому прославлению своей личности, несовместимому с марксизмом, безусловному согласию с его идеями, несовместимому с наукой, и, наконец, абсолютному подчинению, несовместимому с демократией. «Ленин, — утверждала немецкая революционерка Клара Цеткин, — вел себя как равный среди равных, к которым он был привязан всеми фибрами своей души». Известно также, что он пренебрежительно относился к мишуре власти и к неуместным проявлениям раболепия. Как пишет о нем советский поэт Твардовский, он был «тем, кто ненавидел овации».

Тем не менее почти на следующий день после его смерти вознесся обожествленный монумент. Его труды и речи увековечены носителями нерушимой идеи. Их наделяют властью, которая запрещает изменить в них хоть одну букву, так как они содержат окончательное изложение истины. На них ссылаются с торжественностью, к ним относятся с почтением. Что касается его личности, слова, служащие для ее описания, заимствуются в словаре легенд, образы берутся из религиозного лексикона. Все, что его коснулось, все, чего он коснулся, становится реликвией. За исключением его завещания, затрагивающего его «сыновей» и наследование ему. Оно попадает в сферу коллективной тайны, где правит молчание.

Все эти «сыновья», старая большевистская гвардия (Троцкий, Зиновьев, Бухарин и т. д. вместе со Сталиным), участвуют в его обожествлении. Они отвечают все тому же трагическому желанию поднять его над обездоленными смертными. Способ, которым они его возвеличивают, возмутил бы Ленина. Бальзамируя его, как египетского фараона, провозглашая его кумиром революции, они превращают в бога того, кто боролся за мир без бога и без властелина. Эта церемония, пишет историк Дойчер, «была рассчитана на то, чтобы заворожить умы примитивного, наполовину восточного народа и чтобы внушить ему восторженные чувства по отношению к новому ленинскому культу. Так же было и с мавзолеем на Красной площади, в котором помещалось забальзамированное тело Ленина, несмотря на протест его вдовы и возмущение многих интеллигентных большевиков»[24].

Я не верю в этот расчет, который не был единственно возможным. Они все должны были находиться под влиянием какой-то внутренней силы, чтобы обратиться к такой архаической церемонии, к которой давно не прибегали. Если они ее устроили, то прежде всего для того, чтобы воодушевить самих себя. Они хотели дать волю чувствам восхищения, сдерживаемым при его жизни, восхищения человеком, с которым они себя идентифицировали и которого они наверняка боялись. С другой стороны, Ленина убили, и его смерть была такой же противоестественной, как и смерть самого царя. Это убийство требовало исключительной подготовки, заметания всех следов преступления, которые могли бы выдать их. Понадобилось много сильных эмоций, чтобы заставить этих черствых безбожников перед лицом народа обходиться с покойником, как с богом. Выставлять тело умершего вождя, как если бы он был жив, в ожидании его воскресения. Если *мумификация* — это одна из наиболее сильных склонностей психологии толп, за неимением мумий их заменяют статуями и памятниками, то именно толпа отрицает смерть обожаемого человека. Мумификация ограждает его преемников от обвинения в убийстве, хотя чаще всего они виновны, или от того, что они не предпринимали никаких существенных действий по предотвращению направленного против него заговора. Кроме того, мумификация — это способ борьбы против исчезновения его имаго и заполучения этого имаго навсегда. Одним словом, это способ облегчить его воскресение в умах будущих масс. В ходе повторяющихся церемоний язык, на котором обращаются к этому обожествленному человеку, кодифицирован. Вам известны фразы, которые произносит Сталин литургическим тоном, принимая перед катафалком Ленине настоящую религиозную присягу: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам с честью нести и сохранять незапятнанным великое звание члена партии. Мы клянемся, товарищ Ленин, что мы с честью выполним твой наказ» и так далее до конца.

Когда создают бога, то также создают имя. Оно связывает партию, церковь, учение с личностью. Оно делает их частью своей бессмертной сущности. Так, Ленин, однажды помещенный в высший мир вечных

существ, становится источником целой ономастики. Он обозначает все. Большевистская партия, теория социализма, марксистские идеи к множество всего другого носят его имя. Вступить в партию, принять ее теорию с того времени — значит приобщиться к полубогу, стать ленинцем. «На каждого человека, — читаем мы у Иова, — он ставит свою печать, чтобы каждый узнавал его печать».

С другой стороны, имя придает подлинность и обязывает к идентификации. Оно указывает, какой из голосов *сверх*-«Я» будет решающим. Носитель имени испытывает признательность по отношению к тому, кто жаловал ему это имя. Он чувствует себя сыном великого человека, членом его семьи. Почти повсюду используемое и постоянно произносимое слово создает вездесущий образ великого человека. Каждый обязан подчиняться тому, кто действует от его имени. По крайней мере, все, что существует, носит его имя и все, что носит его имя, существует. Имя Ленина испытало показательное распространение, поскольку в наш век никто так глубоко, как он, не перепахал сознание народа, не возмутил культуру более явно прежде, чем изменить общество. Именно он, кто не стремился заменить безличное господство науки и демократии господством религии и героя, не увидел огромных толп, проходивших перед его катафалком, изливавших душу, произнося его имя, и приносивших жертвы его культу. Исключительный акт обожествления Ленина, был взят впоследствии — от Мао к Тито, примеров достаточно — на службу экспансии светской религии, совсем как причисление к лику святых в сакральной религии. Судьба неизбежна: то, что начинается стихийным изобретением, выражением неудержимого порыва, превращается в систему.

III

В чем состоит второе движение, которое определяет содержание светской религии? Оно *орнаментирует* заговор «сыновей» и развертывание событий до того, пока один из них не выделится и не станет местоблюстителем отца. Здесь, конечно, речь идет о борьбе за власть. И нас интересует именно тот путь, который она выберет из всех возможных путей. История, согласно *Petit Robert*, означает «украшение сцен персонажами, и особенно сцен, взятых из святого писания о жизни святых». Именно так это и надо понимать. За одним исключением, что эти сцены реальны и заставляют возникать вновь с неслыханной силой картины прошлого. Если же ознакомиться с результатами, которые они производят, истина покажется плодом вымысла. События, украшенные фигурками, напрасно считаются невероятными, они раскаляют добела усердие миллионов людей.

Вернемся к культу Ленина. Культ его личности и культ его идей, на который обрекли его же последователи, не преминул перейти на них, его товарищей. Затем, постепенно, на всех руководителей пар-

тии. «Их именами, — писал советский историк Р. Медведев, — были названы улицы, заводы, колхозы (завод имени Рыкова, трамвайное депо имени Бухарина и т. д.), вплоть до городов. В 1924–1925 гг. с согласия политического бюро на карте появились не только Ленинград и Сталинград, но также города Троцк и Зиновьевск. В конце двадцатых годов каждая или почти каждая область или республика имели культ своего местного руководителя» [25].

В период кризисов и беспрерывного соперничества многие руководители поддерживают атмосферу постоянного беспокойства, которая сочетается с экономическими заботами. Предполагается, что человек, наделенный властью, активнее осуществляет свою деятельность, принимает находчивые решения, координирует все пружины общества. Во время сложных периодов такой тип власти предпочтительнее собраний и совещательных органов. По этой причине со смертью лидера толпа чувствует себя лишенной своего вождя. Она начинает тосковать по нему, как иногда тоскуют дети по своим родителям. Это побуждает одного из «братьев» к желанию его заменить. Нарушая их молчаливое соглашение, он пытается восстановить то, что они поклялись все вместе искоренить: «Лишения, переносимые с нетерпением, — пишет Фрейд о том, что произошло после отцеубийства, — смогли тогда натолкнуть на решение того или иного человека выделиться из массы и взять на себя роль отца» [26].

Согласно этой гипотезе, дети уничтожают революцию. Когда один из них принимает это решение, он присваивает себе заслуги всех и вытесняет их, чтобы остаться единственным хозяином на борту.

Через десяток лет, после смерти и обожествления Ленина, утвердился режим, его культ был довершен. Каждый имел какое-то отношение к его личности, к его имени и даже к его телу. Характерный для этого периода плакат содержит лозунг: «У всех в крови есть капля крови Ленина». Между тем тот, кто предлагает себя на место Ленина, выдвигает свою кандидатуру: Сталин. Очень рано, в 1926 г., он заявляет, что надо будет восстановить в своих правах отцовскую власть: «Не забывайте, — восклицает он во время одного собрания в тесном кругу, — что мы живем в России, на земле царей. Русский народ предпочитает одного главу государства».

Было бы разочарованием узнать, что Сталин — человек хитрый и обладающий изворотливым умом. Разве не показал он себя великим вождем, что практически исключает хитрость и изворотливость? Но он знал точно силу масс. Он знал, что для укрепления власти, какова бы она ни была, надо найти формы управления и церемоний, соответствующих их верованиям. Поглощенный своей идеей и твердо стоящий на своем, Сталин пользуется резкими колебаниями внутреннего компаса каждого в сильной социальной буре, чтобы устранить одного за другим всех вчерашних товарищей — сегодняшних конкурентов. Начиная с самого значительного, Троцкого, чтобы затем покончить с тем, кто

был самым близким, Бухариным. В течение всего этого времени он предается кропотливой, неблагодарной и кровавой работе, чтобы уничтожить свидетелей революции, тех, кто имел еще перед глазами полную картину знаменитых дней Октября. Репрессии, применяемые к людям, являются прежде всего репрессиями, направленными на их память и их идентификацию с партией революции. «Именно в этот период, — пишет американский историк Malia, — режим приобретает форму и затвердевает: существует неизменный феномен «дыры» Истории, дыры памяти...»[27].

В то же время он заставляет их взять на себя вымышленное убийство отца, чтобы иметь возможность потребовать от них искупления. И по его указаниям в журнале того времени, не колеблясь, напишут, что Бухарин был «вдохновителем и соучастником покушения на жизнь самого великого гения человечества — Ленина». Эти маневры привели Сталина в ранг единственного героя. «Следует задаться вопросом, — продолжает Фрейд по поводу героя, — существовал ли заправила и подстрекатель на убийство среди братьев, восставших против отца, или же такой персонаж был создан позже воображением художников-творцов, чтобы самим превратиться в героев и тем самым быть введенными в традицию». Художнику масс больше ничего не требовалось, чтобы он мог теперь отправить на скамью подсудимых своих братьев, превращенных его пропагандой в сброд и подонков так же, как герои Кафки превращены его фантазией во множество вредных насекомых и микроскопических животных. Надо полагать, Сталин считал своим долгом показать, что архаические ментальные структуры действенны. И что они повторяются. Во всяком случае, его собственные речи и речи, произносимые под его наблюдением, возвращают к образам религиозных мифов и просто мифов, отделяя психологию индивида от психологии толп. Одна из этих структур приписывает подвиг, который мог быть выполнен только целой ордой, одному герою. «Но, — следуя замечанию Ранка, — в легенде можно найти очень яркие следы реальной ситуации, которые она скрывает.Часто встает вопрос о герое, который в большинстве случаев оказывается самым молодым из сыновей, избежавшим жестокости отца, благодаря своей глупости, которая заставляет его недооценивать опасность. У этого героя сложная для исполнения задача, но он может ее успешно завершить только при содействии толпы мелких животных (пчел, муравьев). Эти животные будут только символическим воспроизведением братьев первобытной орды так же, как в символике сна насекомые и паразиты фигурируют как братья и сестры (презрительно воспринимаемые как маленькие дети)»[29].

Очаровательная аналогия. Она показывает, как один из братьев-заговорщиков берет реванш над остальными и отдаляет их от себя на такое расстояние, которое отделяло лилипутов от Гулливера, уменьшая их до размера маленьких зверьков. Одновременно он присваивает себе их дела и поступки, объединяет в своей живой личности все доброде-

тели мертвых. Захват был достаточно очевидным, чтобы один ветеран революции написал Сталину: «Вы воспользовались теми, кого вы убили и оклеветали, присвоив себе их подвиги и их достижения».

Во всяком случае, понятно, что он стремился завладеть жизнями других: это очевидно. И также понятно, что он играл на пассивном соучастии большинства, так как если добровольно никто не поддерживает террор, то редко кто восстает против него. Но за рамками нашего понимания остается поразительный факт: они *тоже* считали себя виновными в убийстве своего отца (по меньшей мере, в своих поступках) — эти мужчины и женщины, лишающие себя своего прошлого и молящие о прощении того, кто занимает место отца: «Но все эти несчастные, на которых направляют прожектора, — пишет историк Дойчер, — появлялись кающимися, очень громко исповедуясь в своих грехах, называя себя сыновьями Велиала и восхваляя в глубине своего ничтожества этого сверхчеловека (Сталина), который ногами стирал их в порошок» [30].

По мере того как они умалялись и как он каннибалистически пожирал их биографии, можно было повсюду видеть загорающимся, как сигнал на штабной карте, имя Сталина на месте имени Троцкого, Бухарина, Зиновьева. Он набирает размах. Поднявшийся на позицию единственного великого человека революции, он становится узурпатором вдвойне: узурпатором своих «братьев», или товарищей, и узурпатором Ленина, который хотел его отстранить от своего наследия. Он провозглашает себя образцом, которому каждый должен следовать и повиноваться, как своему отцу. А именно, великому Сталину. Вместо того, чтобы его дискредитировать, эта узурпация добавляет доверия, которым он пользуется. Можно сказать, что он похищает не только биографии своих жертв, но также и любовь, которую питали к ним массы. И когда эта любовь становится осиротевшей, массы ее переносят на него. На того, кто восстанавливает порядок вещей и образ отца. Он объявил это сам: «Государство — это семья, а я — ваш отец».

IV

Оставшись единственным из живущих соратников Ленина, Сталин превращает марксистскую теорию в мировоззрение, которое черпает свою силу из факта своей завершенности. Оно предлагает простые формулы, объяснения всему или почти всему. Сначала посредством серии канонических текстов, предназначенных затвердить его принципы, и речей, которые предписывают ее применение и отливают их в окончательный язык. Согласно Джиласу, эта работа удовлетворяет «потребности не только внутри советской партии, но также и во всем международном коммунизме, так что этот скучный и книжный, но легко усваиваемый краткий курс приобретает большое влияние» [31].

Затем переписывается история революции и описывается ход Истории как череда заговоров, подготовленных старыми революционерами.

Последние представлены как люди по существу зловредные, замыслы которых Сталин расстроил и которых он победил, как святой Георгий — дракона. Таким образом, он создает что-то вроде демонологии предателей и врагов, без которых не существует ни одна религиозная вера. Предателей и врагов, с которыми герой, Сталин, успешно сразился с помощью масс, следовавших за ним. «В этой борьбе, — можно прочитать в „Истории коммунистической партии СССР“, — против скептиков и трусов, против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и каменевцев руководящее ядро партии должно было после смерти Ленина найти почву для окончательного объединения. Это ядро под знаменем Сталина вновь объединило под лозунгами и вывело советский народ на широкую дорогу индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства».

Эти абсолютно вымышленные ярлыки и определения, фракции «братьев» по партии и их роли в исторической драме глубоко внедрились в верования. Бессмысленно было поднимать край занавеса — исторические руководители революции остаются проклятыми. Мертвые не могут требовать справедливости, а живые не осмеливаются поставить под сомнение основания системы, раскрыть тайну, которую она скрывает. Устанавливается компромисс. Он состоит в молчаливом прощении первыми зла, которое им причинили, при условии, что вторые будут обязаны об этом не упоминать и не преступать запрет. На самом деле все эти переписывания истории позволили Сталину выделиться из массы и появиться перед ней человеком, который готов, по словам Фрейда, «взять на себя роль отца».

В этом качестве он представляется всегда и повсюду как единственный, остававшийся верным Ленину в годы изгнания и в трудные моменты революции. Как единственный продолжатель его дела после его смерти. Книги газеты, фильмы связывают оба их имени, исключая все остальные. Одним словом, Сталин — это и есть Ленин redivivus <(лат.) воскресший>. Молотов называет его «соратник Ленина в строительстве партии», а Ярославский — «наш отец для всех». На каждом углу улицы, в каждом обороте речи, на каждой посылке можно найти изображение умершего отца и его живого местоблюстителя, учителя и его последователя. Эта пара воскрешает другую легендарную пару, Маркса и Энгельса, как их воплощение. В самой Академии наук объявляют, не заботясь с правдоподобии: «Начиная с конца девяностых годов (XIX века!) Ленин и Сталин стали для развития революционного движения новой эры... тем, чем были Маркс и Энгельс для предшествующей».

Чтобы лучше запечатлеть эту цепь возрожденных образов в сознании масс, Сталин орнаментирует развитие движения и социализма, как если бы она вела к его появлению, к нему. Он переплавляет коллективную историю в биографию одного человека, ее божественного демиурга. Не стоит этому удивляться. В самом деле, Фрейд отмечает, что чаще всего «выдумка героического мифа достигает своей кульми-

нации в обожествлении героя. Может быть, обожествленный герой был отцом до Бога, предвестником возвращения архаического отца в качестве обожествленного»[32].

С этого периода и до 1930 г. к Сталину обращаются, и он смог позволить так к себе обращаться, как к полубогу всеведущему, всемогущему и непогрешимому. Нет нужды цитировать тексты и имена, провозглашавшие его таковым. Они делают из него истинного наследника не только Ленина, но также царей во всем, исключая только то, что его власть по природе своей не наследуемая. Постепенно он разрывает все узы равенства и осуждает их, заявляя, что «уравнивание в сфере потребностей и индивидуальное жизни — это мелкобуржуазный вздор». Прежде всего он восстанавливает власть, против которой он со своими товарищами боролся. Он создает службу Бога-отца, и целая иерархия выстраивается под ней. Каждый имеет свою собственную должность и не может ее преступать. Высокопоставленные члены образуют привилегированный класс, простые граждане — другой, менее блестящий.

То, что такой поворот оказался возможным, что именно эта теория, марксизм, а не сумасбродная опоэтизированная идея, возникшая на заре цивилизации, смогла послужить основанием великому человеку и дать пищу его религии, доказывает, насколько трудно абстрагироваться от толп в жизни обществ. Бессмысленно говорить в этом случае об отклонениях, ошибках истории, добавляя, что в конечном счете они способствовали прогрессу и разуму. Этим упускается из виду то, что, если можно постоянно переписывать историю, то невозможно ее переделать. Ничто не гарантирует того, что там, где замешаны массы, события произошли бы иначе. Напротив, мы наблюдаем, что так называемые отклонения и ошибки настойчиво повторяются. Это, по-видимому, означает, что они соответствуют какой-то закономерности, потому что, следуя правилу, одни и те же причины должны производить одни и те же следствия.

Что касается выяснения того, послужили ли они действительно причиной прогресса, трудно однозначно судить об этом. О заслугах Сталина и тех, кто ему подражал, можно, я думаю, сказать то, что один английский историк сказал о Наполеоне: «Он разрушил только одно — якобинскую революцию (большевистскую революцию в случае Сталина), мечту о равенстве, свободе и братстве, о народе, в своем величии поднявшемся, чтобы сбросить угнетение»[33].

V

Культ отца связан с рождением светской религии. Именно в этом заключается результат повседневного наблюдения. Советский писатель Эренбург констатирует это в своих мемуарах: «Начиная с 1938 г. справедливее использовать слово «культ» в его основополагающем религиозном смысле. В сознании миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога».

А позднее Джилас подтверждает это: «Я приближался к Сталину в состоянии сознания, близком к религиозной вере».

Я воспользовался такими наблюдениями и исторические материалом, как я говорил, с целью проиллюстрировать тотемическую гипотезу и ее значение для психологии толп. Согласно ей, заслуга Сталина (или кого бы то ни было на его месте) состояла, конечно же, в способствовании рождению этой религии и ее распространению. Против необходимости, связанной с надзором, были высказаны возражения. Здесь не стоило искать причин. Может быть, вышеупомянутая гипотеза раскрывает нам ее потаенные основания. Средства могли быть различными, лучше обеспеченными гражданским законодательством. Нужно было, однако, чтобы цель была достигнута.

Снова следуя знакомому пути, можно допустить, что социализм приходит извне по каналам какой-то партии и вождя, существовавших вовне, как своего рода египетский Моисей. Конечно, речь идет о Ленине и его первых соратниках. Они обнаруживают эту теорию и навязывают ее в результате ряда чрезвычайных событий, из которых главное — революция. С другой стороны, революция завершена и Ленин мертв, и здесь наблюдается отказ русского народа от теории и от людей, которые ее представляют. Можно даже говорить об ослаблении самой партии. Однако внешний отказ на деле маскировал бы, согласно нашей гипотезе, ее погружение в глубины, длительный процесс сближения с психологией толп. В течение этого инкубационного периода она встречается с другими традициями, переплетается с ними до тех пор, пока в свою очередь не станет одной из них. На этот раз она требует быть признанной изнутри, распространенной вождем, пришедшим изнутри, вышедшим из самой массы, как еврейский Моисей. Перед ним стоит задача переиначить, в соответствии с доктриной, партию и народ. Внушить им то, что после этого пребывания в бессознательном не является больше наукой, а становится мировоззрением. Другими словами, он должен утвердить примат веры вместо и на месте прежнего примата разума, даже духовности. Подводя людей к отказу от этого, он подчеркивает их роль и побуждает их гордиться успехом. Что касается того, кто требует жертвы, Сталина, он неизбежно становится «недоступным властелином, животворящим Солнцем, отцом двухсот миллионов советских граждан..., тотемом, который племя считает своим предком и с которым все члены племени должны устанавливать личный близкий контакт»[34].

Советский Союз превращается для своего вождя в one man show[1]. С начала и до конца он один осуществляет высшую власть. Его обожают наравне с богом, советское общество и партия (и не только они) становятся квазирелигиозным сообществом, скрепленным общей преданностью и разделяемым культом. Когда смерть пришла ему напомнить, что бессмертие — это не более чем иллюзия, никто не смог

[1] Шоу, которое исполняется одним человеком *(англ.)*. — *Прим. пер.*

бы претендовать на то, чтобы наследовать ему. Такова общая судьба харизматических вождей.

Эти догадки о религиозных иллюзиях не должны, как и предшествующие им замечания, тешить нас еще более опасными иллюзиями об их достоверности. Здесь я в точности повторю то, что писал Фрейд Эйнштейну: «Может быть, вам покажется, что наши теории — это род мифологии и что наше дело не заслуживает одобрения. Но разве любая наука, как и эта, в конце концов, не приходит к мифологии?» [35]

Психология масс пришла к этому под давлением обстоятельств, в которых она развивалась, и проблем, которые она вынуждена была решать. После всех уроков, которые она преподала нам в этом веке, я плохо понимаю, как можно не учитывать ее по большому счету. Заслуживающая внимания доля реальности ускользает от нее, это невозможно отрицать. Но она уладила другую ее долю: ту, которая предрешила и сейчас еще предрешает успех или неудачу партии, идеи. На этом основании деловой человек, как и человек науки, относится к наиболее высокому уровню благодаря своим методам и объяснениям. По общему правилу там, где жизнь и теория существуют в согласии, лучше прислушиваться к теории — она богаче. Там, где жизнь и теория существуют в разногласии, лучше прислушиваться к жизни, это надежнее. Когда речь идет о психологии масс, надо прислушиваться то к одной, то к другой, как говорится, по словам Гомера, «под давлением жестокой необходимости».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психология толп открыла энергию коллективных феноменов в то же самое время, когда физика — явление ядерной энергии. Я мог бы продолжать рассмотрение ее гипотез, в равной мере интересных и человеку науки, и практику в их отношениях с массами. Но по многим причинам лучше будет остановиться на этом. Прежде всего, если следовать ее выводам, чувствуется что слишком далеко отклоняешься от обычных научных вещей. Тут же возникают критические замечания: «Если эта психология настолько далеко отклоняется от науки, то к чему воскрешать мертвецов? К чему это желание свести в систему всю амальгаму образов, понятий и спекуляций?». Я принимаю ваши возражения, они неоспоримы. Мой ответ может показаться вам простым, но я готов ручаться, что он единственно приемлемый. Проблемы, поднимаемые психологией толп, фундаментальны и обладают практической значимостью. Особенно если сравнивать их с теми, вторичными и спекулятивными, которыми изобилует большинство наук. Широта проблем, породивших ее, заставляет размышлять над ее гипотезами, вновь сформулированными в логичном и обобщенном виде. К этому я и стремился, будучи уверенным в том, что они затрагивают нас сегодня в той же мере, как вчера.

В эти экстравагантные гипотезы время от времени вкрадывается истина, настолько нестерпимая и настолько неверифицируемая иначе, как нашим опытом, что было бы почти безумием для человека науки, мы это знаем, ее поддерживать или же осмелиться распространять. И тем не менее. Эти истины доказывают нам, что можно размышлять над массовыми феноменами и понять несущую смысл систему причин и следствий. Даже в том случае, когда она, казалось бы, уводит нас в дебри мысли, граничащей с мифом. Этот факт сам по себе является крупным козырем психологии толп.

Если верить некоторым ученым, то, скажем, космологические мифы были и сейчас еще являются условием открытия теорий, объемлющих звездные миры и галактики. Психологически мифы в той мере, в какой речь идет лишь о мифах, могут порождать собственные теории массовых миров. Не будем позволять себе слишком увлекаться обыденным и официальным (что часто одно и то же!) представлением о науке. Во многих ее отраслях — происхождение жизни, доисторический период, палеонтология, антология, экономика и т. д. — применяемые гипотезы с логической точки зрения почти не отличаются от тех, которые я использовал на протяжении своей работы. В конце концов у нас нет выбора: мы проходим сквозь узкие двери между неясностью, порож-

денной отсутствием общих идей, то есть незнанием, и неясностью при наличии общих идей, то есть протонаукой. Но дистанция, отделяющая незнание от истинной науки, бесконечна. Дистанция же от протонауки до науки определяется наблюдениями и исследованиями, которые нам необходимо проделать, чтобы ее сократить. А нам приходится предпочитать конечную дистанцию бесконечной, так как всегда лучше знать, из чего исходить и куда направляться.

Кроме того, предложенные гипотезы обнаруживают ограничения. Я вовсе их не отрицаю, они очевидны. Психология масс, и я не делал из этого тайны, решительно недооценивает влияние экономических и социальных условий. Более того, она берет на себя труд доказывать, что тип людей, составляющий массу, их принадлежность к классу и культуре, не имеет никакого значения для коллективных явлений. Это резко противоречит нашему видению общества. Тем более, что эта гипотеза, конечно же, практически не подтверждается. Если мы хотим продвинуть анализ таких явлений, необходимо отказаться от ее сохранения в абсолютном варианте. Главное для практика — понимать эти обстоятельства, что не менее важно и для науки.

Эта психология имеет также тенденцию занижать интеллектуальную и человеческую ценность масс. Она пытается научно доказать их бесплодность и несостоятельность. Здесь нет ничего ни верного, ни необходимого. Не так уж важно, в конечном счете, являются ли люди в своей массе добрыми или злыми. Эти суждения ничего не добавляют к их познанию. Поэтому я оставил их в стороне как бесполезные.

И наконец, психология толп, по-видимому, не уделяет такого внимания историческим условиям, как другие науки. Для нее деспотические вожди и городские массы Древнего Рима, князья церкви и крестьянские массы средневековья, даже современные городские массы эквивалентны. Они принадлежат к одному и тому же ряду явлений, представляют собой следствия одних и тех же причин. Конечно, это серьезный пробел. Но заполнить его легко, что и делают некоторые историки. Однако из этого нельзя заключить, что она не интересуется Историей (История очень заинтересована в психологии толп). Напротив, она отводит ей значительную роль в мышлении и поведении толп. Правда, со своих позиций.

Придавая огромное значение будущему, большинство теорий представляют эволюцию как последовательное разрешение трудностей каждого общества с течением времени. Прошлое — это препятствие, которое нужно преодолеть, пучина, которой надо избежать. Психология толп делает акцент на этом прошлом, на повторении решения трудных ситуаций, возникающих в ходе Истории. Она видит в ней истоки и память, без которых ничто невозможно. Она на этом основывает практическое правило: что бы ни происходило в настоящем, следует постоянно иметь в виду прошлое, возникающее вновь, едва ли не в меньшей степени, чем будущее, которое грядет. Но не будем

усматривать в этих ограничениях удобных предлогов, чтобы ее отбросить: они в такой же степени являются строительным материалом для ее преобразования.

* * *

Психология толп осталась непонятой. Ничто другое не указывает на это лучше, чем заключение, которое вывели и выводят из ее гипотез: она противоречит демократии и превозносит единоличную власть. Эту необузданную власть мы видели в действии. Мы видели людей, ставших покорными животными, убивающими по приказу, из страха или из преданности. Когда целый народ был погружен в немоту, когда закон был извращен, когда исчезало всякое право на истину, мы видели невиновных, превращенных в виновных, свободных людей, превращенных в узников из-за их этнической или классовой принадлежности. Мы видели тысячи тысяч людей, принесенных в жертву.

Действительно, психология толп ставит вопрос, замалчиваемый большинством наук: почему же власть вождей нас так возмущает? Нельзя ли ее считать одной из многочисленных досадных потребностей, которые навязываются жизнью? Между тем она выглядит политически обыденной, социально обоснованной и практически всегда неизбежной. Таков этот способ подходить к реалиям власти с конкретными и точными мерками, не оставляя места неопределенности. Кто говорит «власть» — невольно говорит «вождь», кто говорит «вождь» — говорит «власть». Все остальное — это речевые уловки и игра понятиями.

Не менее верно и то, что психология толп предвидела подъем этой власти в тот момент, когда все исключали такую возможность. Приписывать ей участие в этом значило бы возложить на нее ответственность, которая лежит на людях цивилизации, и порицать ее за то, что она провозгласила истину вместо того, чтобы ее замалчивать. Упрек тем более несправедливый, что она обнаружила здесь опасность для демократии и старалась предупредить ее упадок.

Кроме того, разработка наилучших путей управления обществом не является задачей науки, даже несовершенной. Ее задача — это изучение обстоятельств, приводящих к той или иной форме правления, к демократии или деспотии, не позволяя себе менять направление произвольно или под влиянием химер. Затем определение соотношения сил в настоящем. И наконец, познание путей того, как приспособить эти силы к обстоятельствам. Именно это и делает психология толп, учитывая подъем значения масс в Истории.

Она выполняет также свою роль, показывая, что их влияние революционизирует исполнение власти. Она напоминает нам, что свободу не спасти, продолжая повторять устаревшие формулы перед лицом меняющейся действительности или заставляя отзываться обветшавшие чувства в сердцах, которые анонимность и многочисленность лишили чувствительности.

С этой стороной ее проявления смириться труднее всего. Она подрывает нашу веру в закон масс и нашу надежду на будущее, властителями которого мы все могли бы быть. Поскольку все факторы, которые, на наш взгляд, несут прогресс и демократию — объединение населения в городах, быстрое развитие средств коммуникации и производства, — на ее взгляд влекут возрождение власти и ее концентрацию в одних руках. Мы вынуждены к ней прислушаться: разве события не подтвердили ее самые сомнительные предвидения? Ее вывод совершенно прост. Что революционизирует власть в век толп? Против всякого ожидания именно вожди появляются как ответ на психологическую нищету масс. Они представляют собой составную часть человеческой природы, с которой необходимо постоянно считаться. Отрицать ее важность значило бы закрывать глаза на то, что является наиболее фундаментальным в обществе, и обрекать на бездействие этот ведущий политический фактор. Принимать его в расчет означает признать, что, если наша эпоха желает восстановить демократию, необходимо, чтобы она нашла ему замену. Она должна была бы гарантировать те же результаты с психологической точки зрения и использовать те же средства мобилизации народов для того, чтобы действовать и управлять.

Чтобы быть реальными, этим наблюдениям нет нужды быть новыми. Они объясняют, почему от власти вождя предлагаются всегда одни и те же противоядия: восстановление независимости людей (или, в общем случае, меньшинств), разделение частной жизни и жизни общественной, ограничение влияния медиа в целях создания пространства диалога и социального общения. Одним словом, сделать невозможным всякое магическое и идолопоклонническое осуществление власти, которое создает видимость ее всемогущества и всеведения в глазах масс. Ведь никогда это магическое господство не приобретало такого размаха. Никогда еще оно не располагало таким набором методов. Вот почему высказываться «за» или «против» него стало в нашем веке так же важно, как высказываться «за» или «против» атомной бомбы.

* * *

Психология толп обладает большой научной прозорливостью. Ее политическое чутье не связано исключительно с деспотической властью. Ей присуща особая современность, перевешивающая все остальное. Действительно, универсальные в масштабе континентов признаки свидетельствуют о быстром возрастании и распространении массовых явлений. В течение одного или двух десятилетий считалось, что они, казалось бы, отступили перед прогрессом науки и образования. Предполагалось, что эти массовые феномены подчинены мощным государственным машинам, созданным с этой целью. В Европе век толп кажется в некотором роде завершенным. Однако нечто, придающее этим явлениям новый мощный прилив сил, отмечается в Латинской Америке, Африке, Азии.

В конце двадцатого века наблюдается повторение с вариантами того, что уже происходило на нашем континенте, прежде всего во Франции, в конце девятнадцатого века. Демографический взрыв в городах: четыреста миллионов мужчин, женщин и детей ведут полную случайностей жизнь, прозябая в них или заполняя окрестности. Скученные в трущобах или в колониях бездомных, поспешно собравшиеся вместе, они были выгнаны из сел бедностью, войной или голодом. Города привлекали их иллюзией мирной жизни и благосостояния. Эти популяции увеличиваются ежегодно в среднем на десять процентов, если не больше. Человеческие галактики распространяются на пространствах, где никто не предполагал устраиваться, живут там, где никто не собирался ничего строить. Они уносят с собой массы людей, порвавшие нити традиции и верований, потерявших всякий контакт с местными установлениями и всякую связь со своим сообществом. Людей, которые обнаруживают себя одинокими и безымянными. Вырванные из своей общественной ткани, они вовлечены эпизодическим трудом в круг медиа и потребления в соответствии с моделью, назовем ее американской, которая им чужда.

Все это понятно в том, что касается причин, но остается непонятным, когда речь идет о следствиях. Вырванные из своей собственной среды, собранные вместе и перемешанные в своих периферийных гетто, эти люди составляют авангард новых масс. На этом перегное зарождаются и уже произрастают новые предводители толп. Нас это не удивляет. Толпа — странное явление: аккумуляция разнородных элементов, не знакомых друг с другом. Однако достаточно появления какого-то течения верований и представлений, распространяемого определенными людьми, чтобы наэлектризовать это скопление. Тотчас же возникает своего рода неожиданное единство, стихийная организация. Масса становится движением. Тысячи, даже миллионы людей образуют теперь уже единую цепь, которая движется к своей цели с непреодолимым упорством.

Рост экономики, рождение наций, пришествие масс, может быть, в большей мере, чем прогресс Истории, отмечают агонию старых цивилизаций, поворот от предшествующего беспорядка к зарождению новых цивилизаций. Одним словом, эти явления становятся знаками, предвестниками планетарного века толп. Все это заставляет думать — ведь сходные причины порождают аналогичные результаты, — что он будет вдохновляться уже известными принципами. Этот век будет использовать уже испытанные нами методы внушения, но приспособленные к его чрезвычайным масштабам. Он подвергнет суровому испытанию объяснения психологии толп и ее практические результаты, которые прижились в новых условиях.

Наука — как петух, который кричит, когда вокруг еще ночь: она принадлежит своему времени, своему моменту, только если она ему предшествует. Именно это придает ей ценность и для практика, способ-

ного опередить своих более невежественных или более приверженных традиции соперников, и для исследователя, ищущего новые области, чтобы применить свой талант и свою любознательность.

Если перспектива планетарного века толп верна, тогда эта книга, посвященная классической науке и прошлому, поможет тем, кто захочет взять на себя такой труд, разгадать некоторые из черт будущего. Будущего, которое уже началось.

Париж, 15 марта 1981 г.

КОММЕНТАРИИ

Часть 1

[1] *Bartlett F.* Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932. P. 24.

[2] *Einstein A.* Ideas and Opinions. New York: Souvenir Press, 1945. P. 54.

[3] *Gramsci A.* Note sul Macchiavelli. Milan, 1953. P. 149.

[4] *Maupassant G. de.* Paris: Sur l'eau, éd. Encre, 1979. P. 102.

[5] *Maupassant G. de.* Op. cit., P. 103.

[6] *Zinoviev A.* Les Hauteurs béantes. Genève: L'Age d'Homme, 1977. P. 495.

[7] *Weil S.* Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Paris: Gallimard, 1955. P. 108.

[8] *Freud S.* Preface to Bernheim. Standard Edition. T. I, P. 82.

[9] *Hobsbawm E. J.* Les primitifs de la Révolte. Paris: Fayard, 1966. P. 130.

[10] *Gramsci A.* Op. cit. P. 150.

[11] Idem. P. 130.

[12] *Flaubert G.* L'Education sentimentale. Paris, 1869. Éd. Pléiade. P. 323.

[13] Idem. P. 319–320.

[14] *Flaubert G.* Op. cit. P. 323.

[15] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Paris: Presses Universitaires de France, 1963. P. 2.

[16] *Bell D.* The End of Ideology. Glencoe: The Free Press, 1960. P. 21.

[17] *Canetti E.* Masse et puissance. Paris: Gallimard, 1966. P. 19.

[18] *Mauss M.* Sociologie et anthropologie. Paris: P.U.F., 1973. P. 126.

[19] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Paris: Payot, 1972. P. 252.

[20] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit., Préface.

[21] *H. Broch.* Massenwahntheorie. Fracfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1979. P. 42.

[22] *Cassirer E.* The Myth of the State. Doubleday and Co. New York, 1955. P. 1.

[23] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 5.

[24] *Oberschall A.* Social Conflicts and Social Movements. Prentice Hall Inc.; Inglewood Cliffs, 1973.

[25] *Proust M.* A la recherche du temps perdu. Ed. Pléiade. T. III., P. 773.

[26] *Gramsci A.* Op. cit. P. 13.

[27] *Reich W.* La Psychologie des masses du fascisme. Paris: Payot, 1972. P. 200.

[28] *Freud S.* Why War? The Standard Edition. T. XXII., P. 212.

[29] *Tarde G.* Les Transformations du pouvoir. Paris: F. Alcan, 1895. P. 25.

[30] *Gaulle C.* de. Mémoires de guerre. Paris: Pion, 1955. T. 1, P. 120.

[31] *Broch H.* Massenwachntheorie. Op. cit. P. 81.

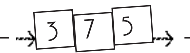
[32] *Djilas M.* Le Sens du danger. // Le Monde. 1980. 6 mai.

[33] *Le Bon G.* L'évolution de l'Europe vers les formes diverses de dictature. // Annales Politiques et Littéraries. 1924. Mars. P. 231.

[34] *Le Bon G.* La Psychologie politique. Paris. Flammarion. , 1910. P. 117.

[35] *Canetti E.* Op. cit. P. 27.

[36] Рискованные параллели, к которым прибегал К. Виттфогель в цитируемом труде, показывают, как опасно игнорировать эти ограничения и превращать



аналогию, которая просто помогает описать реальность, в какое-то тождество, предполагающее ее объяснение, то есть пытаться найти в прошлом модель настоящего.

[37] *Broch H*. Op. cit. P. 274.

Часть 2

[1] *Furet F*. Penser la Révolution française. Paris: Gallimard, 1978. P. 16.

[2] *Giner S*. Mass Society. Martin Robinson. Londres, 1976. P. 58.

[3] *Nye R. A*. The Origin of Crowd Psychology. Sage Publications Ltd. Londres, 1975. P. 3.

[4] *Nye R. A*. Idem. P. 78.

[5] *Nye R. A*. Op. cit., P. 69.

[6] *Sherif M. and Sherif C*. An Outline of Social Psychology. Harper & Rom, Londres, 1956. P. 749.

[7] *McDougall W*. Introduction to Social Psychology, Methuen, Londres, 1908; et The Group Mind,Cambridge: Cambridge University Press, 1920.

[8] *Moscovici S*. La Psychologie des minorités actives. Paris: P.U.F., 1979.

[9] *Lindsey G. and Aronson E*. Handbook of Social Psychology. T. IV., P. 534.

[10] *Simmel G*. Soziologit. Leipzig: Dunker et Humbolt, 1908.

[11] *Von Weise L*. Allgemeine Soziologie. Munich et Leipzig: Dunker et Humbolt, 1924.

[12] *Vierkandt A*. Gesellschaftslehre. Stuttgart: F. Enke, 1928.

[13] *Horkheimer et T.M*. Adorno: Aspects of Sociology. Heinemann. Londres, 1973. P. 75.

[14] Idem. P. 73.

[15] *Geiger T*. Die Masse und ihre Aktion. Stuttgart: F. Enke, 1926. P. 14.

[16] *Park R. E*. Society. The Free Press. Glencoe (III.). 1955. P. 22.

[17] *Oberschall A*. Op. cit. P. 8.

[18] *Michels R*. Les Partis politiques. Paris: Flammarion, 1971. Вот, что он пишет Ле Бону (23 ноября 1911 г.) по поводу его книги: «Я только перенес на материал политических партий, на их административную и политическую структуру столь блестяще разработанные Вами на материале коллективной жизни толп теории».

[19] *Lefèbvre G*. Etudes sur la Révolution française. Paris: P.U.F., 1954. P. 271.

[20] *Adorno T*. Gesammelte Schriften. T. VIII. Frankfort-sur-le-Main: Suhrkampf, 1972. P. 411.

[21] *Odajnyk W.W*. Jung C.G. und die Politik. Stuttgart, 1975. P. 128.

[22] *Sternhell Z*. Maurice Barrés et le nationalisme français. Paris: A. Colin. 1972. P. 11.

[23] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 5.

[24] *Le Bon G*. La Psychologie politique.Op. cit. P. 121.

[25] Le Devenir social. 1895 Novembre.

[26] *Horowitz J.C*. Radicalism and the Revolt against Reason. Routledge and Kegan Paul. Londres, 1961.

[27] *Kautsky K*. Die Aktion der Masse, in A. Grunnenberg (Ed.) Die Massenstreikdebalte. Frankfort-sur-le-Main: Europaische Verlagsanstalt, 1970. P. 233.

[28] Idem. P. 245.

[29] *Kautsky K*. Op. cit. P. 282.

[30] *Silone I*. La scuola dei dittatori. Milan: Mondadori, 1962. P. 66.

[31] *Aycoberry P*. La Question nazie. Paris: Seuil, 1979.

[32] *Poulantzas N*. Fascism et dictature. Paris: Maspero, 1979.

[33] *Hanotaux G*. Le Général Mangin. Paris: Plon, 1925, P. 45.

[34] *Suares G*. Briand. Paris: Plon, 1939. T. II. P. 437–439.

[35] *Clemenceau G*. La France devant L Allemagne. Paris: Payot, 1916. P. X–XI.

[36] *Nye R. A*. Op. cit. P. 149.

[37] *Le Bon G*. Les difficultés de la politique moderne et les formes futures de gouvernement // Annales politique et littéraires, 1925 Février. P. 146.

[38]История идей во Франции полна пробелов, а мы живем среди мифов. Если за них когда-нибудь серьезно возьмутся, то признают, что социология Дюркгейма заполонила университеты. Зато психология толп Ле Бона проникла в военно-политический мир и совершила набег на социалистическую теорию при посредничестве Сореля. Он не только был знаком с его книгами и публиковал хвалебные отзывы о них, более того, он не скрывал своего восхищения. Сравнивая его с Рибо и Жанэ, Сорель не колеблясь заявляет: «Никто не мог бы оспаривать того, что Гюстав Ле Бон является в настоящее время величайшим психологом Франции» (Le Bulletin de la Semaine, 1911, 11 janvier. P. 13).

[39] *Gaulle C. de*. Le Fil de l'épée. Paris: Livre de Poche, 1944.

[40] *Mannoni M*. Conditions psychologique d'une action sur les foules, C.E. Nancy, 1952. P. 62.

[41] *Gregor A. J*. The Ideology of Fascism. New York: The Free Press. , 1969. P. 92.

[42] *Chanlaine P*. Mussolini parle. Paris: Tallandier, 1932. P. 61.

[43] *Horkheimer M. et Adorno T*. Aspects of Sociology. Op. cit. P. 77.

[44] *Stein A*. Adolf Hitler und Gustav Le Bon.// Geschichete in Wissenschaft und Unterricht. 1955, 6. P. 366.

[45] *Maser W*. Hitler's Mein Kampf. Faber and Faber, Londres, 1966. P. 57.

[46] *Herzstein R. E*. The War Hitler Won. Abacus. Londres, 1979.

[47] *Biddis M. D*. L'Ère des masses. Paris: Seuil, 1980; *Masser W. A*. : Adolf Hitler, Legend, Mythos, Wirklichkeit. Munich et Esslingen, 1972.

[48] *Mosse G. L*. The Nationalisation of the Masses. P. 16.

[49] *Nye R. A*. Op. cit.

[50] Вот свидетельство из первых рук, принадлежащее Шарлю Моразэ, который был одним из советников и принадлежал к близкому окружению генерала Де Голля и которому я чрезвычайно благодарен за его ценные указания. Он вспоминает, что слышал, как генерал неоднократно говорил о Гюставе Ле Боне. А также о том, что он был восхищен практическими аспектами психологии толп, считая их решающими в политике.

[51] *Reinwald P*. De l'esprit des masses. Delachaux etNiestlé. Neuchâtel, 1949.

[52] *Tchakhotine S*. Le Viol des foules. Paris: Gallimard, 1939.

[53] Тем не менее Ле Бон вместе с многими другими учеными (Рише, Рибо и т. д.) способствовал рождению психологии во Франции. Даже если он и был своего рода маргиналом, у него тем не менее были длительные, порой даже глубокие связи с учеными и философами. Среди них Анри Пуанкаре, выдающийся математик и физик своего времени. Можно говорить и говорили о настоящем сотрудничестве между ними. Бергсон ведет переписку с Ле Боном и, в частности, пишет ему по поводу очередного юбилея: «Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить мои чувства глубокой симпатии и почтения одному из наиболее оригинальных умов нашего времени» (Ла Либерте, 31 мая 1931 г.).

[54] *Nye R. A*. Op. cit. P. 3.

[55] *Schumpeter J*. Capitalisme, socialisme et démocratie. Paris: Payot, 1961. P. 386.

[56] Ле Бон как мыслитель менее значителен, чем Макс Вебер, но их политические позиции близки между собой. Их национализм, их вера в значимость вождя, их описания природы вождей и масс содержат много общего. Порой даже складывается впечатление, что некоторые утверждения немецкого социолога, касающиеся харизматического авторитета, демократии масс, являются отражением текстов французского психолога, широко известных в то время в Германии. Впрочем, разве Р. Михельс не осуществил синтез веберовской социологии с психологией толп? В том, что касается его отношения к нацизму, то не один историк отмечал, что Вебер, сам того не желая, подготовил его почву. (См. *Mommsen W. J.* Max Veber und die deutsche Politik; *Mohr J. C. B.* , Tubingen, 1974 et; *Beetham D.* , Max Veber and the theory of modern politics, Allen and Unwin, Londres, 1974). Некоторые социологи объясняли и оправдывали позицию Макса Вебера в этом отношении. Никто, насколько мне известно, не требовал, чтобы он был запрещен цензурой.

[57] *Le Bon G.* L'évolution de l'Europe vers des formes diverses de dictature, art. cit. P. 232.

[58] Idem.

[59] *Adorno T.* Op. cit. P. 428.

[60] Настоящая проблема состоит не в том, чтобы понять, почему Ле Бон оказал влияние на фашизм, поскольку он не был в этом одинок, а почему Франция не стала первой фашистской страной Европы. Этот вопрос отказываются ставить и на него отвечать. В Дневнике Андре Жида (5 апреля 1933 года) можно прочитать: «Кто его (гитлеризм) предотвратил во Франции? Обстоятельства или люди?».

[61] *Baudelaire C.* Les foules. Le Spleen de Paris.

[62] *Felice P. de.* Foules en délire, extases collectives. Paris: Albin Michel, 1947. P. 372.

[63] *Mackay C.* Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowd. L. C. Page, Wells (Vermont), paru en 1847, réédité en 1932.

[64] *Fauconnet P.* La responsabilité. Paris: Alcan, 1920, P. 341.

[65] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 20.

[66] *Vierkandt A.* op. cit. P. 432.

[67] *Flaubert G.* Op. cit. P. 322, P. 330 et P. 368.

[68] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 4.

[89] *Le Bon G.* La Psychologie politique. Op. cit. P. 129.

[70] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 15.

[71] *Lefèbre G.* Études sur la Révolution française. Op. cit. P. 282.

[72] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 3.

[73] *Le Bon G.* Idem. P. 5.

[74] *Porschnev B.* La Science léniniste de la révolution et la psychologie sociale // Éd. Novosoki. s. d. P. 18.

[76] *Le Bon G.* La Psychologie des foules. Op. cit. P. 4.

[76] *Freid S.* Hypnosis, the Standard Edition. T. I, P. 107.

[77] *Bernheim H.* De la suggestion. Paris: O. Doin, 1888. P. II.

[78] *Chertok L.* Le non-savoir des psy. Paris: Payot, 1979.

[19] *Binet A. et C.* Fère: Le magnétisme animal. Paris, 1887. P. 156.

[80] Мопассан описывает в «La Horla» случай отсроченного внушения и выдвигает теорию, близкую теории Ле Бона. Впрочем, еще до науки литература уловила важность этих феноменов.

[81] *Forel A.* Hypnotism, Ribman Ltd. Londres, 1906. P. 132.

[82] *Bernheim H*. De la suggestion. Op. cit. P. IV.
[83] *Binet A. et Féré C*. Le magnétisme animal. Op. cit. P. 100.
[84] *Binet A. et Féré C*. Le magnétisme animal. Op. cit. P. 163.
[85] *Bernheim H*. De la suggestion. Op. cit. P. 579.
[86] *Bernheim H*. De la suggestion. Op. cit. P. VI.
[87] *Dougall W*. Me Psychoanalisis and Social Psychology. Methuen, Londres, 1936, p. 2.
[88] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 14.
[89] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 36.
[90] *Fromm E*. Cité in A. Soliner: Geschichte und Herrschaft. Francfort-sur-le-Main: Suhrkamp, 1979, p. 52.
[91] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 14.
[92] Психология, начиная со своих истоков и до наших дней, мыслила себя как наука о явлениях сознания. Ле Бон задумал психологию толп как отчасти самостоятельную науку, поскольку она изучает бессознательные явления. Он их, разумеется, интерпретирует иначе, чем Фрейд, но приписывает им аналогичную роль. Они оба исходят из гипноза. Один открывает бессознательное в «душе толп», другой — в душе индивидов, и каждый из них создает науку в соответсвии со своим открытием.
[93] *Freud S*. Moïse et le monothéisme, Paris: Gallimard, 1948. P. 177.
[94] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 35.
[95] *Le Bon G*. idem, p. 36.
[96] *Le Bon G*. Idem. P. 34.
[97] *Le Bon G*. Idem. P. 35.
[98] *Le Bon G*. Idem. P. 36.
[99] *Le Bon G*. Idem. P. 32.
[100] *Le Bon G*. idem. P. 37.
[101] *Le Bon G*. Idem. P. 32.
[102] *Le Bon G*.Idem. P. 59.
[103] *Le Bon G*. Idem. P. 60.
[104] *Birnbaum P*. Le Peuple et les gros. Grasset. Paris, 1979. P. 132.
[105] *Durkheim E*. L'Évolution pédagogique en France. Paris: Alcan, 1938. P. 16.
[106] *Le Monde*. 23 janvier 1980.
[107] *Le Bon G*. Les Lois psychologiques de l'évolution des peuples. P. 15.
[108] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 37.
[109] *Birnbaum P*. Op. cit. P. 21.
[110] Idem. P. 31.
[111] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 37.
[112] *Le Bon G*. Les Opinions et les croyances. Op. cit. P. 146.

Часть 3

[1] *Moscovici S*. La Société contre nature. 10/18. Paris: U.G.E. 1972.
[2] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 17.
[3] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 115.
[4] *Le Bon G*. Idem. P. 130.
[5] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 19.
[6] *Tournier M*. Le Vent Paraclet. Paris: Éd. Folio, 1977. P. 167–168.
[9] *Maintenant*. № 2. 19 mars 1979.
[8] *Tchakhotine S*. Le viol des foules. Op. cit. P. 46.



[9] *Musil R*. Der Mann ohne Eigenschaften. Hambourg: Rowohlt, 1952. P. 641.

[10] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 25.

[11] Революционные вожди сами оправдывали революционную роль партий стихийным, реформистским, даже аполитичным характером масс. Таков, по крайней мере, аргумент Ленина. И Троцкий близок Ле Бону, когда он пишет в своей «Истории русской революции»: «Быстрые перемены мнения и настроения масс в революционное время проистекают, таким образом, не из податливости и подвижности человеческой психики, а скорее из ее консерватизма».

[12] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 28.

[13] *Sorel G*. Réflexions sur la violence. Op. cit. P. 192.

[14] Этот тезис вновь возникает даже в наше время по поводу социалистических стран. «Насущные потребности низших слоев и классов, — пишет немецкий философ Bahro, — всегда консервативны, они на самом деле никогда не предвосхищают нового жизненного уклада». Bahro R. L'Alternative. Paris: Stock, 1979. P. 137. См. также Birnbaum P. Le Peuple et les gros. Op. cit., что касается политики левых партий.

[15] Ленин утверждал, что «сила традиции миллионов и десятков миллионов людей — это самая опасная сила».

[16] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 85.

[17] Этот тезис психологии толп получает сегодня значительный резонанс и подтверждение в трудах Пьера Бурдье. См. особенно его работу Le Sens pratique, Éd. de Minuit. Paris, 1980.

[18] *Le Monde*. 23 janvier 1980.

[19] В «Сельском враче» Бальзак пишет: «С народом нужно всегда быть непогрешимым.. Непогрешимость создала Наполеона, она бы сделала его богом, если бы мир не решил сбросить его под Ватерлоо».

[20] *Le Bon G*. L'opinion et les croyances. Op. cit. P. 235.

[21] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 27.

[22] *Le Bon G*. L'opinion et les croyances. Op. cit. P. 150.

[23] *Proust M*. À la recherche du temps perdu. Op. cit. T. III. P. 773.

[24] *Hégédus A*. Le Monde. 3 août 1980.

[25] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 39.

[26] *Le Bon G*. Idem. P. 40.

[27] Я обращаю внимание читателя на этот вопрос. Поиски светской религии неотвязно преследуют Европу. Психология толпы интересуется религией не как остатком прошлого, как это делает социология, не как аспектом примитивных культур, как видит ее антропология, а как феноменом настоящего и будущего развитых культур. Именно в таком качестве ее изучает Ле Бон и в течение почти двадцати лет занимается ею Фрейд.

[28] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 39.

[29] *Cassirer E*. The Myth of the State. Op. cit. P. 355.

[30] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 69.

[31] *Le Bon G*. Idem. P. 68.

[32] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 242.

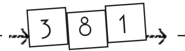
[33] Le Bon G. L'Opinion et les croyances. Op. cit. P. 132. 34 Le Bon G. La Psychologie politique. Op. cit. P. 361.

[35] *Furet F*. Penser la Révolution française. Op. cit. P. 85.

[36] *Daniel J*. L'Ere des ruptures. Paris: Grasset, 1979. P. 188.

[37] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 117.

[38] *Robrieux P*. Un tyran et son myth // Le Monde, 22 décembre 1979.
[39] *Robrieux P*. Article cité.
[40] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 69.
[41] *Lénine V*. I. Que faire? Paris: Éd. sociales, 1971. P. 62.
[42] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 118.
[43] *Le Bon G*. La Révolution française. Op. cit. P. 22.
[44] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 199.
[45] *Gaulle C*. de Le Fil de l'épée. Op. cit. P. 66.
[46] Idem. P. 65.
[47] *Gaulle C*. de Le Fil de l'épée. Op. cit. P. 67.
[48] *M. Djilas*. Le Sens du danger. Le Monde, 6 mai 1980.
[49] *C. de Gaulle*: Le Fil de l'épée. Op. cit. P. 67.
[50] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 82.
[51] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 82.
[52] Можно наблюдать, что вопрос разобожествления Мао находится в центре китайской политической системы сегодня, как вопрос разобожествления Сталина был раньше главным в советской системе.
[53] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 40. Спешу добавить, что все сказанное по поводу политических вождей также верно по поводу «лидеров» или «звезд» в артистической, спортивной, литературной, философской, кинематографической и т. п. областях. Даже наука с трудом избегает этого, хотя она лучше ограждает себя от этого.
[54] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 137.
[55] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 137.
[56] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 21.
[57] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 139.
[58] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 141.
[59] *Rouget G*. La Musique et la Transe. Paris: Gallimard, 1980. P. 441.
[60] *Stendhal*. Le Rouge et le Noir. Ed. Pléiade, T. I, P. 317.
[61] *Adorno T. W*. Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda / in G. Roheim (Ed.): Psychoanalysis and the Social Sciences, T. III. New York, 1951. P. 28.
[62] *Le Bon G*. Les Opinions et les Croyances. Op. cit. P. 232.
[63] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 122.
[64] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 85.
[65] *Le Bon G*. Les Opinions et les Croyances. Op. cit. P. 194.
[66] Le Figaro, 25 novembre 1979.
[67] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 361.
[68] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 73.
[69] *Arendt H*. Le Système totalitaire. Paris: Seuil, 1972. P. 78.
[70] *Le Bon G*. Les Opinions et les Croyances. Op. cit. P. 22.
[71] *Le Bon G*. La Psychologie politique. Op. cit. P. 60.
[72] *Trotski L*. Histoire de la Révolution russe, T. I. Paris: Le Seuil, , 1950. P. 496.
[73] *Sorel G*. Le Devenir social, novembre 1895, P. 769. Мы находим критику Сореля у марксистского философа Лукача, собранную из осуждений, но без обращения к психологии толп: «Такая наука неспособна развиваться с чисто научной точки зрения, так как она остается безнадежной пленницей круга ложных проблем, которые проистекают из такой ошибочной проблематики, ибо эта наука не достигает понимания социального классового характера своих



ошибок». *G. Lukâcs*. Littérature, philosophie, marxism (1922–1923), Paris: P.U.F., 1978, P.122.

[74] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 183.

Часть 4

[1] *Giner S*. Mass Society. Op. cit. P. 60.

[2] О современном варианте этой гипотезы см. *R. Debray*: Le Pouvoir intellectuel en France. Paris: Ramsay, 1979.

[3] *Tarde G*. Les Lois de l'imitation. Op. cit. P. 55.

[4] *Tarde G*. Idem, P. 83.

[5] *Tarde G*. Idem, P. 95.

[6] *Tarde G*. L'opinion et la foule. Paris: Alcan, 1910, P. 36.

[7] *Tarde G*. Idem, P. 55.

[8] *Ib*Idem.

[9] *Tarde G*. Idem, P. 195. 0 Tarde G.

[10] *Idem*. P. 168.

[11] *Tarde G*. Les transformations du pouvoir. Op. cit. P. 227.

[2] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 180. Idem, P. 180.

[4] *Gramsci A*. Op. cit., P. 24.

[3] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 168.

[6] *Tarde G*. Idem, P. 197.

[7] *Tarde G*. Idem, P. 198.

[8] *Tarde G*. La philosophie pénale. Lyon: A. Storck, , 1890, P. 210.

[9] Idem. P. 177.

[20] *Tarde G*. L'opinion et la foule. Op. cit. P. 60.

[21] Flammarion, Paris, 1968.

[22] *Tarde G*. Les transformations du pouvoir. Op. cit. P. 171.

[23] *Tarde G*. La Logique sociale. Op. cit. P. 98.

[24] Idem. P. 98. В развитии психологии толп понятие социальное «Я» готовит переход от понятия душа толп Ле Бона к понятию идеальное «Я», или сверх-«Я» Фрейда.

[25] *Gaulle C*. de Le fil de l'épée. Op. cit. P. 64.

[26] *Sighele S*.Psychologie des sectes. Paris: V. Girard et E. Brière. P. 71.

[27] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 68.

[28] Это можно характеризовать обобщенным знаменитым немецким выражением Führerprinzip.

[29] Для психологии толп иерархический принцип и организационный принцип являются всего лишь двумя гранями принципа вождя. Нельзя, таким образом, усовершенствовать их, не обратившись в конце концов к нему.

[30] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 89.

[31] *Tarde G*. La Logique sociale. Op. cit. P. 127.

[32] *Canetti E*. Masse et Puissance. Op. cit. P. 421.

[33] *R. Michels*. Les Partis politiques. Op. cit. P. 57.

[34] *Tarde G*. La Logique sociale. Op. cit. P. 114.

[35] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 165.

[36] *H. Arendt*. Le Système totalitaire. Op. cit. P. 235.

[37] *Zinoviev A*. Victimes et Complices // Le Monde, 22 décembre 1979.

[38] *Wurmser A*. In Nouvelle Critique, 1949.

[39] *Tarde G*. La Logique sociale. Op. cit. P. 297.

[40] *Le Bon G*. Les Opinions et les Croyances. Op. cit. P. 136.

[41] Здесь важно уточнить. Многие психологи пытаются определить подчиненный, зависимый и конформный тип личности. Другие говорят о генетической предрасположенности к подчинению. Для психологии толп потребность в подчинении, как и другие психические проявления, обусловлены массовым состоянием. Она исчезает, как только человек оказывается один. Надо избегать некорректного перехода от коллективного к индивидуальному, говоря о подчиненных, внушаемых людях, а также от индивидуального к коллективному, говоря об отношениях между вождями и толпами как об отношениях садомазохистских. В последнее время этим смешением пользовались для того, чтобы «опоэтизировать» нацистские преступления.

[42] *R. Michels:* Les Partis politiques. Op. cit. P. 62.

[43] *Tarde G*. Les Ttransformations du pouvoir. Op. cit. P. 25.

[44] *Tarde G*. Les lois de l'imitation. Op. cit. P. 83.

Часть 5

[1] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule, op. cit., Avant-propos.

[2] *Maupassant G. de* Sur l'eau. Op. cit. P. 123.

[3] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 85.

[4] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 133.

[5] Idem, P. 126.

[6] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 137.

[7] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 157.

[8] *H. de Balzac*. Les Illusions perdues.

[9] *Tarde G*. Op. cit. P. 109.

[10] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 7.

[11] *Tarde G*. Les Transformations du pouvoir. Op. cit. P. 154.

[12] M. Prooust: A la recherche du temps perdu. Op. cit., T. II. P. 711.

[13] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 103.

[14] Idem. P. 27.

[15] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 76.

[16] Idem, p. 135.

[17] *Katz E. Lazarsfeld P*. Personal Influence. New York: The Free Press, 1965.

[18] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 132.

[19] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 17.

[20] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 2.

[21] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 5.

[22] Idem, P. 18.

[23] *Tarde G*. Idem, P. 37.

[24] Idem, P. 3.

[25] *Habermas J*. L'Espace public. Paris: Payot, 1978. P. 250.

[27] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 71

[26] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 68.

[28] Tarde *G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 76.

[29] *Balzac H. De* Les Illusion perdues.

[30] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 65.

[31] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 24.

[32] Idem, p. 28.

[33] *Tarde G*. Les Transformations du pouvoir. Op. cit. P. 159.

[34] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 25.

[35] *Tarde G.* Les Transformations du pouvoir. Op. cit. P. 14.

[36] Ibidem.

[37] Idem, P. 218.

[38] Idem, P. 219.

[39] *Tarde* G. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 10.

[40] Idem, P. 16.

[41] Idem, P. 59.

[42] *Tarde G.* Les Transformations du pouvoir. Op. cit. P. 263.

[43] Idem, P. 234.

[44] Idem, P. 236.

[45] *J. Michelet.* Le Peuple. Paris: Ed. Flammarion, 1974. P. 228.

[46] Можно было бы найти и у одного и у другого душок бонапартистского или орлеанистского темперамента в различных пропорциях. Но этот тип противопоставления утратил сегодня всякий интерес.

[47] *Gaulle C. de.* Le fil de l'épée. Op. cit. P. 66.

[48] *Daniel J.* L'Ère des ruptures. Op. cit. P. 173.

[49] *Duhamel A.* La République giscardienne. Paris: Grasset, 1980. P. 245.

[50] *V. Giscard d'Estaing.* Démocratie française. Paris: Livre de poche, 1976. P. 3.

[61] *R. Debray.* Le Pouvoir intellectuel en France, op. cit.

[52] *V. Giscard d'Estaing:* Démocratie française. Op. cit. P. 45.

[53] Le Figaro, 20 décembre 1979.

[54] Ibidem.

[55] Article cité.

[56] *D'Estaing. Giscard V.* Démocratie française. Op. cit. P. 152.

[57] *Duhamel A.* La République giscardienne. Op. cit. P. 24.

[58] *Tarde G.* Les Transformations du pouvoir. Op. cit. P. 144.

[59] *Todd E.* Le Fou et le Prolétaire. Paris: Laffont, 1979.

[60] *D'Estaing Giscard V.* Démocratie française. Op. cit. P. 158.

[61] *Noir M.* L'utilisation des techniques de marketing dans une campagne présidentielle. Pouvoir, 14, 1980, P. 71.

[62] Наблюдатели и политические деятели все чаще и чаще обращаются к образам, к рассуждениям психологии толп. И газеты тоже. В «Ле Монд» (1 декабря 1980 г.) Жак Аттали заявляет, что французы «боятся остаться без кого-то, кем можно восхищаться, без отца, которого можно уважать». Филипп Буше (5 декабря 1980 г.) описывает состояние духа перед выборами: «Коллективный гипноз является тем, что известно в настоящем». Весь арсенал слов, познаний, давно отвергнутых, кажется, робко появляется на поверхности под давлением действительности.

[63] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Paris: Payot, 1948. P. 97.

Часть 6

[1] Robert M. La Revolution psychoanalytique. Paris: Payot, 1964. T. II, P. 145.

[2] Robert M. D'Oedipe à Moïse. Paris: Calman-Lévy, 1974, P. 81.

[3] *H. F. Ellenberger.* The discovery of the Unconscious. New York: Basic Books, 1970, P. 528.

[4] В многочисленных работах имеются свидетельства об отношениях между Фрейдом, Ле Боном и Тардом. См. в особенности: *Giner S.* Mass Society, op. cit.; *Adorno T.* Gesammelte Schriften, op. cit., T. VIII, P. 435; *Sherif M. et C.* An Outline of Social Psychology. Op. cit. P. 339; *BrochH.* Massenwahntheorie. Op. cit. P. 29. «Психология масс и анализ человеческого «Я» до такой степени привлекла

внимание венгерского философа-марксиста Лукача, что он посвятил ей целую рецензию (Littérature, philosophie, marxisme, op. cit.).

[5] *Maupassant G. de*. Sur l'eau. Op. cit. P. 61.

[6] *Lederer E*. State of the Masses; the Treat of the Classless Society. New York: Norton, 1940. NewmannS. Permanent Revolution: Totalitarism in the Age of International Civil War. New York: Praeger 1965.

[7] *Robert M*. D'Oedipe à Moïse, Op. cit.

[8] Между Фрейдом и Ле Боном существует более конкретное связующее звено, чем книга и наука: это принцесса Мари Бонапарт. Начиная с 1925 года она является пациенткой и доверенным лицом создателя психоанализа. Она была в курсе его идей, которые оставались тайными для большинства других. Но она же относится к числу поклонниц и давних подруг создателя психологии толп. Не она ли заботилась о нем в последние дни его жизни вместе с другой подругой и поклонницей, принцессой Мартой Бибеско? (*Bibesco M*. Le Docteur Faust de la rue Vignon //Annales politiques et littéraires, 15 mars 1932, P. 259–260.) И она посвятила ему одну из своих последних книг, Les Glanes des jours // Presses universitaires de France. Paris, 1950.

[9] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 108.

[10] Задача, которую Фрейд поставил перед собой в этом отношении, заключается в том, чтобы перенести посредством соответствующих аналогий психоаналитические гипотезы на психологию толп. Этот метод «научных метафор», рекомендованный английским физиком Максвеллом, или метод «моделей», как его называют сегодня. Но речь идет не о «психоанализе масс», так как в этой области невозможно провести различение между «нормальным» и «патологическим» и тем более прибегнуть к какому-либо лечению. Наконец, такой перенос согласуется с концепцией Фрейда, в соответствии с которой «психоанализ — это не что иное, как психология, одна из частей психологии, и нет необходимости извиняться, прибегая к аналитическим методам в психологическом исследовании, которое занимается глубинными психическими явлениями». *Freud S., Bullitt W.C*. : Thomas Woodrow Wilson. Boston: Houghton Mifflin Company, 1967, P. XIV.

[11] Пессимизм, который Фрейд якобы обнаружил в своей психологии масс, является пустой фразой его биографов и критиков. В этом видят признак его консерватизма, даже его непонимание социальной действительности. Конечно, речь идет о понимании того, заключается ли роль человека науки в том, чтобы смотреть неприятным истинам в лицо и говорить о них или же искать успокоительные решения проблем, иногда неразрешимых, которые одолевают человечество с давних пор. Короче говоря, понимать, должен ли он вести себя как истинный мыслитель или как священник. *T.W. Adorno*. Op. cit. P. 36.

[12] *Shorske C*. Politics and Patricide in Freud's Interpretation of Dreams. American Historical Review, 1973, P. 328–347.

[13] *Fromm E*. The Dogma of Christ. New York: Anchor, 1962, P. 100.

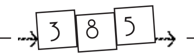
[14] *Freud S*. An Autobiographical Study, Postscript. Standard Edition. T. XX. P. 71.

[15] *Freud S*. Moses and Monotheism, Standard Edition, T. XXIII, P. 70.

[16] *Freud S*. New Introductory lectures on Psycho analysis. Standard Edition. T. XXII, P. 179.

[17] Итак, ошибочно было бы говорить о социологии, или антропологии, или истории Фрейда и fortiori (лат.) установить их границы по отношению к психологии или vice-versa.

[18] *Rieff P*. Freud, the Mind of a Moralist. Op. cit. P. 225.



[19] *Korsh K.* Marxism and Philosophy. Johns Hopkins University Press, Londres, 1970.

[20] Интересен случай G. Roheim. В «Animism, Magic and Divine King» он попытался конкретно объяснить природу политических связей, которые Фрейд проследил в «Психологии масс». А также примирить, в научном плане, позиции психоанализа с общественной и политической критикой.

[21] *Glaser H.* Sigmund Freud. Frankfurt am Main: Fischer, 1979.

[22] Большинство попыток синтеза марксизма и психоанализа находится, признают это их авторы или нет, в области психологии масс. Со своей стороны Фрейд до конца оставался глух к идее установления любой связи между психологией и марксизмом. Не потому, как часто говорят, что он остается верным видению человека как индивида, в то время как марксизм рассматривает общество в качестве конечной реальности. Скорее, нужно искать причину этого в различии двух концепций, двух моделей общества. В той мере, в какой Фрейд входит в психологию толп, модель массового общества, которая является его собственной, становится несовместимой с моделью классового общества Маркса. А все усилия каких-нибудь Рейха, Адорно, Маркузе и т. д. были нацелены на примирение этих двух непримиримых концепций. Их расхождения обусловлены различием их позиций. Рейх предпочитал концепцию массового общества, Маркузе — концепцию классового общества. Адорно сделал из одной — оружие критики другой. У Фрейда были и другие причины сопротивляться их соединению, он был сторонником независимости от идеологии. Но первая причина была главной.

[23] Reich parle de Freud. Paris: Payot, 1972, P. 46.

[24] *Reich W.* La Psychologie de masse du fascisme. Paris, 1972. P. 42.

[25] *Reich W.* Idem, P. 103.

[26] *Robinson P. A.* La sinistra freudiana. Roma Astrolabio, 1970.

[27] *Jacoby R.* Social Amnesia. The Harvester Press, Hassocks (Sussex), 1975. P. 44.

[28] *Horkheimer M. et Adorno T.* Aspects of Sociology. Heinemann, Londres, 1973. P. 77.

[29] То же самое было в политической экономии. Классическая теория ценности — труда Рикардо — оставалась фундаментом теории Маркса. Даже когда она получила в его интепретации революционный смысл.

[30] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 86.

[31] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 87.

[32] *Freud S.* Idem, p. 96.

[33] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 96.

[34] *Le Bon G.* Les Opinions et les Croyances. Op. cit. P. 36.

[35] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 89.

[36] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 89.

[37] *Freud S.* Idem. P. 97.

[38] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 100.

[39] Idem. P. 104.

[40] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 113.

[41] *Borges J. L.* Fictions, Gallimard, 1957, P. 43.

[42] *Bechterew W.* Die Bedeutung der Suggestion im sozialen Leben. Wiesbaden. *Bergman J.F.*, 1905. P. 130

[43] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 109.

[44] *Freud S.* Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 111.

[45] Ibidem.

[46] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 122.

[47] Idem. P. 170.

[48] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 244.

[49] *Freud S*. Idem. P. 124.

[50] Idem. P. 111.

[51] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 151.

[52] *Djilas M*. Tito, mon ami, mon ennemi. Fayard, Paris, 1980. P. 183.

[53] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 113.

[54] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 151.

[55] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 143.

[56] *Fischer R*. Masse und Vermassung. G. Uehlin. Schopfheim. 1961, P. 24.

[57] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 128.

[58] Idem. P. 130.

[59] *Freud S*. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Op. cit. P. 63.

[60] *Bechterew W*. La réflexion collective. Delachaux et Niestlé. Neuchâtel et Paris, 1957. P. 167.

[61] *Tarde G*. La Philosophie pénale. Op. cit.

[62] *Moscovici M*. Résurgences et Dérivés de la mystique. Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1980. P. 71–101.

[63] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 45.

[64] *Sartre J. P.* L'Idiot de la famille. T. II. Paris: Gallimard, 1971. P. 1223.

[65] *Freud S*. Jokes and their Relations to the unconscious, Standard Edition. T. VIII. P. 227.

[66] Побуждение к повторению лучше объясняется как побуждение подражать себе и идентифицироваться с самим собой с тем, чтобы сохранить себя и остаться прежним. В этом случае мы сами служим себе образцом, который считаем выше и предпочтительнее других. Поэтому есть личности, в жизни которых одни и те же черты бесконечно повторяются, не подвергаясь исправлению. После идентификации себя с кем-то они приходят к идентификации себя с самим собой. Они больше не как кто-то, они и есть этот кто-то и сами забывают разницу. Отсюда и берет начало один губительный аспект, когда у них может появиться желание заставить исчезнуть объект подражания и даже действительно заставляют его исчезнуть. Возьмем случай с убийцей Джона Леннона, о котором я говорил. Он убивает Леннона, можно сказать, чтобы стереть оригинал и заменить его копией, которую он создал. Плагиат и кража идей, часто встречающиеся в интеллектуальной жизни, пускают в ход аналогичные механизмы. Во всяком случае, многие из проявлений, приписанных инстинкту смерти, а особенно агрессивных проявлений, вписываются в эту категорию.

[67] *Proust M*. Op. cit., T. I, P. 382.

[68] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 45.

[69] *Freud S*. Jokes and their Relations to the unconscious. Op. cit. P. 121.

[70] *Freud S., Bullitt W.C*. Thomas Woodrow Wilson. Op. cit. P. 46.

[71] *Freud S*. Essais de Dsvchanalvse. Op. cit. P. 127.

[72] *Stendhal*. Vie de Henry Brulard, Éd. Pléiade, P. 95.

[73] Idem. P. 119.

[74] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 131.

[75] *Freud S.,* W.C. Bullitt. Thomas Woodrow Wilson. Op. cit. P. 46.

[76] Известно, что понятие «идентификация» было в первый раз настойчиво заявлено в 1921 г. в эссе Фрейда «Психология масс и анализ «Я». Понятие

«*сверх*-«Я» появилось в «Я» и «Оно», эссе, следующем за первым и излагающем вторичное топическое рассмотрение душевных процессов. Этому последнему мы обязаны тем фактом, что каждый человек в западной культуре состоит из «Оно», «Я» и *сверх*-«Я». Нет необходимости добавлять, что эта вторичная топика является результатом разрыва, о котором шла речь в первой главе, и представляет собой важнейший элемент общей психоаналитической теории. Заметим, наконец, что одна из причин отказа от всякого компромисса с марксизмом — это автономия *сверх*-«Я».

[77] Многие аналитические исследования идентификации по некоторым причинам неполны. Прежде всего они не останавливаются на том факте, что в «По ту сторону принципа удовольствия» речь идет об идентификации в целом. Кроме того, они рассматривают ребенка как партнера или как цель семейных отношений, тогда как он — посредник в них, go-between (посредник (*англ.*) — *Прим. пер.*) между своим отцом и матерью, с которыми он завязывает взаимоотношения, основанные на любви и ненависти. Наконец, они упускают двойственный аспект идентификации: регрессию влечений, с одной стороны, а также преследование своих целей другими средствами. Голос инстинктов слишком силен, чтобы можно было когда-нибудь заставить его замолчать.

[78] *Freud S*. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Gesammelte Werke. T. XIII. P. 14.

[79] Idem. P. 145.

[80] Психоаналитики прежде всего и особенно развивали психологию «Оно», затем психологию «Я». Мало зная психологию толп, пренебрегая тем фактом, что она находится в сердцевине второй топики, они практически не развили психологию *сверх*-«Я», достойную этого имени. Однако это определенно было главным интересом и оставшейся незаконченной частью позднего творчества Фрейда.

[81] Так же, как в психоанализе имеется тенденция сводить миметическую модель к модели эротической, так и мы недавно видели обратную попытку сведения первой ко второй, чтобы объяснить происхождение религии. См.: P. *Girard:* La Violence et le Sacré. Paris: Grasset, , 1972.

[82] *Canetti E*. Masse et Puissance. Op. cit. P. 15.

[83] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 146.

[84] Idem.

[85] Idem. P. 147.

[86] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 171.

[87] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 148.

[88] *Bainville J*. Napoléon. Paris: Fayard, , 1959, P. 401.

[89] *Zola E*. La Débâcle, Éd. Livre de Poche, p. 108.

[90] Объяснение паники сдачей позиций лидерами имеется также в труде Бехтерева о внушении, о котором я выше упоминал.

[91] *Trepper L*. Le Grand Jeu. Paris: Albin Michel. , 1975. P. 51.

[92] *Freud S*. Civilization and its discontents. Standard Edition. T. XXI.

[93] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 116.

[94] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 119.

[95] *Freud S*. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Op. cit. P. 56.

[96] *Porshnev B*. Social Psychology. Moscou: Progress Publishers. 1970. P. 27 et s.

[97] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 160.

[98] *Felice P. de*. Foules en délire, extases collectives. Paris: Albin Michel, , 1947. P. 14.

[99] *Maupassant G. de*. LaHorla. Paris: Flammarion, 1924. P. 39.

[100] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 153.

[101] IbIdem. Мало изучены роль и использование взгляда в политике. Геринг, разумеется, не первый и не последний, кто приказал во время митинга: «Фиксируйте стальной взгляд фюрера». История взгляда, рассмотренная в этом аспекте, представляла бы огромный интерес.

[102] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 155.

[103] *Freud S*. Idem, P. 139.

[104] По-видимому, наиболее характерные вожди нашей эпохи (Сталин, Мао, Тито, Де Голль, Хомейни, Гитлер и т. д.) подчинялись такому запрету. Среди сегодняшних французских политиков некоторые хотели бы обольщать и обладать. По крайней мере они производят такое впечатление, и такая установка ограничивает их влияние на массы.

[105] *Freud S*. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Op. cit. P. 115.

[106] *Tarde G*. L'Opinion et la Foule. Op. cit. P. 211.

[107] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 173.

[108] *Freud S*. Idem, P. 165.

[109] «Выражение „массовый гипноз", употребляемое обычно в неопределенном смысле, было воспринято Фрейдом всерьез, и способы поведения масс, аналогичные гипнозу, исследовались, исходя из инстинктивного поведения тех, кто объединяется в массу. Под этим углом зрения теория Фрейда выразила социальную ситуацию, в которой формирование массы предполагает именно атомизацию и отчуждение людей». *T. W. Adorno*. Gesammelte Schriften. Op. cit. P. 435.

[110] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 118.

[111] В течение нескольких лет наблюдается возрождение интереса к толпам и коллективному поведению. Некоторые серьезные исследования имеют тенденцию отрицать различие между массами и индивидами, игнорировать важность вождей и учитывать только рациональные факторы. Но, правда, в противоположность психологии толп эти исследования обращаются только к университетской и административной публике. См., например: *Oison M*. Logique de l'action collective. 1978, P.U.F. Paris, ; *Oberschall A*. Social Conflicts and Social Movements. Op. cit.; *Tilly C*. From Mobilisation to Revolution. Addison-Wesley Publ. Company, Reaing (Mass.), 1978.

Часть 7

[1] *Weber M*. Économie et Société. Paris: Plon, 1971, P. 251.

[2] *Weber M*. Economie et Société. Op. cit. P. 253.

[3] *Weber M*. Idem. P. 250.

[4] *Weber M*. Ibidem.

[5] *Wilson B. R*. The Noble Savages // University of California Press. Berkeley; Loa Angeles; Londres, 1975. P. 56.

[6] *Weber M*. Gesammeltepolitische Schriften. Tbingen, 1958 / et D. Beetham: Op. cit.

[7] *Le Bon G*. La Psychologie des foules. Op. cit. P. 28.

[8] *Gramsci A*. Il Matérialisme storico e la Filosofia di Benedetto Croce. Turin: Einaudi, 1952, P. 227.

[9] *Weber V*. Economie et Société. Op. cit. P. 252.

[10] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit., T. XXIII. P. 93.

[11] *Freud S*. Idem. P. 100.

[12] *Laplanche J. et Pontalis J.B*. Vocabulaire de la psychanalyse. Paris: P.U.F. 1967. P. 196.

[13] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 71.
[14] *Freud S*. Idem. P. 259.
[15] *Freud S*. Idem. P. 261.
[16] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 101.
[17] В своей работе Фрейд исходил из предположения о войне всех против всех внутри орды, руководимой самцом, войне, описанной Дарвиным. Я немного изменил этот научный миф, чтобы привязать его к борьбе между полами и к сексуальному разделению труда. Это повлекло за собой необходимость отчасти изменить некоторые понятия, касающиеся происхождения законов, смысла запрещения инцеста. Пришлось внести определенные изменения. Потому что, с одной стороны, идея первобытной орды больше не поддерживается. С другой стороны, Фрейд нигде не показывает, как убийство отца привело, например, к матриархату. Впрочем, в его теории, как и в других, женщины играют роль толпы безмолвных и отсутствующих теней. Я осветил некоторые из этих вопросов в моей книге La Société contre nature. Paris: U.G.E., , 1972.
[18] *Freud S*. Warum Krieg? Gesammelte Werke. T. XVI. P. 15.
[19] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 33.
[20] *Freud S*. Totem und Tabou, Gesammelte Werke. T. IX. P. 173.
[21] *Freud S*. Totem und Tabou. Op. cit. P. 179.
[22] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 83.
[23] *Alberoni F*. Status Nascenti. Bologne: Il Mulino, 1968. P. 15.

Часть 8

[1] *Gramsci A*. Note sul Machiavelli. Op. cit. P. 3.
[2] Выбор Моисея нелегко объяснить, он не сводится к какой-то одной причине. Можно рассматривать несколько гипотез, которые одинаково правдоподобны. Первая вытекает из факта возвышения харизматического вождя в массовом обществе. Вторая гипотеза опирается на тот факт, что личность Моисея завораживает политических деятелей этого времени. Мы знаем, что таков был и случай Гитлера. И, по всей видимости, он был не один. В отрицательном или положительном смысле Моисей становится парадигмой революционного вождя, основателя нации. Тем более, что евреи были достаточно многочисленны в революционных движениях того времени, социализма и коммунизма. Вот название книги, само за себя говорящее. *Ekart D*. Der Bolschevismus von Moses bis Lenin. Zwiegespràche zwischen Adolf Hitler und mir, 1926.
[3] Третья гипотеза, наиболее прозрачная, следующая. Сознательно или нет, Фрейд разрабатывает политический миф о том, чем должен быть «великий человек», который преследует столь грандиозную задачу. Делая из Человека Моисея египтянина, деиудезируя его, Фрейд придает ему универсальную значимость. Лишая, как он говорит, еврейский народ одного из его сыновей, он полагает, что дарит человечеству отца. Разумеется, к этим гипотезам мы с полным правом можем добавить ту, которая относится к личной жизни Фрейда. Формулируя их, я хотел напомнить, что выбор Человека Моисея в качестве архетипа имел и более общие основания, объясняющиеся в рамках «политического мифа». То, что его должна была сформулировать именно психология масс, является не менее значимым.
[3] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 18.
[4] Idem. P. 54.
[5] *Freud S*. W. C. Bullitt, Thomas Woodrow Wilson. Op. cit. P. 53.
[6] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 108.
[7] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 117.

[8] *Mauss M*. Sociologie et Anthropologie. Op. cit. P. 306.

[9] *Freud S*. Libidinal Types, Standard Edition. T. XXI. P. 218.

[10] *Freud S*. Civilization and its discontents. Op. cit. P. 84.

[11] *Freud S*. Libidinal Types. Op. cit. P. 219.

[12] *Freud S. Bullitt W.C*. Thomas Woodrow Wilson. Op. cit. P. 41.

[13] Idem. P. XVI.

[14] *Freud S*. W. C. Bullitt: Thomas Woodrow Wilson. Op. cit. P. 41.

[15] *Freud S*. Family Romances. Standard Edition. T. IX. P. 237.

[16] Конечно, есть два типа семейных романов: восходящий и нисходящий. В первом родная семья имеет скромное происхождение, во втором — наоборот. Вспомним о всех тех людях, которые идентифицировали себя с бедными родителями, гонимыми, безупречно честными, бунтующими, и во всем следовали их примеру. По поводу их часто говорят, что они сделали это, потому что осознали несправедливость общества. Не исключено, что семейный роман, который они себе сочинили в детстве, приготовил их к этому. Даже забытый, он вновь ожил в сознании под давлением внешних обстоятельств. С психологической точки зрения семейный роман соответствует идентичным условиям, будь он восходящим или нисходящим.

[17] Существует патология семейных романов у неуверенных людей: либо они боятся не преуспеть со своим собственным, либо им кажется, что они приносят его в жертву семейному комплексу. Симптомами этого являются генеалогические наваждения, распри по поводу места в истории, сравнения с необычайными персонажами — Наполеоном, Эйнштейном, Фрейдом и т. д. Создается впечатление, что у этих лиц коренная семья была полностью уничтожена благородным, воображаемым родством. Можно сказать, что это симптомы какой-то «мании романа».

[18] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 110.

[19] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 13.

[20] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 15.

[21] *Weber M*. The Sociology of Religion. Op. cit. P. 23.

[22] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 14.

[23] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 107.

[24] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 60.

[25] *Moscovici S*. Psychologie des minorités actives. Op. cit.

[26] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 28.

[27] Ibidem.

[28] *Moscovici S*. Essais sur l'histoire humaine de la nature. Op. cit.

[29] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 46.

[30] *Freud S*. Idem, p. 47.

[31] Idem. P. 60.

[32] Idem. P. 63.

[33] *Moscovici S*. Psychologie des minorités actives, Op. cit.

[34] *Freud S*. Civilization and its Discontents. Op. cit. P. 142.

[35] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 68.

[36] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 124.

[37] *Moscovici S*. Toward a Theory of Conversion, Advances in Experimental Social Psychology, 1980. Vol. 13.

[38] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 111.

[39] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 52.

[40] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 85.

[41] *Moscovici S*. Bewusste und Unbewusste einfliisse in der Kommunikation. Bonn,1980.

[42] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 106.

[43] *Weber M*. Le Judaïsme antique. Paris: Plon, 1980. P. 304.

[44] *Weber M*. Le Judaïsme antique. Op. cit. P. 21; см. также Economie et Société. Op. cit. P. 622—623.

[45] Этот цикл может быть распространен на психологию искусственных толп (церковь, армия, партия). Например, католическая церковь. Первый этап соответствовал бы ситуации в секуляризованном XIX веке, когда папа, объявленный непогрешимым отцом, выбранным итальянскими кардиналами, был исключительным и тираническим главой. На втором этапе можно наблюдать мятеж сыновей и братьев против него: это был соборный мятеж. Церковь входит в период относительной демократии, полный дискуссий, реформ. Она широко открывается проблемам внешнего мира. Она усваивает его методы, например, коммуникацию. «II Ватиканский собор, — писал Жильсон, — положил начало новому соборному стилю, о котором историки нам, конечно, скажут, что он был навеян примером массовых обществ и методов, которые они используют» (*Gilson E*. La Société de masse et la Culture. Paris: Vrin, 1967, P. 111). Со времени избрания Иоанна-Павла II, и это третий этап, замечается воскрешение имаго папы, единственного отца церкви, возврат к идентификациям и правилам, которые были отметены прогрессом. Добавим, что папа — поляк; избранный вопреки традиции, он понимает, что, поднимаясь на трон пап в какой-то мере узурпатором, получает харизму. Массы устремляются к нему, как если бы они хотели принести ему в дар все запасы почтения и любви, которые они хранили в ожидании прихода хранителя места отца.

[46] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 113.

[47] *Weber M*.. The Sociology of Religion. Op. cit. P. 244.

[48] *Lazitch B*.. Le Rapport de Khrouchtchev et son histoire. Paris: Le Seuil, 1976. P. 53.

[49] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 119.

[50] Idem. P. 117.

[51] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 122.

[52] *Mosse G. L*. La Nazionalizzazione delle masse. Bologne: Il Mulino, 1975. P. 184.

[53] *Serge V*. Memoirs of a Revolutionary // Oxford University Press, Londres, 1963.

[54] *Lazitch B*. Le Rapport de Khrouchtchev et son histoire. Op. cit. P. 55.

[55] *Lazitch B*.. Le Rapport de Khrouchtchev et son histoire. Op. cit. P. 97.

[56] Idem. P. 177.

[57] Сам психоанализ не был избавлен от тотемических вождей. См. *George F. s*. L'Effet'yau de poêle, grasset. Paris, 1979.

Часть 9

[1] Как следствие церкви и армии в век толп превращаются в некое подобие партий. До такой степени, что Жильсон смог написать: «Если существуют массовые общества или общества, предназначенные быть таковыми, то католическая церковь — одно из них» (op. cit., p. 108).

[2] *Gramsci A*. Note sul Machiavelli. Op. cit. P. 8.

[3] *Freud S*. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Op. cit. P. 161.

[4] Вы, может быть, удивитесь, что я в этом плане не вспоминаю об идеологии. Действительно, я этого избегаю по двум причинам. Прежде всего, это понятие не входит ни в предмет изучения, ни в словарь классической психологии толп. Его нет ни у Ле Бона, ни у Тарда, ни у Фрейда. Светская религия отличается от

идеологии тем, что она предполагает веру, а значит, влияние прошлого на настоящее, отчасти независимое от экономических факторов. Иначе говоря, в отличие от идеологии, она не является надстройкой.

[5] *Freud S*. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Op. cit. P. 161.

[6] *Freud S*. Warum Krieg? Op. cit. P. 19.

[7] *Freud S*. Civilization and its discontents. Op. cit. P. 84.

[8] *Simmel G*. Soziologie, Dunker et Humbold. Leipzig, 1908.

[9] *Lazitch B*. Le rapport Khrouchtchev et son secret. Op. cit. P. 150.

[10] *Robrieux P*. Maurice Thorez, sa vie secrète et sa vie publique. Paris: Fayard, 1975. P. 466.

[11] *Freud S*. Totem und Tabou. Op. cit. P. 166.

[12] Один из тех, кто в ней участвовал, подчеркивает этот пробел в социальной и экономической концепции: «Русская революция, хотя она и была совершена людьми честными и интеллигентными, не решила этой проблемы: причиной тому свойства, которые массы приобрели в условиях деспотического опыта, и фатальный отпечаток, оставленный на самих вождях. Замечая это, я не хочу отрицать значимости экономико-исторических факторов; они обусловливают поведение в общих чертах, но они не определяют его свойств полностью» (*V. Serge*. Memoirs of a Revolutionary. Op. cit. P. 375.).

[13] *Serge V*. Memoirs of a Revolutionary. Op. cit. P. 245.

[14] *Deutscher I*. Staline. Paris: Gallimard, 1953. P. 295.

[15] *Freud S*. The Future of an Illusion. Op. cit. P. 48.

[16] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 118.

[17] *Freud S*. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Op. cit. P. 171. Запрещение думать выражается в религии институированной аксиомой: религия всегда была и всегда будет права. Она фигурировала среди положений папы Григория VII, известных под именем «Диктат папы»: «Церковь никогда не заблуждалась и, как об этом свидетельствует Писание, никогда не может заблуждаться».

[18] *Freud S*. The Future of an Illusion. Op. cit. P. 129.

[19] Kruschev Remembers. Andre Deutsch. Londres, 1971. P. 6.

[20] *Deutsch A*. Op. cit. P. 471.

[21] *Djilas M*. Tito, mon ami, mon ennemi. Op. cit. P. 142.

[22] *Freud S*. Massenpsychologie undIch-Analyse. Op. cit. P. 153.

[23] Idem. P. 138.

[24] *Deutscher I*. Stalin. Op. cit. P. 216.

[25] *Medvedev R*. Le Stalinisme. Paris: Le Seuil, 1972. P. 265.

[26] *Freud S*. Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 166.

[27] *Malia M*. Comprendre la Revolution russe. Paris: Le Seuil, P. 219.

[28] *Freud S*. Moses and Monotheism. Op. cit. P. 135.

[29] *Freud S*. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Op. cit. P. 153.

[30] *Deutscher I*. Stalin. Op. cit. P. 255.

[31] *Djilas M*. Interview dans la revue Encounter. 1979. P. 27.

[32] *Freud S*. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Op. cit. P. 153.

[33] *Hobsbaum E. J*. The Age of Revolution. Weidenfeld and Nicholson. Londres, 1974. P. 76.

[34] *Deutscher I*. La Russie après Stalin. Paris: Le Seuil, 1954. P. 48.

[35] *Freud S*. Why War? Op. cit. P. 211.

ОГЛАВЛЕНИЕ